ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

5

МАЙ

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

МАКС ЦИММЕРИНГ — Первомайская ода (*Стихотворение*) 3

БОГУСЛАВ КОГУТ — Есть такая партия! (*Стихотворение*) 4

ВЛАДИМИР МИНАЧ — Марка-Найденыш (*Рассказ*) . . . 5

Стихи болгарских поэтов. Вступление М. Светлова . . 27

БХАБАНИ БХАТТАЧАРИЯ — Оседлавший тигра (*Роман*) 35

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

КЛАРА ЦЕТКИН — Генрик Ибсен 156

КРИТИКА

БОРИС ЗИХЕРЛ — Иван Цанкар, основатель словенской социалистической литературы 162

РЕЦЕНЗИИ

Д. МИХАЛЬЧИ — Исторический роман Михаила Садовяну 170

М. ГУС — Жизнь и смерть Энтони Грэхема 173

Л. ЧЕРНАЯ — Новый роман Лиона Фейхтвангера 176

В. ДЕВЕКИН — Вопросы, оставленные без ответа . . . 181

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

МИТЧЕЛ УИЛСОН — Заметки о романе „Брат мой, враг мой“ 187

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ — Эра мира и культуры, а не войн 191

5

1956

МАЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНКЕТА „ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" . . . 193

Катарина Сусанна Причард
Мухаммед Диб
Альфред Коппард
Дорис Лессинг
Жоржи Амаду
Стефан Гейм
Людвиг Ренн
Эрвин Штриттматтер
Генрих Бёль
Гюнтер Вайзенборн
Ганс Генни Яан
Эйнар Томассен
Ханс Шерфиг
Халлдор Лакснесс
Альберто Моравиа
Васко Пратолини
Тед Аллан
Сидней Гордон
Дайсон Картер
Го Мо-жо
Лао Шэ
Мао Дунь
Казимеж Брандыс
Мария Домбровская
Эрскин Колдуэлл
Альберт Мальц
Лион Фейхтвангер

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

С. ОБРАЗЦОВ — Ив Монтан, певец Парижа 206
ИВ МОНТАН — Солнцем полна голова 212

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ — С вами говорит Чаплин . . . 240

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

О. ВЕРЕЙСКИЙ—Портреты и пейзажи Поля Хогарта . . . 245

СРЕДИ КНИГ

Л. ЧЕРКАССКИЙ — Тибетские народные песни. □ Е. ПОМЕРАНЦЕВА — Рассказы молодых писателей. □ В. ОСТРОВСКИЙ — Словари индонезийских пословиц. □ Г. ПОЛОНСКАЯ — „Песни мира" Хуана Рехано. □ С. ШЛАПОБЕРСКАЯ — Дом на Бригиташтрассе. □ Е. ПАЕВСКАЯ — Книга об индийских солдатах. □ В. ИВАШЕВА — Исследование о творчестве Теккерея. □ А. ДОЛЬБЕРГ, Г. РАТГАУЗ — Сборник стихов Туре Эриксона. □ Т. БАЛАШОВА—Вьетнам в кривом зеркале . . . 252

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (ХРОНИКА) 261

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

Макс Циммеринг

Первомайская ОДА

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

День молодости, дружбы, юных сил!
Скажи, не ты ль, наперекор невзгодам,
сквозь град, сквозь шторм
проснувшимся народам
тропинку к светлым далям проложил?

О, праздник человеческой любви!
В календаре горишь ты красной датой.
Ты, мира нерушимого глашатай,
людей к сплоченью братскому зови!

Веселый день, весенний новосел,
ты из породы смелых и упрямых.
Твое лицо в глубоких, старых шрамах:
немало битв ты за свободу вел.

В сердца миллионов входит голос твой,
ты сам — призыв к единству и свободе.
Ты — Флаг, ты — Меч, ты — Торжество Мелодий,
Ты — Текст рабочей песни боевой.

Несхожие наречья и слова,
обычаи различны и народы, —
И все ж одну тебе слагают оду
Берлин, Нью-Йорк, Калькутта и Москва!

Богуслав Когут

Есть такая партия!

Перевод с польского Ал. Ревича

Ленинградская промозглая зима.
Талый снег на мостовой стекает с крыши.
Мглой тумана занавешены дома.
Голос Ленина, бессмертный голос слышу.

Дремлет Смольный, скрытый кронами дерев,
Как солдат перед броском, как танк на старте.
Свищет ветер и туманный рвет покров.
Слышу голос, слышу:
— Есть такая Партия!

Шла история извилистой тропой,
Шли солдаты сквозь ветра, огонь и заметь,
Таял снег, стекала кровь по мостовой,
По рядам неслось: Смелее! Ленин с нами!

Кровь сочится, смерть встает лицом к лицу,
Но выносишь, зубы сжав, любой удар ты.
Кто помог тебе, кто силу дал бойцу?
Слышу голос, слышу:
— Есть такая Партия!

Под омытым кровью флагом шли вперед
С нив потоптанных, с дымящихся пожарищ;
Жизнь сквозь смерть несли, несли слова в народ:
С нами Ленин, с нами Партия, товарищ!

Виден свет зари на всех материках,
Как над толпами багряный шелк штандарта.
Судьбы будущих столетий в чьих руках?
Слышу голос:
— Есть такая Партия!

Владимир Минач

Марка-Найденыш

Перевод со словацкого В. Чешихиной

РАССКАЗ

1

Далеко-далеко разносится из Подлесья аромат вянущих березовых листьев, острый, пряный. Вскрикнула гармоника, рассыпалась звонкой трелью, стихла, и ее звуки слились с тревожными, дразнящими голосами скрипок. Небольшая утоптанная площадка под старыми липами огорожена молодыми срубленными березками, быстро увядающими от зноя. Расположившись на выровненном бугре, усердно играют вспотевшие музыканты. Пока никто не танцует. Полдневный жар только еще начал спадать.

Но вот на краю деревни словно вспыхнул свет: запестрели краски на пыльном проселке, появились парни и девушки.

Впереди шли в ряд шесть девушек, и их юбки раскачивались, как колокола во время перезвона. Одни были в национальных костюмах, сверкавших на солнце серебром и золотом, ослепительной, милой белизной передников и оплечьев; на других были юбки клеш и блузки с ручной вышивкой, но скроенные на городской лад. А самая высокая девушка, что шла в середине, задумчиво улыбаясь, была в простом, немножко старомодном платье со сборчатыми рукавами.

Эта девушка — Марка-Найденыш — с первого взгляда казалась непривлекательной. У нее было смуглое, слишком худое, по деревенским понятиям, лицо, что в этих краях считается признаком слабого здоровья; слегка раскосые глаза были слишком широко расставлены; на лбу — три морщины, не исчезающие даже при самом веселом смехе. Зато Марка была прекрасно сложена. Тонкая талия, гибкая, как вербный прутик, в меру широкие плечи, гордая, благородная осанка. Во всем облике Марки проглядывало утонченное благородство, и развитая, высокая грудь даже как-то не подходила к ней. Справа от Марки шла Гана, покачивая бедрами, так что ее юбки колыхались в своеобразном ритме; эта была настоящая красавица. Круглое румяное лицо с чуть выступающими скулами, волнистые светлокаштановые волосы, не признающие никаких лент, крепкое тело — все в ней дышало силой, свежестью, смехом, невинной здоровой радостью.

Вот и сейчас она сказала что-то забавное. Все засмеялись: одни — по-особому, захлебываясь, игриво и вызывающе, как смеются некоторые девушки в присутствии парней; другие — сдержанно, не нарушая неписаных законов приличия.

Улыбнулась и Марка, в чуть раскосых глазах затрепетало внутреннее сдерживаемое веселье, полные губы приоткрылись, показав два ряда блестящих белых зубов. Но три морщинки так и остались на лбу;

впрочем, сейчас их никто не заметил бы. Прелесть безыскусной улыбки, затаенное воодушевление, озарившее ее лицо, скрыли их.

Все шестеро подошли к липам, сели полукругом, спиной друг к другу, старательно расправляя юбки на коленях.

Парни были тут как тут; они шутили с нарочитой неуклюжестью, развязывали ленты, всячески поддразнивали девушек, пытались разбить полукруг, повалить их навзничь. Гана, соседка Марки, хихикая, смело защищалась — и не только для виду, она напрягала всю свою молодую силу, щеки у нее ярко раскраснелись. Она пыталась сдержать натиск, направленный на нее со всех сторон, но не устояла. Парни разбили полукруг, с гомоном, громким хохотом подхватили девушек и повели их на площадку за березовой оградой — танцевать.

Марка вдруг очутилась одна. С порозовевшим лицом она отряхивала и приглаживала платье, не решаясь оглядеться вокруг, словно боялась убедиться в том, что знала и так: что осталась в одиночестве — никто не пригласил ее на танцы...

И тут к ней подсел Палько Ридзонь. Он прилег, опершись на локоть, и, покусывая стебелек травы, осмотрелся, словно отыскивал кого-то. Наконец он тронул Марку за плечо.

— И ты здесь?..

— И я... — тихо ответила Марка, не поднимая глаз, будто стыдилась, что и она тут...

Потом она все-таки осмелела и исподлобья кинула робкий взгляд на Пало.

Морщинки на ее лбу выступили явственнее.

— Ганка уже танцует, — сообщила она.

Пало дернул плечом, словно эта новость его не касалась; но, судя по мгновенно дрогнувшим векам, по тому, как на переносице у него собрались складки, он сердился.

— Ну так... что ж... — внешне спокойно сказал Пало.

Он немного подумал, старательно кусая стебелек. Потом положил руку Марке на плечо. Марка внутренне вся содрогнулась от робости и от какого-то странного озноба, пробежавшего по ее телу.

— Идем... — сказал Пало.

Она широко раскрыла испуганные глаза, и тут Пало впервые заметил, какие они большие, лучистые, ясные.

— Нет... не могу... не хочу... — в страхе залепетала Марка. Но в голосе ее звучала тоска, и она невольно потянулась к Пало.

— Идем!..— сердито повторил Пало. Он схватил ее за плечо так, что ей стало больно.

Марка встала и покорно пошла с ним.

Они прошли среди лип, оба высокие, стройные. Пало был на полголовы выше Марки. Черные волосы, загорелое лицо, густые черные брови, сейчас нахмуренные от гнева, острый, резко очерченный нос, крупноватый, но вполне гармонирующий с выдающимся подбородком и полными губами; все его лицо выдавало в нем человека волевого, настойчивого, не довольствующегося малым и очень страстного. На нем были новые черные штаны в полоску, белая полотняная рубаха с распахнутым воротом, резко оттеняющим загорелую шею; рукава были застегнуты у кистей, поросших черными волосами.

Пало и Марка прошли мимо сидевших под липами людей, и те с удивлением посмотрели им вслед. Точно только сейчас все вдруг увидели, какая Марка стройная, по-своему красивая девушка, как она гордо выступает в своем полинявшем голубом платьице рядом с первым парнем на деревне. Обернулся и старый Шальвья, сидевший у кипящего котла с бараниной. Любовно, почти с отцовской гордостью он наблюдал за Мар-

кой, и так же, как и у всех, у него мелькнула мысль: «Эх, и хороша была бы парочка!..»

Пало и Марка протиснулись за березовую изгородь, и на них повеяло крепким, пряным запахом. На площадке кружились пары. Золотистая пыль вилась в воздухе, достигая колен танцующих, сплеталась в причудливые узоры и завитки и медленно легким слоем оседала на землю.

Пало тотчас же увидел Гану: изогнувшись, она весело улыбалась своему кавалеру, увлеченная танцем, наслаждаясь движением. Пало вздрогнул и нахмурился еще больше, когда взгляды их встретились. Он злобно дернул Марку за руку.

Они вошли в круг. Музыканты играли вальс.

Пало выждал начала такта и закружил Марку. Она слегка оперлась на его плечо, зажмурила глаза с таким видом, точно бросалась в пропасть и в то же время радовалась своей гибели. Ее кинуло в жар, она часто дышала, стиснув дрожащие губы. Наконец Марка отважилась открыть глаза. Пало смотрел не на нее, а куда-то поверх головы, и Марка знала, что он ищет взглядом Гану. Теперь она могла, по крайней мере, рассмотреть его лицо — ведь столько раз ей так хотелось побыть рядом с Пало Ридзонем! Она глядела на сердитые складки у переносицы, и ею овладело непреодолимое желание притронуться к ним пальцем, разгладить их, чтобы они исчезли.

В эту минуту Пало неожиданно опустил глаза, и она не успела отвести взгляд. Взоры их встретились, и Пало снова увидел необычные маркины глаза, излучающие восторг чистого сердца. Оба смутились.

— Как ты легко танцуешь, — заметил Пало, отводя глаза.

Обрадованная Марка улыбнулась в ответ.

Они продолжали танцевать — фокстрот, снова вальс и, наконец, бешеный чардаш, какой здесь в обычае; пыль вихрем закружилась над головами танцующих и закрыла всех тонкой золотистой дымкой.

Пало уже не так неотрывно следил за Ганой. Он все чаще и чаще взглядывал на Марку, находил в ней все новую и новую прелесть и, когда глаза их случайно встречались, улыбался ей уже не из вежливости, а радуясь своему открытию и рождающейся симпатии, которая часто предшествует любви.

Раскрасневшиеся, запыленные, разгоряченные, они выбрались из круга, вышли за березовую изгородь, сели под липой.

Марка обмахивала разгоревшееся лицо платочком, грудь ее вздымалась и опускалась.

Пало смотрел на Марку и не мог отвести от нее взгляда. Черные глаза его заблестели, между полураскрывшимися губами блеснули острые зубы.

— А ты... красивая! — удивленно вырвалось у него.

На Марку нахлынула волна таких прекрасных невыразимых чувств, каких она еще в жизни не испытывала. Губы у нее дрогнули, тонкие ресницы затрепетали; она растерянно пригладила и без того тщательно причесанные темнокаштановые волосы.

— Ну, что ты... — сказала она и отвернулась.

— Да ей-богу, — Пало наклонился к ней, хотел еще что-то сказать и вдруг замолк. Резко отпрянув от Марки, он опять нахмурился.

От березовой изгороди к ним бежала Гана.

Подбежав, она села и прижалась к Пало, ласково, доверчиво положив ему руку на плечо.

— Палько!.. Ты сердишься?!

Марка встала. Она сделалась опять серьезной, спокойной с виду, но сердце ее бешено колотилось, ресницы неудержимо дрожали. Она понимала, что должна уйти, что она здесь лишняя: Пало ей не принад-

лежит и никогда не будет принадлежать. Но сердце ее упорствовало, не желало знать правду, хотело продлить минуту самого настоящего счастья, какое только существует на свете, какое за минуту до этого испытало юное маркино сердце.

Воля, воспитанная в ней с детства и поддерживаемая уступчивой покорностью, победила мимолетное желание. Марка ушла, выпрямившись и гордо подняв голову, в простом голубом слегка полинявшем платьице со сборчатыми рукавами.

Пало посмотрел ей вслед, и очарование мгновенно исчезло, он видел ее сейчас опять такой же, как всегда: незаметной, обыденной, этакой покорной мышкой с остреньким носиком, непризнанной и непривлекательной.

— Я не виновата... Палько... поверь мне.

Гана обняла Пало за плечи. В голосе ее послышались слезы.

— Надо было подождать меня, — сказал Пало смягчаясь.

— Я не хотела... меня силком вытащили... поверь мне... — Гана заплакала.

— Ну... ну... — Пало озабоченно наклонился к ней, желая успокоить. Гана улыбнулась ему сквозь слезы:

— Какая я глупая, правда? Чуть что — сейчас в слезы... — и она старательно вытерла глаза.

Они встали, Пало обнял ее за плечи, Гана его — за талию; ростом она была ниже Марки, едва по плечо Пало; и так, в обнимку, они направились к березкам.

Стали танцевать, и сначала казалось, что все благополучно. Они улыбались друг другу, как полагается улыбаться обрученным, обсуждали деревенские новости, подшучивали. Но вскоре Пало заметил, что не испытывает прежней радости. Ему будто не хватало чего-то. Он глядел на Гану, словно пытался найти в ее лице причину этого неясного ощущения, смутного недовольства, но Гана была такой же, как всегда: круглые щеки смеялись ямочками, светлоголубые, какие-то прозрачные глаза так и бегали по сторонам.

«Какие у нее пустые глаза!» — вдруг осознал Пало. Ему стало даже не по себе. Он снова присмотрелся к Гане и вдруг начал обнаруживать у нее недостатки. Под левым ухом у Ганы была маленькая бородавочка. Такая забавная, крохотная бородавочка, но что если она вырастет, когда Гана состарится? И не слишком ли у нее круглы щеки? И ростом против него она не вышла. Как он раньше этого не замечал?

Он глянул через ее голову на танцующих, внимательно посмотрел между березками. Не мелькает ли где-нибудь платье Марки?

Но он напрасно высматривал ее. Марка давно уже была в своей каморке у старого Шальвья. Она переоделась, аккуратно сложила голубое платье, любовно погладила его. Оно еще хранило теплоту ее тела, пахло сухим березовым листом. Потом она присела на низкий стульчик у решетчатого окна. Издалека слышалась музыка, доносились прерывающиеся, одинокие вскрики гармоники.

Марка опустила голову на руки — и заплакала...

2

Жизнь Марки до этого дня была простой и неприхотливой. В тридцать втором году, во время кризиса, Марку нашел деревенский лесник Дюро Белеш, прозванный в деревне — никто уже не помнил, за что именно, — Экзаменом. Она лежала на тропинке у речки и спокойно сосала корку, завернутую в тряпочку. Дюро шел задумавшись, — по обыкновению одиноких людей, он постоянно размышлял о боге, о природе,

о человеческой жизни, — и вдруг, как он сам рассказывал, попятился от странного свертка, чуть не наступив на него деревянной ногой — собственной он лишился где-то в Галиции в войну, сражаясь за императора. Он даже не слишком удивился: такие вещи случались в то время нередко — столько отчаявшихся женщин бродило тогда с безработными мужьями по дорогам, столько было брошенных девушек, потому что парни уходили в поисках хлеба на край света.

Дюро поднял девочку, которой было не больше трех месяцев, и отнес ее домой.

— Вот тебе, — крикнул он в ухо глуховатой жене, — ухаживай за ней. Она беднее Иисуса Христа — у нее нет ни яслей, ни ослика...

Детей у них не было, хотя Дюро, живший вдали от деревни наедине с глуховатой женой, и рад был бы иметь их. Так Белеши и взяли девочку к себе, окрестили по-христиански, записали в общинную метрику, и община платила им двадцать четыре кроны в год за то, что они воспитывали найденыша. Право, Дюро никогда не раскаивался в своем добром поступке. Девочка росла тихой, послушной, притом чуткой и впечатлительной.

Когда в сороковом году у Дюро умерла жена, он не сумел бы обойтись без маленькой Марки. Она стряпала, стирала, шила. А когда однажды при обходе леса — он всегда честно выполнял свои обязанности — Дюро упал с обрыва за Малиновым Верхом и сломал себе другую ногу, Марка ухаживала за ним так, как не всякий ребенок ухаживает и за родным отцом. С той поры Дюро начал чахнуть, у него появились одышка и кашель, но он не бросал службы, да и что бы он стал делать, потеряв ее? В один из июньских дней, как раз когда Марке вручили свидетельство с отличными отметками об окончании восьмиклассной школы, он вернулся с обхода раньше времени, разделся, лег, сложил руки на груди и к моменту прихода Марки домой уже отдал душу богу.

После похорон ее вызвали в Национальный Комитет, в котором после победы на выборах хозяйничали демократы. Председатель Комитета, или староста, как его продолжали называть, так как при первой республике он семнадцать лет бессменно был старостой — ставленником аграриев*, погладил Марку по голове.

— Бедняжка, что же ты теперь станешь делать? — спросил он, оглядывая рослую не по летам девочку и ощупывая взглядом мускулы на ее руках. Он объяснил Марке, что после Дюро ей осталось три тысячи крон наличными и обстановка — постель, шкаф, ну, словом, пустяки, о которых и говорить-то не стоит. Честное слово, такое наследство все равно что ничего, на него и полгода не прожить. А что потом будет делать Марка?

Марка не знала.

— Я тебя... пожалуй, приютил бы... У нас в хозяйстве найдется и работа, и кусок хлеба...

Марка поняла только одно — что в ее жизни произошла перемена, и ей до слез стало жаль Дюро и прежней жизни.

Она согласилась. Договорились, что он будет ее кормить, обувать и одевать.

— Деньги получать тебе еще рано, — сказал староста. — И без того себе в убыток...

Так началась для Марки жизнь батрачки, скотницы, горькая, тяжкая жизнь.

Дом Штефана был богат. Четыре больших окна смотрели на улицу, во двор выходила застекленная веранда, точно такая же, как у бывшего

* Аграрии — партия крупных землевладельцев, существовавшая в Чехословакии в годы первой республики.

пана нотариуса. Две большие комнаты и одна поменьше, всегда готовая принять хозяйскую дочь, студентку-медичку. За семнадцать лет, проведенных на посту старосты, Яно Штефан с пронырливостью и изворотливостью, какие нередко встречаются в наших деревнях, сумел выдвинуться из середняков на первое место в деревне. Он разбогател не потому, что работал не покладая рук, недосыпая, недоедая, отказывая себе во всем, не от изнурительного безотрадного труда; это был богач, спекулянт, деревенский банкир, который, пользуясь своим общественным положением, знал всю подноготную о своих односельчанах; он ловко и не без таланта оперировал деньгами, видел, когда можно повысить ростовщические проценты и когда следует поостеречься. В тридцатых годах он скупал землю на аукционах через подставных лиц, наживался медленно, но верно, без риска, сохраняя при этом обличье и репутацию хорошего человека, который поможет в нужде.

Летом Марка спала обычно на сеновале над сараем, где зимовали овцы; на зиму она устраивала себе уголок в хлеву, постелив перины, доставшиеся ей после покойного Дюро, — там было теплее. У нее еще не хватало силенок ухаживать за шестью коровами. Ведра с водой — а сколько их приходилось перетаскать за день от колодца до хлева! — были большие, тяжелые. Батрак-конюх помогал ей вычищать навоз, сама она не справилась бы. Но ее сокрушала не только тяжелая работа; ее тяготила жизнь среди чужих, недоброжелательных людей, от которых она не слыхала ни одного ласкового слова; в ушах у нее целый день стояла воркотня старостихи: «Ленивая, как таракан, а жрет за трех мужиков!..» На каждом шагу ее обливали презрением, какое только могут чувствовать богачи к безродной, бедной сироте.

Но она не плакала. При всей своей покорности она обладала внутренней силой, какой-то уравновешенной твердой верой в справедливость — быть может, унаследованной, а быть может, заимствованной из спокойных рассуждений Дюро Белеша или из обтрепанных, засаленных книг, которые давал ей батрак-конюх и которые она тайком читала по ночам в хлеву при слабом свете коптилки; в этих книгах сироты становились богатыми, униженные служанки — знатными дамами, каким-то чудом судьба путала карты, и справедливость всегда торжествовала. Но скорее всего эта сила, позволявшая ей спокойно смотреть в глаза старостихе, была рождена самой маркиной судьбой, тяжелой, утомительной работой, закалившей ее, самостоятельностью, — вот что поддерживало в ней твердость духа.

Она ходила в стоптанных башмаках старостихи, и ей приходилось набивать их соломой, так они были велики; носила длинную выцветшую юбку старостихи (это и были оговоренные обувь и одежда); со смирением, в котором таились упрямство и протест, она выслушивала распоряжения хозяйки, работала и ждала, когда исполнится мечта, когда осуществится ее твердая вера в торжество справедливости.

Мечта стала осуществляться, однако не так, как это бывало в потрепанных романах. К Марке явился не граф и не богатый добродетельный старик, а старый Шальвья.

Произошло это в сорок девятом году, когда в деревне организовался сельскохозяйственный кооператив. Марка поила коров, и старый Шальвья как раз в это время, словно ненароком, заглянул в калитку, поманив Марку. Она поставила ведра и радостно подбежала к нему, потому что Шальвья был единственным человеком, который иногда заговаривал с ней, найденышем. Она помнила его: по воскресеньям вечерком он, бывало, захаживал к Дюро Белешу, и старики сидели на пороге лачуги, курили трубки, перебрасывались изредка двумя-тремя словами, но больше молчали.

Старый Шальвья с напускной суровостью насупил седые брови:

— Работаешь... терпишь?

— Работаю...

— Я ведь вижу: мучают тебя. Но ты не сдавайся, дочка...

Марка вздохнула. Она уставилась на Шальвья еще детскими, большими, чуть раскосыми глазами.

— Да как же я могу?.. Сирота, сами знаете...

— Сирота — не сирота, а теперь времена другие! — строго сказал Шальвья. Потом перегнулся через калитку, точно доверяя великую тайну.

— Как только мы со скотом на ферме наладим дело — у нас... значит, в кооперативе, — тогда я приду за тобой. Погоди еще немного — приду, непременно приду. А этих, — кивнул он на штефановский дом, — не бойся. Они топнут, и ты топни — сейчас не то время.

Он снова насупил брови, улыбнулся тысячью морщинок вокруг глаз и ушел.

Марка стала ждать. Дни тянулись тоскливо, жить в штефановском доме с каждым днем становилось все невыносимее, хотя теперь старостиха уже не осмеливалась покрикивать на нее, и в Иванов день — это были именины бывшего старосты и бывшего председателя — Марка получила новые ботинки и материю на платье, а старик сунул ей в руку тысячу крон — на гостинцы, как он сказал. И работы стало поменьше: половина коров куда-то исчезла. Но Марка с повышенной чуткостью сироты уже умела разбираться в людях и раз и навсегда решила, что Штефаны — плохие люди. Ей было тоскливо у них, она чувствовала себя на штефановском дворе заброшенной, одинокой, отверженной от жизни, от ее радостей, которые так необходимы в молодые годы. Поэтому всем своим существом она ждала прихода старого Шальвья.

Весной пятьдесят второго года, когда Марке только что исполнилось двадцать лет, старый Шальвья наконец пришел за ней. Он помог ей унести сундучок, в котором лежали все ее пожитки — обноски после старой Штефанки и бельишко. Марка несла в узле за спиной перины. Она ушла, не попрощавшись ни с кем... Штефанка с застывшим выражением злобы на сморщенном лице неподвижно глядела им вслед через закрытое окно.

Старый Шальвья поставил маркин сундучок в крохотной каморке, показал постель с матрацем, шкаф, зеркало. Потер руки, словно хорошо поработал, по привычке грозно сдвинул седые брови и торжественно сказал:

— Ну, Марка, теперь ты заживешь по-человечески!

Марка огляделась, приласкала взглядом герани на окне с решеткой, и каморка после штефановского хлева показалась ей сказочной палатой. Марку охватило ощущение незаслуженного счастья, ее взволновала и тронула доброта человеческого сердца.

— За что мне все это? — обратилась она к старику.

Старый Шальвья отвернулся и прокашлялся. Потом ласково положил руку Марке на плечо.

— Ну...ну... Здесь жила моя меньшая, Анка, ты ведь ее знаешь. А теперь вот уехала... Все дети меня бросили, так я хоть с тобой... ты бедному старику доброе дело сделаешь, не я тебе...

Но старый Шальвья несколько покривил душой. Несмотря на то, что ему было около шестидесяти, он сохранил здоровый румянец на щеках, работая всю жизнь на свежем воздухе. И только когда он насмешливо прищуривал глаза, вокруг них собиралась тысяча морщинок, придававших ему ехидно-лукавое выражение. Своей лукавой мудростью он оборонялся от нужды, и ничего жалкого в нем не было. Один из самых

бедных крестьян в деревне, на крохотном клочке земли он сумел прожить без долгов и вырастил пятерых детей, настойчивых и умных, как он сам; они разлетелись по свету, и старый Шальвья по праву гордился ими.

Он слыл, что называется, деревенским философом, мудрецом. Читал он все, что ему попадало под руку, — начиная с «Крестьянской газеты» и календарей вплоть до учебника физики, взятого у старшего сына. Он не раз говорил, что мудрость — это скачущий галопом конь, который не стоит на месте и ждать тебя не будет. Поэтому он не довольствовался всем известными истинами, подобно иным деревенским философам, которые удручают своей приверженностью к ним; Шальвья шел, пока ему позволяли силы, в ногу со временем, соединяя мудрость с жизненным опытом, без сожаления отказываясь от тех истин, которые не оправдывали себя, какими бы древними они ни были.

В большинстве случаев деревенские философы-мудрецы бывают беспомощны и неповоротливы в практической жизни, и, охотно слушая их, люди в то же время мало с ними считаются и нередко посмеиваются за их спиной. Но старого Шальвья уважали, потому что его слова не расходились с делом: пшеница на его полосках родилась лучше, чем у остальных крестьян, в его садике созревали самые лучшие плоды, корова давала больше молока, чем у других, а его свиньи были настоящим чудом. Больше всего на свете он любил выращивать что-нибудь, приложить руки к хорошему делу, которое при его участии налаживалось, удавалось — можно сказать, что главной чертой его характера была необыкновенная любовь к силе человеческого ума, который подчиняет себе природу.

Для Марки не могло найтись лучшего места.

Старый Шальвья, взявший, как сам он выражался, «шефство» над Маркой, заботился о ней, словно о родной дочери; он испытывал постоянную потребность опекать кого-нибудь, и теперь, когда у него никого не было — жена умерла пять лет назад, а дети, гордые, непоседливые, ушли завоевывать свет, — он и нашел себе Марку. На следующий же день он привел ее в свои владения — новый кооперативный коровник (старый Шальвья заведовал животноводческой фермой) — и сказал:

— Ну, Марка, умела поработать на чужих, покажи теперь свое уменье работать на себя, на своих...

Как же Марка не захотела бы стать хорошей дояркой, не захотела бы трудиться, вкладывая в работу все сердце, все силы юной души, преисполненной благодарности, когда с ней впервые за много лет заговорили по-человечески, хотя не все сразу стали считать ее равной себе — случается, что предрассудки оказываются сильнее жалости и братства людей, — как же Марка в открывающейся перед ней жизни, которая освободила ее, подарила ей новое, до сих пор неведомое чувство самостоятельности, как же бывшая коровница, ходившая в стоптанных башмаках старой Штефанки и спавшая в хлеву, могла работать плохо?!

Через неделю Марка знала уже всех доверенных ей коров, их повадки — ведь и у коров они есть. Она целыми днями не выходила из коровника, работала за других, с признательностью, беспрекословно подчинялась любому распоряжению, хотя кое-кто и злоупотреблял этим.

Как-то в воскресенье старый Шальвья вошел в каморку к Марке. Она сидела на стуле под окном и читала один из толстых романов, засаленных и подклеенных со всех сторон и все еще странствующих по нашим деревням, как призраки прошлого.

Шальвья присел у изголовья постели и подмигнул Марке:

— Читаешь?

Марка робко подняла глаза на старика. Она готова была отдать за него душу, но все же побаивалась ехидного выражения его лица.

— Что же ты читаешь? О любви...небось?

Марка вспыхнула. Она и вправду читала любовную историю, и сердце ее трепетало, ныло от горя; ее целиком захватила запутанная судьба героини, и Марка вздрагивала, широко открыв глаза и затаив дыхание от ужаса. Все ее существо жило чувствами, которые казались ей такими далекими, невозможными в действительной жизни; так вместе с героями книги она переживала любовную драму.

— Ну, конечно... про любовь. Что ж, молодым любовь необходима. А что если тебе пойти прогуляться с молодежью — не хочешь?

Марка отрицательно покачала головой. Их глаза встретились, и старый Шальвья понял маркин взгляд. «Что мне там делать? Осмелюсь ли я?» — говорил он. Сознание, что она была раньше батрачкой и к тому же не из красивых, мешало Марке сойтись ближе с молодежью, обрекало на одиночество; ей были знакомы глубокая печаль и величайшее счастье мечты — все то, что может дать юности одиночество.

Старый Шальвья встал, прошелся по каморке и остановился перед Маркой.

— А я пришел поговорить насчет твоей работы, можно?

Марка молча кивнула.

— Ну... как бы это выразиться.. Ты работаешь, трудишься добросовестно, нельзя сказать, чтобы плохо. Такую работницу, как ты, надо поискать. Но... как бы это тебе объяснить: работать нужно умом, не только руками...

Марка смиренно опустила голову.

— Да много ли я умею-то? Голова у меня слабая, неученая. Откуда мне знать, что и как нужно...

Шальвья наклонился, взял Марку за подбородок и, насупив брови, заглянул ей в робкие глаза:

— Ну... ничего. Научимся, правда?

Марка первый раз увидела вблизи лицо старика и вдруг заметила, что ехидное выражение, морщинки вокруг глаз и грозно нахмуренные брови — это просто какая-то маска, прикрывающая добрые, прозрачные, светлоголубые старческие глаза.

Она кивнула головой, соглашаясь с ним.

Старик отпустил подбородок Марки.

— Ну... ладно.

Уходя из каморки, он еще раз взглянул на Марку, которая опять уже уткнулась носом в книгу.

— А когда дочитаешь, скажи. Я тоже дам тебе книгу... про любовь...

С той поры он ежедневно наставлял Марку, будто невзначай, насчет корма, дойки, ухода за коровами. Девушка ловила каждое замечание, дополняла советами старика свой собственный опыт, зная, что старый Шальвья ничего зря не скажет.

А в воскресенье старик действительно принес книгу. Марка отнеслась к ней сперва недоверчиво: книга была тонкая, чистая, совсем новая, без подклеек, к ней и притронуться-то было страшно; в представлении Марки такая книга больше походила на учебник, чем на роман «про любовь».

Но все-таки Марка стала читать, чтобы угодить старику. Начала и прочитала за один присест.

В книге не было ни «высоких» страстей, ни героев «без страха и упрека», которым все всегда удается и перед которыми все злое отступает как-то само собой; ведь Марка все же обладала простым здравым смыслом и в глубине души всегда сомневалась в правдивости историй, описываемых в толстых растрепанных романах; ей поневоле приходилось верить им, потому что ничего лучшего она не видела, читала их, если

можно так выразиться, прижмурив рассудок, чтобы не спугнуть мечту. А сейчас у нее в руках оказалась книга, простая, как сама жизнь, где все было близким и обычным, — история человека, который шел вперед самостоятельно, своим трудом пролагая путь к славе и счастью; такой путь трогает человеческие сердца, он пройден честно, в борьбе, и подкупает смелым трудовым подвигом, делом, понятным и доступным всякому.

Марка прочитала книгу раз, другой. Нюша Власова сделалась для нее родной сестрой, близкой давным-давно; горести Нюши стали ее собственными, маркиными, и Марка вслед за Нюшей и ее успехами летела на крыльях радости.

Прочитав книгу во второй раз, Марка записала в разлинованную тетрадку такие мысли Нюши Власовой:

«Я тоже буду работать замечательно! Не обижена ни разумом, ни силой, не смотрите на меня, как на последнюю...» *.

Марка некоторое время удовлетворенно рассматривала свою первую запись. Потом энергично подчеркнула все и написала крупным, еще детским почерком: «Добьюсь того же, чего добилась Нюша Власова. Написано 20 июня 1952 года». Но она тут же засомневалась: «Что я? Нюша была отважная, смелая... И сколько она знала! Могу ли я с ней равняться?»

Но угнетенная до сих пор и теперь пробудившаяся воля не сдалась. «Я хочу! Хочу! Разве Нюша не была вначале простой, ничем не примечательной дояркой, как я? Не стараюсь ли я работать уже сейчас как можно больше и лучше? Да я и не боюсь работы! Я добьюсь своего!»

С этого времени жизнь Марки пошла по-другому, получила цель, ясную и доступную. К словам, записанным в разлинованную тетрадь, Марка относилась серьезно, как и ко всему в жизни. Она вся отдалась работе уже не из чувства благодарности за избавление от прежней горькой жизни, а с ясным намерением добиться самых лучших результатов.

Марка никому, даже старому Шальвья, не сказала о задуманном, настолько важным казалось ей то, что она хотела сделать. Она боялась, что ее, незаметную, все еще непризнанную девушку, засмеют, а страшнее этого для нее ничего не было — насмешки над своей мечтой она не перенесла бы. Но старый Шальвья, конечно, скоро заметил, что Марка тайком от него берет специальные книги из его маленькой домашней библиотечки и что-то скрывает от него, приготовляя корм для коров. Он ничего не сказал, только улыбнулся себе в усы и мало-помалу, будто случайно, стал советовать ей, как умел, то одно, то другое.

В течение июня и июля у лучшей маркиной коровы Малины удой поднялся с одиннадцати литров до тринадцати. Но дальше увеличить удой не удавалось никаким способом...

Такова была недолгая жизнь Марки, по прозвищу Найденыш, до сегодняшнего, столь памятного для нее воскресенья.

Сейчас она сидит у окошка с геранями. Издалека доносятся угасающие трели гармоники.

Марка плачет, потому что впервые в ее сердце вкралась надежда на любовь, но ей тут же был нанесен удар...

3

На другой день жизнь опять пошла заведенным порядком. С самого утра и до вечера Марка была в привычном кругу, ей не пришлось много раздумывать над тем, что произошло вчера, но глаза у нее были грустные, потухшие. Она заметила, что Гана, тоже доярка, еле разговаривает

* В. Панова, «Ясный берег».

с ней, но Марка об этом не очень жалела. У нее никогда не было подруг, и Гана сама первая начала дружить с ней, только Марка всегда чувствовала, что эта дружба недолговечна: вряд ли ее, Марку-Найденыша, сможет полюбить по-настоящему хоть одна девушка. И теперь, после вчерашнего, Марка упрекала себя за то, что сунулась куда не следовало. Она твердо решила предоставить другим радость и счастье любви («Невелико счастье!» — презрительно думала она, а сердце при этом сжималось, болело), у нее есть дела поважнее: работа, успех. Наверно, на свете должны быть и такие люди, которым не суждено познать радости и утехи любви; к ним относится и она, Марка, некрасивая сирота.

Но разве Пало вчера не сказал ей, что она красивая?!

Напрасно старалась Марка, надежда не оставляла ее; и когда девушка, прикрыв глаза, на мгновение дала волю мечтам, ее охватило предчувствие далекого, но возможного счастья. Эти неясные, противоречивые чувства не давали ей покоя до самого вечера. Когда Марка доила Малину, в коровник словно невзначай заглянул старый Шальвья.

Он заговорщически подмигнул ей:

— Не поддается?

Марка подоила корову, потом бессильно опустила руки.

— Не поддается... Не приведи бог...

Старый Шальвья присел на низкую скамеечку и задумчиво покачал головой.

— Так вот... значит, что же делать? Говорю тебе — своим умом мы не добьемся, ей-богу, нет. Для этого нужен не такой ум, как наш...

Марка отнесла надоенное молоко, старик дождался ее возвращения. У него уже все было продумано, решено, но, по обыкновению старого мудреца-шутника, он не хотел выкладывать все сразу; он постепенно подводил Марку к намеченной цели, предоставляя ей думать, что она до всего дошла сама. Когда Марка вернулась, он даже не поднял головы.

— Надо бы поглядеть, как другие делают...

— Другие? — встрепенулась Марка.

Старик встал и сказал безразличным тоном:

— Верно, надо бы. Говорят, курсы какие-то есть, на них как следует можно подучиться... И от нас приглашают, письмо получено...

И пошел. Марка невольно последовала за ним.

— И... вы поедете?

Старый Шальвья остановился, насупил брови.

— Я? Куда уж мне. Ведь это курсы для доярок, да и голова у меня слаба стала, в такую старую голову новую премудрость, пожалуй, не вобьешь.

Он насмешливо, вызывающе подмигнул, потом повернулся к Марке спиной и пошел. Марка смотрела ему вслед, и в голове ее мелькнула дерзкая мысль.

А что если она сама?.. Но Марка тут же отвергла эту идею, которая показалась ей чересчур смелой.

Старый Шальвья остановился в двустворчатых дверях и обернулся.

— Послушай-ка, дочка. Сейчас мне в голову пришло: а что если бы ты?..

Марка перепугалась.

— Я? — охнула она.

— Ей-богу, ты бы, например, могла...

— Да... разве я смогу?!

— Ну... говорю тебе, смогла бы...

Марка, не помня себя, подбежала к старику и ухватила его за полу черного старомодного пиджака.

— А кто я такая?

Старый Шальвья прикинулся рассерженным.

— Вот тебе на! Кто ты такая? Самая лучшая наша доярка, лучшая работница. А что же еще надо?

Он уже убедил Марку, но она для виду все еще упорствовала:

— Да ведь и другие есть: дядя Угрин, председателева Гана...

Старик нетерпеливо прервал ее, махнув рукой.

— Ну так подумай, дочка. Если захочешь, напишем письмо, что приедешь ты...

Право, Марке не было нужды долго раздумывать. Не приближалась ли тем самым ее мечта, не ободряло ли это ее пробудившееся юное честолюбие? Она немного побаивалась — ей всего раза два довелось побывать в районном городке, когда она помогала старой Штефанке нести сумки с сыром, маслом, яйцами. Но и маленький городок с замощенной площадью, толпы людей перед магазинами, страшный, как ей показалось, шум и гам — все это представлялось ей в то время чужим и даже враждебным миром, по своей неопытности она боялась его и была очень рада, снова попав в деревню. А в какую же даль она поедет теперь! Но надо быть смелой, не бояться — ведь Нюша была такая смелая!

Зато она покончит с этим глупым увлечением. Разве не говорится, что время лечит? И кроме того, если она будет далеко, то непременно, непременно его забудет.

Но этого не случилось.

Когда через две недели Марка отправилась на курсы, на станцию вез ее именно Пало. Он собрался поехать с прицепом за искусственными удобрениями в станционный поселок, и старый Шальвья, подмигнув с лукавым видом, договорился, чтобы заодно Пало захватил с собой и Марку.

Всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Им мешал грохот трактора, а кричать было как-то неудобно. Пало изредка только оборачивался, растерянно улыбаясь Марке, а она опускала глаза, избегая его взгляда.

Пока Пало спрыгивал с трактора и шел, чтобы помочь Марке выбраться из прицепа, она сама уже ухватилась за борт и проворно соскочила на землю.

Они стояли и несколько секунд смотрели в глаза друг другу. Во взгляде Пало снова промелькнуло то же самое удивление, как тогда, в то короткое мгновение, когда он сказал ей, что она красивая. Марке тут же вспомнились эти недолгие минуты, пахнуло вянущей березой, зазвучала порывистая мелодия чардаша; ей даже почудилось, что лицо разгорелось от танца и что ей жарко.

Марка отвела взгляд и, стараясь говорить спокойным, шутливым тоном, сказала то, о чем никогда не хотела бы даже упоминать, но что терзало ее по ночам, о чем она должна была спросить:

— Когда же ты женишься, Палько?

Пало помрачнел, на переносице внезапно сбежались морщинки.

— Да... не знаю даже. Осенью собираются, после пахоты...

Марка закусила губу.

— Немного же тебе остается погулять...

Она хотела сказать это легким, шутливым тоном, но голос у нее невольно дрогнул.

Больше они ни о чем не говорили.

Только когда к станции с грохотом подкатил поезд и Пало подал Марке чемодан в вагон, он сказал, не спуская с нее глаз, с тем же сердитым, почти злым лицом:

— Ты нас всех там позабудешь, Марка.

У Марки хватило еще присутствия духа взглянуть из вагона вниз, и она снова встретилась глазами с Пало. Он смотрел хмуро и — умела

ли она читать по глазам? — печально. Ей сделалось жаль Пало, и вместе с тем на душе стало радостно.

— Ну, как можно? — сорвалось у нее с языка, и она тут же устыдилась такой откровенности.

Марка захлопнула дверь. Через грязное стекло она увидела прояснившееся лицо Пало. «Знает, — подумалось ей, — все знает», — и неискушенная, наивная Марка смутилась еще больше.

Поезд тронулся. Марка глядела в грязное стекло, не отходя от двери. Пало стоял и смотрел вслед поезду, пока тот не скрылся из виду.

В городе у Марки оставалось уже слишком мало времени, чтобы думать о Пало. Только раз как-то перед сном вспомнила, потешила себя мечтой, погоревала о ее несбыточности, порадовалась, припомнив последнюю встречу. Но все это длилось один миг, мысли ее были сбивчивы, воспоминания неотвратимо вытеснялись впечатлениями минувшего дня. И чем глубже Марка погружалась в новую жизнь, тем дальше отодвигалась деревня, тем смутнее становились воспоминания. «И правда, как легко все забывается»,— не раз думала Марка и при этом испытывала неясную, необъяснимую печаль. Но печаль быстро рассеивалась, да и когда ей было печалиться?

Как много пришлось учиться Марке!

В самом деле, из своего уголка она, точно Золушка, видела до сих пор только крохотный кусочек света. Теперь же в непонятных обрывках слов, вроде и знакомых, но чем-то новых, содержащих какой-то более трудный смысл, перед ней открылся сложный, непостижимый мир.

Три морщинки на чистом лбу углубились, непривычные к напряжению глаза покраснели, лицо осунулось. Сколько раз она принималась тосковать, сколько раз она утешала себя мыслью о бегстве; так мы иногда мысленно тешимся желаниями, которые, как нам отлично известно, никогда не осуществим, тешимся искушениями, которым не поддадимся. Марка корила себя за бестолковость, ей мешал недостаток образования, она впала бы в полное отчаяние, не окажись рядом с ней такие же, как она, люди, с такими же судьбами, мыслями, чувствами, испытывавшие такую же робость перед неведомой наукой, как и она. Поддерживая друг друга из чувства товарищества, рожденного общностью судеб и общностью целей, они ценой огромного напряжения продвигались вперед. Зато как велика была их радость, когда неодолимое стало поддаваться, незнакомое становилось знакомым, неясное — ясным; как будто развязался первый узелок на запутавшейся бечевке, и теперь все распутывалось, иной раз шутя, иной раз не без труда, но ощущение торжества, победы уже не покидало их.

Пребывание на курсах пробудило в Марке жажду знания, отвечавшую ее природным способностям, чувство человеческого достоинства, поддерживаемое коллективом. Впервые в жизни Марка чувствовала себя равной среди равных, полезным членом общества.

На станции при возвращении ее встретил старый Шальвья. Он показался Марке каким-то маленьким, щуплым, хотя за это короткое время старик нисколько не изменился.

— Ну... ну... — говорил он, растроганно шмыгая носом, когда они уже сели в тележку, и смотрел на Марку, похудевшую и утомленную.

— Заморили там тебя, дочка...

— Учились мы, — просто ответила Марка.

— Ну... понятно...

Дорогой старик рассказывал деревенские новости.

Марка слушала одним ухом. Вот уже и знакомые холмы, пологие и какие-то милые, родные. Выше, на склонах гор, золотом горели дубы, вблизи, надвигались, спокойно светились белые стволы берез. Ветер,

брызжущий мелкими капельками дождя, гулял на приволье в полях, где уже убрали урожай, свистел над лугами, где паслась скотина, развевал дым костров, горевших в садах, и приносил со дворов запах повидла, которое варили из мелких слив.

Под Дубиной пахали. Сивые лошадки еле-еле виднелись в долине. Они шли одна за другой, упряжка за упряжкой, плуг за плугом, на одинаковом расстоянии, как хорошие косари.

«Уже пашут», — подумалось Марке. Прежние переживания снова овладели ею. Дорогой Марка отгоняла от себя мысли о Пало, но сейчас, когда она была так близко и все говорило ей о нем, она не в силах была избежать воспоминаний, которые всегда приносят с собой и желания. Разве не сказал он тогда, на станции, что это произойдет вскоре после пахоты? Да, он сказал, что после пахоты женится на Гане. И вот уже пашут!

— Уже пашут... — сказала она вслух и невольно вздохнула.

— Ага, — кивнув головой, поддакнул старый Шальвья. Потом сощурился и доброжелательно усмехнулся.

— Трактор где-то на Ровнях...

— На Ровнях?

— Ага, там будет.

Они ничего больше не сказали, но каждому и так было известно, о чем думает другой. Старый Шальвья давно разгадал тайну Марки, как она ни скрывала ее: умному человеку достаточно перехватить один взгляд, заметить дрогнувшие ресницы. И Марка чувствовала, что умный старик все знает и по-своему он на ее стороне. Только под вечер, когда она сидела за книгами, привезенными с курсов, Шальвья заглянул к ней в каморку, поглядел на книжки, покачал головой и как бы между прочим заметил:

— Вспоминали тебя здесь, ей-богу, и мне, старику, скучно было, так я привык к тебе. И Пало тоже вспоминал, встретились мы как-то с ним в конторе, он сразу: «А Марка-то ваша пишет?» — Пишет, говорю, ей там хорошо...

Марка вся замерла, чувствуя, как кровь кинулась ей в лицо, и не смея поднять голову. Велика сила надежды у того, чей удел — покорная грусть. Ведь в молодости счастье так заманчиво и желанно, а надежда — окошечко, в которое можно поглядеть на это счастье. На миг и перед Маркой блеснул огонек в этом окошечке надежды. А почему бы и не сбыться тому?!

Старик думал утешить Марку, вовсе не желая пробудить напрасные надежды. Он знал о любви всякое, но давно уже забыл, с какой силой она проявляется в молодости. Только сейчас, увидев, как вздрогнули плечи Марки, он понял, насколько это для нее важно. Он глубоко вздохнул

— Да ты, дочка, сейчас об этом деле не беспокойся, — сказал он непривычно мягким тоном, не хмурясь и не подмигивая, как обычно. — Сейчас перед тобой стоит большая задача... покажи, что ты умеешь, дочка... а там видно будет...

Он погладил Марку по голове и тихонько, на цыпочках, вышел.

4

Пока Марка училась на курсах, Малина снизила удой больше чем на литр. Недовольная Марка сказала Гане, замещавшей ее, несколько резких слов. А Гана, словно давно уже поджидая подходящего случая, накинулась на Марку, как бешеная, брызгая слюной от злости.

Она и в самом деле искала предлога для ссоры. Ее несколько задело, что на курсы послали не ее, а Марку. По укоренившейся привычке

она смотрела на подругу, как на бедную служанку; ведь она, Гана, как-никак была дочерью хозяина. Сердилась она потому, что было оскорблено ее самолюбие. На курсы она не очень стремилась, предпочитая жить спокойно, без хлопот и довольствуясь теми скромными радостями, которые находит в деревне молодая, красивая девушка. Но курсы — это еще полбеды, из-за них Гана так бы не бушевала. Все дело было в Пало. После того злополучного воскресенья Пало переменился, стал холоднее к Гане, по вечерам заходил к ней только изредка, говорил, что очень занят, — работы у него действительно было очень много, но раньше это не мешало ему бывать у Ганы каждый вечер. Теперь, если он и заходил, напрасно мать и дочь юлой вертелись вокруг него, — он садился на краешек стула, как будто вот-вот собирался уйти, нехотя улыбался и больше разговаривал с отцом Ганы, председателем, о кооперативных делах. Когда старуха однажды завела речь о предстоящей свадьбе, он, нахмурившись, пробурчал, что успеется еще, мол... Какое-то шестое чувство, присущее влюбленным — Гана любила Пало по-настоящему,— чувство, охраняющее любовь и в случае тревоги порождающее ревность, чувство, которое видит и слышит острее глаз и ушей, подсказывало Гане, что поведение Пало как-то связано с Маркой. Она боялась признаться себе в этом, произнести это вслух; какой был бы позор для нее, первой красавицы, первой девушки на деревне — ревновать к Марке-Найденышу. Но подозрения, тем не менее, жили где-то в глубине души и сейчас прорвались наружу.

Марка стояла перед Ганой и не отступала ни на шаг, молча снося оскорбления, которыми ее осыпала Гана, не помнившая себя от злости, стараясь как можно больше унизить безродную сироту. Чем спокойнее была Марка, тем яростнее бушевала злоба в Гане. Она вцепилась бы Марке в волосы, если бы на шум не прибежал старый Шальвья и не прекратил ссору. Гана выскочила с криком и угрозами, а Марка так и осталась на месте, чувствуя, что вся дрожит от горькой обиды. Слезы выступили у нее на глазах. Чувство человеческого достоинства, с таким трудом разбуженное в Марке, не выдержало первого натиска. Марка потеряла уверенность в себе, унизительное прошлое снова тяжелым грузом навалилось на нее, и она уже не могла и не хотела как равная бороться с Ганой за право на счастье.

Только в работе Марка находила успокоение и облегчение. Здесь ей помог прежний трудовой опыт. Теперь к нему прибавились знания, полученные на курсах, почерпнутые из книг и первых опытов. Она делала все украдкой, потому что не очень доверяла тому новому, что узнала на курсах и из книг, ей недоставало уверенности в своих силах, и она не знала, все ли хорошо усвоила. После стычки с Ганой она боялась, что ее поднимут насмех.

Старый Шальвья хлопотал о жмыхах и отрубях, давал для коров Марки как можно больше силоса и клевера, сам готовил соломенную сечку, когда Марка вначале не успевала сделать все необходимое, потому что уход за коровами стал теперь сложнее; пока Марка не привыкла и строго не распределила свои обязанности, ей часто не хватало времени на все.

Через месяц Марка добилась от Малины прежнего удоя. Удой продолжал равномерно возрастать, приблизительно на семьдесят граммов в день. Довольный Шальвья после вечерней дойки ходил вокруг Малины, похлопывая корову по круглым бокам, и весело прищуривал старческие прозрачные глаза.

— Ну... ну... Малинка. Держись только...

И, приготовляя корм, качал головой:

— Гляди, какая наука. И нового-то ничего: у коровы молоко на языке, в старину еще так говорили. Дай ей — она вернет сторицей...

Но Марка знала кое о чем, неизвестном даже старику Шальвья. Тайком от него она попробовала делать Малине массаж вымени сразу же, как только вернулась с курсов. Вначале дело шло неважно, неловкие пальцы быстро уставали и начинали болеть. Теперь же, через два месяца, Марка приобрела сноровку, легко делала массаж до и после дойки и собиралась делать его второй корове.

В середине ноября Малина давала уже по пятнадцати литров.

Удой продолжал повышаться.

— Ну... ну... Малинка. Держись только...

Марка тоже говорила эти слова Малине каждый день. Корова поворачивала к ней голову, терлась шеей о плечо, и тогда Марке казалось, что Малина ее понимает.

В эти дни к Марке стали приглядываться и члены кооператива. Они косились на нее, перешептывались, и Марка, проходя мимо, не раз слышала смех позади себя. По воскресеньям, когда она шла в костел — после ссоры с Ганой она ходила туда одна, — люди расступались перед дояркой на вид учтиво, но втихомолку посмеивались. Только Яно Кольцо остановил Марку и подбодрил ее, заметив:

— Говорят, удой у коров повышаешь... Ну... держись, Марка.

И эти несколько слов, сказанных рассудительным, дельным крестьянином, который не любил бросать слова на ветер, были для Марки настоящей поддержкой в той недоброжелательной атмосфере, которую она ощущала вокруг себя.

— Не уступлю! Добьюсь!

В начале января — это было в субботу вечером — Малина дала восемнадцать литров. В воскресенье утром, когда Марка шла в костел, шепот за ее спиной усилился, замечания стали громче и язвительнее. Яно Кольцо пожал ей руку. Старый Шальвья о чем-то горячо спорил в кучке членов кооператива, по всей вероятности насчет Марки, потому что все украдкой глядели ей вслед.

А Марка прошла мимо, как всегда, спокойная, высоко подняв голову. Теперь, когда люди начали обращать внимание на Марку, их раздражала ее гордая осанка.

— Ишь, гордячка, — брюзжали они, — и кто она такая? Как будто мы не знаем, что она собой представляет.

А бывшая старостиха таинственно нашептывала людям что-то, и о Марке поползли по деревне самые невероятные слухи. Она читала толстые книги — непременно колдовские. И, конечно, ей помогает нечистая сила.

В это воскресенье в костеле с амвона сделали первое оглашение о предстоящей женитьбе холостого Пало Ридзоня, сына в бозе почившего Яно и Марины, честной вдовы... на Гане Гвальер, девице...

Марку будто по голове ударили. Скамья поплыла куда-то вниз, будто проваливаясь в бездонную пропасть, люстры закачались, фарар* исчез в тумане. Марка крепко вцепилась в скамью руками, прикрыла глаза и почувствовала какое-то жжение под веками.

Когда она пришла в себя, то подумала, что все это ей привиделось во сне. Но по взволнованному шепоту, пробегающему по костелу в таких случаях, по взглядам, которые бросали прихожане на скамью, где вместе с другими девушками сидела Гана, и на хоры, где был Пало, она поняла, что все это правда. Она ни разу не подняла глаз, не шевельнувшись, молча вытерпела свое мучение, и только три морщинки резче обозначились на лбу.

Марка вышла из костела, как всегда гордо подняв голову. Но очутившись в своей каморке, она бросилась на постель и беззвучно запла-

---

* Приходский священник.

кала. Напрасно пыталась она уговорить себя разумными доводами; ведь это же должно было случиться, о чем ты думала?! Сердце не хотело ничего слушать, потому что оно все время верило и надеялось, хотя Марка никогда не давала воли этой надежде, подавляла ее всячески. Но разве Пало не откладывал свадьбу уже несколько месяцев? Разве не заходил он к старому Шальвья, словно невзначай, — кто знает, так ли это было на самом деле? Марка всегда запиралась в каморке, когда заходил Пало, то ли от страха, то ли от смущения, свойственного чистому сердцу.

Теперь всему конец. Конец, конец...

Она глухо всхлипывала, зарывшись головой в подушку.

Вошел старый Шальвья, погладил Марку по вздрагивающим плечам.

Она не повернула головы, заплакала громче.

— Ну... ну... — у старика от жалости срывался голос. — Горе-то сердечное, известное дело, пройдет, улетит... А твоя работа останется у тебя навеки, это главное... дочка.

Марка села на постели, закричала — впервые в жизни она кричала, — этот вопль вырвался из самой глубины ее души:

— Зачем мне все это?! Зачем?.. Если...

Она снова бросилась лицом в подушку. Теперь она плакала свободно, не сдерживаясь, горькие, но облегчающие слезы полились ручьем.

Старый Шальвья постоял над Маркой, сочувственно покачал головой. Для такой серьезной девушки — большое горе! Она не из тех, кто немножко погорюет и стряхнет с себя печаль, кому все — как с гуся вода. Ей больно сейчас, но все же боль пройдет. Все на свете проходит, нет такой болезни, от которой время не найдет лекарства. Эх, а ведь стоит она такого парня, как Пало, ей-богу, никто так не стоит его, как Марка. Но что поделаешь? Так уж устроено в жизни: за одним счастье гоняется, как шальное, от другого бежит на сотню гонов*. Именно так. Старик хотел сказать все это Марке, но промолчал. Он знал, что стариковская мудрость не одолеет болезни юности, что Марка должна на своих плечах вынести это бремя, превозмочь горе своими силами.

На другой день Марка как всегда вышла на работу. Она гладко причесала свои темнокаштановые волосы, тщательно повязала пеструю косынку, купленную в городе. Работала в тот день сначала механически, потом с увлечением, и наконец целиком ушла в работу как обычно, в зародыше угасив тлеющий огонек горя, подавив в себе посторонние мысли. Старый Шальвья вертелся неподалеку от Марки, но увидев, что все в порядке, занялся своим делом.

Перед обедом в коровник пришли двое приезжих из района. Шальвья подвел их прямо к Малине, и приезжие, один — поменьше ростом, белокурый, в роговых очках, другой — высокий, черный, с каким-то бугристым лицом, — глядя на вымя Малины, удовлетворенно покачали головой.

Они расспросили Марку об уходе, о том, как она добивается высокого удоя, и она ответила им точно и вразумительно. Тот, что был поменьше, в очках, смотрел на Марку с явным интересом.

— А вы распространяете свой опыт? — спросил он.

— Нет... я...

— Это необходимо,— строго сказал белокурый и добавил: — Нужно созвать собрание, поделиться опытом с членами кооператива.

Высокий, черный что-то записывал в блокнот.

Они принялись настойчиво уговаривать Марку рассказать о своей работе на собрании; но могла ли Марка именно сейчас показаться на

---

* Гон — старинная мера длины.

глаза людям, как раз сейчас, когда внутри у нее все дрожало и она не чувствовала никакой опоры, уверенности. Как ее ни уговаривали, она так и не согласилась. Даже не пошла на собрание.

Она не слышала, как расхваливал ее белокурый, ставил всем в пример. Здесь у вас, говорил он, есть доярка, сущий клад. А вы о ней и не думаете, не используете ее опыта. Его слушали хмуро: одни несколько насмешливо, другие со злостью смотрели на его лоб, покрытый капельками пота, на белые руки, мелькающие в воздухе, на очки, которые он беспрестанно то снимал, то надевал. Его слушали, думая про себя: ишь какой выискался, этакий деликатный, словно барышня какая, а сам, поди, не видел, что у коровы-то под хвостом есть, туда же — нас учить взялся, нечего сказать, хорош учитель, очень хорош...

Для этих людей слова, право же, ничего не значили; много всяких слов наслушались они на своем веку — гладких, увертливых — и научились словам не верить. Слово ничего не стоит, знаем мы, долго ли ему вылететь, только языком пошевели. А проку от него никакого; когда руками поработаешь, и прок будет, а языком-то молоть ведь без толку.

Сейчас люди услыхали не одни слова, а узнали о результатах маркиной работы. И хотя никто не желал допустить, что в этом было нечто новое, люди чувствовали какое-то раздражение, возможно потому, что все это было связано с так называемым «духом времени»; жить сейчас стало беспокойно, старое все рушится, порядок вещей переменился и не поймешь, что к чему. Черт его знает, все не так, как было, всякие фортели люди вытворяют. Все ни на что уже не похоже, и все против божьих заповедей делается, ничего-то в покое не оставят, все вверх дном переворачивают.

Когда белокурый объявил, что начинаются прения, собравшиеся зашевелились на скамейках, заворчали что-то себе под нос и, не глядя на подмостки, вывалили всей толпой на темную улицу. Постояли, обменялись замечаниями насчет погоды, семейных забот и новостей и разбрелись по домам. Но на следующий день во время вечерней дойки начали собираться у коровника, как-то смущенно здороваясь и опуская глаза друг перед другом.

— И ты пришел?

— И я...

— На чудо посмотреть...

—Хе-хе-хе...

Старый Угрин, доильщик, направлял всех приходящих, показывая рукой в глубину коровника, и при этом хитро улыбался беззубым ртом.

— Поглядеть пришли? Вон там оно, чудо-то...

Мужчины и женщины обступили Марку, задние приподнимались на цыпочки, чтобы увидеть ее. Люди посерьезней становились сбоку, молча, но внимательно рассматривали все, подходили поближе, оглядывали Малину, деловито качали головой и снова отходили в сторонку. Но большинство было настроено против Марки, хотело посрамить ее, высмеять, сбить с нее спесь: им казалось, что Марка зазнается, и это их раздражало, а новшества Марки были для них оскорбительны.

Как раз в это время Марка массировала вымя. Она чувствовала, что ее окружают недружелюбные люди, и не поднимала головы. Руки у нее тряслись, но все же сами собой привычными движениями ловко скользили по молочным железам.

Люди придвигались все ближе, смыкались враждебным кольцом.

Кто-то из более молодых визгливо засмеялся:

— Эх-хе-хе-хе... хе-хе-хе... — И, захлебываясь от хохота, еще выговорил: — Да она ее... тянет... за соски!

— Хи-хи-хи... — прыснули женщины.

— Ха-ха-ха... — басом захохотали мужчины.

— И вправду... тянет... Глядите, глядите...

Обозленная Марка подняла голову. Но, увидев вокруг себя столько народу, она испугалась. Ей вдруг померещилось, что эти открытые рты вот-вот проглотят ее, оскаленные зубы готовы вцепиться ей в глотку, а глаза — столько глаз! — горят какой-то злобной завистью. Злобы как не бывало, Марка утратила все свое мужество, съежилась на скамеечке, закусив губу, чтобы не расплакаться. Разве могла она, Марка-Найденыш, появившаяся на свет, чтобы быть людям в тягость, как ей много лет внушала старая Штефанка, разве могла такая девушка устоять перед насмешками всей деревни? Такое коллективное нападение сламывало людей и посильней Марки, немногие находили в себе силу идти против единодушного мнения деревни; того, кто сопротивлялся, уничтожали...

— Хи-хи-хи...

— Ха-ха-ха...

И снова молодой голос, задыхающийся от хохота:

— Хе-хе-хе... еще бы не давала Малина... так ее тянут... хе-хе-хе... И бабу, ежели потянешь... хе-хе-хе...

— Ха-ха-ха...

— Хи-хи-хи...

Марка в страхе озиралась, ища поддержки. Куда девался старый Шальвья?

Но именно в это время старого Шальвья и не оказалось в коровнике. Надо думать, он был где-нибудь в конторе. Только тесный круг ухмыляющихся лиц...

Гана, засучив рукава, выскочила на середину круга и крикнула в лицо Марке то, что слышала от старой Штефанки:

— Колдовство... Она колдунья!..

Марка закрыла лицо руками. Потом вскочила, опрокинув скамеечку, прорвалась сквозь кольцо людей, бросилась к дверям.

В это время в другие двери вошел Пало и в недоумении оглядывал коровник. Марка увидела его, ей показалось, что и он тоже над ней смеется. Он крикнул что-то ей вслед, но она уже не слышала.

Был холодный зимний вечер, а Марка бежала, сама не зная куда, по неровной скользкой дороге, спотыкаясь, один раз упала, но быстро поднялась и без оглядки полетела дальше, ничего не соображая...

Прочь, прочь отсюда!..

Только бы подальше от них, никого не видеть, не слышать!..

Она добежала до елового лесочка, росшего неподалеку за коровниками. Под снегом хрустнули сучки. В верхушках деревьев было темно, небо почти не просвечивало сквозь ветки, на земле было чуть светлее от снега. Подул ветер, резкий, холодный. Марка, инстинктивно покрепче завернувшись в свою шубенку, прижималась к стволу большой ели, где меньше дуло, и, щелкая зубами от холода, тихонько вздыхала:

— Ах, боже...

Итак, всему конец. В эту минуту она вспоминала все, всю свою жизнь, свои мечты и пожалела себя. Вспомнила и Нюшу, и то, что записала в разлинованной тетрадке. Не доказала. Не выдержала. Теперь всему конец. Но могла ли она? Ведь записать в тетрадку несколько строк легко, а вот как выполнить?! Нюше было легче, Нюше помогали, а ей, Марке?!

— Ах, боже...

Как теперь быть? Нужно уйти, уйти из деревни, ясно, но куда?

Куда она денется после такого унижения?

Ветер задувал меж деревьев и нанес уже вокруг ели небольшой сугроб. Марке было холодно, она дрожала. Но не шевелилась, не пыталась стряхнуть с себя сонливое оцепенение.

Лучше умереть, пусть!.. Пусть потом ее оплакивают!.. Она закрыла глаза, мысль показалась ей правильной: своей смертью она отомстит всем за свое унижение. И пусть ему всю жизнь не будет покоя!

Тем временем Пало уже полчаса искал ее, прежде чем вспомнил, наконец, о лесочке. Светя себе спичками, он нашел на опушке следы Марки и пошел по ним. Он почти наступил на нее, так было темно.

— Марка!..

Марка не шевельнулась. На платке, в складках шубейки уже лежал тонкий слой снега. Пало завернул ее в свое большое черное, подбитое овчиной пальто, с трудом поднял на руки.

— Марка!.. Марка!.. — бессмысленно бормотал он, и его охватил страх за нее. Прижав ее замерзшее лицо к своему, Пало дышал на него; снежная пыль на маркиных ресницах растаяла, заблестела, как роса. Ветер усилился. Мелкий снег, какой обычно бывает в густом еловом лесу, закрутился, завертелся и понесся по лесочку, впиваясь тонкими иголками в лицо Пало.

— Марка...Марка!..

Пало смотрел в лицо Марке, неподвижное, словно у покойницы. В голове тревожно билась одна-единственная мысль: если она умрет, кое-кому не сдобровать, если она умрет, кое-кому не сдобровать...

Марка открыла глаза. Сперва ей показалось, что все еще длится приятный сон, который приснился ей под елью. Она зажмурила глаза и снова их открыла. Нет, это не сон: колючий снег, еловый лесок и все то, что было до этого, — правда. Но откуда взялся он?..

Пало заметил открытые глаза Марки.

— Марка... — прошептал он радостно.

— Пусти меня... я сама...

Он нерешительно поставил ее на землю. Марка попробовала было идти, но окоченевшие ноги не слушались. Марка зашаталась, Пало подхватил ее. Она беспомощно уступила.

Они шли навстречу усиливающейся метели. Пало, обняв Марку, крепко держал ее, не давая ей упасть. Постепенно кровь возвращалась к ногам, рукам и лицу Марки.

— Я тебя, Марка, везде искал! — Пало почти кричал: пронзительный встречный ветер заглушал его слова. — А им, им я сказал все, что полагается.

— А я думала...

— Что?

— Что... ты с ними...

Они вошли в деревню. Клубы снега неслись по улицам, как большие злобные белые звери. В непроглядной тьме кое-где светились огоньки.

Пало крепче прижал к себе Марку.

— Я бы за тебя, Марка, весь свет отдал. Ты не поверишь — с утра до ночи из ума нейдешь. Искал я тебя сколько раз, а ты все убегаешь от меня...

Марка отстранилась.

— Зачем? Зачем ты все это говоришь?

Пало замолчал. И в самом деле, зачем? Разве не женится он через несколько дней? Разве скоро все не кончится? Ведь он сам дал согласие, с амвона сделано оглашение. Но отвечает ли он за это? Ведь он вынужден был согласиться, откладывать свадьбу и вправду уже нельзя: деревенская мораль строга в таких случаях. А Марка пряталась от него, избегала встреч и он не мог объясниться с ней, решить. Как все это запутано, эх!..

Они шли уже по деревне. Еще несколько шагов, Марка скользнет во двор Шальвья и — конец. Через несколько дней — свадьба. Пало хоте-

лось выругаться так, чтобы его проклятия услышала вся деревня, весь свет. Что сказать, какое слово найти, чтобы все стало по-другому?

Они остановились у калитки. Марка протянула ему пальто.

— Спасибо, Палько...

Она наклонила голову и уже собралась шмыгнуть в калитку. Он крепко схватил ее за плечо.

— Я люблю тебя, Марка, знаешь? С тех пор, с самого лета ты у меня из головы не идешь...

— Ну... зачем?

Он вцепился Марке в другое плечо, притянул ее лицо к своему и злобно процедил сквозь зубы:

— Зачем!.. Скажи только слово — и все переменится! Все, вот увидишь... и слово Гане верну, не могу без тебя жить!..

Он смотрел на нее в упор, вкладывая в свой взгляд всю свою молодую мужскую силу.

Марка не отводила глаз, не хотела, не могла. Она слышала, как бьется сердце. Как долго она ждала этих слов, сколько раз представляла себе эту минуту в своих одиноких мечтах! Так вот оно, счастье... разве в самом деле оно так выглядит? Но это невозможно, то, что он хочет сделать, страшно, не позволят ему, не будет этого...

— Ну, говори — согласна?

Она прижалась к нему, крепко обвила руками его шею. Потом быстро отпрянула, словно обожглась. Бросилась в калитку, захлопнула ее и побежала через двор. Она слышала за собой, как ей показалось, радостный оклик Пало:

— Марка!..

Но она не оглянулась, вбежала в дом, в свою каморку, прижалась пылающим лицом к окну, вглядываясь в темноту, в снежную вьюгу. Ага, он уже уходит, Пало, Палько... набросил пальто на плечи, словно для него не существует трескучего мороза.

— Пало... Палько!

Лоб у нее стал горячий, тело лихорадочно дрожало. Не жар ли у нее? Она легла, долго не могла согреть застывшие ноги, ворочалась на постели. Заснула она уже под утро, а когда попробовала встать, почувствовала страшную слабость. Неужели она заболела?

Она попыталась встать через силу, но голова кружилась, ноги подкашивались.

Пришлось снова лечь.

Старый Шальвья уже встал и разметал на дворе снег, а она все еще лежала, разбитая, слабая. Голова была какая-то тяжелая, словно чужая, мысли путались, какие-то обрывки мыслей.

Старик заглянул в каморку.

— Белый день на дворе, а ты все нежишься. Ну... ну... а что же это вчера с тобой случилось? Слыхал я, слыхал... Или ты их так испугалась, что и встать даже боишься?..

Марка слабо улыбнулась. Старик подошел к ней и взял ее за руку, потом притронулся ко лбу.

— Больна! — недовольно протянул он. — Ну...ну... так ты больна? Лежит и помалкивает, разве это порядок?

Он по-стариковски засеменил в кухню и заварил липового чаю.

— Вот... чайку выпей... я сейчас сбегаю за доктором, ну... ну... жар?

Марка чувствовала на лбу шершавую, натруженную руку старика, слегка дрожащую, и на минуту ей показалось, что противная тяжесть в голове исчезла, что она легкая и свежая. И на сердце у нее стало хорошо, хотя ей и было немного стыдно, что заболела, что так слаба.

Врач сказал: сильный грипп, лежать. И Марка лежала, смотрела на

большие хлопья снега, медленно кружащиеся за окном, и в душе у нее царил мир, усыпляющий, мягкий покой...

Около полудня к ней заглянул Яно Кольцо.

— Больна? Слышу... Ну... теперь держись, Марка. Мы им еще покажем!..

После него приковылял старый Угрин. Чинно присев на краешек стула, положил черную барашковую шапку на колени. Помялся, поерзал на стуле.

— Ну, как ты? Лучше? Вот и хорошо. А я... как услыхал о тебе... так совесть во мне заговорила. Сказал себе: Мартин, и ты виноват тоже. Прости ты меня, старого дурака, голову мою глупую... Я еще вчера подумал: ну что же ты-то насмехаешься, лучше бы с ней силами в работе померялся... Ну... ну... человек всегда так: над своей глупостью смеяться не станет, над другими легче... Так, так...

И уже уходя, в дверях он обернулся:

— О Малине не беспокойся, Марка, не думай. Сам за ней пригляжу, все по-твоему сделаю, ухаживать стану. Так что ты за нее не бойся... все... будет... как при тебе...

Целый день к Марке приходили члены кооператива. Старый Шальвья ворчал:

— Ну... ну... Мешок, как говорится, развязался, все посыпались...

Но глаза его светились радостью, он был доволен, что Марку признали, что у всякого нашлось для нее ласковое слово, что люди в сущности не так уж плохи...

В сумерках пришел и Пало. Он не заглянул к Марке, но она слышала в приоткрытую дверь каждое слово.

Начали издалека.

— Возите?

— Возим...

— И сколько?

— Четыре раза обернулись.

— Ну... ну...

Некоторое время было тихо. Потом необычно робкий голос Пало.

— Я насчет Марки пришел...

— Марки?!

— Да, насчет Марки... Я вернул слово Гвальерам...

— Фью-у-у,— старик присвистнул от удивления. — Вот тебе на, что же ты натворил, ей-богу... Грех-то какой... ну и ну...

Пало вздохнул.

— Правда, что грех. Шуму сколько было...

— Ну... ну...

Снова помолчали. Потом старик заговорил.

— Так что же ты ко мне-то пришел?

— К кому же мне идти? Разве вы ей не за родного отца?

— Ну... ну... И то правда. Ведь она мне все равно, что родная.

У старого Шальвья дрогнул голос, старик громко высморкался.

— И вправду, словно родная. Но предупреждаю: смотри, с ней шутки шутить нельзя, девушка она серьезная, в жизни много испытала, каждое слово надо хорошенько обдумать...

— Я уже все обдумал.

— Ну так... ну... что же ты здесь околачиваешься? На мне, что ль, жениться собрался?

Прежде чем отворилась дверь и появилась высокая фигура Пало, Марка осознала одно, одна мысль овладела ею: как хорошо жить на свете...

Стихи болгарских поэтов

В переводах П. Семынина

Можно с радостью рекомендовать читателю стихи наших болгарских друзей. Болгария — республика молодая и творчество ее поэтов тоже молодо. Стихи, публикуемые в журнале, написаны болгарскими поэтами разных поколений и в разные периоды. Но все они отражают горячий патриотизм, страстность и искренность художников.

Революционные свободолюбивые традиции болгарской поэзии, заложенные Христо Ботевым и Георгием Раковским, пронесены сквозь столетие Иваном Вазовым, Христо Смирненским, Гео Милевым. Пламенные строки поэтов-революционеров поднимали народ на борьбу против иноземного владычества. Призыв Добри Чинтулова «Восстань, восстань, юнак Балкан!» перекликается с яркой мыслью Ботева: «Кто в грозной битве пал за свободу — не умирает!» Иван Вазов воспевает восстание 1876 года, освобождение Болгарии от турецкого ига: «Здравствуйте, братушки!» — восклицает он, и в его поэзии звучит любовь болгарского народа к русскому.

Годы шли. Вместе с развитием социалистической мысли поэты мужали; пролетарские революционные песни Георгия Киркова «Рабочий марш» и «Дружная песня раздается» звучали на улицах Софии. Слово поэтов клеймило фашистский режим — авторов гневных боевых строк расстреливали, сжигали живыми; но слово умертвить нельзя — оно продолжало жить!

Яркое пламя революционной болгарской поэзии, поддержанное Вапцаровым и Стояновым, все ярче разгорается в свободной стране. Слово современных поэтов — принятая ими эстафета лучших традиций болгарской литературы. Это относится и к стихам Христо Радевского, горячо и проникновенно воспевающего вековое стремление болгарского народа к свободе, и к стихотворениям Елисаветы Багряны, прошедшей большой творческий путь, и к стихам молодых поэтов Усина Керима и Орлина Орлинова, пришедших в литературу в последние годы. В стихах болгарских поэтов сквозит упоение освобождением и созиданием новой жизни. Но нужно стремиться к тому, чтобы манера выражения этой радости сама себя не повторяла, чтобы в поэзии она была более разнообразной.

Меня пленяет очарование чистоты болгарской поэзии. И, отдавая предпочтение женщине, я в первую очередь скажу несколько слов о Елисавете Багряне. Ее большим достоинством является умение великолепно находить детали. Для примера приведу одну строфу из ее стихотворения «Дождь»:

Двери скрипнули. Старец столетний с клюкою,
Белый весь, на порог осторожно ступил,
И, по-детски смеясь, он дрожащей рукою
Драгоценные крупные капли ловил.

Непосредственность Усина Керима, страстность Орлина Орлинова, звонкая лира Христо Радевского завоевали наши симпатии. Они молоды, и мы молоды. И так всегда будет.

Привет братьям по литературному оружию!

М. Светлов.

Христо Радевский

* * *

О, я не сплю, не грежу веще,
Я вижу, слышу всей душой:
Вокруг меня кипит и плещет
В игре кровавой мир большой.

Во мне все эхом отдается,
Слежу за каждой искрой я,
Мой пульс в едином ритме бьется
С великим пульсом бытия.

Когда пишу я эти строки,
Я чувствую — моим пером
Ведет поэт большой и строгий,
С отважным сердцем и умом.

И все певцы не у него ли
Заимствуют огонь и стих;
В цехах завода и на поле
Кует он песнь судеб людских.

Ты слышишь — молот ударяет,
Как речь его светла, звонка!
Как смело рифмы отмеряет
Поэта-мастера рука.

Где чернозем вздыхает, прея,
Там — видишь — брат суровый мой
Творит на пашне эпопею,
Склонясь над старою сохой.

Грохочет город дымный, темный,
И площади меня зовут;
Диктуют фабрики и домны
Мне песни пламенные тут.

И я спешу за каждой рифмой,
За словом истинным — сюда,
Мой пульс един с великим ритмом
Всечеловечьего труда.

1927

ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

Декабрьская ночь.
Небо. Звездное вече...
Из Фракии вихри неслись разъяренные.
Балканы, как в песне Славейкова Пенчо,
Туманились, в думы веков погруженные.

Марица —
кинжал, от удара согнутый,
Зловеще на брюхе у Турции блещущий...
А бедная родина в эту минуту
Готовилась к родам, с душою трепещущей.

Народ прозябал, с преклоненною выей,
На смерть обреченный...
Владык не растрогаешь!
Шпионы и каты — свои и чужие —
Терзали отчизну плетьми и острогами.

И пьяный султан,
и народ безъязыкий
Не знали, что ночью вот этой
заботливо
Седые Балканы с надеждой великой
В подоле своем уж баюкали
Ботева.

1939

ИСТОРИЯ

На карту древней земли погляди:
Сколько смертельных бед отразила,
Ты, что горишь у меня в груди
И называешься родиной милой.

Времен летописный колокол глух;
Где твоего рождения дата?
Сказанье гласит: хан Аспарух
Создал тебя когда-то.

Земля Богомила попа *,
Неслыханных козней дворцовых!
Народ твой — бесправней раба —
Пил горькие муки в оковах.

---

* Богомил — основатель религиозной секты, возглавившей антифеодальное крестьянское движение в Болгарии в начале X века. Богомилы были активными участниками борьбы народа против гнета византийских феодалов и церкви.

Веками в недра твои струясь,
Кровь и слезы кипели глубоко,
Чтоб слаще была царям твоим власть
И своре бояр жестокой.

В обидах лютых народ скорбел...
И не в своей ли муке великой
Он от удушья и ужаса спел
Песнь про Грозника?

Потом —
золотые твои поля
Пятивековая мгла сокрыла;
Сырая утроба твоя, земля,
Безвестных трупов тьмы поглотила.

Но враг свирепый не умертвил
Дух твой жертвенными кострами,—
Явился грозный гайдук Страхил *
И знамя мести взвил над горами.

Монах Паисий ** над глыбой веков
Поднялся, поправ глухое время.
Он и сегодня зовет сынов:
«Вспомни свой край и племя...»

И вспомнил себя,
встал во весь рост
Левский ***
бесстрашный гений...
Не от таких ли как он звезд
Зажег свое солнце Ленин?

Средь вихрей кровавого бытия,
Средь войн безумных, дыма и гари
Свой путь земля свершает моя,
Моя родная
Болгария.

1940

ПРЕДАТЕЛЬ

Три выстрела верных — и вечная мгла
В глазах у предателя окаменела,
Три выстрела верных — и губы сожгла
Печать немоты за позорное дело.

---

* Легендарный герой повстанцев Болгарии в начале XVII века.

** Паисий Хилендарский — вдохновитель национально-освободительного движения XVIII века.

*** Васил Левский (1837—1873), выдающийся деятель революционно-освободительного движения в Болгарии.

И словно раскрылся таинственный лес,
А синие склоны тотчас подхватили
И вдаль переправили бодрую весть,
Просторы широкий раскат поглотили.

Пусть проклято будет то место всегда,
Где тлеют изменника черные кости,
Трава не взойдет, не споют никогда
Живые на том зачумленном погосте!

1943

МЕЧТА

Он учил агрономию.
Путь
К высям знаний был трудный, не скорый.
Так, стихиям подставивши грудь,
Он прошел своей родины горы.

Он уж был агрономом душой
В комнатушке студенческой малой,
Чутко слушая знойной порой,
Как от жажды земля изнывала.

И сейчас, словно жизни мечту
Вражий выстрел исполнил,— лежит он
Средь колосьев высоких в цвету,
Зачарован играющим житом.

Летний дождь ему очи обмыл,
Труп земля приняла в свое лоно,
Хлеб зеленой волною покрыл,
Как склоненные низко знамена.

1944

Елисавета Багряна

ДОЖДЬ

Как несметное войско, от края до края
Тучи в небе идут, тяжелы от дождя;
Молодые хлеба и деревья качая,
Вихрь весенний взметнулся, свистя и гудя.

Тучи с запада шли. Дождь, должно быть для пробы,
Как монетами медными прозвенел по камням,
После вклинил две молнии в кряж крутолобый
И грома раскатил по бескрайним полям.

Люди в небо смотрели, в них радость сияла
Рядом с вечной тревогой о хлебе своем,
И она их сердца постепенно разжала,
Даже речка запела под старым мостом.

Дождь весенний понесся в сиянии грозном
Над лугами, полями, над чащей лесной,
Над крестьянскою мукой, трудом плодоносным,
Дождь обильный, счастливый, веселый, сплошной.

Двери скрипнули. Старец столетний с клюкою,
Белый весь, на порог осторожно ступил,
И, по-детски смеясь, он дрожащей рукою
Драгоценные крупные капли ловил.

Лейся, дождь, громыхай и сверкай, благодатный,—
Прошлогодняя сушь истомила поля,
Силу колосу дай,— как он тянется жадно
К светлым струям твоим, как вздыхает земля!

Позабудем же войны, лихие невзгоды...
Да прозреет народ, потемневший от мук!
Пусть следы их сотрут эти буйные воды,
Пусть грядущего всходы заблещут вокруг.

1946

Усин Керим

Я БЫЛ РОЖДЕН...

Я был рожден среди шатров дырявых
Цыганской ночью в таборе большом
Под шепот сказок грустных и лукавых
О белом свете, о житье чужом.

Я был рожден среди мучений, стонов,
У Вита под плакучею ветлой,
Где гложет скорбь сердца людей бессонно,
Где бродит голод с горестной сумой.

Я был рожден в осенний час ненастный
Вблизи дорог, затерянных во мгле,
Где нищета слезою детской ясной
Кропит свой след в скитаньях по земле.

Я был рожден, а мать снесли в могилу,
Отец обмыл меня в речной волне.
Не от нее ли перенял я силу?
Недаром кровь рекой шумит во мне.

1955

ОТЦОВСКАЯ ПЕСНЯ

Осень в город приехала к нам на телегах,
На телегах с зерном, с виноградными гроздьями;
Осень каплю весны принесла мне с собою,—
Эта капля весны, отразившая солнце,—
Первый сын мой, друзья, первый сын.

В час восхода роса на деревьях трепещет,
И дитя в колыбели смеется, играя,
А закат поцелует в чело его чистое
И серебряных снов ему крылья подарит.

Я заснуть не могу,
Я смотрю в колыбель, словно ночь многозвездная
Смотрит в тихое озеро...

Но в окно уж повеяло свежестью утра,
В небе розовом месяц и звезды бледнеют;
Просыпается сын мой и ручонками машет,
Я его прижимаю к груди осторожно.

— О, цветок мой прекрасный, дитя дорогое,
Песня песней моя, зазвеневшая утром,
Я губами к тебе, не дыша, прикасаюсь,
И глаза мои полнятся радостью светлой.
При рожденьи моем плакал батька суровый,—
Как несчастье встречали в шатрах новорожденных.
А уложат на пестрой телеге покойника,
Все вздохнут — наконец-то отмучился, бедный.
Ты совсем еще крохотный, птенчик веселый,
Нелетавший воробушек, с необветренной грудью,
Для чего говорить нам с тобою о старом?..

Подрастай помаленьку. Год за годом минует,
Ты на берег придешь к водам Вита с друзьями
Запускать корабли из бумаги и веток,
Рыть туннели в песке, строить башни, вокзалы...
А потом побежишь с ребятишками в школу,
Алый галстук огнем на груди твоей вспыхнет,
И слова твои будут звенеть в моем сердце,
Точно пение птиц на весеннем рассвете.

1955

Орлин Орлинов

ВОПРОСЫ

I

Чем было бы море с бескрайним простором,
Когда б его люди не меряли взором,
Когда б мы не ждали из странствий опасных
Любимых, друзей средь бурунов ненастных,
Когда б не боролись в нас вера и страх,
Когда б не стояли мы здесь на часах,—
Чем было бы море с бескрайним простором?

II

Чем были бы звезды, планеты и луны,
Когда б не светили влюбленным и юным,
Когда б телескопа волшебное око
Тьму огненных бездн не сверлило глубоко,
И не было б слов: «Победил...» «Разгадал!..»
Когда б человек этой страсти не знал,—
Чем были бы звезды, планеты и луны?

III

Чем были б земли нашей горы и долы,
Когда бы не плуг и не молот тяжелый,
Когда бы не влек нас порыв благородный
Для всех ее сделать богатой, свободной,
Когда б не упорство, не сила в руках,
Что движет реками в пустынных песках,—
Чем были б земли нашей горы и долы?

IV

Чем были бы жизнь и судьба человека,
Когда б не стремился он к счастью от века,
Когда бы не знал он утрат, испытаний
В борьбе против рабства и вечных страданий,
Когда бы не жажда дерзать и гореть,
Чтоб мудрость и песня осилили смерть,—
Чем были бы жизнь и судьба человека?

1955

Бхабани Бхаттачария

Оседлавший тигра

РОМАН

Перевод с английского С. Кругерской и Ф. Лурье
Под редакцией Е. Калашниковой

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бывает нередко, что любящие родители награждают своего робкого, тщедушного отпрыска громким именем вроде «Король-Воин» или «Неустрашимый в бою». Какая-нибудь толстенькая смуглая до черноты девочка с детства именуется «Вспышка Молнии» или «Лотосовая Гирлянда». Но Калу — «Черный»— получил имя, которое вполне подходило к его наружности. Кожа у него была черная, как чернила, и люди говорили, что его пот можно собирать в чернильницу. В ответ на эти дружеские насмешки Калу шутил со свойственным ему добродушием.

— В самом деле,— говорил он,— времена теперь трудные, и вы, заказчики, крепко держитесь за свои кошельки. Так я, пожалуй, закрою свою кузницу и сделаюсь хозяином чернильной фабрики. В жару пот с меня так и льет, а ростом меня боги не обидели. Как сяду в чан перед кухонным очагом или просто на солнцепеке, так только знай подставляй чернильницы. Что вы на это скажете?

С годами, однако, в этой черноте появился просвет: волосы у Калу стали редеть, и на макушке образовалась блестящая круглая, как блюдце, светлокоричневая плешь, обрамленная густыми длинными волосами. Словно макушку этой большой головы, венчавшей высокую, ладно скроенную фигуру, тщательно обстругали и покрыли лаком. Люди улыбались.

— Этот человек весь железный, на него пошло три маунда * железа, но есть у него одно чувствительное местечко — это его дочь, Лекха.

Имя Лекха имело свою историю. Как-то раз, года через четыре после женитьбы Калу — он тогда был еще совсем молодым,— к нему в кузницу пришел пожилой брахман и принес в починку сломанный медный кувшин. Брахман сел на узкую деревянную скамью и прислонился к выбеленной стенке, которая была вся в сальных пятнах от многих прислонявшихся к ней голов. Он внимательно наблюдал за Калу. Присев на корточки, кузнец орудовал молотом и мехами, прозванными им «Драчун» и «Раздутые щеки».

— Что с тобой, Калу? — спросил брахман, — ты улыбаешься с таким блаженным видом, будто ешь холодный арбуз. Вах, вах, вах!

Калу поднял голову. Улыбка разлилась по его открытому лицу с густыми черными усами.

— Я размышляю,— ответил он.

— Ты с ума сошел!— с ужасом воскликнул брахман.— Какое право

---

* Маунд — мера веса, около 37 килограммов.

ты имеешь размышлять сейчас? От твоих размышлений может пострадать мой кувшин!

Продолжая улыбаться, Калу склонился над своей работой.

— Я размышляю,— повторил он. — Моя жена — она ждет ребенка. Подходит время...

— И ты радуешься? Еще один голодный рот. Безумный, безумный ты человек!

— Я размышляю,— продолжал Калу, не обращая внимания на слова брахмана,— как назвать нашего маленького сына? А если это будет дочь...

— Гм...— усмехнулся служитель богов.— Ну что ж, если родится мальчик, назови его Обхиджитом, а если девочка, пусть зовется Чандрой Лекхой. Такие имена даем нашим детям мы, люди благородного происхождения. А невежественные простолюдины твоей касты не умеют придумать ничего лучше Хабу и Гобу, Пунти и Мунни.

— Обхиджит, Чандра Лекха,—Калу одобрительно кивнул головой.— Обхиджит, Чандра Лекха, — с удовольствием повторил он и задумался.

— Сколько? — спросил заказчик, когда работа была закончена. — Не вздумай только драть с меня шкуру среди бела дня.

Но Калу, зажмурившись, покачал головой.

— Вы уже заплатили мне, господин.

— Как?— воскликнул брахман и наклонился вперед.— Это что за шутки?

— Вы заплатили мне именами. Если родится сын, я назову его Обхиджит, если дочь — Чандра Лекха. Вы уже отблагодарили меня. Кланяюсь вам в ноги.

Старый брахман недоуменно смотрел на кузнеца. Что случилось с Калу? В Джарне — да что в Джарне!— во всей Бенгалии не было кузнеца, который бы так безбожно обдирал своих заказчиков. Назначив цену, Калу никогда не уступал ни пайсы *. И хотя он был хорошим кузнецом, лучшим мастером в городке, он нарочно чинил как можно хуже, мошенник, чтобы заказчик поскорей пришел снова.

— Ты не шутишь?— спросил брахман, растерянно глядя то на Калу, то на починенный кувшин.

— Будьте покойны,— ответил Калу, словно читая мысли заказчика.— Если только кувшин распаяется хотя бы через год, я снова запаяю его бесплатно, потому что вы уплатили мне этими двумя именами. Сын — Обхиджит, дочь — Чандра Лекха. Какими именами вы подарили меня, господин!

Родилась девочка. Ее рождение не пришлось праздновать. Своим появлением на свет она убила молодую мать.

Кузнец горевал долго и неутешно. Но у него остался ребенок, смягчавший его печаль, девочка, которая постепенно заполнила его сердце. Он назвал ее Чандра Лекха — Озаренная Лунным Светом.

Калу не женился больше. Тяжело было думать, что у него не будет сына по имени Обхиджит. Но как решиться привести в дом новую жену и доверить мачехе свое сокровище? И потом та, что покинула его, не ушла совсем. Днем и ночью, во сне и наяву она была здесь, с ним. Он взял ее в жены пятнадцатилетней девочкой, тоненькой, хрупкой, застенчивой. Без него она чувствовала себя беззащитной и не отпускала его от себя ни на один день. Так разве могла она покинуть его теперь, хотя и оставила землю? Разве могла она расстаться со своей маленькой дочерью Чандрой Лекхой?

---

* Пайса — мелкая монета, $^1/_{64}$ рупии.

С какой радостью жена приняла это имя для будущего ребенка! Ее собственное имя было таким старомодным. Калу часто вспоминал, как она лежала в родовых муках: глаза ее были закрыты, тело, потерявшее свою девическую стройность, содрогалось от боли. Она взяла его руку и положила ее себе на живот. Потом открыла глаза и пристально посмотрела на него. Калу заметил, как безмолвно шевелятся ее сведенные страданием губы, и понял, что они произносят священные слова: «Обхиджит, Чандра Лекха». Он осторожно провел рукой по ее телу, как бы успокаивая и благословляя ее, как бы стремясь этим легким прикосновением облегчить терзавшую ее боль.

— Еще час-другой — и к нам придет Обхиджит или Чандра Лекха,— сказал он, ободряюще кивнув ей. Он видел, как продолжают безмолвно шевелиться ее губы.

Через несколько часов Чандра Лекха явилась на свет, и мать сразу же затихла, словно погрузилась в глубокий сон.

Вскоре в доме Калу появилась старая вдовая тетка. Она жила неподалеку в деревне и приехала к племяннику со всеми своими пожитками, уложенными в небольшой жестяной сундучок. Она поселилась в маленьком домике кузнеца, стала вести хозяйство и присматривать за девочкой. Но скоро Калу начала мучить ревность. Он не хотел ни с кем делить привязанность Лекхи! Лекха принадлежала только ему, и никто не смел становиться между ними.

Как-то несколько лет спустя тетка на праздничную неделю увезла Лекху к себе в деревню. Не прошло и двух дней, как в деревне появился Калу. Лицо его было мрачно. Он хотел, чтобы Лекха вернулась домой.

— Она останется здесь,— резко сказала тетка.

Ни слова не ответив ей, Калу пристально посмотрел на дочь. Даже от маленькой пятилетней Лекхи не укрылось выражение глубокой печали на его лице. Она подошла к отцу, прижалась к нему и сунула свою крохотную ручонку в его большой кулак.

— Сейчас праздник,—сердито кричала тетка,— в доме помещика поставили изображение десятирукой богини, чтобы каждый мог посмотреть на нее и поклониться ей. Все дети наденут новые праздничные платья и пойдут в большой дом. Там их щедро оделят освященными сластями. Ведь это же удовольствие для девочки! Ты что, не понимаешь этого?

— Так как же, Лекха?

Девочка подняла голову. Ее большие темные глаза, которые уже тогда были самым красивым в ее лице, устремились на отца.

— Домой!— решительно сказала она.

— Тебе здесь будет весело, будешь играть с другими детьми,— пробормотал Калу, стараясь доказать самому себе, что он беспристрастен.

— «Весело...» Подумаешь!— Лекха оттопырила свою тонкую нижнюю губку.— Мне и дома не скучно. Идем, отец.— С независимым видом взрослого человека она повела его к запряженной буйволами повозке, дожидавшейся у обочины дороги.

Пожалуй, самыми счастливыми днями для Калу были первые месяцы жизни дочери. Какое счастье было брать девочку на руки и нянчиться с ней. В нем словно проявилось материнское чувство. С годами он стал испытывать что-то вроде сожаления: подрастающая дочь становилась все более и более самостоятельной, а ему все еще хотелось взять ее на руки, его могучее плечо, где так часто покоилась головка девочки, ощущало непривычную пустоту. Теперь Лекха спала отдельно, и даже во сне Калу ощущал свое одиночество. Он тревожно ворочался и шарил руками по опустевшей постели. Иногда он просыпался в страшном испуге — ему казалось, что Лекху похитили. Тогда он вскакивал

и громко звал дочь, потом пробирался к ее ложу, пытаясь разглядеть ее в темноте: Лекха спала с полуоткрытым ртом, уткнувшись лицом в подушку. Осторожно, опасаясь нарушить ее сон, Калу дотрагивался до густых, пушистых волос, прислушивался к дыханию девочки. Как ласкало это теплое легкое дыхание его мозолистую от работы ладонь! О чем еще может мечтать человек? Боги отняли у него жену, но взамен они ему дали дочь.

Когда Лекхе исполнилось шесть лет, у нее на подбородке появилось крохотное пятнышко. Калу очень обрадовался, когда впервые заметил это.

— На лице у девочки должна быть хотя бы одна маленькая родинка,— сказал он дочери.— У твоей матери было три родинки. Одна — на подбородке, как и у тебя, другая — на левой щеке, там, где у нее появлялась маленькая ямочка, когда она улыбалась, а третья...— Он помолчал, вглядываясь в юный, вечно живой в его памяти образ.— Третья родинка у нее была не на лице, а вот здесь, чуть пониже шеи.

Он продолжал смотреть перед собой затуманенным, отсутствующим взглядом.

Нелегким делом было устроить Лекху в школу. Но Калу твердо решил в меру своих средств воспитать дочь так, как воспитывают детей благородного происхождения. Это решение, необычное для простого кузнеца, было внушено ему давней сокровенной мечтой матери Лекхи. Поглощенная мыслями о будущем ребенке, она часто повторяла:

— Наш драгоценный малыш или малышка пойдет в школу и выучится всему, чему там учат. На это мы должны найти деньги, даже если нам придется голодать.

Однако дело было не только в деньгах. Даже в те далекие времена, когда его кузница еще не приобрела славу лучшей в округе, заработков Калу хватило бы на покупку книг и плату за обучение девочки. Но примут ли ее в школу? Ведь ни красота Лекхи, ни ее хорошие манеры, ни даже изысканное имя не могли изменить тот факт, что она была дочерью камара *. Все свои надежды Калу возлагал на пожилую даму, начальницу школы. У нее было приветливое лицо и ласковые глаза. Эта пожилая дама была его заказчицей, и, желая задобрить ее, Калу брал с нее самую низкую плату. Заходя в кузницу, она несколько раз встречала там Лекху. Ей было известно, что у девочки нет матери. Когда Калу обратился к ней со своей необычной просьбой, начальница поджала губы и несколько минут внимательно оглядывала Лекху.

— Как тебя зовут, девочка?

— Лекха.

Калу быстро повернулся к дочери.

— Надо называть свое имя полностью, разве ты не знаешь?

— Чандра Лекха.

Калу колебался между надеждой и страхом. Он не сводил глаз с пожилой дамы, которая снова задумалась. Если она скажет «нет», это означает крушение его мечты, крушение заветной мечты матери Лекхи. Но глаза начальницы школы улыбнулись ему из-за очков в никелевой оправе, и она склонила свою седую голову в знак согласия.

— Ну что ж, почему бы девочке не учиться?

Однако через мгновение она предостерегающе добавила:

— Но ваша дочь должна приходить в школу в хорошей, чистой одежде и обуви.— Начальница знала, что дети простых тружеников обычно ходят босиком.

---

* Камары — одна из низших каст в Индии, к которой принадлежат ремесленники, кузнецы.

— У Чандры Лекхи будет все, что требуется,— ответил Калу.

На следующее утро он повел дочь в школу, расположенную на главной улице, в полумиле от дома. Но когда до ворот школы осталось ярдов пятьдесят, Калу остановился.

— Ну, а теперь иди одна, Лекха,— сказал он и повесил ей на плечо зеленую холщевую сумку, в которой лежали учебники и грифельная доска.

Девочка крепко уцепилась за руку отца и не трогалась с места.

— Лекха!

Она расплакалась.

— Не хочу в школу.

Слезы подступили к глазам Калу. Он крепко прижал к себе дочь и стал ласково уговаривать ее.

— В школе тебе будет очень весело. Там много девочек, таких же, как ты. Вы будете играть вместе. Ты научишься читать интересные книги. Я стану гордиться тобой, Лекха. Перестань плакать. Смотри, у тебя распухло все лицо.

— Тогда пойдем вместе, — умоляюще шепнула она, продолжая тереть рукой глаза и с испугом поглядывая на красное кирпичное здание, в котором помещалась школа.

Разве он мог признаться ей, что не хочет, чтоб привратник увидел их вместе. Хотя Калу надел свой лучший костюм, привратник, наверно, догадается, кто он. «Скажите на милость,— подумает привратник,— дочь кузнеца идет в школу!»

Они прошли еще немного, и Калу снова остановился.

— А теперь, Лекха, иди одна,— сказал он.— Нечего бояться. Посмотри, вон идут две девочки, они еще меньше тебя.

Но она все еще крепко держала его за руку.

— Чандра Лекха! — в отчаянии воскликнул он.

Девочка испуганно оглянулась на него, потом низко опустила голову. Ее пальцы разжались, и она сделала несколько шагов вперед.

— Улыбнись мне на прощанье, Лекха! — крикнул он ей вслед.

Лекха остановилась и улыбнулась отцу. Сердце его сжалось от нежности. Через мгновение Лекха пошла дальше и вскоре затерялась в толпе детей. Когда все они скрылись за воротами школы, Калу повернулся и медленно побрел назад. Он знал, что ему трудно будет взяться за дело без Лекхи: он так привык, что девочка сидит рядом и смотрит, как он работает.

Калу купил будильник и, сидя под низким навесом терраски, которая служила ему кузницей, то и дело поглядывал на черные стрелки часов. И чем ближе подходило время окончания уроков, тем медленнее тянулись минуты. Ему не сиделось на месте, взгляд его как бы подталкивал большую стрелку часов. Наконец, даже не дождавшись, когда зазвонит будильник, Калу бросал инструменты, сбегал по трем каменным ступенькам на улицу и спешил к школе, но обычно останавливался на некотором расстоянии от нее.

Лекха делала большие успехи. Он радовался и гордился ею. В конце года она лучше всех выдержала экзамены, и ее перевели сразу в третий класс. Теперь он уже не ходил к школе встречать ее, а дожидался на крыльце дома, напряженно вглядываясь в конец улицы.

Вот она, наконец! Завидев отца, девочка пустилась бежать. Ее густые, пышные волосы выбились из-под синей ленты, щеки раскраснелись от быстрого бега.

— Знаешь, что сегодня случилось на английском?

Он взял ее за руку и повел в комнаты.

— Сначала выпей чашку молока и съешь кусок хлеба с патокой, потом будешь рассказывать.

Но не успела она сделать несколько глотков, как он с любопытством спросил:

— Так что же случилось?

— Я ем,— Лекха с шутливой важностью поджала свои перепачканные молоком губы.

Он покорно ждал, наблюдая за ней.

— Ну, теперь можешь рассказывать. Что случилось?

— На английском уроке учительница сказала нам: «Сегодня скончался махараджа Джарны».

— Правильно,— подтвердил Калу,— это был хозяин сотни, а то и больше деревень в округе. Он умер сегодня утром.

— Наша англичанка сказала: «В знак уважения к его памяти занятия в школе завтра отменяются». А некоторые девочки захлопали в ладоши и закричали: «Ура!»

— Какой позор, — ужаснулся Калу и сразу же спросил. — Но ты-то хоть не кричала «ура», Лекха?

— Нет. Ох, если бы ты только видел, как разозлилась наша англичанка.— И Лекха весело рассмеялась.

Но когда с ней происходило что-нибудь неприятное, она старалась скрыть от отца правду.

Однажды Сухаши крикнула ей:

— Эй ты, дочь кузнеца, сколько стоит починить ведро?

Все знали, что отец Лекхи был кузнецом. Другие девочки захихикали, а Айра добавила:

— Послушай, дочь кузнеца, ты скажи своему отцу, чтобы он не надувал заказчиков. Он починил нам ведро, а оно через два месяца опять прохудилось.

Лекха, свято верившая в честность своего отца, не могла стерпеть такого оскорбления. Она размахнулась и влепила Айре две звонкие пощечины.

Тогда другие девочки с яростью набросились на Лекху. В этот день она вернулась домой в разорванном платье и с растрепанными волосами.

— Чандра Лекха!— в ужасе закричал отец.

— Я... я упала,— всхлипнула она.— Упала с дерева...— и разрыдалась.

Калу усадил девочку к себе на колени.

— Обещай мне, Лекха, что ты никогда больше не будешь лазить по деревьям. А если бы ты свалилась и вывихнула ногу?

При одной мысли об этом он пришел в ужас.

— Обещаю,— пробормотала Лекха. Оскорбительные слова все еще звучали у нее в ушах.

Калу молча гладил дочь по голове и плечу: его огрубевшие от работы пальцы умели быть такими нежными! Он пытался понять, что происходит с девочкой. Безошибочный инстинкт подсказывал ему, что дело тут не в падении с дерева.

Лекха почувствовала это и поспешила перевести разговор на другую тему.

— Не буду пить молоко с пенкой. Посмотри!— Она оттолкнула от себя медную чашку и надула губы.

И пока он снимал ложкой пенку с молока, девочка вытерла рукой слезы, и перед Калу снова была его веселая, беззаботная дочь.

— А разве ты сам никогда не лазил по деревьям?— спросила она.— Ты никогда не был маленьким?

Калу рассмеялся. Ну, конечно, хотя он и не ходил в школу, но

и у него бывали мальчишеские проделки. И он стал рассказывать дочери о своих детских шалостях, приукрашивая рассказ драматическими деталями для большего эффекта.

Она смотрела на него широко раскрытыми от удивления глазами. Но когда рассказ был окончен, Лекха недоверчиво покачала головой.

— Неправда,— сказала она.— Ты никогда не был мальчишкой. Ты всегда был папой.

В тот же самый день она сказала ему:

— Больше не чини ведра отцу Сухаши. Никогда.

— Кто это Сухаши?

— Сухаши Сен.

— Сен,— повторил Калу.— Это не инспектор ли здравоохранения? А чем он провинился?

— Ничем. Но больше не чини ему ведра.

— А может, починить, да скверно? Так, чтобы...

— Нет!— задыхаясь, крикнула Лекха. Она готова была расплакаться снова.

— Ладно,— озадаченный волнением Лекхи, Калу поспешил успокоить ее.— Пусть будет по-твоему.

В поведении дочери было что-то загадочное.

Настоящее, глубокое огорчение ему доставлял вид Лекхи — девочка росла худой и тщедушной.

— Ну что это за девочка! Смотреть тошно, настоящий заморыш — тянется вверх, как тростинка, а сама кожа да кости,— сокрушался он.— Можно подумать, что тебя морят голодом. Что скажут люди? «Зверь какой-то, а не отец! Громадный, здоровенный, как слон, а своего ребенка не накормит досыта». Тебе приятно было бы услышать это?

Лекха задумалась.

— Дураки!— с неожиданной страстью крикнула она, высунув язык воображаемым обидчикам. Для нее невыносима была мысль о том, что кто-то насмехается над ее отцом или оскорбляет его.

— Лекха!— в голосе Калу прозвучали строгие нотки, но тут же он громко расхохотался. Он не мог оторвать глаз от раскрасневшегося в гневе лица дочери. Он с обожанием следил за любыми переменами в этом лице, отражавшими, как в зеркале, ее настроения; даже самые неуловимые их оттенки не ускользали от его взгляда.

Калу умел только читать и писать. И когда его дочь стала делать успехи, новое беспокойство охватило его. Возвращаясь из школы, Лекха задавала отцу множество вопросов: почему земля круглая, отчего бывает лунное затмение? Она расспрашивала его о королях, о войнах древности и о многих других вещах. Разве мог он обнаружить перед ней свое невежество? Калу решительно взялся за учебу. Целые дни он работал в кузнице, а по ночам, когда Лекха спала, он вынимал из ее зеленой сумки учебники и при свете керосиновой лампы часами просиживал над ними. В нем жила решимость не отставать от Лекхи, и он быстро двигался вперед. Этим он надеялся укрепить свою дружбу с дочерью, хотя твердо знал, что наступит день, когда Лекха обгонит его.

Но Калу не замечал того, что для Лекхи его ученые познания значили гораздо меньше, чем его мастерство кузнеца, выковывающего лошадиную подкову из куска раскаленного железа. Глядя, как разлетаются искры вокруг его горна, Лекха жалела, что не родилась мальчиком. Отец наотрез отказывался обучать своему ремеслу дочь,— дочь, которая так успешно занималась в школе и получала награды.

— Была бы я лучше Обхиджитом!— воскликнула однажды Лекха. Она знала удивительную историю своего имени.

И в сердце Калу закралась печаль. Что будет с его мастерством?

С искусством, которое веками передавалось от отца к сыну, которое так отточилось в его руках? Это мастерство было основой основ в жизни Калу, и он с болью сознавал, что является его последним хранителем. Случилось так, что у него не могло быть сына. Но, поймав на себе невеселый взгляд Лекхи, Калу поспешил успокоить ее.

— Запомни, девочка, даже одного твоего волоска я не отдал бы за целого Обхиджита, слышишь?

Лекха росла и хорошела. Попрежнему она оставалась единственным бесценным сокровищем в суровой жизни Калу. Он с гордостью говорил друзьям:

— Своей красотой Лекха обязана имени, которое я ей дал еще до рождения. У нас в семье всегда так бывало. Еще до моего рождения отец назвал меня Калу — и вот, сами видите, что получилось. Так что, если бы я выбрал девочке имя Пунти или Мунни...— и он пренебрежительно пожимал плечами.

Но в глубине души Калу знал, почему Лекха растет такой красавицей: она вся пошла в мать.

Удивительно, как она вдруг из девочки превратилась в девушку. Ее кожа стала еще светлей, чем в детстве; у нее такое лицо, словно его выточили из слоновой кости, а черные глаза, опушенные длинными ресницами, поражают удивительно бездонной глубиной. Для девушки она довольно высока — до плеча ему, Калу; хорошо держит себя, грациозная, с плавными скупыми движениями рук, неторопливая; для каждого у нее всегда найдется улыбка и доброе слово; веселая, любознательная, но не легкомысленная, думал Калу. Любит свои книги; многие из них она получила в награду за успехи в ученье, другие приносит из библиотеки. Но она никогда не выставляет себя напоказ, никогда не кокетничает своими знаниями, как это принято у молодых девушек. Она как будто даже и не сознает, что хороша собой, и словно не замечает нескрываемого восхищения, с которым на нее смотрят люди. Довольствуется любым сари и кофточкой, которые Калу ей купит, и никогда не завидует дорогим платьям своих школьных подруг. Обойдите всю Джарну, и ни в одном благородном семействе вы не найдете девушки, равной Лекхе. Калу не переставал удивляться тому, что это его родная дочь. Наверно, когда крошечный ангел слетел с небес на землю, чтобы войти в чрево женщины и там стать земным существом, он ошибся улицей и домом. А может быть, это не было ошибкой, ведь и мать Лекхи была создана по тому же удивительному совершенному образцу. Никто из смертных не заслужил права обладать двумя такими сокровищами сразу. Пусть же все будет так, как есть. Пусть у него остается одна Лекха, его единственная отрада. Эта горячая мольба шла из самого сердца Калу, когда он, благоговейно сложив ладони, обращался к милосердным богам.

Как плохо, в сущности, знал он женщину, которая некогда была его молодой женой. Они прожили вместе слишком мало времени. Шли годы, и даже туманный облик ее растаял в его памяти. На смену пришел новый, полный очарования образ. Калу испытывал внутреннюю потребность сохранить живыми воспоминания о подруге своей юности. Он наполнял их новым содержанием, он обогащал их.

Лекха жадно впитывала то, что слышала от отца, и создала в своем воображении такой же яркий и живой образ матери. Этот образ никогда не покидал ее, он был ей нужен, потому что Лекха была так же одинока, как и Калу. Девочки в школе держались неприветливо и сторонились Лекхи из-за ее принадлежности к низшей касте. Она оставалась лучшей ученицей, и это усиливало их неприязнь. Лекха с радостью согласилась бы стать последней в классе ради того, чтобы заслужить любовь своих

школьных подруг. Но она знала, что это не поможет. Если б она училась плохо, ее презирали бы еще сильнее.

А люди ее круга открыто осуждали Лекху.

— Девчонка кузнеца напускает на себя ученый вид. Воробей рядится в перья попугая! — кричал старый Бриндаван на совете старейшин касты и неодобрительно качал своей седой головой.

Собравшиеся разделяли его возмущение.

— А что, если у этой сироты закружится голова от учености?— спрашивали они.

Такое отношение к Лекхе собратьев по касте раздражало Калу, и он держался от них в стороне. И все же люди из его общины и из других общин округи всегда обращались к нему за советом, когда надо было справить какой-нибудь праздник, уладить ссору или оплакать усопшего. Речи Калу были спокойны и мудры, а решения — продуманны и тверды. Казалось, внутренняя сила этого человека выкована из металла, и люди чувствовали это. Они знали, что на Калу можно положиться. По странной прихоти он отдал дочь в школу и не выдавал ее замуж. Но сердцем он оставался верен своему народу, жизнь которого была его жизнью. Всеми корнями своего существа Калу глубоко врос в родную, обогащенную веками почву.

Но чувство одиночества не покидало его. Это была их общая судьба — его дочери. Он радовался тому, что Чандра Лекха находит удовлетворение в книгах. Она занималась очень прилежно. И когда ей исполнилось шестнадцать лет, пришла, наконец, заслуженная награда. Лекха в это время была на последнем семестре. Ежегодно по всей Бенгалии проводился конкурс на лучшее школьное сочинение. Победитель или победительница получали награду: медаль в память древнего царя Ашоки.

И вот Калу заметил, что его дочь стала еще более сосредоточенной. Лекха часами просиживала на узком выцветшем коврике перед низеньким столиком. Иногда она сидела неподвижно, подперев подбородок ладонью и закрыв глаза, иногда яркосиними чернилами исписывала своим аккуратным почерком множество страниц, потом рвала написанное и снова принималась за работу. Время от времени она вполголоса перечитывала отдельные места. Так продолжалось много дней. Калу не тревожил дочь. Он издали молча наблюдал за ней. Иногда он ставил на стол медную чашку с молоком — молоко просветляет мысли! Но молоко так и остывало нетронутым. Тогда Калу уносил его, чтобы подогреть, потом снова ставил чашку перед дочерью.

— Пей, а то сделается пенка,— говорил он шепотом, чтобы не нарушить ее глубокой задумчивости.— Прибавить еще сахара?

Ему было радостно и грустно. Радостно от мысли, что Лекха настолько уверена в себе, что не побоялась вступить в соревнование с юношами и девушками всей Бенгалии, а грустно оттого, что ей придется испытать всю горечь неудачи.

Месяц спустя Лекха возвратилась из школы с пылающим от восторга лицом. Она вышла победительницей! В первый момент Калу не мог выговорить ни слова. Затаив дыхание, он восторженно смотрел на дочь. Ведь она оказалась первой девушкой в Бенгалии, удостоенной этой награды. Как недооценивал он ее ум, ее возможности!

А ночью Калу охватила печаль. Он обращался к матери Лекхи, к жене, чьим незримым присутствием был освящен их дом.

— Твоя мечта осуществилась,— шептал он.— Твоя дочь — гордость Джарны. Если бы только ты дожила до этого дня!

Несколько дней он сидел на террасе в молчаливом ожидании, надеясь, что кто-нибудь из именитых горожан придет к нему и похвалит

его дочь, которая одержала верх даже над школьниками великого города Калькутты!

Имя Лекхи было напечатано в «Хиндустане», так что каждый мог прочесть. В газете сообщалось, что ее сочинение было признано лучшим из тысячи работ, представленных на конкурс,— из тысячи! В заголовке приводились слова из заключения жюри: «Глубоко по мысли, живо по изложению». Чего еще можно было желать?

Калу купил три экземпляра газеты и сделал из них вырезки.

— Зачем тебе целых три, отец?— спросила со смехом Лекха. Она не осознавала всей значительности своей победы.

— Одна для меня, одна для твоего будущего мужа,— ответил Калу.

Лекха потупила взгляд, но продолжала настаивать.

— Все равно остается еще третья.

— А это про запас. На случай, если кто-нибудь из нас потеряет свою.

— «Глубоко по мысли, живо по изложению»,— восторженно повторял Калу этот одобрительный отзыв.

Неужели городской судья не зайдет к нему и не похвалит Чандру Лекху? В прошлом году он дважды посылал за Калу, когда требовалось подковать его лошадей. Это было еще до того, как судья продал коляску и купил себе автомобиль. А может быть, его навестит школьный инспектор? Потом, конечно, в здании муниципалитета устроят митинг, Чандру Лекху представят горожанам и увенчают почетной гирляндой. А что если и его, Калу, попросят сказать несколько слов? Вдруг на трибуне язык откажется повиноваться ему. Вот будет позор!

Никто не пришел к Калу. Словно ничего не произошло в городе Джарне.

Наконец по почте была получена медаль в синем бархатном футляре. Калу не сводил глаз с надписи. Какое счастье, что он дал своей дочери такое благородное имя! Имя, которое могло украсить серебряную поверхность медали. Но некому было показать ее. На ночь Калу прятал медаль под подушку и перед сном долго и любовно поглаживал ее.

Наконец страшная догадка поразила его: в Джарне не пожелали признать успех Лекхи из-за ее низкого происхождения. Ведь она была дочерью камара. Калу сжимал кулаки. Обида жгла его сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через три или четыре месяца после того, как Лекха получила в награду серебряную медаль, начался суровый год. Это была, пожалуй, самая мрачная пора в истории Бенгалии. Злая беда вцепилась в страну своими когтями — по пятам войны шел голод.

1943 год!

На Восточном фронте японские войска натолкнулись на стену сопротивления и остановились в нерешительности. Но в самой стране враги не встречали преград. Индийские спекулянты наравне с английскими пожинали золотой урожай, взращенный войной. Продукты не нормировались, цены были бесконтрольны, никто не мешал крупным хищникам вести свою шулерскую игру в гигантских масштабах, искусственно создавая продовольственные затруднения, и голод, охвативший страну, был делом рук озверевшего человека. Само правительство с английским вице-королем во главе являлось послушным орудием охотников за прибылями, стремившихся превратить миллионы человеческих жизней в звонкую монету.

Магически испарились все запасы зерна, амбары пустовали: крестья-

нам пришлось продать свой урожай. Обезлюдели рынки, все зерно было припрятано. Обреченным на голод земледельцам оставалось одно: продавать землю, чтобы на вырученные деньги покупать то, что они взрастили на ней собственным трудом. Рис вздорожал в пять раз. Ткачи продавали свои станки скупщикам из города, которые в поисках легкой наживы рыскали по деревням. Ремесленники расставались со своими инструментами. Рыбачьи лодки шли на топливо для продажи. Голод захлестнул страну. Бенгалия умирала. Умирала Джарна.

Калу праздно сидел в своей мастерской и смотрел на дорогу. Люди бежали из охваченных голодом селений. В поисках пропитания многие устремлялись в столицу. Калу ждал заказчиков, но никто не приходил. Горшки и сковородки, мебель и безделушки люди отдавали за горстку зерна. Двадцать возов домашней утвари было вывезено из Джарны. По-прежнему шныряли кругом скупщики, у которых имелись и деньги и рис в маленьких мешочках.

Что ж удивительного, если для кузнеца Калу не находилось никакой работы? Умолк Драчун, Раздутые щеки не поддавали жару в горн. Инструменты и материалы были в беспорядке разбросаны по кузнице.

— Отдохните, Раздутые щеки, полежи на месте, Драчун,— утешал Калу своих помощников.— Вы заслужили отдых.

Правда, это были уже не те молот и мехи, которые служили ему долгие годы. Своих старых друзей Калу отправил на покой после долгой и верной службы и отвел им почетное место у себя в комнате. Но эти новые инструменты Калу называл прежними именами, и они так же верой и правдой служили ему.

Однажды на пороге кузницы появился незнакомый человек. Калу, обхватив руками низко опущенную голову, сидел на соломенной циновке. В этой привычной позе он проводил теперь долгие часы вынужденного безделья. Заметив перед собой пару ног, Калу быстро поднял голову, и его потухшие глаза с надеждой впились в тучную фигуру мужчины в добротном городском костюме.

— Пронам *!— сказал Калу, складывая ладони в знак приветствия.

— Покупаю драгоценности — браслеты, ожерелья, покупаю за хорошую цену. Что можешь предложить?— спросил незнакомец.

Кузнец изумленно уставился на торговца.

— Браслеты, ожерелья? — эхом отозвался он.

Значит, это был не заказчик. Калу подавил в себе чувство разочарования.

— У тебя есть дочь...

Безотчетное негодование охватило Калу.

— Нет!—крикнул он,— я не продаю ничего!

— Но твоя дочь...— настаивал торговец,— может быть, она захочет...

— Мы не продаем ничего,— повторил Калу,— ничего.— Он повернулся к торговцу спиной и взялся за инструменты.

— Послушай, я приехал сюда из самой Калькутты...

— Вот как!

Торговец повернулся и направился к выходу.

— Не хотите согнуться сейчас, придет время — сломаетесь...— злобно бормотал он.— Всевышний ниспослал великий голод, чтобы хорошенько проучить эту чернь...

Но через мгновение в его голосе послышались другие ноты.

— Может, вы с дочерью надумаете переехать в столицу?— дружелюбно спросил он.— Что вам еще делать? Так ты, когда приедешь в Калькутту, спроси, как добраться до Читпур-род — это в северной

---

* Пронам — почтительное приветствие.

части города. Там найдешь кафе под названием «Космополитен Кэбин», владелец — дядюшка Садху. Рядом парадное, поднимешься на третий этаж и на двери увидишь дощечку с надписью: «Раджани Боз». Этот человек даст тебе работу и будет хорошо платить. Понял?

После ухода торговца Калу, сидя на корточках, долго разглядывал свои инструменты.

— Опасность миновала, Драчун. Никто не помешает вашему отдыху, Раздутые щеки,— шептал он, уныло покачивая головой.

Но через два дня Калу ожидал новый удар. Он увидел на руках Лекхи красные стеклянные браслеты.

— Так, значит, ты видела эту обезьяну-торговца?

Когда Лекхе исполнилось пятнадцать лет, Калу решил взять денег из своих сбережений, чтобы ко дню рождения купить ей золотые браслеты — четыре узких обруча, по два на каждую руку. Как она тогда гордилась этим великолепным подарком!

Лекха взглянула на Калу и улыбнулась своей подкупающей улыбкой.

— Отец,— весело сказала она,— стоит ли обращать внимание на такие пустяки?

— Неужели ты продала свои чури *? Не может быть! Скажи мне правду.

— Посмотри,— она грациозно подняла свои точеные руки.— Разве эти новые чури меньше идут мне?

Она побледнела, вспомнив о том, как торговец хватал ее за руки, пробуя на ощупь золотые браслеты. Она все еще чувствовала на своей коже прикосновение его горячих потных пальцев.

— Жаль снимать украшения с такой прекрасной руки.— Торговец осклабился и обнажил красные от бетеля зубы.

— Сколько?— спросила Лекха, спеша закончить сделку до того, как возвратится с воскресного базара отец.

— Цена?— хриплым голосом переспросил торговец, пожирая глазами ее лицо.— Золото к золоту и вернется, помяни мое слово, девушка. Не беспокойся. Жди своего часа.

Лекха отвернулась и пошла прочь, лицо у нее пылало, сердце колотилось от страха. Слишком нагло смотрел на нее этот незнакомец, а в его словах ей почудилось что-то нехорошее, пугающее.

— Не уходи!— крикнул ей вслед торговец.— Давай взвесим твои чури. Я хорошо заплачу.— Он вынул из кармана небольшие медные весы. Браслеты плотно обхватывали руки, и, когда Лекха стала стягивать их один за другим, кожа покраснела.

— Осторожнее, осторожнее,— приговаривал торговец.

Но Лекха торопилась еще больше, боясь, что он предложит помочь ей.

— Мы еще встретимся с тобой, девушка, и скорее, чем ты думаешь. Если будет угодно богу...

Она повернулась и бросилась бежать. Хриплый голос звучал в ее ушах. Деньги, которые торговец заплатил за браслеты, жгли ей руки.

Она наблюдала за ним из окна. Сердце ее все еще бешено колотилось. Торговец, волоча ноги, медленно шел по улице. Дважды он обернулся назад и пристально посмотрел на их дом, словно хотел его хорошенько запомнить.

Только после того, как он скрылся из виду, Лекха смогла перевести дыхание. Но лицо торговца еще долго стояло у нее перед глазами, внушая ей страх своим непонятным зловещим выражением.

---

* Чури — украшения, драгоценности.

...Взгляд отца все еще был прикован к ее рукам. Изумление сменила печаль. Эти дешевые стеклянные браслеты носила мать Лекхи — они были ее единственным украшением. В те далекие времена у Калу не было денег на более дорогие подарки. А когда его дела поправились, жена уже умерла. За короткое время, которое они прожили вместе, она не видела ничего, кроме нужды, но никогда не жаловалась. И в этом Лекха была похожа на мать. Девушка с радостью надела на руки эти стеклянные браслеты. Так немного ей было нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. Но даже этого немногого он скоро не сможет дать ей. Может быть, Лекха вместе с сотнями других людей будет бродить по полям, словно голодное животное, рыться в земле и искать дикие съедобные корешки.

Калу повернулся и с тяжелым сердцем побрел в кузницу. Он присел возле наковальни и снова закрыл лицо руками. Он видел перед собой Лекху. Она рылась в земле в поисках корешков, забиралась на деревья за плодами, бродила по воде у берегов пруда в надежде поймать несколько креветок. Щеки ее провалились, большие тусклые глаза глубоко запали. Она переступала с трудом, словно маленький ребенок.

Это была знакомая картина. Сотни людей дошли до такого состояния, и многих уже не было в живых. От этой страшной участи Калу и Лекху пока спасали скудные сбережения. Но сумма, которую он копил годами, заметно истощалась — и с какой быстротой! Всякий раз, когда Калу думал об этом, у него пересыхало во рту. Пять рупий, заработанные им некогда с таким трудом, теперь были все равно, что прежде одна. Это не укладывалось в сознании. Выходило, что четыре пятых его труда за все эти годы ушли впустую, остались неоплаченными. А ведь он трудился в поте лица, работал с раннего утра до поздней ночи, работал, сколько хватало сил. Но он ценил свой труд и не упускал того, что ему причиталось по праву. Только один-единственный раз он не взял с заказчика денег за работу — когда старый брахман дал ему имя для ребенка, который должен был родиться в ту же ночь. А почему? Ведь как прекрасно ни звучало это имя, старику ничего не стоило предложить его. Впервые за шестнадцать лет Калу пожалел о своем поступке. Целых две рупии! Но тут же он вспомнил обо всем и безнадежно махнул рукой. Все равно, теперь эти две рупии упали бы в цене в пять раз, так что нечего жалеть о проявленном благородстве. Правда, старый брахман рассказывал об этом людям, и они тогда подсмеивались над Калу.

— Эх ты, Калу, надо было нас спросить. Мы бы тебе продали еще лучшее имя и вдвое дешевле.

Калу улыбнулся. «Какие только глупости не застревают в памяти»,— думал он. Но тут же улыбка сбежала с его лица. Да, сбережения таяли с каждым днем, словно какое-то страшное чудовище пожирало их. Скоро не останется ни пайсы. Что тогда?

«Что тогда?»— мрачно спрашивал себя Калу. И боялся честно ответить себе на этот вопрос.

Целый месяц прошел, прежде чем он принял решение, которого так боялся. Он должен отправиться в столицу, в город, занимавший по числу населения шестое или седьмое место в мире — так было сказано в учебнике географии у Лекхи. Улицы этого города не совсем чужие для него. В ранней юности Калу прожил в столице целых два года, а впоследствии он возил туда на каникулы Лекху, когда ей исполнилось двенадцать лет. Они сняли тогда комнату возле храма Кали, а обедали в ресторане и впервые ели приготовленные по-городскому мясные острые блюда. Одно из них особенно нравилось и ему и Лекхе: нежные шарики из мяса с поджаренным луком, политые густым соусом. Но еда не была для них

главным удовольствием, интереснее всего был сам великий город, его вид, его запахи, его атмосфера.

Джарна теперь превратилась в призрак города. Люди сотнями устремлялись в Калькутту. Мир был ввергнут в грозную войну, напоминавшую битву, описанную в эпосе «Рамайяна». Казалось, люди на Западе проникли в тайну оружия древней Индии: виманов — воздушных колесниц, сражающихся в облаках, шабдаведи — пушечных ядер, которые сами находили цель, брахмастра — волшебных снарядов, которые, взрываясь, застилали все вокруг туманом, повергавшим в вечный сон целые армии. Бенгальская столица превратилась в кузницу войны. Разумеется, там найдется дело для рук, сильных, как молот, для рук, в которых металл становится послушным, как глина.

Лекху придется оставить на попечение тетки. Это вселяло тревогу. Большую тревогу. Но они расстанутся ненадолго. Скоро Калу приготовит для дочери новое, городское жилье: две комнаты с водопроводом и электрическим освещением. А там, глядишь, через год он откроет собственную мастерскую и будет работать, не зная над собой никаких хозяев, заботясь только о том, как угодить заказчикам-горожанам. У Лекхи появятся новые, модные браслеты и сережки колокольчиками. Девушка уже на выданье — вот еще причина для переезда в столицу. Там легче будет подыскать достойного жениха. Зять станет его помощником и компаньоном, и тогда ему, Калу, не придется расставаться с дочерью. Лекха с мужем будут жить тут же, рядом. А пока что девушка нуждается в присмотре: слишком хороша собой и характер неровный, как это бывает в ее возрасте. Не так давно старая тетка жаловалась, что девушка часто смеется без всякой причины.

— А почему бы ей не смеяться?— резко спросил Калу.

— Тебе, как отцу, нечего задавать глупые вопросы. Что подумают мужчины, услышав такой смех? Ветренница, подумают они. Смеясь, девушка раскрывает ту часть своей души, которую она должна прятать. Только серьезность может служить ей надежной защитой.

В словах старой тетки была доля правды. Еще до того, как начался застой в делах, Калу однажды пошел с Лекхой в кино. Показывали комедию. Два актера — тонкий и толстый — дурачились на экране. Лекха захлебывалась от удовольствия. Она хохотала так, как никогда в жизни. Казалось, какая-то скрытая радость переполняет все ее существо. Она не обращала внимания на незнакомого человека, сидевшего слева от нее. То ли смех девушки, то ли нечаянное прикосновение ее локтя привлекли его внимание, и он стал искоса поглядывать на Лекху. Калу, тайком наблюдавший за этим, так рассердился, что готов был тут же схватить Лекху за руку и увести из зала. Но у него не хватило духу сделать это. Ведь радость Лекхи — его радость. И ведь он сам знает, что ни один человек не может пройти мимо Лекхи, не оглянувшись. Но, разумеется, дочь нуждается в присмотре. Иначе люди в ее смехе могут заподозрить нечто большее, чем невинное веселье или простую шалость. Представив себе это, Калу глухо застонал. Он сотрет в порошок любого негодяя, который даже в мыслях своих посмеет причинить ей зло. Он...

— Что с тобой, отец?

Услышав стон отца, Лекха прибежала с террасы, где она готовила к завтраку чечевицу. Калу устремил на дочь внимательный взгляд, и его густые усы чуть заметно дрогнули.

— Что случилось, отец? Скажи,— настаивала она.

— Чандра Лекха,— сказал, наконец, Калу. В порыве чувства он всегда называл дочь полным именем.— Чандра Лекха, что будет с тобой, когда я умру?

Лекха сделала несколько быстрых шагов и бросилась к нему в объятия.

— Ты хочешь довести меня до слез,— хрипло крикнула она, прижавшись своей гладкой, атласной щекой к его волосатой груди, мокрой от пота.

Калу тяжело дышал.

— Смотри, Лекха, будь тут осторожна без меня. По улицам шатаются всякие проходимцы, у которых недоброе на уме и во взгляде. Если бы я только мог не уезжать.

Калу замолчал. От сознания собственной беспомощности у него сжалось горло.

— Но мы расстанемся ненадолго,— продолжал он.— Что еще я могу сказать тебе? Ты у меня умная, рассудительная. Эти черные дни останутся позади.— Глядя на дочь, Калу снова замолчал. Щемящая тоска в душе становилась все сильнее.

Настал день, когда Калу пришлось продать свое последнее имущество — Драчуна и Раздутые Щеки.

— Служите своему новому хозяину верой и правдой,— приговаривал он, ласково поглаживая их на прощанье.—И не думайте плохо о том, кто вам дает работу.— И Калу заморгал глазами, смахивая навернувшиеся слезы.

Теперь его денег могло хватить на два, от силы на три месяца. Два или три месяца? Что ж, это достаточный срок.

Билета он не будет покупать. Тысячи людей ездят бесплатно на подножках вагонов. Здесь, в Джарне, на вокзале постоянно шныряет полиция. Надо будет дойти пешком до следующей станции и попытать счастья там. Скоро он найдет работу и будет экономить каждую пайсу. И как только у него наберется сто рупий, он тут же вернется домой — это будет самый счастливый день — и возьмет с собой в город Чандру Лекху. И никогда больше ей не придется бояться голода.

— Торопись, торопись,— подгонял он самого себя. Но словно железная глыба легла на его сердце. Он отложил свой отъезд, решив еще три дня провести дома с Лекхой. Калу не сводил с дочери глаз. Казалось, он никак не может вдоволь наглядеться на нее. Он смотрел, как она готовит еду, убирает комнату, чинит одежду. Ночью он лежал, не смыкая глаз, и все думал о том, что она здесь с ним, мирно спит за стеной в своей постели. И чувство изумления, которое не покидало его все эти годы, с новой силой нахлынуло на него. Неужели это он — отец такой прекрасной девушки; ведь он — простой, грубый человек, а Лекха — богиня в земном образе. Как это случилось? Как могло произойти такое чудо?

Промелькнуло три дня, и наступил, наконец, страшный час разлуки. Рыдая, Лекха прижалась к отцу. У нее было предчувствие, что они больше никогда не увидятся. Этот страх парализовал ее. Калу не мог ни разубедить, ни утешить дочь. Он не мог выговорить ни слова. Он только смотрел на Лекху сквозь пелену, застилавшую его глаза, и безмолвно гладил ее по голове и плечу.

Старая тетка молча наблюдала за ними. — Хватит! — крикнула она наконец. Скоро солнце на своей огненной колеснице повернет на запад, добрый час будет упущен, и поездку снова придется отложить на два дня и одну ночь. К чему все эти причитания?

Калу взял небольшой узелок с бельем и с десяток рисовых лепешек, завязанных в салфетку. Перед уходом он отозвал в сторону свою старую тетку и отдал ей несколько рупий.

— Лекха заставила меня взять эти деньги,— тихо сказал он.— Мне

столько не нужно. Но если я попытаюсь вернуть эти деньги ей, девочка будет плакать.

— Как же ты поедешь без денег?— старуха печально покачала головой.

— Не беспокойся обо мне. Неужели я не сумею прокормить себя? Эти деньги вам здесь нужнее,— сказал Калу.— А себе я оставил две рупии и немного мелочи.

— Дурга! Дурга! * — воскликнула старуха, взывая к великой богине, заклиная ее охранять Калу в пути.

Перекинув через плечо узелок с бельем и взяв в руку завернутые в салфетку лепешки, Калу пошел по дороге. Пройдя несколько шагов, он остановился и оглянулся назад, на Лекху, стоящую в дверях. Так он оглядывался раз, другой, третий, потом отвернулся и почти бегом скрылся за поворотом улицы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошло всего шесть дней, но за это время успел перевернуться весь мир. Один миг безрассудства стоил Калу целой жизни страданий.

Железнодорожная станция в Джарне так и кишела полицейскими. Наконец, он услышал грохот пассажирского поезда, прибывшего в Джарну с Востока. Как только поезд подошел к станции, Красные Тюрбаны принялись за работу: они отталкивали от вагонов мужчин и женщин, десятками цеплявшихся за подножки. Раздались крики отчаяния.

— Умираем с голоду!.. Подай хоть несколько крошек, отец... Пусти нас, мы хотим поехать в Великий город. Там хватает еды даже для кошек и собак. Сжалься над умирающими, отец. Позволь нам уехать...

— Вы что, хотите остаться без ног? Сорветесь и попадете под поезд, — добродушно уговаривал их железнодорожник в остроконечной шапке и щегольском белом мундире с блестящими пуговицами.

— Попадем под поезд — умрем сразу. Останемся здесь — будем подыхать день за днем. Помоги нам, Океан Милосердия! Не дай умереть с голоду. Всевышний благословит тебя...

— Что же он вас-то не благословит? — Железнодорожник потерял терпение.

Голодающие не знали, что ответить на это. День за днем, месяц за месяцем они горячо молились, взывая ко всем божествам в храмах и на небесах. Но боги не внимали им. Боги не хотели даже ниспослать людям, медленно умиравшим от голода, легкую, мгновенную смерть. Наложить на себя руки и уйти от страданий? Но это грех. Человек не имеет права ни у кого отнимать жизнь, даже у самого себя.

Когда раздался резкий свисток и поезд, пыхтя, тронулся с места, несколько отчаявшихся людей вырвались вперед и вскочили на подножки вагонов. Двое поскользнулись и с воплями сорвались на землю. Под крики и ругань полицейских поезд скрылся вдали.

«Значит, вот как попадают на поезд», — заметил про себя Калу. Следующий состав должен был прибыть в Джарну почти через пять часов. Можно было сходить домой и успеть вернуться к его приходу. Калу мучила тоска. Ему казалось, что он не виделся с Лекхой целую вечность. Мысленно он представил себе сцену своего неожиданного возвращения. «Чандра Лекха!» — крикнет он с порога. Она вздрогнет и оторвет глаза от книги. Что это? Не почудилось ли ей? «Чандра Лекха!» Она замрет на месте, не смея поверить своим ушам. Потом, справившись со

* Дурга — богиня милосердия.

своим волнением, направится к двери. Дверь чуть-чуть приоткроется, и при виде отца Лекха остановится на пороге как вкопанная, не в силах произнести ни слова, только глаза у нее станут большие-большие.

Картина эта стояла перед взором Калу и обжигала глаза. Он быстро пересек платформу, вышел из ворот станции и в нерешительности остановился на перекрестке. Перед ним было две дороги. Одна — на юг, к дому, другая — на запад, к деревне Бодхуграм, где находилась следующая железнодорожная станция. В Бодхуграме полиция, наверно, не так строго наблюдает за посадкой, и там больше надежд попасть на поезд. Калу колебался. Вернуться домой? Не успеешь опомниться, как снова наступят мучительные минуты расставанья. Он был готов вынести любую муку за ту короткую радость, которую ему сулило свидание с дочерью. Но Лекха? Лекха будет страдать. Ей придется снова пережить весь этот ужас.

Нет. Калу повернулся и пошел по западной дороге. Только раз он остановился — ноги отказывались идти дальше. Остановился и оглянулся на дорогу, ведущую к дому. А потом пошел дальше, ускоряя шаги, чтобы не поддаться искушению передумать и повернуть обратно. Слезы душили его... Откуда пришла такая беда? Горсточка риса для Лекхи и для него — это все, о чем он мечтал. И за это он готов был трудиться в поте лица с восхода солнца до поздней ночи, трудиться, как буйвол в поле, и благословлять судьбу, от всего сердца благословлять судьбу. Только бы ему не расставаться с дочерью, с его Лекхой...

Калу шел и шел, глаза его глядели вперед, но мысли все возвращались назад, к дому. Он вспоминал милые подробности, радостные мелочи, связанные с Лекхой. Так недавно все это было. Ярко горел огонь в кузнице. Работа не оставляла Калу ни минуты свободной. Лекха любила рыбу горячей, прямо со сковороды, и Калу попросил тетку купить на ужин свежего карпа. Приправа должна быть острой, с горчицей. (Сейчас едва наступил полдень, но от быстрой ходьбы Калу уже чувствовал голод.) В те времена он гордился своим аппетитом. Когда его приглашали на праздничный обед, хозяевам приходилось немало похлопотать, чтобы угостить его как следует. Любопытные следили за тем, как он ел. За столом шептались: «Калу съел одиннадцать кусков рыбы с рисом и шесть порций козлятины». «Посмотрите, сегодня Калу ничего не ест, кроме простокваши и плодов манго. Он опорожнил уже огромную миску простокваши с толстым слоем сметаны сверху, а что касается манго, то он уже перевалил за полсотни и, как видно, еще не собирается остановиться».

Каждая свадьба или похороны в их общине причиняли Лекхе немало беспокойства: как бы отец не объелся и не заболел. Где они, эти дни изобилия! Сама Лекха всегда была плохим едоком. Она, словно птичка, клевала понемногу. Каждый день ему немало усилий стоило заставить ее съесть лишний кусок.

И сразу мысли Калу приняли другой оборот. Если ему не удастся скоро найти работу, у Лекхи не будет даже той горсточки риса, которая ей нужна. Она должна будет тогда добывать себе пищу где придется, как птица или животное.

Вот и Бодхуграм. Маленький чистый вокзал под накаленной полуденным солнцем красной черепичной крышей. Но на просторной веранде, защищенной густой завесой голубого вьюнка, цепляющегося за деревянную решетку, царит приветливая прохлада. Калу присел на скамью в дальнем углу пустынной платформы и положил рядом с собой свой узелок. А не съесть ли рисовую лепешку? Он провел рукой по узелку, словно погладил его. Нет, нужно подождать. Предстоит длинный путь в поезде, прежде чем он доберется до столицы. Лучше приберечь еду на ужин.

Поезд прибыл точно по расписанию, и Калу, так же как и десятки других людей, вскочил на подножку и крепко ухватился за поручень. Странно, что их никто не сгоняет. Неужели Красные Тюрбаны сжалились над ними? Может быть, точно так же удалось бы сесть на этот поезд и в Джарне. Как глупо было идти пешком весь длинный перегон, потерять столько сил. До следующей станции шесть миль. Но что бы ни случилось там, он все-таки будет на один шаг ближе к столице. Поезд тронулся. На платформе был только один железнодорожник — тот, что давал сигнал отправления.

Калу почувствовал, что он, наконец, может вздохнуть свободно. Придется еще долго-долго ехать на подножке вагона, поэтому надо беречь силы. Это скорый поезд? Часы и минуты жизни Калу теперь ему не принадлежат. Они принадлежат Чандре Лекхе. Чем скорее он добьется успеха и начнет зарабатывать на пропитание, тем скорее его девочка приедет к нему в столицу. Торопись, машинист, корми углем раскаленную печь, подсыпай больше, больше. Торопись!

Но что это? Едва отойдя от платформы, поезд замедлил ход и с коротким рывком остановился. И вдруг откуда-то налетела орда Красных Тюрбанов. Полицейские набросились на несчастных голодающих, очищая подножки. Дубинки ходили по плечам и спинам. Один из ударов пришелся по узелку с едой, который висел на руке у Калу. Салфетка разорвалась, и лепешки рассыпались по грязной земле. С радостными воплями люди хищно набросились на еду, и через минуту на земле не осталось ни крупинки.

Окинув остолбеневшего Калу свирепым взглядом, Красные Тюрбаны удалились, презрительно усмехаясь. Они вошли в вагоны, и поезд тут же тронулся в путь с пронзительным свистом, словно насмехаясь над оставшимися позади людьми: у-у-у!..

Гнев затопил сердце Калу. Горькая, неведомая ему прежде ярость охватила его. Он поднял сжатый кулак и погрозил вслед уходящему поезду.

— Скоты и дьяволы!

Кровь стучала в висках.

Голодающие покорились судьбе и, понурив головы, медленно побрели на своих натруженных ногах к западу. Калу шел следом, держась на небольшом расстоянии. Потом он решил обогнать их и прибавил шагу. Он не останавливался до тех пор, пока не оставил всех далеко позади.

Наконец, он смог перевести дух и стереть с лица струящийся пот. Как напугало его жалкое зрелище, которое представляли эти люди. На мгновение он увидел себя и Чандру Лекху такими же, как они, и его охватил леденящий ужас. Торопись! Время не ждет, торопись!

Но куда торопиться? До наступления темноты поезда не будет. Следующая станция только через шесть миль. А что если и там ему не повезет? Чтобы добраться пешком до Великого города, потребуется неделя или десять дней. Питаться ему придется лишь тем, что он выроет из земли или сорвет с деревьев. А на это ежедневно будет уходить несколько часов. Силы иссякнут, словно огонь в лампе, где выгорело все масло. И когда Калу, наконец, доберется до места, он не сможет взяться за тяжелую работу. Растворившись в потоке голодающих, он станет одним из них — такой же изможденный, такой же изверившийся во всем. А Лекха! Что будет с ней? Торопись! Время не ждет, торопись!

Дойдя до следующей станции, Калу решил выждать и посмотреть, что станут делать остальные голодающие. Они должны появиться здесь не позже, чем через полчаса. Если они станут осаждать поезд толпой, полиция наверняка примет меры, как это делается повсюду. Может быть, ему лучше убраться во-время.

Но из-за поворота дороги уже показалась медленно бредущая толпа, и Калу застыл на месте. В это мгновение он ненавидел их, этих несчастных. От их поведения зависела его судьба, его жизнь. Если бы только они прошли мимо!

Они остановились. У Калу захолонуло внутри. Выбора не было. Придется продолжать путь.

Но тут произошло чудо. Остановившись на мгновение, люди обменялись несколькими словами, приняли какое-то решение и двинулись дальше. Не веря своим глазам, Калу смотрел им вслед: они брели по дороге, мужчины, женщины с небольшими узелками, с детьми на руках; брели все дальше и дальше, до тех пор, пока тенистая манговая роща не укрыла их.

«Слава всевышнему!» — с чувством громадного облегчения подумал Калу. И вслух обратился к дочери:

— Да, да, девочка, надежда еще не потеряна для нас.

Калу тщательно обдумал план действий. Пока что ему не следует показываться на платформе, а то как бы контролер не стал задавать вопросы. Солнце только что село, и поезд придет еще не скоро. Калу отошел от станции. Нигде не видно жилья. Неподалеку должна быть деревня. Но что можно найти там? Разве только еще новые жертвы голода. А может быть, все население уже ушло отсюда, и поэтому на платформе никто не дожидается поезда? Лучше не уходить далеко. Калу прилег на заросшей травой насыпи. Он вернется на станцию позже.

Время тянулось медленно. Лежа на спине под мерцающими звездами, Калу даже задремал. Усталость сковывала его тело и мысли. Но нельзя было поддаваться ей, поэтому он поднялся и устало побрел через станционные ворота на платформу. Там на скамье прикорнул носильщик. Рядом с ним стоял красный фонарь.

— Поезда на Калькутту не ожидается? — как бы мимоходом спросил Калу.

— Будет минут через сорок. Девятичасовой прибывает сегодня с опозданием. Горе с этими голодающими. На каждой станции из-за них задержка. Тысячные толпы.

— Да, да, брат, это большое горе, — вздохнул Калу и поторопился отойти в сторону. Он сел в темный угол и стал ждать. Время тянулось ужасающе медленно. Но, наконец, наступила минута, когда Калу снова очутился на подножке вагона. На этот раз он там был один. Полиция поработала не зря.

Калу крепко ухватился за поручни. Ветер свистел в ушах от быстрой езды, оглушительно лязгали стальные колеса. Дым паровоза казался ему чудовищной рукой, пытавшейся схватить его и вырвать из жизни. Калу изо всех сил цеплялся за поручни. Каждые полчаса поезд останавливался, и тогда Калу сразу же спрыгивал на платформу. Он снова вскакивал на подножку только в тот момент, когда поезд трогался с места.

— Сигареты, бетель, табак! — раздался резкий крик разносчика. Калу вздрогнул. Кроме оповещения: «Питьевая вода бесплатно», — это был единственный живой голос, который Калу услышал за всю эту ночь. Где же все другие выкрики, столь привычные в дорожной обстановке?

— Бутерброды с мясом!

— Сахарные леденцы!

— Шербет, прохладительный шербет!

Теперь на станции невозможно было купить ничего, кроме табака и листьев бетеля.

Так Калу летел вперед по окутанной мраком Бенгалии. На зубах у него скрипела дорожная пыль, руки сводило от усталости. Время от времени он осторожно менял положение. Прошло два или три часа.

И вдруг Калу заметил подобие человеческой тени, застывшей на подножке соседнего вагона.

Попутчик! Где ему удалось сесть на поезд? На последней остановке или раньше? Калу напряженно вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть лицо незнакомца. Молодой он или старый? Кого оставил дома? Мать, жену, детей? Чувство близости к этому человеку заговорило в душе Калу. Захотелось положить ему руку на плечо и спросить: «Как тебя зовут, брат? Откуда ты? Из какой деревни или города?» От этого вдруг возникшего сострадания к другому у Калу стало легче на душе. Словно даже ехать на подножке было теперь не так мучительно. Встречный ветер хлестал в лицо, и Калу приходилось отворачиваться от незнакомца. Но он то и дело оглядывался, черпая силы в сознании, что тот здесь, рядом. Мысль о рассыпавшихся рисовых лепешках не давала Калу покоя. Если бы они были целы, можно было бы поделиться едой с новым товарищем: этот человек, наверное, очень голоден.

Голоден? У него у самого желудок сводило от голода. Никогда в жизни он еще не был так голоден. Кружилась голова, туман застилал сознание, усталость разливалась по телу. Хотелось опуститься на колени, но усилием воли Калу заставлял себя держаться на ногах, чтобы не упасть вниз, под колеса.

Черная ночь окутывала землю. Раскачиваясь из стороны в сторону, поезд на полном ходу пересекал длинный мост. Калу прижался к стенке вагона. Фермы моста, каким-то чудом не задевая его, пролетели мимо. Грохот железа бил по нервам, барабанные перепонки готовы были разорваться. Наконец страшное испытание осталось позади, и Калу повернулся к своему спутнику. Как себя чувствуешь, брат?

Он вздрогнул и едва удержался на ногах. Там, где прежде темнели неясные очертания человеческой фигуры, теперь была пустота. В первое мгновение Калу не мог понять, что произошло. Потом он содрогнулся. Стальные фермы моста сорвали его товарища с подножки.

Слезы навернулись на глаза Калу.

— У тебя не хватило сил, брат, — прошептал он. — Теперь все страдания для тебя кончились. А я должен продолжать борьбу, брат, потому что у меня есть дочь и я не нахожу другого выхода.

Когда забрезжил рассвет, Калу стало легче. Путешествие близилось к концу. Калу вдруг заметил, что стенка вагона желтая. Все другие вагоны были темнокоричневого цвета. Если бы не мучительное чувство голода, можно было бы рассмеяться. Он ехал первым классом. Совсем рядом с ним было открытое окно. Калу осторожно подобрался к нему, чтобы заглянуть внутрь.

В купе, уютно свернувшись в постели, спал человек. Он ехал один. Неосмотрительно было с его стороны оставлять окно открытым, особенно в такое время. Весьма неосмотрительно! Калу заглянул в окно и сразу же увидел на столике бананы. Гроздь золотистых спелых бананов.

Как зачарованный, Калу уставился на плоды. Вид этих бананов причинял ему невыразимые мучения. Он не мог оторвать от них глаз. Его голод, казалось, усилился во сто крат. Ноги больше не держали его. Он почувствовал, что должен немедленно сесть или прилечь на подножке вагона. Да, прилечь. Но он продолжал смотреть на бананы, терзая себя.

Поезд подошел к станции. Приятно было ступить ногой на твердую землю и знать, что до Великого города осталось всего каких-нибудь пятьдесят миль. Человек в купе проснулся, сунул ноги в вышитые бархатные туфли и вышел на платформу. Протирая глаза, он направился к газетному киоску.

И в это мгновение Калу забыл обо всем на свете. Желтая дверь вагона осталась открытой. Калу проскользнул в нее. Грохот колес, дви-

жение поезда все еще отзывались во всем его теле. Три быстрых шага — и он оказался в купе. Когда через мгновение он выскочил оттуда, в его руке были зажаты три спелых банана. Он пожирал их глазами. И вдруг чьи-то сильные руки схватили его. Калу вздрогнул. Это был переодетый полицейский.

— Я давно наблюдаю за тобой, брат. По лицу вижу, с кем имею дело.

Он стащил банан, только банан! Но это все равно считается кражей. На такие вещи нельзя смотреть сквозь пальцы, особенно когда вокруг скитаются орды обезумевших от голода людей. И, разумеется, случись возможность, он стащил бы что-нибудь более ценное. Если его не проучить, он обнаглеет еще больше, так сказали Калу в полицейском участке.

— Лекха! — стоном отчаяния вырвалось из груди Калу. — Лекха! — Стук колес все еще раздавался у него в ушах.

— Пустяковое дело, — сочувственно сказал конвоир, как бы отвечая на безмолвный вопрос Калу. — Дней пятнадцать, быть может месяц, не больше.

Пятнадцать дней, может быть месяц! Наказание не пугало Калу. Но время не принадлежало ему. Оно принадлежало Лекхе. Лекха будет страдать. Один миг его безрассудства заставит ее страдать.

Но тут на помощь пришел разум. Среди незамысловатых истин в сознании Калу жила вера в закон — это оружие справедливости для всех, даже для бедняков. Справедливость — больше мне ничего не нужно, говорил себе Калу. Его дело совсем простое. Он только должен будет изложить факты. Суд поймет все. Он не вор, он искусный мастер из Джарны, где его всякий знает и всякий может поручиться за него. Он подковывал лошадей самому городскому судье до тех пор, пока тот не купил себе в прошлом году автомобиль. А когда сборщик налогов строил себе большой двухэтажный дом на улице Ситарам, он заключил с Калу контракт на все слесарные работы. Дочь Калу десять лет посещала школу вместе с девочками из лучших семей округи. Никогда он воровством не занимался и не занимается. Голод заставил его отправиться в столицу искать работу, и он был вне себя от стыда, что ему пришлось ехать на подножке вагона.

Калу почувствовал облегчение. Надо же было так мучиться из-за нелепого страха! Как мог он усомниться в том, что закон справедлив, что истина будет установлена.

Через пять дней Калу, закованный в наручники и обвязанный вокруг пояса длинной толстой веревкой, стоял в зале уголовного суда. Он отвечал на вопросы: имя, возраст, профессия?

После того как Калу признал себя виновным, судья окинул его строгим взглядом.

— Почему ты сделал это? — спросил он.

— Я был голоден, господин. На меня напало безумие. Мне показалось, что если я не съем чего-нибудь, то умру. На меня напало безумие. Я хотел жить.

Три переспелых банана в качестве вещественного доказательства лежали на столе. Они уже начали гнить.

— А зачем? — спросил слуга закона, облаченный в темное платье английского покроя. — Зачем ты хотел жить?

В голосе судьи не прозвучало и тени насмешки, его гладкое круглое лицо было холодно и бесстрастно. Вопрос следовало понимать буквально, не в каком-то метафизическом смысле. Судья любил жизнь, знал ей цену и боялся смерти. Но жизнь простого рабочего человека — это совсем другое дело.

Калу растерялся.

— Я... — запинаясь произнес он, — я...

— Зачем ты хотел жить? — переспросил судья. Вопрос прозвучал не сурово, а холодно и равнодушно. Взгляд судьи, склонившегося над столом, был устремлен на позолоченное перо, которое он держал в руке. Казалось, судья соразмерял тяжесть пера с тяжестью приговора, который будет подписан через несколько мгновений.

— Вершитель правосудия! — услышал Калу свой собственный голос.— Я — червь, и моя жизнь не стоит ничего. Но у меня есть дочь, господин, она растет без матери, у нее никого нет, кроме меня. Моя дочь, Чандра Лекха, — она должна жить, господин.

И Калу уже готов был рассказать достопочтенному судье, что Лекха училась в школе и что ей была присуждена медаль в память Ашоки. Но судья уже принял решение. Преступление был налицо и требовало примерного наказания.

— Зачем? — снова протянул судья бесстрастным голосом.

— Зачем? — Калу уставился на круглое, как луна, лицо судьи. Уставился, как идиот. Язык, отказываясь повиноваться ему, присох к небу. В горле кололо, словно там застряла рыбная кость.

— Три месяца тюремного заключения, — произнесли губы на гладко выбритом лице.

Земля закачалась под ногами Калу. Черная пелена поплыла перед глазами. На него надели наручники, и под грубые окрики полицейского он, словно во сне, побрел к дверям.

Его громоздкая фигура с обросшим щетиной лицом, на котором застыл ужас, медленно двигалась к выходу. Но часть его души навсегда осталась здесь, за барьером для обвиняемых. Что-то пошатнулось в тех незыблемых основах, верой в которые он жил до сих пор. И после того как это произошло, Калу — кузнец из Джарны — уже не мог оставаться прежним.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тюрьма этого небольшого провинциального городка славилась производством чистого горчичного масла, редко появлявшегося на рынке. Его продавали по сниженной цене только чиновникам и немногим избранным. Масло добывалось трудом заключенных, которые, продев голову в ярмо, без устали ходили по кругу, приводя в движение пресс, выжимавший масло из горчичных семян. Так они оправдывали свое содержание и зарабатывали средства на оплату тюремщиков и сторожей.

Одетый в тесные узкие штаны и рубаху, Калу — теперь заключенный П-14 — работал вместе с другими арестантами на выжимке масла. Он уже окончательно покорился своей участи. Вращавшие пресс заключенные время от времени вытирали пот с лица и груди и пригоршнями стряхивали его в сторону чана с маслом, словно совершая какой-то священный обряд. При этом они обращались к невидимым покупателям: «Жрите его, это масло из наших костей! Жрите! Вот вам, чтобы было на чем поджарить рыбу... Вот для карри из баклажанов. И вот для умащения ваших тел. Жрите его, это масло из наших костей. Жрите...»

Но Калу молчал. Он трудился в поте лица и никогда не жаловался. Это был образцовый арестант. Он мирился с грубой бранью тюремщиков и безропотно принимал ежедневную порцию всяческих оскорблений, приходящихся на долю заключенных. Но по временам Калу охватывала неудержимая ярость. Тогда в нем просыпалось новое чувство: хотелось бороться. В такие минуты Калу готов был дать сдачи тюремщику, который ударил или обругал его.

Калу живо представлял себе, с каким наслаждением он наотмашь бьет по оскаленным зубам тюремщика. Тот испускает дикий вопль, словно

его режут заживо, и тут же раздается сигнал тревоги — бешено звонит колокол на сторожевой вышке у ворот. Бунт в тюрьме! Тюремщики и сторожа хватаются за первое попавшееся оружие — дубинки, окованные медью, палки, железные ломы — и торопливо строятся на тюремном дворе. Тревожная весть передается с быстротой молнии. Не более чем через десять минут во двор влетает грузовик из военной части. Солдаты выстраиваются в ряд, сверкают штыки ружей, готовых к бою.

— Разойтись по камерам! — рявкает помощник смотрителя тюрьмы. И как только заключенные оказываются за решетками, сторожа бросаются в наступление. Теперь они свирепы, как львы. Размахивая дубинками, они врываются в камеры, избивают заключенных и сокрушают их мятежный дух. А что сделают с ним, с Калу, с виновником всего этого? Закуют в наручники, а потом раскроят ему череп страшным ударом и оставят его лежать на холодном бетонном полу.

Калу задыхался от волнения, но тут перед ним вставал образ Лекхи, и это сразу укрощало его. Нежная рука дочери ласково сжимала его руку, а ее глаза говорили: «Успокойся, отец».

Эти картины, созданные воображением, разряжали гнев Калу. Он держал себя в руках и терпеливо сносил любые оскорбления.

За безупречное поведение заключенному полагалось небольшое сокращение срока — два дня в месяц. Калу жадно ухватился за эту возможность. Он мечтал получить свободу на шесть дней раньше назначенного срока. По ночам он разговаривал об этом с дочерью. «Чандра Лекха, — говорил он, — я заработаю шесть дней... шесть дней, которые принадлежат тебе... Целых шесть дней, Чандра Лекха».

Замкнутый и немногословный, Калу почти ни с кем не сошелся в тюрьме. Всю свою жизнь Калу испытывал отвращение к преступникам. Ему нередко случалось видеть, как по улицам Джарны вели на суд заключенных — в наручниках, под конвоем полицейских в синих мундирах. Обычно в таких случаях Калу одобрительно кивал головой. Другого обращения преступники и не заслуживали.

Однажды Лекха возразила ему:

— Может быть, эти люди воруют потому, что у них нет работы и им нечего есть, отец.

— А что бы ты сказала, если бы, проснувшись ночью, увидела в своей комнате вора?

Лекха вздрогнула.

«Теперь она так же вздрогнула бы, увидев меня», — подумал Калу.

Нерешительность терзала его. Надо написать письмо дочери. Но на конверте будет стоять печать тюрьмы. Придется объяснять Лекхе, что произошло. Она будет потрясена. Как сказать ей, что он вор? Но если он вовсе не напишет, она будет тревожиться, не зная, что с ним. И в том и в другом случае ей не избежать волнений. Так не лучше ли дождаться окончания срока? К чему спешить убивать в Лекхе уважение к отцу? Сможет ли она относиться к нему попрежнему, если узнает обо всем? Поймет ли она? Раньше она жалела даже тех воров, которых вели по улицам Джарны? Но стать в ее глазах одним из них...

Калу не мог принять никакого решения. Однажды ему вдруг представилась Лекха вся в слезах, обеспокоенная тем, что от него нет никаких вестей. Тогда он сел и с лихорадочной быстротой написал ей письмо. Сделав это, он успокоился. Но через некоторое время нерешительность снова овладела им. Два дня он носил письмо в кармане, а на третий — уничтожил его.

Прошло две недели. Калу снова написал письмо и снова разорвал его. Он утешал себя мыслью, что скоро будет на свободе и тогда сразу

же напишет письмо дочери. Тебе не придется долго волноваться, девочка. Еще месяц и три дня — и ты будешь избавлена от страшного известия, что твой отец вор, преступник.

От его былой ненависти к преступникам не осталось и следа. В этой тюрьме большинство арестантов были простые люди, обвиняемые в мелких кражах. Калу сблизился только с одним из них — это был тихий молодой человек, высокий и худощавый. Он был приговорен к году каторжных работ за подстрекательство голодающих к ограблению продовольственной лавки в столице. Заключенный Б-3 появился в тюрьме, когда Калу уже отбыл половину своего срока. Их железные койки в камере стояли рядом.

— Голодающие в столице? — с изумлением спросил Калу. — Но их, верно, немного?

Лицо Б-3 искривилось усмешкой.

— Десятки тысяч. Все улицы запружены ими. Каждую неделю сотни людей умирают голодной смертью.

Калу был потрясен. Неужели это правда? Значит, он гнался за миражем? Нет, этот парень, разумеется, преувеличивает. Молодежь всегда склонна из мухи делать слона. И вообще Б-3 был человеком с причудами. Калу часто слышал, как он бормотал что-то во сне. Однажды Калу удалось даже разобрать слова: «Они убивают старика. Они убивают вашего брата! Слышите?» Потом послышалось какое-то бормотанье и голос почти затих, но через мгновение раздался возбужденный крик: «Ломайте! Ломайте!»

— Разве в столице нет своей тюрьмы? А если есть, то почему тебя прислали сюда? — спросил как-то Калу своего товарища.

Центральная тюрьма, по словам Б-3, была переполнена участниками движения под лозунгом: «Вон из Индии!» Это были люди, которые боролись за освобождение Индии от британского владычества. Вот почему ему, Б-3, предоставили полный пансион здесь, в пятидесяти милях от столицы.

Вскоре в порыве откровенности Калу рассказал заключенному Б-3 свою историю. Кузница. Счастливые дни прошлого. Чандра Лекха, история ее имени. Ее учеба, медаль. Опустошительный смерч голода. Путешествие на подножке вагона. Он рассказывал о своем прошлом во всех подробностях.

— Ты хорошо знаешь столицу, — добавил он, обращаясь к заключенному Б-3. — Скажи, где я смогу найти работу, за которую бы хорошо платили? Я должен как можно скорее заработать столько, чтобы мне можно было вернуться в Джарну за моей дочерью Чандрой Лекхой.

Б-3 молча покачал головой.

— Говори! — испуганно крикнул Калу.

— Ты не найдешь работы.

— Что? — Калу схватил юношу за руку.

— Кто даст работу без рекомендации? Тебе не скрыть, что ты побывал в тюрьме.

Калу уставился на юношу. Этого он не предвидел. Он не заглядывал дальше дня своего освобождения и не задумывался над тем, как ему удастся получить работу.

— Это неправда! — крикнул Калу хриплым, срывающимся голосом. Но в глубине души он сознавал, что Б-3 прав. Разве сам он согласился бы иметь компаньона, который только что вышел из тюрьмы? Разве стал бы кто-нибудь в Джарне нанимать себе в слуги такого человека? Разве он разрешил бы своей дочери выйти замуж за сына преступника? Как же быть? Чтобы избежать всяких расспросов, он должен

открыть собственную кузницу. Но ведь на это нужны средства, а где их взять?

Над всем этим Калу постоянно ломал голову. Целых три месяца ушли впустую, и он оказался в еще худшем положении, чем до своего ухода из дому. Что же делать, как заработать на жизнь?

И Калу стал бояться дня, когда перед ним распахнутся железные ворота и он получит свободу. Свободу? Когда Калу думал о будущем, вены вздувались на его лбу и в нем закипал гнев. Чем он заслужил все это? Разве он обыкновенный вор? Разве с ним поступили по справедливости? От его сбережений, плодов многолетнего тяжелого труда, в результате какого-то фокуса осталась лишь пятая часть. А куда же девалось остальное? Провалилось куда-то — в чей-то кошелек, сейф, жадное брюхо. Но разве это произошло само собой, разве тут некого наказать за мошенничество?

Ночью, лежа на своей узкой койке, Калу размышлял над всем этим. Он не мог спать. Даже Лекха была бессильна помочь ему. Он был готов голодать, но что станет с его дочерью?

Однажды Б-3 прервал его мысли.

— Я все приглядываюсь к тебе, — сказал он.

Калу не ответил ни слова.

— Для нас есть одна дорога, — продолжал Б-3, — для меня, для тебя, для всех нас.

— Какая дорога? — Калу с живым интересом посмотрел на него.

— Мы — подонки жизни. Хозяева презирают нас потому, что боятся. Они бьют туда, где всего больнее, — прямо в живот. Мы должны отвечать ударом на удар.

Калу неуверенно кивнул головой. Б-3 внимательно посмотрел на него. Суровый взгляд юноши потеплел. Казалось, ему жаль этого большого угрюмого человека, который боготворит свою дочь и постоянно заводит о ней разговор.

— Скажи, — спросил его как-то Калу, — по-твоему, нам нечего и надеяться на приличный заработок? Тебе никогда не предлагали работу?

Б-3 помолчал немного. Лицо его было сурово и сосредоточенно.

— Однажды мне предложили работу, — сказал он.

— Расскажи, как это было.

— Ну, слушай. — Б-3 помолчал немного, по привычке барабаня пальцами по краю железной койки. — Слушай, — продолжал он. — Я часто бывал в одном переулке на окраине Калькутты, где ютились голодающие. И вот однажды вечером, когда я возвращался оттуда, на перекрестке меня остановил незнакомый человек. Я его раза два или три видел там — обычно он стоял у фонаря, жевал бетель или курил. На этот раз он доверительно отвел меня в сторону и протянул мне серебряную коробочку с сушеным бетелем. — Б-3 замолчал и проглотил слюну, словно желая избавиться от горького привкуса во рту.

— Рассказывай дальше, — нетерпеливо воскликнул Калу.

— «Хочешь помочь этим несчастным?» — спросил он и выразительно скосил глаза в сторону переулка. Я с изумлением посмотрел на него, и тогда Раджани — так он назвал себя — продолжал: — «Не пойми меня неверно, друг. Ни ты, ни я не властны покончить с голодом. Но жизнь некоторых людей может быть спасена — известной ценой, разумеется. Среди тех, кто ютится в этом переулке, — пять молодых женщин: две довольно красивые, остальные так себе. Одна из красоток замужем, у нее пробор окрашен киноварью. Есть способ, которым эти женщины могут спасти себя и своих родных, и ты также не останешься без вознаграждения. Так что, если хочешь, вот тебе работа и приличный заработок. Как ты на это посмотришь, друг?»

— Бхагван! * — воскликнул Калу. — Ты хочешь сказать, что...

— Раджани сверлил меня своими маленькими глазками. «Друг, — продолжал он, — ты еще молод, но на твоем лице уже лежит печать мудрости. Поэтому слушай меня. Есть ли на земле высшая добродетель, чем самопожертвование во имя правого дела? Ведь все предания нашей старины прославляют самопожертвование. Спасти своих родных и близких от страшной участи, на которую они обречены, — это ли не высокая цель? Таким поступком молодые женщины прославят свое имя. Люди, о которых идет речь, уважают тебя. Я заметил, что они прислушиваются к каждому твоему слову. Вот почему я обращаюсь именно к тебе. Только ты не пойми меня плохо».

Б-3 отвернулся. Пальцы его снова забарабанили по железной койке.

— Бхагван! — воскликнул Калу. — Великий город становится адом на земле.

Раджани? Не слыхал ли он раньше это имя? Ах, да. Именно это имя называл ему в Джарне торговец, купивший браслеты Лекхи. «Пойдешь и найдешь Раджани, — сказал он. — Этот человек даст тебе работу и будет хорошо платить». Не тот ли это самый Раджани? И не эту ли работу имел в виду торговец? Кровь бросилась в лицо Калу. Он стиснул свои огромные кулаки.

— Бхагван! — снова воскликнул он.

— Раджани работает в публичном доме, — сказал Б-3 и пристально посмотрел на П-14. — Понимаешь? Разумеется, он не хозяин. Настоящие хозяева предпочитают оставаться в тени. Возможно, это почтенные и уважаемые люди — юристы или банкиры, столпы общества. Так или иначе, но, по словам Раджани, в наши дни эти дома процветают, как никогда. Их становится все больше и больше. Девушек покупают у родителей, просто похищают или соблазняют заманчивыми обещаниями.

— Ну, и что же ты сделал?

— Меня терзал один неразрешенный вопрос. Что лучше для женщины — смерть или падение? Почему она должна предпочитать смерть? Она продает только свое тело, тело, которое, пока оно не стало предметом купли-продажи, имеет меньшую ценность, чем один сир козьего мяса. Почему женщина должна умирать за свою честь, умирать за мертвую идею?

— Мертвую идею? — повторил Калу, прищурив глаза.

— Существует ли еще в нашей стране представление о чести?

Калу не мог ответить на этот вопрос. Он мог только удивляться: откуда у Б-3 в его годы такое глубокое разочарование в жизни? А Б-3 продолжал:

— Во имя чего женщины должны нести на своих плечах бремя этого утратившего всякий смысл представления? Женщины, которые так страдают от социального неравенства?

Калу печально покачал головой. Он проникался все большим и большим сочувствием к Б-3. Что довелось тебе испытать в жизни, брат?

— Я запутался в своих мыслях. У меня не было друга, который мог бы объяснить мне суть вещей. Но через день или два моим сомнениям пришел конец. Проходя по центральной улице, я увидел голодающего старика. Он стоял на тротуаре перед продовольственной лавкой и, пожирая глазами жареный хлеб, жадно вдыхал вкусный запах пищи. Подошедший полицейский изо всех сил ткнул его в спину своей дубинкой. Ноги отказались повиноваться старику, и он должен был присесть на обочину дороги. «А, ты не хочешь слушаться, свинья!» — Дубинка полицейского обрушилась на голову несчастного. Он упал и распластался на грязной

* Бхагван — восклицание, соответствующее русскому „боже мой!"

дороге. Увидев это, я бросился назад в переулок и стал кричать: «Они убивают старика! Они убивают одного из вас!» Сначала меня не поняли. «Зачем им убивать нас? Нам и так осталось жить считанные дни». — «Они били его дубинками!» — надрывался я. Голова моя пылала, как в огне. «Вон он там, лежит в пыли. Они убивают его за то, что он осмелился заглянуть в витрину продовольственной лавки. Они считают, что один взгляд бедняка может отравить пищу богачей!» Тут в толпе, собравшейся вокруг меня, поднялся ропот. «Да,— продолжал кричать я,— собака может безнаказанно смотреть на еду и даже обнюхивать ее, а вы — нет. Ваш взгляд оскверняет ее!» Ропот усилился. «Они убивают одного из вас! Слышите?» Эти слова, словно искра, воспламенили толпу, и через мгновение десятка два живых мертвецов, не помня себя, устремились к продовольственной лавке. Люди, едва передвигавшие от голода ноги, бежали вперед с горящими от гнева и бешенства глазами.

Б-3 уставился в одну точку, словно вновь переживая воодушевление этой удивительной минуты.

— И они схватили тебя? Эти негодяи, Красные Тюрбаны?

— Да. Меня схватили. Большинству удалось спастись. Они скрылись, забрав с собой старика, невольно послужившего поводом для всего, что произошло.

Калу пристально посмотрел в молодое лицо, на которое легла тень глубокой печали. Но это длилось одно короткое мгновение, потому что Б-3 умел скрывать свои чувства.

— Так молод и успел уже так много пережить, так хорошо узнать жизнь, — сказал Калу.

— Молод? Я на двадцать лет старше самого себя, — неожиданно рассмеялся Б-3.

В тот же вечер, сидя на своей железной койке, заключенный Б-3 сказал заключенному П-14:

— Я много думал о тебе.

Калу ждал. Он с удивлением замечал, что этот угрюмый юноша с его странными разговорами сумел внушить ему глубокое доверие.

— Я бы мог, пожалуй, указать тебе один способ заработать деньги в столице.

— Укажи.

— Попробуй надеть на свои бедра шафранового цвета повязку, осыпать себя пеплом и золой и вывести у себя на лбу красной краской трезубец Шивы. Если ты пройдешь в таком виде по улицам города, увидишь, что твоя чашка для подаяний наполнится в самое короткое время. А может быть, тебе даже посчастливится встретить какого-нибудь богатого мота, который примет тебя за йога, наделенного великой силой духа.

— Б-3, зачем ты смеешься надо мной?

— Я говорю совершенно серьезно, — возразил Б-3. — По внешности ты вполне подходишь для роли святого. Я научу тебя произносить некоторые магические заклинания. И скоро ты сможешь заработать сумму, необходимую для того, чтобы открыть кузницу.

Калу мрачно молчал.

— Я могу предложить тебе еще один путь, — сказал Б-3, поразмыслив некоторое время. — Этот путь даже, пожалуй, лучше, если фокус удастся. Ведь все дело в том, как превратить людей, у которых достаточно веры и денег, в дойных коров. Если умело давить на веру, потекут деньги.

Калу стало не по себе. Он был человек твердых устоев, человек, который всем своим существом сросся с вековыми предрассудками и верованиями своего народа.

— Духовная пища изготовляется и продается точно так же, как пища

телесная, — продолжал Б-3. — И хотя методы торговли различны, и там и здесь приходится платить чистой монетой. Храм — это базар, а священнослужитель — торговец. На духовную пищу всегда находятся хорошие покупатели.

Настроившись на философский лад, Калу задумчиво кивал головой.

— Тело человека становится частью земли и воздуха, но душа бессмертна, как огонь или свет.

— Для изготовления духовной пищи требуется только ловкость, — бесстрастно продолжал Б-3. — Изготовлять ее нетрудно, для этого существует сто один способ. Главное — это уметь продать ее. Захотят ли жаждущие духом принимать ее из твоих рук?

Калу растерянно смотрел на Б-3. Этот разговор был выше его понимания.

— Только брахман может продавать духовную пищу людям. — Б-3 перешел к существу дела. — А брахманом надо родиться. В его жилах искони должна течь древняя, благородная кровь. Не так ли?

— Правильно. — Калу никогда не сомневался в том, что брахманы являются избранниками божьими.

— В торговле духовной пищей брахманы — монополисты. Чтобы заняться такой торговлей, ты должен тоже быть брахманом. Что отличает брахмана от простых смертных? — продолжал Б-3. — Одна-единственная вещь — священный шнур на груди. Еще ребенком он по установленному обряду получает этот шнур и с того самого момента считается Дважды Рожденным. Разве тебе надо объяснять это?

— Священнослужителями становятся не все брахманы, — возразил Калу. — Только некоторые, может быть один из пятисот.

— Но каждый священнослужитель должен быть брахманом. Вот в чем суть. Поэтому ты должен превратиться в Дважды Рожденного. Белоснежный шнур, свитый из девяти нитей, должен сиять на твоей груди.

— Дважды Рожденный? Я? — в голосе Калу прозвучало крайнее недоверие.

— Ты.

— Довольно, я больше не хочу слушать.

— Но это только начало. Священнослужитель может быть и беден, почти как крестьянин. Но ты не для того приложишь столько стараний, чтобы, изменив свою касту, остаться бедняком. И вот теперь я перехожу к самому главному. Я хочу раскрыть тебе секрет чуда.

— Секрет чуда?

— Эй, болваны! — послышался ворчливый голос из коридора. — Отродье бешеной ослицы, вы что, в одиночку захотели?

Б-3 улегся на свою койку.

— До завтра, — успокоительно шепнул он Калу. — Спи спокойно. До завтра.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В назначенный день ворота тюрьмы распахнулись перед Калу, караульный выпустил его и, оскалившись, бросил вслед: «Желаю скорого возвращения!» Нетвердым шагом Калу дошел до проезжей дороги. Здесь он остановился и оглянулся назад, на высокую темную стену, за которой он прожил почти три месяца, имея верный кусок хлеба и крышу над головой. Эти три месяца его существования были как-то облегчены железной рутиной тюремного распорядка. Его время, его поступки не принадлежали ему. Даже сон — и тот находился под контролем. Свободными оставались лишь чувства и мысли: он был волен ждать своего освобождения, волен мечтать.

И вот теперь, когда наконец наступил желанный момент, свобода пугала. Сердце в нем замирало.

Караульный с карабином через плечо махал рукой, приказывая не задерживаться. Калу повернулся и медленно побрел по дороге. Передышка кончилась. Он снова в пути, но на этот раз идти недалеко. Ему дали железнодорожный билет, возвратили платье и деньги — две рупии и несколько медяков.

Утреннее солнце разгоралось все сильнее, накаляя воздух. От тюрьмы до станции было не больше мили. Калу шел, сторонясь прохожих из страха, как бы кто-нибудь при виде его не закричал: «Вор! Вон идет вор!» Дойдя до станции, он прошел через главные ворота на платформу и с чувством некоторой гордости предъявил контролеру свой билет. Ждать оставалось недолго: поезд с Востока должен был прибыть на станцию через полчаса.

Когда состав остановился у платформы, Калу отыскал вагон посвободнее, сел на скамью в дальнем углу и высунул в окно голову. Зловоние тюрьмы пропитало его насквозь, и теперь он ртом, носом, всеми порами своей потной кожи выдыхал из себя этот ненавистный запах. Удастся ли ему избавиться от него? Пассажиры в вагоне могут учуять это страшное зловоние, и тогда кто-нибудь из них обязательно закричит: «Вор! Вон сидит вор!»

Не решаясь повернуться к пассажирам лицом, Калу продолжал смотреть в окно; перед его глазами мелькали просторы Бенгалии. Поля были покрыты пышным ковром желтеющего риса. Созревал богатый урожай, но кому он достанется? В окрестностях Джарны крестьяне заложили весь свой урожай на корню задолго до сбора и на эти деньги, переплачивая в пять раз, покупали рис у спекулянтов. Теперь деньги были истрачены, рис съеден, и несчастные крестьяне продолжали голодать, в то время как на их полях дозревал богатый урожай, который им уже не принадлежал. Этот урожай теперь казался злой насмешкой. Неужели по всей Бенгалии так?

Калу вспомнил свое путешествие на подножке вагона. Казалось, это происходило вчера и в то же время в далеком прошлом. Какая надежда воодушевляла его, когда, мучимый голодом, он цеплялся за поручни? Откуда черпал он твердость духа, когда силы покидали его измученное тело?

Залитые солнцем просторы остались позади. И вдруг Калу увидел группу людей, бредущих по шоссе. Еще участники голодного похода к Великому городу. Мужчины, женщины, дети... Наверное, они уже прошли сотни миль. Может быть, половина из них осталась лежать на дороге.

За стенами тюрьмы, в замкнутом, ограниченном мирке, Калу почти забыл об этой правде жизни. Другие пассажиры тоже выглядывали из окон.

— И это наша родная страна, «золотой край — Бенгалия», как поется в старинных народных песнях! — с горечью воскликнул кто-то. И тотчас же поднялся взволнованный ропот.

Странное чувство овладело Калу. Разгоняя сковывавший его страх, заговорил в нем властный голос самой жизни. Он больше не безымянный арестант. Он сбросил со своих плеч страшное ярмо. Наконец-то он обрел свободу... Обездоленные, изможденные голодом люди медленно брели дорогой страданий, они становились все меньше и меньше, пока совсем не скрылись из виду. Оставив их позади, поезд мчался к сверкающему городу надежды.

Лекха голодает, говорил Калу внутренний голос. Он слышал, как она зовет его. Лекха голодает. Ей нечего есть.

Резким движением Калу вдруг отвернулся от окна и, расправив плечи, сел на скамью, напряженно глядя перед собой. Теперь окружающие могли видеть его лицо. Пусть смотрят. Пусть попробуют крикнуть: «Вор!»

Он не вор. Его рабство кончилось. Теперь он снова может прямо и бесстрашно смотреть в лицо всему миру. Он может стиснуть кулаки и бороться. Но прежде всего надо найти работу. Он найдет работу. Неважно, что его мучит голод. Голодает Лекха — вот что важно. Лекхе нечего есть.

Несколько часов спустя, все с той же мыслью в голове, он шел по одной из центральных улиц столицы. Шум и грохот уличного движения ошеломили его, но он все шел вперед, напряженно глядя по сторонам.

Прежде всего он направился в ту часть города, где находились заводы военного снаряжения. Но, еще не дойдя до места, он понял, что это безнадежно. Люди шли оттуда толпами, сердито переговариваясь.

И все же Калу продолжал путь. Может быть, у этих людей не такие искусные руки, как у него. Может быть, они — крестьяне и не умеют подчинять себе раскаленный металл. Но в глубине души он уже все понял, понял раньше, чем увидел запертую дверь заводской конторы и табличку с надписью: «Рабочие не требуются».

Может быть, все-таки постучаться? Сделать попытку? Нет. Лучше он вернется сюда потом, когда выветрится запах тюрьмы, когда он заработает несколько рупий и подкрепится едой. Тогда он будет в силах показать свое уменье.

И он повернул назад, еще более напряженно всматриваясь и вслушиваясь во все, что творилось кругом, стараясь не пропустить случая заработать хоть несколько медяков.

Может быть, стать рикшей? Для начала это было бы неплохо. На углу рикша с коляской дожидался пассажиров. Почему бы не расспросить его? Калу нерешительно подошел к рикше. Тот понимающе взглянул на него и сразу же ответил на его безмолвный вопрос: — Нужно внести залог. Ни один хозяин не даст тебе коляску, пока ты не внесешь ему пять рупий.

Калу пошел дальше.

«С чего начать?» — думал он, призывая на помощь всю свою изобретательность.

Толпы безработных наводнили столицу. Тысячи голодных людей устремились сюда в поисках заработка. У кого есть чем занять их стосковавшиеся по работе руки?

Поздно вечером Калу повезло. Санитарный грузовик городского управления подбирал трупы голодных, которым так и не удалось найти работу. Санитарам понадобилась помощь, и как раз в эту минуту подвернулся Калу.

Он должен был складывать трупы на грузовик и потом сгружать их на площадке для сожжения.

Эту ночь Калу провел на булыжной мостовой сырой темной улички, по обе стороны которой теснились высокие бесформенные здания.

Едва он закрыл глаза, как его обступили обтянутые кожей скелеты. Они не сводили с него своих провалившихся глаз; он видел их заострившиеся, обтянутые кожей скулы. Обливаясь холодным потом, Калу пытался отогнать от себя эти страшные видения. Тюрьма казалась ему раем: там, по крайней мере, не приходилось подбирать трупы.

Скелеты, в которых еще теплилась жизнь, лежали, съежившись, на земле возле глухой каменной стены набитого зерном склада № 5 торговой компании «Бенгальский рис». Завтра, разумеется, найдется еще работа. Муниципальному грузовику снова может потребоваться помощь. Гримаса отвращения исказила лицо Калу, и в тот же миг откуда-то сверху

из раскрытого окна полились воркующие звуки: «Лунное море света! Лунное море вокруг! Земля похожа на небо!» — пел чей-то голос в эфире. Губы Калу искривились еще больше — эти слова сейчас звучали, как насмешка. Лунный свет! Кругом была непроглядная тьма. И если небо похоже на эту землю, не хотел бы он попасть на небо.

На рассвете, когда улицы города еще не проснулись, у обочины тротуара остановил свою машину человек в европейском костюме. Шаги его гулко отдавались в мощенном булыжником переулке. Незнакомец медленно расхаживал вдоль стены взад и вперед, казалось, он составляет в уме список несчастных жертв. Время от времени он склонялся над каким-нибудь мужчиной или женщиной и внимательно разглядывал их. С бешено колотящимся от волнения сердцем Калу следовал за ним, держась на расстоянии. Инспектор из отдела помощи голодающим! Может быть, он поможет и ему, Калу.

— Послушай, брат, хочешь заработать рупию? — резко спросил незнакомец, повернувшись к нему.

Это было чудом. Калу затаил дыхание. Еще раз окинув взглядом лежащие перед ним полутрупы, человек добавил:

— Проверь, кто из них уже готов. Скоро сюда подъедет запряженная буйволами повозка. Надо будет погрузить в нее мертвые тела. Возница поможет тебе. Потом ты объедешь еще несколько таких же «уютных» уголков и займешься тем же делом.

У Калу оборвалось сердце. Еще один муниципальный чиновник. Под вечер, когда работа была окончена, он спросил возчика:

— Разве у муниципалитета не хватает грузовиков?

Тот печально покачал головой.

— Муниципалитет здесь ни при чем, — сказал он. — Мы доставляем эти трупы в дом доктора. Да, друг, этот человек — доктор.

Калу был изумлен.

— Доктора заботятся о живых. Зачем им те, кого уже нельзя лечить?

— Лечить? Эти трупы ему нужны для скелетов. Он обдирает с них кожу и мясо, а скелеты потом на кораблях отправляет за море.

— Скелеты? Для чего? — вне себя от изумления воскликнул Калу.

— За них хорошо платят. Мне говорил об этом слуга доктора. Скелеты требуются в медицинских школах. За них хорошо платят. Так я, по крайней мере, слыхал.

Не говоря ни слова, Калу повернулся и пошел прочь.

В эту ночь мучительные мысли долго не давали ему заснуть. Голова его горела, как в огне. До каких пор будет продолжаться все это? Он будет скатываться все ниже и ниже, пока не затеряется среди бесчисленных толп несчастных, наводняющих городские улицы. А там его скелет, который ценится дороже живого человека, отправят за море в какую-нибудь медицинскую школу. В лучшем случае, он кое-как проживет здесь, но никогда не сможет заработать достаточно денег, чтобы съездить домой, за Чандрой Лекхой. Да и что хорошего ждало бы ее в столице?

Среди тел, которые он грузил на повозку, была одна девушка таких же лет, как и Лекха. Калу содрогался, вспоминая ее юное лицо.

На следующее утро Калу написал письмо дочери, то самое письмо, которое он так долго не решался написать. Вместо почтовой бумаги он использовал телеграфные бланки: их на почте давали бесплатно. Потом он купил конверт с маркой и вложил в него три бланка, исписанных крупными каракулями, и две смятые бумажные рупии. Его признание было запрятано среди нежных и ласковых слов. Ему пришлось пережить много тяжелого, писал он, и было стыдно писать о себе. Он и сейчас еще отчаянно борется за то, чтобы обрести твердую почву под ногами.

Калу не обманывал дочь, хотя и скрыл от нее некоторые факты. Он не мог допустить, чтобы Лекха стала презирать его, как вора. Мысль о страданиях, которые ему пришлось вынести, была бы для нее мучительна. Хоть бы знать, что с ней не случилось ничего дурного! От страха кровь застывала в его жилах. Если б с Лекхой случилось что-нибудь, если б она умерла, жизнь потеряла бы для Калу всякий смысл. Чандра Лекха была лучом света, озарявшим всю его жизнь, тем единственным, ради чего ему стоило существовать.

Несколько часов Калу пролежал на спине, вглядываясь в мрачное, нависшее над ним лицо ночи. Наконец он приподнялся и сел, задыхаясь от волнения. Пусть, пусть он десять тысяч лет горит в адском огне, ради Лекхи он готов на это. Он проигрывал сражение. Дальше нельзя было терять ни минуты. Раджани... Кажется, так звали человека, о котором он слышал от двух совершенно разных людей: «Этот человек даст тебе работу и будет хорошо платить. Понял?» Б-3 там, в тюрьме, рассказал ему, за какую работу можно получать у Раджани деньги. Что ж, надо победить свое отвращение и подавить в себе чувство удушья, которое охватывало его всякий раз при мысли об этой работе.

Дождавшись утра, Калу направился к Читпур-род. Идти пришлось около двух миль. Выйдя, наконец, на нужную улицу, Калу замедлил шаги. У него пересохло в горле, и он остановился у водопроводной колонки, чтобы напиться. Несколько жалких, оборванных людей голодными глазами следили за мусорщиком, очищавшим мусорный ящик на углу улицы, в надежде, что после него останутся какие-нибудь крохи объедков. Калу заставил себя идти дальше, втайне надеясь не застать Раджани дома.

Прошло около получаса, прежде чем Калу нашел кафе под вывеской «Космополитен Кэбин». Между столиками сновали официанты в длиннополой белой одежде. Из-за полуоткрытых дверей доносился запах жареного мяса.

Калу прошел мимо кафе, словно не заметив его. Он дошел до угла, потом снова вернулся. Его сердце бешено колотилось. Так он долго ходил взад и вперед, прежде чем решился, наконец, войти в дверь слева и подняться на третий этаж. Здесь он остановился и прочел на дверной дощечке имя Раджани. Калу почесал затылок. Может, спуститься вниз выпить еще воды? От жажды у него так пересохли губы, что он не сможет вымолвить и трех слов.

Когда он в нерешительности стоял перед дверью, с улицы вдруг донесся знакомый крик:

— Отец, я умираю с голоду... Хоть глоток рисового отвара... Нет больше сил терпеть, отец...

Это взывала в отчаянии женщина, как будто сама Бенгалия молила о помощи.

Словно застигнутый на месте преступления, Калу встрепенулся и громко постучал в дверь.

На стук вышел сам Раджани. У него было длинное узкое лицо с маленькими блестящими глазами и большим ястребиным носом. Когда Калу рассказал, что привело его сюда, Раджани испытующе оглядел с головы до ног его крупную, ладно скроенную фигуру.

«Он недоволен. Я ему не подхожу, — с облегчением подумал Калу. — Ничего не поделаешь».

— Так ты, значит, недавно из гостиницы его величества? — спросил Раджани тоном, не требовавшим ответа.

Ну вот, теперь он не захочет его взять. Но маленькие глазки снова принялись ощупывать Калу. Тот заволновался еще больше. Как тяжело было признаваться, что он действительно сидел в тюрьме. Однако Рад-

жани хотел знать, чем он занимался раньше, кто те люди, которые ему посоветовали сюда обратиться.

— А как поживает тот молодой смутьян? Ему еще не поубавили пылу?

— Он хотя бы не должен думать о заработке, — ответил Калу, — еще месяцев десять, по крайней мере.

— Уж не жалеешь ли ты, что вышел оттуда? — осклабился Раджани. Потом взгляд его стал серьезным. — Ты мне подходишь, — сказал он. — Не сомневаюсь, что ты справишься с этой работой. — И добавил, помолчав немного: — Да, друг. Я по лицу вижу, с кем имею дело.

Калу вздрогнул. «По лицу вижу, с кем имею дело». Он уже слышал эти слова раньше от полисмена, который поймал его с бананами. Имя «вор» уже было написано на его лице. Теперь прибавится еще одно: «агент дома терпимости». Разве удастся ему скрыть это? Калу повернулся и, стремительно выбежав из комнаты, бросился вниз по лестнице. Он не обращал внимания на недоуменные крики Раджани, несшиеся ему вслед:

— Эй! Послушай... Что на тебя нашло?

— Отец! Я умираю с голоду. Отец, хоть одну пайсу...

Калу бросило в дрожь. Он вынул из жилетного кармана монетку в четверть рупии и подал женщине. Если бы она только могла знать, что он богаче ее всего лишь на одну рупию и несколько медяков.

Калу огляделся по сторонам. Жалкое зрелище человеческих останков не оскверняло чистоты улицы. Санитарные грузовики, должно быть, уже совершили свой рейс, и нашелся какой-нибудь несчастный вроде него, который не отказался заработать рупию!

Калу побрел куда глаза глядят. Он шел долго. На Хаурингхи-род просыпалась жизнь. Витрины магазинов, освобожденные от брони железных штор, хвастливо сверкали громадными зеркальными стеклами. На зеленом ковре Майдана, обрамленном цветочным узором парка Керзона, возвышался пухлый палец обелиска Октерлони, утверждавшего под затянутым тучами небом несокрушимую силу Британской империи. Вдали, на южной окраине, у самого берега реки, словно притаившийся лев, застыл форт Уильям.

Копаясь в мусорном ящике на углу, маленький мальчик нашел засохшую корку хлеба. Он медленно обсасывал ее, откусывая крошечные кусочки, чтобы как можно дольше растянуть это удовольствие. Время от времени он замирал с раскрытым от блаженства ртом. По гладкому асфальту тротуара медленно катилась синяя детская коляска, которую толкала перед собой смуглая женщина. Оболокотясь на подушки, в коляске сидела толстенькая беленькая девочка в платьице из белоснежного полотна и пускала из трубочки мыльные пузыри. Большие цветные пузыри поднимались вверх и исчезали в воздухе. Мальчуган, забыв о своей хлебной корке, прислонился к мусорному ящику не в силах оторвать глаз от этого удивительного зрелища...

Калу долго бродил в поисках работы. Работы не было. Под вечер он остановился возле кино. У кассы выстроилась огромная очередь. Калу смотрел на щеголеватых мужчин и ослепительных женщин, выходящих из бесконечной вереницы машин. Великолепие, окружавшее этих людей, ошеломляло его.

Калу вздохнул. Вот он, Великий город, сверкающий богатством, брызжущий весельем и радостью, а рядом невыразимая нищета, отвратительное уродство, леденящий ужас медленной смерти.

Чья-то рука легла вдруг Калу на плечо, и он резко обернулся.

— Ищешь, к кому бы в карман забраться? — Перед ним было искривленное усмешкой лицо полицейского.

— Закон не запрещает стоять на тротуаре, — огрызнулся Калу.

Красный Тюрбан с изумлением уставился на него, потом ухватился за свою саблю,

— Только что из тюрьмы? Узнаю по запаху. Да и вид такой, что не ошибешься.

Сердце Калу замерло. Запах. Вид. Его самоуверенность улетучилась, словно газ из проколотого воздушного шара, но все же он решился ответить полисмену:

— Вы что думаете, мы все равно, что козы безмозглые, взял палку и погнал?

Красный Тюрбан впился в него глазами.

— А ну проходи. Если не хочешь заработать по заслугам

Калу повернулся и побрел прочь.

Неужели это правда? Запах. Вид. Неужели это правда?

За весь этот день у Калу во рту не было ни крошки. Но он не чувствовал голода. К горлу все сильнее и сильнее подступала тошнота. Лучше сэкономить деньги. Когда стемнело, Калу напился из водопроводной колонки и прилег прямо на тротуар.

На следующее утро он опять нанялся подбирать трупы, объезжая с санитарным грузовиком улицу за улицей. Среди мертвецов ему попался мальчик; рот у него был открыт, и рой мух облепил его губы. Не его ли видел Калу накануне, не этот ли самый мальчик восторженно наблюдал за цветными пузырями? Ребенок казался мертвым, но тело у него было еще теплое.

Держа ребенка на руках, Калу медлил.

— Тащи быстрее, — закричал старший санитар. — Пошевеливайся!

С трудом передвигая ноги, Калу пошел к грузовику. В конце концов даже если этот мальчик еще жив, он все равно умрет через несколько минут.

За день работы Калу получил полрупии. Когда он спросил, почему только половину, старший санитар сказал:

— Оплата снижена! Понял? Сотни людей готовы работать и за эти деньги. С какой стати нам платить вдвое?

— Но послушайте, господин...

Старший санитар вышел из себя.

— Э, да ты, я вижу, из ворчунов. Терпеть не могу таких. Чтобы я больше не видел твоей рожи!

Калу забился в тихий переулок и долго сидел там, поджав под себя ноги, охватив руками нестерпимо болевшую голову.

Запах. Вид...

Хор поющих голосов, сливавшийся с автомобильными гудками, вывел его из оцепенения. Он поднялся и пошел к перекрестку. Сначала он не мог понять, что происходит на улице, куда выходил переулок. Потом он увидел четырех брахманов, которые несли на плечах усыпанные цветами носилки с усопшим. Следом за носилками шли десять или пятнадцать человек. Вскидывая к небу руки, эти люди, охваченные экстазом, произносили нараспев:

— Назови Имя. Ибо нет Имени, кроме Имени. Назови Имя, брат и друг! Назови Имя...

Процессию замыкал открытый автомобиль, на котором стояли двое.

Из плетеных корзин они пригоршнями черпали рис и разбрасывали его по дороге. Время от времени они бросали на тротуар медные монеты. Толпа нищих, толкаясь и тесня друг друга, лихорадочно набрасывалась на медяки. Другие довольствовались рисом, который по зернышку собирали прямо с земли.

Калу, новичок в столице, впервые видел, как хоронят богатого человека. Когда похоронная процессия скрылась из виду, Калу вернулся в тихий глухой переулок. Песнопенье, которым брахманы взывали к Имени, должно было направить отлетевшую душу прямо на небеса. Без этой молитвы и следующего за ней сложного ритуала отлетевшая душа осталась бы прикованной к земле. Рис и медяки, которые разбрасывали вокруг, так же как и поминальное пиршество для брахманов, должны были снискать почести душе усопшего и обеспечить ей достойный прием на небесах.

«А как же души людей, умирающих прямо на улицах города?» — спрашивал себя Калу. Неужели они осуждены вечно скитаться по земле? Или они обречены на муки в семи адах? Ведь их никто не провожал песнопениями, никто не разбрасывал для них риса, которым можно было бы накормить человека еще при жизни. И не было брахмана, который напутствовал бы их вечно мудрыми изречениями Вед или подносил священный огонь к исхудалым лицам на погребальном костре.

Неужели десятки тысяч невинных душ будут вечно витать над столицей? Неужели небо существует только для богачей?

Лежа на пыльном асфальте, Калу задавал себе все эти вопросы, на которые не мог найти ответа. И вопросы эти, словно жгучая кислота, разъедали его веру в непреложные истины, составлявшие основу его бытия.

* * *

Раджани встретил Калу дружелюбной усмешкой.

— Я знал, что ты вернешься сюда, как только сведешь счеты с самим собой. Вернешься и будешь работать даже с бóльшим рвением. Я кое-что понимаю в людях.

Раджани прикрепил Калу к пяти публичным домам. Один из них считался самым шикарным в городе.

— Прикрой свою плешь гандистской шапочкой, — посоветовал он Калу на прощанье. — Это придаст тебе более почтенный вид.

Спускаясь по лестнице, Калу поднял руку, чтобы поправить волосы, но поправлять было нечего. Волосы, обрамлявшие лысину, были коротко острижены, как у всех каторжников.

По дороге Калу зашел в лавку и купил себе дешевую белую шапочку из домотканного холста. Он сразу же надел ее на голову и пошел дальше. В головном уборе, связанном с именем великого Ганди, он чувствовал себя более уверенно. Потом он зашел еще в одну лавку и купил небольшое зеркальце. Ему хотелось увидеть свое лицо. Лицо как будто изменилось. Изменился и сам Калу. Он начинал новую жизнь, начинал иначе, чем думал. Он знал, что никогда не сможет преодолеть отвращения, которое внушала ему его новая работа. После смерти своей жены Калу жил отшельником, строго соблюдая обет целомудрия. Вид падшей женщины вызывал у него чувство омерзения. А теперь он сам стал вербовщиком таких женщин: он должен был помогать им продавать свои тела, в которых жизни было не больше, чем в тех трупах, что он доставлял доктору для изготовления скелетов.

Когда он сидел в тюрьме, Б-3 с глубоким волнением рассказывал ему о судьбах таких женщин. Два страшных бедствия обрушились на Бенгалию вслед за войной: голод, от которого гибли сотни тысяч людей, оторванных от родной земли и превращенных в бездомных бродяг, и наряду с этим ненасытная жажда наслаждений, обуявшая всемогущее меньшинство, — настоящая болезнь века. Женщины, которым нечего было

есть, должны были своим телом утолять эту безумную жажду наслаждений.

Вот как Б-3 описывал этот страшный год. Неожиданный смерч разрушения. Падение нравов. Крушение человеческих идеалов. Страшная година бедствий, которая войдет в историю и даст пищу легендам.

— Нищета душит нашу прекрасную Бенгалию. Откуда же берутся все эти деньги? — спрашивал озадаченный Калу.

И только из объяснений Б-3 Калу понял, наконец, куда исчезли четыре пятых его сбережений. Они не испарились в воздух и не провалились под землю — их мошеннически отняли у него городские спекулянты и капиталисты. Это они прикарманили четыре пятых сбережений всего народа, многомиллионного народа Индии.

— Настанет время, — сказал Б-3, — когда эта лихорадочная жажда наслаждений убьет город.

Калу не поверил. Все это, казалось ему, лишь пустые разговоры. Но взгляд Б-3 стал колючим, и он, словно заученный текст, повторял одни и те же слова: «Мы — подонки жизни. Нас бьют туда, где всего больнее, — прямо в живот. Мы должны отвечать ударом на удар».

И это тоже пустые разговоры, решил тогда Калу. Б-3 старается храбрыми словами прикрыть свои раны. Но сейчас не стоит и вспоминать обо всем этом. Не до рассуждений о добре и зле человеку, в котором по виду и запаху сразу узнают вчерашнего обитателя тюрьмы.

Прежде чем приняться за дело, Калу решил зайти на почту, где он бывал ежедневно с того самого дня, как написал первое письмо Чандре Лекхе. Когда он пришел в первый раз, то остановился у окошка и стал ждать, пока рассортируют почту. «Зайди через час», — сказал ему дежурный почтовый служащий. Но Калу решил остаться и подождать. В какой-нибудь из этих защитного цвета сумок мог оказаться конверт, аккуратно надписанный яркосиними чернилами. Не было в мире сокровища, драгоценнее этого конверта. Торопись, почтовый служащий, ставь свой штемпель на каждый конверт, да только поскорее.

Наконец вся почта была рассортирована. Письма для Калу не оказалось. «Это наверняка?» — спросил Калу чужим, немного хриплым голосом. Он вышел на улицу. Слезы душили его. Внутри была страшная пустота.

Если с ней случилось несчастье, он умрет прямо на улице вместе с теми несчастными, что умирают здесь каждый день.

И вот он снова стоит перед почтовым окошком. Дежурный распечатывает и сортирует мешок за мешком. А письма для него все нет. От волнения Калу стало трудно дышать. Заболела грудь. Но тут дежурный назвал его имя и просунул в окошечко письмо.

И тогда Калу дал волю слезам. Они хлынули из глаз и покатились по щекам, а он, не обращая на них внимания, читал письмо. О дочь! Она писала о том, с каким нетерпением день за днем она ждала от него письма... Сотни страхов терзали ее, заставляли замирать от ужаса. Мученья эти усугублялись тем, что она была бессильна что-либо предпринять. И вот — когда в своем отчаянии она уже думала о том, что лучше смерть, чем неизвестность, — пришло его письмо. Руки у нее так дрожали от волнения, что она не сразу смогла распечатать конверт.

Калу снова и снова перечитывал письмо. Он читал его до тех пор, пока каждое слово этих синих строк не запечатлелось у него в памяти.

— Это правда? Ты в самом деле так любишь меня, Чандра Лекха? Это правда?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Его первое письмо неожиданно пришло в Джарну ровно через два дня после того, как Лекха продала свою медаль. В доме уже не оставалось ничего ценного: было распродано все, вплоть до самых необходимых вещей. Исчезли даже матрацы с кровати. Нашелся человек, который давал за матрацы по нескольку пригоршней риса. Он заново обивал их яркой материей и с выгодой перепродавал в городские мебельные магазины.

Отец не осудил бы их за это, зная, что другого выхода нет и все равно ничего сохранить не удастся. Но медаль? Медаль — не деньги. Медаль — залог твоего человеческого достоинства. Это часть тебя самой. Продавая ее, ты навсегда расстаешься с чем-то в самой себе.

Отец будет очень огорчен продажей медали. Не проходило почти ни одного дня, вспоминала Лекха, чтобы он не бросил на медаль ласкового взгляда. В тяжелый час расставания, перед тем, как уйти из дому, отец, вынув медаль из футляра, долго и задумчиво смотрел на нее.

— Ты возьми ее с собой, чтобы не забывать об успехах своей дочери! — шутливо заметила Лекха, но в глубине души она думала об этом всерьез.

— Что ты, разве можно? — едва заметно улыбнулся Калу. — Медаль, Чандра Лекха, — это не просто серебряная вещица. Это твой священный амулет.

— Амулет? — с удивлением переспросила она.

Калу прикусил язык. Как объяснить необъяснимое? Но, глядя на отца, Лекха и без слов поняла его мысль.

Калу казалось, что медаль поднимает девушку над уровнем ее класса, дает ей положение в обществе, недоступное другим членам их касты. Лекха не разделяла его мыслей, но какое это имело значение? Все дело было в чувстве, с которым он относился к медали. Именно чувство освящало простой серебряный кружочек и превращало его в амулет.

И вот этот амулет Лекха продала за три меры риса торговцу из великого города: год назад этот рис стоил не дороже полрупии, и даже по теперешним временам медаль была отдана задаром — ведь все-таки это было серебро. Но что ей было делать? У кого еще, кроме торговца, нашлись бы деньги на покупку? Не прошло и полугода с тех пор, как этот человек унес ее золотые браслеты.

Когда Лекха спросила, не оставит ли он ей хоть бархатный футляр из-под медали, торговец прищурил свои хитрые глаза, зачерпнул из мешка еще немного риса и бросил на кучку, которую насыпал в уплату за медаль.

— Это за футляр, — сказал он. — Довольно? Ты неплохо торгуешься, девчонка. Этот талант еще сослужит тебе добрую службу. Очень скоро тебе придется воспользоваться им.

Он так и пожирал ее глазами. Сердце Лекхи трепетало от страха.

— Жди своего часу, — продолжал торговец. — Долго тебе ждать не придется. Но что бы ни случилось, не доводи себя до истощения. Посмотри, твои глаза уже обведены темными кругами, а округлые юные щеки ввалились. Старайся любой ценой сохранить красоту!

Под впечатлением собственных слов он погрузил руку в мешок с рисом и снова извлек оттуда полную пригоршню зерна.

— Вот тебе еще, — сказал он. Потом снова зачерпнул и повторил: — И еще. — Пухлая рука в третий раз погрузилась в мешок: — И вот еще. Береги красоту девушка.

Сгорая от стыда, Лекха хотела было высыпать обратно в мешок

зерно, добавленное продавцом из чувства жалости, но у нее не хватило решимости и рука отказалась повиноваться.

— Я уже говорил тебе, что, если будет на то воля всемогущего, мы еще встретимся с тобой.

Лекха повернулась и бросилась бежать.

— Не связывайся с торговцем из великого города, — сказала ей потом старая тетка.

— Все торговцы хитрецы и обманщики, — ответила Лекха. — Но что же делать?

— У этого человека дурное на уме, — резко выпалила тетка, и ее морщинистое, изможденное лицо вспыхнуло от гнева. — Отвесить бы ему тридцать добрых ударов метелкой!

— Тетушка! — в испуге воскликнула Лекха.

— Дурга, Дурга, Дурга! — воскликнула старая тетка, взывая к богине, чтобы успокоить себя. — Ходят слухи, — продолжала она после нескольких минут благоговейного молчания, — что этот гнусный, отвратительный человек... что он... — взглянув на Лекху, старая тетка прикусила язык. — Держись подальше от этой змеи, — продолжала она после небольшой паузы. — А если он еще появится у наших дверей, я сама с ним расправлюсь.— Кровь снова бросилась ей в лицо, и голос задрожал. — Угощу метелкой как следует.

Через день тетка сообщила Лекхе, что змея уползла и больше на улицах Джарны не покажется. Не у нее одной есть добрая метла, в этом городе нашлась, значит, такая, которая сделала свое дело.

Они уже были доведены голодом до полного отчаяния, когда, наконец, пришло письмо от Калу. Страх, вгрызавшийся в самое сердце Лекхи, рассеялся, жизнь снова обрела цвета и краски: отец был жив, он был цел и невредим. Теперь она не будет больше в рыданьях просыпаться по ночам от страшных предчувствий. Правда, другой призрак — призрак голода — не исчез. И все же Лекха могла смеяться по-старому, могла радоваться, могла бороться с голодом, потому что отец был жив.

Старая тетка, схватив две рупии, лежавшие в конверте, сразу же бросилась в лавку, чтобы купить рису. А Лекха так и осталась сидеть на полу, скрестив ноги, с письмом отца в руках. Она снова и снова перечитывала желтый телеграфный бланк, вглядываясь в каракули, нацарапанные не только на чистых местах, но и на печатном тексте бланка. Одно слово отец написал неправильно, но от этого письмо казалось еще задушевнее. И почему, собственно, нельзя писать слова так, как они произносятся?

Никогда, никогда не забыть ей этих счастливых минут!

Но после того, как улеглось первое радостное волнение, Лекха задумалась над содержанием письма. Ему пришлось пережить много тяжелого. Что могли означать эти слова? Он борется за то, чтобы обрести твердую почву под ногами.

Лекха попыталась представить себе отца в Великом городе. Воображение ее разыгралось. Все, что она запомнила из прошлой поездки в город, — это широкие улицы с высокими величавыми зданиями, похожими на королевские дворцы, поток нарядно одетых пешеходов, звонки трамваев, бесконечные ряды магазинов, словно на громадной ярмарке, и закусочные, сотни и сотни закусочных, как будто никто из горожан не ел у себя дома. И в каждой закусочной вы могли получить сколько угодно шариков из мяса с жареным луком и густой подливкой.

Как мог человек среди всей этой роскоши переживать много тяжелого или целых три месяца бороться за то, чтобы обрести твердую почву под ногами? Такой искусный мастер, настоящий умелец, почему же ему

не удается найти хорошую работу и хороший заработок в городе, где так много покупают и продают?

Лекха покачала головой. Это не укладывалось у нее в сознании.

Но жестокая правда запала ей глубоко в сердце: отцу пришлось страдать, он страдает и сейчас... Что могло означать все это? Неужели он недоедает? Неужели голод проник и в столицу? А может быть, отец заболел и не может работать? Может быть, он оказался жертвой несчастного случая и обречен на вынужденное безделье?

Зачем он прислал ей эти две рупии? Лекха впервые подумала об этих деньгах. Ей стало страшно. Деньги были израсходованы. Старая тетка уже успела истратить их на покупку риса. Если бы только она во-время остановила тетку и отправила деньги обратно! «Отец, — написала бы она, — у нас в доме еще есть еда. Мы прибавляем к рису креветок, которых ловим в прудах. А тыква, которую мы посадили, уже созрела. Не посылай нам больше денег до тех пор, пока ты не дождешься лучших времен».

Лекха долго сидела в глубокой задумчивости, прислонившись к стенке террасы. Разве сможет она проглотить хоть кусок, зная, что отец голодает? Слезы застилали ей глаза, и сквозь расплывающуюся пелену она видела отца: он стоял на своем месте в кузнице и ударял молотом так, что искры сыпались во все стороны.

Какая злая сила разрушила их домашний очаг? Старая тетка пыталась отогнать эту силу заклинаниями и молитвами. Поднявшись задолго до восхода солнца, она усаживалась, скрестив ноги, на небольшую подстилку из душистой травы и горячо молилась, всем своим существом взывая к милосердию богов. Она даже купила немного ладана, истратив на это деньги, на которые можно было прокормиться целый день. Потому что боги охотно ниспосылают свою милость дому, в котором курятся благовонные палочки. Но куда девались боги?

Тетка до сих пор оставалась непоколебимой в своей вере, вековой вере своего народа, вошедшей в ее плоть и кровь. Но Лекха часто готова была возроптать, и в глубине ее души звучал вопль, который не смел сорваться с ее губ. Где они, эти боги?

Когда тетка возвратилась домой с небольшим мешочком риса, Лекха все еще сидела на полу и, подперев подбородок ладонью, думала. Она сочиняла первое в своей жизни письмо.

Раньше ей никогда не приходилось писать писем, разве только в виде школьного сочинения. Перо дрожало в ее руке. Что написать отцу о себе? Если она напишет правду, отец будет волноваться, он потеряет покой, а у него и своих забот довольно. Скрыть правду и написать веселые слова? Они прозвучат фальшиво, а это будет еще хуже, чем написать правду. Лекха разорвала несколько черновиков и, сдвинув брови, застыла в глубокой задумчивости.

Письмо, отправленное на другой день, Лекха писала много часов подряд. За это время она успела приободриться. Отец борется, чтобы обрести твердую почву под ногами? Так почему же сомневаться, что он этого добьется? Она достаточно хорошо знала своего отца, чтобы верить в его успех. Она знала его целеустремленность, его железную волю. Как же могла она даже на одно короткое мгновенье потерять веру в своего отца?

От этих мыслей радость нахлынула на нее. Зная, что он цел и невредим и мужественно борется там, в Великом городе, она выдержит любые испытания. Она разрешит себе не больше пяти глотков в день, чтобы сэкономить запас риса. Лучшие времена не за горами.

И Лекха стала с нетерпением ждать ответа на свое письмо. Ответ

пришел через неделю. В конверт были вложены две ассигнации по десять рупий каждая. Настоящее богатство!

Впервые за несколько месяцев, которые показались ей целой вечностью, они с теткой могли наесться досыта. Но дело было не только в этом: отец победил в борьбе, он снова твердо стоял на ногах — вот что было самым удивительным. Настоящее чудо! А впрочем, почему чудо? Вера Лекхи в способности отца оставалась непоколебимой. Произошло то, что должно было произойти, только и всего.

Старая тетка считала, что этот поворот судьбы произошел не без ее участия! Ее заклинания, ее молитвы... Боги услышали их.

— Что ты скажешь на это, девочка? — с гордостью спрашивала она Лекху. — Довольна ли ты, наконец? А теперь слушай. На рассвете мы отправимся в храм, чтобы совершить жертвоприношение: купим светильники, цветы, ладан.

И вот на следующий день целая рупия была истрачена на предметы священного культа.

На обратном пути из храма тетка зашла в бакалейную лавку. Она прошла внутрь и остановилась у прилавка, с царственным высокомерием разглядывая продукты. Лекха осталась в дверях.

— У вас есть пшеничная мука, высший сорт? — Старая тетка вопросительно посмотрела на лавочника. Тот недоверчиво поглядел на ее морщинистое, изможденное лицо.

— Есть высший сорт, — сдержанно ответил он.

— Нам, пожалуй, хватит одного сира *. А как насчет чая, сын мой? У вас есть чай?

— Тетушка! — укоризненно крикнула Лекха.

Но старуха была неумолима: — Чай! — настойчиво повторила она.

— Есть с зеленой этикеткой. Две рупии за пачку.

На остальные деньги тетка купила рису, оставив только одну рупию. И когда они вышли на улицу, тетка сказала:

— Сейчас у нас руки заняты покупками, поэтому за картошкой я вернусь потом.

— За картошкой! — растерянно откликнулась Лекха.

— У нас сегодня праздник, — решительно сказала тетка. — Колесо судьбы повернулось к нам... И вот эта рука помогла повернуть его, — продолжала она, и искра былой гордости промелькнула в ее запавших глазах. — Боги ответили на мои заклинания и молитвы, — добавила она более скромно после небольшой паузы.

Ликование тетки передалось Лекхе: сердце у нее забилось сильнее и кровь быстрее побежала по жилам.

— У нас сегодня праздник, — повторила она. — Колесо судьбы повернулось к нам.

И с этого дня Лекха оказалась во власти мечты, мечты о великом городе. Картины, которые рисовала ей память, не были похожи на правду, потому что в детстве она приезжала в столицу, как приезжают на ярмарку, думая только о диковинках и развлечениях. Но теперь другое дело, теперь она будет не случайно заехавшей в столицу провинциалкой, а коренной обитательницей Великого города. Она будет жить его жизнью, поселится в одном из домов, затерянных в бескрайних джунглях его улиц.

В мечтах легко было строить. И Лекха построила школу.

Школа! Вот о чем она мечтала больше всего. Ее могли бы принять даже в колледж, где учащимся дают стипендию. Может быть, это дерзкие мечты для дочери простого камара? Но разве она не получила медаль, одержав победу над школьницами и даже школьниками всей Бенгалии?

---

* Сир — мера веса, соответствующая примерно 900 *г*.

Она еще покажет, на что она способна. Пусть не думает отец, что только он один умеет бороться. Его дочь также может постоять за себя.

Лишь одна тревожная мысль омрачала картину. Ее медаль, ее амулет не принадлежал ей больше. Может быть, медаль уже и перестала существовать как медаль: ее могли переплавить и сделать из нее серьгу, колокольчик для ножного браслета или пуговицы для мужской рубахи. А впрочем, какое это имеет значение? Можно снова отличиться и получить другую медаль.

Не надо, чтобы отец огорчался из-за ее медали.

«Какие в столице школы?» — спросила она отца в одном из писем.

И он, поняв ее невысказанное желание, ответил: «Я выбираю школу, в которой ты будешь учиться. Здесь так много школ! Они совсем непохожи на маленький одноэтажный домик, в котором помещается школа у нас в Джарне. Вчера на Саус-Парк-род я видел одну школу. Это настоящий королевский дворец. Пока я стоял и разглядывал ее, к воротам подъехал большой черный автобус. Из него высыпала целая ватага девочек в одинаковых синих форменных платьях. У школы есть свой собственный автобус, Чандра Лекха. Он каждое утро ездит от дома к дому и собирает учениц на занятия. Так что тебе не придется ходить в школу пешком».

Чандра Лекха улыбалась, ее большие черные глаза сияли от счастья.

«Тебе не придется ходить в школу пешком...» Как будто она уже учится в городской школе!.. А ну-ка, тетушка, достань поскорее мою школьную сумку. И куда только я ее вчера задевала? Автобус не станет дожидаться меня у дверей целый день!

«Но как же я надену форму, отец, если это детское платье? — писала она. — Я уже слишком взрослая для такой одежды».

«Только младшие девочки ходят в форменных платьях, — ответил он. — Ученицы твоего возраста носят сари и кофточки — синее сари и белая кофточка. Это их форма».

Чандра Лекха не возражала против этого. Надеть синее сари и белую кофточку, чтобы весь мир знал, что она учится в столичной школе. Ну что ж, она согласна!

Но вот в один прекрасный день в дом постучалась незнакомка. Это была дородная приземистая женщина средних лет. Ее руки были унизаны золотыми украшениями, а в широкой левой ноздре сиял рубин.

— Здесь живет семья камара? — спросила она.

Лекха испуганно взглянула на незнакомку. Что ей угодно? Тетки нет дома, она только что ушла в храм...

Женщина грузно опустилась на пол, она, повидимому, устала и хотела отдохнуть. Но это не помешало ей засыпать Лекху вопросами:

— Когда ты получила от отца последнее письмо? Значит, тебе известно, что он устроился, зарабатывает деньги? О чем он писал тебе в своем последнем письме? Ты говоришь, что получила его позавчера?

Взволнованная Лекха отвечала коротко, односложно, а сама снова и снова задавала один и тот же вопрос:

— Скажите, что-нибудь случилось? Скажите...

Наконец женщина отвела взгляд и многозначительно умолкла, а Лекха вне себя заломила руки и закричала:

— О-о-о! Говорите же!

В узеньких глазках незнакомки показались слезы. При виде этого у Лекхи все внутри похолодело от ужаса. Еще мгновенье — и она закричала бы отчаянным голосом. Но тут она услышала хриплый шепот женщины:

— Готовься к дурным вестям, девушка. Мне пришлось проделать весь этот путь, чтобы сообщить тебе...

— Отец! — душераздирающий вопль вырвался из груди Лекхи. Женщина метнула на нее быстрый взгляд.

— Нет, нет, все не так страшно, как ты думаешь, — сказала она. — Это я сдуру так испугала тебя. Твоего отца сшибла машина. Повреждена правая рука. Но он в больнице, и за ним там хороший уход. Через две-три недели он вполне поправится. Опасаться нечего. Он очень беспокоится о тебе, вот меня и прислали сюда. Я работаю в больнице сиделкой...

Женщина пошарила за открытым воротником своей кофты и вытащила конверт.

— Это тебе, — сказала она.

Безжизненной рукой Лекха взяла письмо.

— Видишь на конверте штамп больницы? — продолжала женщина. — Это одна из лучших больниц в городе. Бедняк ты или миллионер — там обо всех заботятся одинаково. Правая рука у твоего отца перевязана, поэтому сиделке пришлось писать под его диктовку. Видишь?

Девушка наморщила лоб:

— Как же так? Ведь только позавчера я получила от него письмо, написанное его собственной рукой, целых четыре страницы.

Женщина утвердительно кивнула головой.

— Это случилось только вчера. И меня сразу же послали сюда, потому что он очень беспокоится о тебе. Бедняга...

Лекха задумалась, держа письмо в руке. Да, она нужна ему. Но в конце письма была приписка: «Если ты боишься — не приезжай».

Если она боится... Не поехать, когда отец страдает и она нужна ему? Не поехать, потому что она боится?..

Как ему, наверно, было больно. Шофер машины, которая сшибла его, должен понести строгое наказание. Никакой пощады. Его надо засадить в тюрьму и заставить вручную вращать пресс для выжимания масла вместе с убийцами и другими преступниками! И ведь должно же было так случиться, когда отец только что вышел победителем из своей борьбы и начал хорошо зарабатывать...

— Поезд в столицу отходит через два часа. — Толстуха взглянула на свои ручные часы и впилась в лицо девушки пронзительным взглядом.

— С минуты на минуту должна вернуться моя тетушка. Как только она придет, мы все втроем сразу же тронемся в путь.

— Тетушка? — В голосе женщины прозвучало беспокойство. — Боюсь, что у меня не хватит денег, чтобы купить для нее билет. В больнице мне дали денег только на два билета. У вас есть деньги?

У Лекхи оборвалось сердце. В доме не осталось ни рупии. Глупая расточительность тетки!

Ястребиные глаза женщины сверкнули.

— О чем ты беспокоишься, девушка? Все заботы в дороге я беру на себя. Мое дело благополучно доставить тебя в больницу. Там тебе дадут комнату, где ты будешь спать. Присутствие дочери прибавит отцу сил, чтобы перенести свое несчастье. Бедняга! Я видела, как он растерялся и плакал, точно маленький ребенок. Но знаешь, если у тебя есть какие-то сомненья, то лучше оставайся дома. Я придумаю, что сказать твоему отцу. Скажу ему, что застала тебя в постели, в лихорадке.

— Нет! — Лекха уже приняла решение. Разве можно было решить иначе? Какие хорошие люди там, в столичной больнице! Каким вниманием они окружают человека, попавшего в беду! Недаром этот город считается сокровищем Бенгалии. При таком хорошем уходе отец скоро поправится и через две-три недели снова будет на ногах. И тогда уже больше никогда в жизни Лекха не расстанется с ним! Никогда!

Лекха встала и выскользнула в кухню. И здесь, прикрыв за собой

дверь, она беззвучно расплакалась. Слезы градом катились по щекам. Задыхаясь от рыданий, Лекха налила в глиняный кувшин воды и поставила на огонь: надо было напоить женщину чаем. Потом, вытерев лицо концом сари, она вернулась в комнату, чтобы собрать свои немногочисленные пожитки.

Вернувшись из храма, старая тетка увидела, как Лекха угощает какую-то незнакомую женщину чаем в жестяной банке и рисовыми лепешками с патокой. Не сводя глаз с горожанки, тетка внимательно выслушала ее рассказ и, опустившись на пол, глубоко задумалась. Время от времени она неодобрительно покачивала своей седой головой. Но что было делать?

Когда наступил момент расставанья, тетка вынула из чашки желтый цветок — один из тех, которые она приготовила в дар богине, — и протянула девушке, как бы вверяя Лекху ее грядущей судьбе.

— Я возвращусь в храм, — сказала она, — и буду молиться за тебя до поздней ночи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Калу улыбнулся. В руке у него было зажато письмо — четвертое письмо от дочери за этот месяц.

— Потерпи еще немного, Чандра Лекха. Ты храбрая девочка, моя гордость и моя радость. Тебе не придется долго ждать. Скоро я возьму тебя в столицу.

Эта надежда облегчала постоянно терзавшую его боль. Даже омерзительное дело, которым он занимался, обретало смысл. Разве не спасал он своим заработком Чандру Лекху от голода? Калу зарабатывал больше, чем мог предполагать. Ему уже удавалось кое-что откладывать. Через два, самое большее три месяца он поедет в Джарну за дочерью.

Одно только беспокоило его. Пока что его сбережений, вероятно, не хватит на то, чтобы открыть собственную кузницу где-нибудь в пригороде. И ему, возможно, придется еще несколько месяцев продолжать свое нынешнее занятие, даже когда Лекха уже будет здесь. Но как это скрыть от нее? Его охватывал ужас при мысли, что дочь когда-нибудь узнает правду.

Что если бы она увидела, как он сейчас, глубокой ночью, прогуливается по переулку, выходящему на Читпур-род, где находится самый шикарный из пяти домов, который он обслуживает. На желтом фасаде дома горят яркозеленые буквы многообещающей вывески: «Рупа — Красота». Этот нарядный особняк резко выделяется среди жалких домишек переулка. На балконах в мягком свете затемненных абажурами ламп стоят женщины с утомленными, ярко накрашенными лицами. Они зазывают прохожих манящими улыбками и выразительными жестами.

У этого заведения, самого изысканного в городе, была своя клиентура из сливок бенгальского общества. Девушки в это заведение отбирались со строжайшей тщательностью: здесь требовались свежесть и изящество. Их привозили со всех концов Бенгалии.

Калу получил назначение в «Рупу» в виде особой милости. Да, брат, по лицу вижу, с кем имею дело. И Калу не обманул проницательности Раджани.

Если бы Чандра Лекха увидела во сне, как он идет по этому переулку в поздний ночной час, она бы не вынесла этого даже во сне. Думая о том, как ужаснулась бы Чандра Лекха, Калу машинально взглянул на противоположную сторону улицы. На нижнем балконе «Рупы», как всегда, стояла женщина. Она застыла, словно изваяние, облокотясь на балюстраду и подперев подбородок рукой. Эта женщина никогда не за-

зывала гостей, как принято в заведениях подобного рода. И даже в тех случаях, когда мужчина, остановившись перед балконом, делал ей знаки и направлялся к дверям, она не проявляла признаков жизни. Казалось, это был не человек, а движущаяся статуя.

Калу часто с недоумением думал о ней. Может быть, это одна из тех женщин, которых выплеснула в город страшная волна голода. Удастся ли ей вырваться отсюда, или на всю жизнь она так и останется жертвой порока?

Шум подъехавшего такси прервал его размышления. Наверное, это и есть гость, которого так ждали сегодня. Калу получил приказание встретить его почтительнейшим образом.

— Сюда, пожалуйста, господин...

На белоснежном шелковом шервани * гостя сияли бриллиантовые застежки. Надменно подняв голову, он прошел мимо Калу, даже не взглянув в его сторону.

Машина осталась ждать у края тротуара. Счетчик продолжал отсчитывать рупии.

«Какой-нибудь богач из высших кругов, любитель прожигать жизнь», — подумал Калу, следуя за гостем на небольшом расстоянии: может быть, тот захочет послать его за бутылкой виски или вина.

Мужчина по узкому коридору прошествовал к лестнице. На втором этаже его ждала хозяйка «Рупы», дородная приземистая женщина с красным рубином в левой ноздре. Хозяйка почтительно поздоровалась с гостем и тихо сказала:

— Останетесь довольны, господин. За двадцать три года я хорошо изучила свое дело.

С обнадеживающей улыбкой торговца, у которого припасен для продажи подходящий товар, она повернулась и быстро направилась вглубь коридора, виляя на ходу задом и бедрами.

Таков был обычный порядок: хозяйка подводила гостя к полуоткрытой двери и ждала, пока он заглянет за портьеру из тяжелого красного бархата. Если девица, сидевшая на кровати с застывшей на лице улыбкой, приходилась гостю по вкусу, он входил в комнату и захлопывал за собой дверь. В ином случае он возвращался к хозяйке, и они шли дальше.

По стенам коридора были развешены картины в тяжелых рамах: величественные фигуры богов очутились здесь в непосредственной близости с японскими этюдами, изображавшими обнаженных людей в самых непристойных позах.

Из какой-то комнаты до слуха именитого гостя донесся смех — взрыв грубого мужского хохота, сливавшийся с звонкими переливами женского голоса. Из-за другой двери слышалась музыка — кто-то пел под аккомпанемент струнного инструмента:

Пей, незнакомец, жизни яд!
Пей!
Пей жизни яд
из чаши сердца, полной до краев...

Гость уверенно шел по коридору, как видно, хорошо зная дорогу. Наконец он остановился у одной двери и быстро приподнял портьеру. Хозяйка юркнула мимо него в комнату. Через мгновение ее голос просвистел, как удар хлыста.

— Перестань! Слышишь!

Короткое молчание в ответ. Потом из комнаты донеслись отрывистые выкрики хозяйки:

---

* Шервани — мужская одежда, род долгополого сюртука, застегнутого доверху.

— Хватит распускать нюни! Здесь тот, кого мы ждем, понимаешь? Целых пять дней я щадила тебя, пять дней берегла для этого случая. Это твое счастье, глупая ты девчонка! Пойми, он озолотит тебя. Он большой человек в джутовом деле, слышишь? — В голосе хозяйки прозвучали уважительные нотки. — Большой человек.

Но тихий плач сменился жалобным воплем страха и отчаяния.

— Что ж, мне еще тебя угостить, чтоб ты стала сговорчивее?

— Нет, — задыхаясь от ужаса, крикнул кто-то в комнате. — Нет, нет...

Вздрогнув при звуке этого голоса, Калу отдернул портьеру и хотел было заглянуть в комнату, но в ту же минуту оттуда вылетела разъяренная хозяйка и захлопнула дверь у него перед носом.

— Убирайся отсюда, — заорала она. — Нечего тебе околачиваться здесь.

И когда Калу тяжелой, заплетающейся походкой побрел по коридору, крикнула ему вслед:

— Сбегай в «Космополитен» и принеси жареных крабов на закуску.

С трудом передвигая ноги, Калу стал спускаться вниз. На лестнице он оступился и едва удержался, чтобы не упасть. Перед глазами у него замелькали темные круги. Все вокруг поплыло в густом тумане. Его била дрожь, словно в доме стоял невыносимый холод.

— Я схожу с ума, — пробормотал он.

Нечеловеческим усилием воли Калу преодолел дрожь и присел на последней ступеньке. Он несколько раз встряхнул головой, чтобы избавиться от тумана, застилавшего ему глаза.

«Этот голос... мне показалось, что я слышу голос Лекхи».

Калу громко рассмеялся над столь чудовищной мыслью. Он не имеет права терять рассудок. Завтра же он уедет из этого проклятого города и вернется домой, к своей дочери. Да, завтра же...

Несколько минут Калу просидел в полном оцепенении. Кровь стучала у него в висках. Потом он поднялся и, задыхаясь, вышел на свежий воздух. В темном переулке к нему подошел другой агент с сигаретой в зубах.

— К вам в «Рупу» заплыла сегодня крупная рыба, — с усмешкой сказал он. — Такси ждет на той стороне.

У освещенного подъезда одиноко стояла молодая женщина.

— Проститутки из голодающих входят в моду. Они отбивают у нас хлеб. Что же будет с нами? — бормотала она, глядя на такси.

Калу ускорил шаг. Он пытался убежать от самого себя. Наваждение все еще не рассеялось. Он лихорадочно обдумывал, на какой ему удастся поспеть поезд, чтобы ехать в Джарну, какой подарок он повезет Лекхе, когда они смогут вернуться в столицу, а в мозгу все время стучало: «Мне показалось, что это был голос Чандры Лекхи».

Калу остановился и, прислонившись к фонарю, несколько секунд судорожно ловил воздух раскрытым ртом. Потом он закрыл глаза и еще раз попытался отвлечься от своих мыслей. Но кошмар продолжался. Это был не только обман слуха, зловещее предчувствие томило его. Он снова стал задыхаться, и в висках у него зазвенело.

Он направился обратно к дому. От страшного волнения подкашивались ноги, и он должен был присесть на порог.

— Совсем с ума сошел, дурак, — пробормотал он, успокаивая самого себя.

Прошло не больше десяти минут. Вдруг он увидел, что с лестницы спускается мужчина с бриллиантовыми застежками. Калу вскочил на ноги. Мужчина, не оглядываясь, направился к выходу.

— Такси, — в бешенстве рявкнул он.

Калу вошёл в подъезд. Он не может дольше выносить эту пытку. Он должен убедиться собственными глазами. Он заглянет в комнату и посмеется над самим собой. Как он будет смеяться... И завтра, да, завтра же он поедет домой к своей дочери. А сейчас он заглянет в комнату и отгонит от себя этот пугающий призрак. Пусть только попробует эта толстая баба не пустить его. Он ее задушит.

Калу бесшумно поднялся по лестнице и, словно тень, проскользнул по коридору. Когда он очутился у знакомой комнаты, сердце его замерло. Медленно, дрожащей рукой он осторожно толкнул дверь.

На полу, свернувшись в комочек, рыдала девушка. Лица ее не было видно. Калу подошел ближе и внимательно посмотрел на нее.

— Лекха, — шепнул он.

Сильно вздрогнув, девушка подняла голову и молча посмотрела на него.

— Отец, — отозвалась она через некоторое время так же шепотом.

Глаза Калу расширились от ужаса, хотя в течение последнего получаса он подсознательно готовил себя к этой минуте. У него подкашивались ноги, но он напряг всю свою волю и овладел собой.

— Вставай скорее. Идем.

Он нагнулся и помог Лекхе подняться. Увлекая ее к двери, он едва не поскользнулся — ковер в одном месте был испачкан блевотиной; прежде чем выйти, Калу оглянулся по сторонам, и в это время в дальнем конце коридора появилась хозяйка. В ее унизанной кольцами руке был хлыст. Калу почувствовал, как помертвела от страха стоявшая рядом с ним Лекха. Он отпрянул назад и замер, выжидая. Его громадная фигура загородила вход в комнату. Он выжидал, и неодолимое желание убить эту женщину поднималось в нем. Хозяйка медленно шла по коридору и с возмущением бормотала про себя:

— И ты думаешь одурачить меня, девчонка, ничтожество, молоко на губах не обсохло. Блюет, как больная собака. Я приручу тебя, даже если для этого мне придется переломать тебе все кости.

Хлыст просвистел в воздухе. Дрожа от бешенства, хозяйка завернула за угол и скрылась в уборной, яростно захлопнув за собой дверь.

Сжимая руку дочери, Калу бросился бежать. Вниз по лестнице. По переулку, к главной улице. На углу стояла свободная коляска. Рядом на краю тротуара сидел рикша. Калу окликнул его.

В тягостном молчании они сидели, отодвинувшись друг от друга, не поднимая глаз. Над городом тяжело нависла ночь. Слабо мерцали уличные фонари под колпаками затемнения. Промчалась мимо пожарная машина, резким воем сирены разорвав тишину.

Калу не задавал никаких вопросов. Все его чувства притупились. Внутри была полная пустота. Но где-то в глубине его сознания происходила безмолвная борьба. Несколько месяцев назад в зале суда что-то откололось от его души и осталось там, на скамье подсудимых. Еще какую-то частицу себя он оставил за решетками тюрьмы. Сегодня на узорчатом ковре публичного дома осталась гораздо большая и более нежная часть его существа.

А Лекха? Она не радовалась своему освобождению. Она не чувствовала ничего, кроме крайней опустошенности. Ей хотелось одного: лечь и заснуть или умереть. Она забилась в угол коляски и, не обращая внимания на то, что железный каркас навеса врезался ей в руку, неподвижно сидела с закрытыми глазами. Если бы можно было никогда больше не открывать их.

Гул низко летящего самолета вывел отца и дочь из оцепенения. Калу поднял голову и впервые за все время посмотрел на Лекху. Но он не встретился с ней взглядом. Лекха, не отводя глаз, следила за самолетом.

Перед ним была чужая: изможденное лицо, темные круги под воспаленными глазами, растрепанные волосы. На голое тело наброшено только сари из голубой прозрачной ткани. Сильный запах мускуса.

И это Чандра Лекха?

Рикша зазвенел колокольчиком и, свернув в переулок, остановился перед низкими строениями, крытыми гофрированным железом. Калу расплатился с ним и провел Лекху на темную веранду. Миновав несколько дверей, он остановился перед своей комнатой, достал ключ и открыл им висячий медный замок.

— Входи,— позвал он Лекху, после того как зажег в небольшой нише тонкую свечу.

Лекха, как чужая, переступила порог крохотной каморки и в мрачном молчании остановилась, опустив голову и прикрыв руками свою полуобнаженную грудь. Но Калу не смотрел на нее.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Нет, — сказала она и, помолчав немного, добавила: — Пить хочу.

Он медленно подошел к ней и налил из глиняного кувшина воды в эмалированную кружку.

— А теперь ложись спать, — сказал он и кивнул головой на узкую койку у стены, занимавшую половину комнаты. Сам же взял соломенную цыновку и разостлал ее на сыром каменном полу веранды. Прежде чем лечь, он закрыл за собой дверь и громко сказал:

— Спи.

Его голос прозвучал в тишине резко и грубо.

Легко сказать «спи». Он стал жестоким. Куда девалась вся его нежность?

Его дочь осквернена. Она теперь «падшая».

Достаточно было вдохнуть воздух публичного дома, чтобы превратиться в глазах общества в «падшую» женщину. Этот страшный факт не оставлял места чувствам. Кто бы ни был повинен в этом, факт оставался фактом. Что можно теперь изменить? Разве он не бессилен против общественного мнения, которое навсегда заклеймило ее?

Все верования, чувства и мысли Калу перешли к нему по наследству от среды, в которой он родился и рос. Но Лекха была для него не только воплощением чистоты и непорочности, она была его единственной любовью, смыслом и содержанием всей его жизни. Если бы он любил ее не так сильно, он мог бы пойти на компромисс с жизнью и примириться с тем, что его дочь такова, как она есть: не чистое золото, а обыкновенная глина. Но, привыкнув боготворить ее со всем пылом человека, для которого служение — потребность, он не мог допустить, чтобы она спустилась со своего пьедестала. И потому он вел борьбу с ее обвинителями — вековыми традициями, составлявшими основу его существования.

Пусть исход этой борьбы не мог решиться в течение часов или дней, но каждый день был шагом вперед. Перелом, который начался в зале суда и усилился в тюрьме, нашел свое завершение под влиянием любви, переполнившей его сердце. Теперь Калу должен был не только отвергнуть непреложные истины, которые он впитал с молоком матери, но и искоренить в себе веру в них.

Он лежал на полу, свернувшись на своей цыновке, до тех пор, пока боль в онемевших членах не вырвала его из оцепенения и не возвратила к действительности. Не хотелось смотреть в лицо настоящему, но он мог оглянуться на свою прошлую жизнь и окунуться в воспоминания. Можно было оживить в памяти счастливые мгновения, бережно охраняемые образы своего счастливого прошлого.

Вот маленькая Лекха ползает по полу с ободранными от усердия коленками. Вот она впервые делает несколько самостоятельных шагов, и

его восторг при этом не уступает ее собственному. А вот она в первый раз идет в школу. Ее успехи — есть ли на свете еще девочка, которая в течение десяти лет неизменно была бы первой ученицей по всем предметам? Еще один год — и она сдавала бы выпускные экзамены. А там университет. Начальница не раз говорила, что Лекха наверняка получит стипендию... стипендию!

На смену светлым воспоминаниям пришли другие картины... Новорожденный младенец, оставленный без присмотра возле своей умершей матери. Сжатые кулачки, сморщенное от плача лицо и брюзжание соседки, которая помогала повитухе: «Тише, тише ты, убийца своей матери...»

Этот безжалостный упрек разбудил нежность в сердце Калу. И с тех пор он отдал себя дочери, стал ее надежным и верным заступником. Так было все эти годы.

Неужели же он откажет ей в защите теперь, когда она обречена на ужас и мучения, выставлена на поругание перед всем миром?

Лицо Калу сморщилось, как у ребенка, и, зажав рот руками, он беззвучно заплакал. Так он плакал только один раз в жизни — в ту ночь, когда умерла мать Лекхи. Калу плакал долго и горько: разочарование и тоска по минувшим счастливым дням медленно сочились из его души. Но он все время прислушивался к тому, что происходит в комнате. До него донесся шорох, и Калу приподнялся, напряженно вслушиваясь в тишину. Убедившись, что слух не обманывает его, он встал и, вытерев глаза полой дхоти *, вошел в комнату. Свеча погасла, в комнате было темно, как в колодце.

Калу не видел Лекхи, только прерывистые, сдавленные рыдания доносились до него. Он присел на край кровати и, ощупью найдя лицо дочери, осторожно вытер слезы своими заскорузлыми пальцами. Но слезы продолжали струиться, и руки у него сделались мокрыми.

Что он мог сделать? Как успокоить ее? Раньше в такие минуты дочь просто прижималась к нему, и он тихонько гладил ее по голове, пока она не успокаивалась. А теперь?

— Три месяца я просидел в тюрьме, — сказал Калу и резко добавил: — за... за воровство. — Он должен был признаться в своем падении, чтобы оказаться на одном уровне с ней, со своей дочерью.

Рыданья стали глуше, но она все еще продолжала плакать.

— В тюрьме меня впрягли в ярмо, как вола, и я должен был вращать пресс для выжимания масла,— продолжал Калу. — И вот там один человек рассказал мне, какие дурные дела делаются в столице. Голодных девушек выманивают из дому...

Он замолчал и отвернулся, рассказывать дальше было свыше его сил. Он не мог признаться дочери в своем окончательном падении. Но Лекха захочет узнать, каким образом он попал в «Рупу». Как объяснить ей это?

Рука Лекхи протянулась и, как в былые времена, крепко сжала его руку. Потом она молча провела его рукой по своей спине. Калу ощутил рубцы на коже.

— Они били тебя? — испуганно воскликнул он. И еще раз повторил задыхающимся шепотом. — Они били тебя?

Она снова разрыдалась в ответ.

Он осторожно гладил ее израненную спину, как бы разделяя с ней ее боль.

— Они били тебя? — задавал он все тот же вопрос. И потом прорычал с угрозой. — Они заплатят за это!

---

* Дхоти — мужская одежда, кусок ткани, обертываемый вокруг бедер.

Да, они заплатят. Все равно как, но они расплатятся за все сполна. Слова заключенного Б-3 обретали новый смысл. Мы — подонки жизни. Хозяева презирают нас потому, что боятся. Они бьют туда, где всего больнее — прямо в живот. Мы должны отвечать ударом на удар.

Калу и Лекха перестали быть чужими друг другу. Это снова были преданный до последнего вздоха отец и любящая дочь.

Вдруг к аромату мускуса, которым было надушено тело Лекхи, примешался противный, кислый запах. Ее рвало? Да, ведь он натолкнулся на блевотину на полу в комнате публичного дома. Как мог он забыть об этом? Нужно дать Лекхе кувшин с водой, чтобы она умылась, и пусть она наденет на ночь его дхоти и жилет, как они ни велики ей. А эту шелковую тряпку надо будет выбросить в мусорный ящик. Завтра же утром он купит ей новое сари и кофточку.

Но прежде всего он должен получить ответ на вопрос, терзавший его сердце: что произошло? Бхагван! Он хочет знать правду, он должен услышать ее, даже если при этом кровь застынет у него в жилах.

Лекха приподнялась и села. Калу почувствовал, что ее глаза ищут в темноте его лицо, и взял дочь за руку. Кто, кроме него, может понять ее?

Лекха заговорила бесцветным, лишенным выражения голосом. После перенесенного потрясения она вся была какая-то поникшая, безжизненная, как вывихнутая рука.

— Когда пришло твое первое письмо, мы были совсем нищими. Распродали все. За серебряную медаль получили три меры риса.

— За медаль? — глухим стоном отозвался он.

— Я считала минуты до твоего возвращения. А потом приехала женщина и привезла от тебя письмо.

— Та самая женщина?

— Она приехала шесть дней тому назад и сказала, что тебя сшибла машина и ты лежишь в больнице. Она сказала, что работает там сиделкой и что ты послал за мной.

— А мое письмо, Лекха? Я же писал тебе в прошлый четверг.

— Она сказала, что несчастье случилось накануне и что ты хочешь видеть меня. Она привезла письмо. На конверте был штамп больницы. Она сказала, что у тебя повреждена рука и поэтому письмо пришлось писать под твою диктовку.

Вот как Лекха попалась в ловушку. А когда решетка захлопнулась...

Лекха продолжала тихо говорить ровным, бесстрастным голосом. Она рассказывала обо всем так, словно это произошло с кем-то другим. Поездка по железной дороге. Тревога за отца. Непередаваемый ужас, когда она поняла, куда ее привезли. Она валялась в ногах у этой женщины, умоляла ее сжалиться, но ведьма пинала ее ногами в лицо. Она билась головой об пол, так что потекла кровь.

— Довольно, — умоляюще шептал Калу. — Я не могу... Я не могу больше слушать.

Но Лекха, казалось, не обращала внимания на его слова. Ее сухие глаза горели; дыхание было ровным. Только дважды спокойствие едва не изменило ей. Сжимая ее руку, Калу умоляюще шептал:

— Успокойся. Ложись и спи. Я бесчувственная скотина, не надо было расспрашивать тебя.

Но Лекха продолжала говорить.

Первые два дня в публичном доме она провела взаперти: двери комнаты были наглухо замкнуты, окна заколочены. Она не могла притронуться к еде. Ночью, когда страх становился нестерпимым, она звала мать: «Мама! Мамочка!» Но все ее мольбы оставались без ответа.

На третий день она не могла больше вынести голода и проглотила несколько кусков. И на четвертый, когда женщина поставила перед ней обильное угощение, она ела еще. Нелепая надежда, что отец как-нибудь узнает обо всем и придет ей на помощь, не оставляла ее. Ведь он всегда каким-то образом узнавал, когда что-нибудь причиняло ей огорчение или боль. Мысль, что женщина обманула ее и что отец не в больнице, служила ей некоторым утешением.

Да, она лелеяла эту невероятную надежду! А сегодня, на пятый день, ей снова принесли богатый обед. Она с жадностью набросилась на него. Весь вечер эта ведьма ругала ее и даже била хлыстом. Потом она раздела Лекху и, надушив крепкими духами, набросила на нее вот это прозрачное голубое сари. И больше ничего.

Лекха замолчала. Было так темно, что они не видели друг друга. Сидели рядом отец и дочь, застыв, словно каменные изваяния. Гнетущее молчание прервал неожиданный вопль ужаса: «Нет! Нет!»

— Чандра Лекха. — Калу крепко сжал ее руку и почувствовал, что она вся дрожит. — Перестань. Ляг, дитя мое, усни.

— Отец! — рыдания снова душили ее. — Не пускай сюда этого зверя...

— Дитя мое, я буду здесь, рядом, буду охранять твой сон. Ложись, Лекха. Ну вот. А теперь закрой глаза и слушай мой рассказ. Я расскажу тебе, как я проехал двести миль на подножке железнодорожного вагона. Ты могла бы поверить, что твой отец украл бананы, те самые бананы, которые мы с тобой никогда особенно не любили? Так вот, слушай...

Наконец, усталость взяла верх и Лекха заснула, а Калу, сидя на краю кровати, глубоко задумался. В «Рупе» или в других домах, которые он обслуживал, были, вероятно, и другие такие же девушки, как Чандра Лекха. Он не имел никакого представления о том, что происходит в этих домах, он не хотел этого знать. Он делал свое дело, а ко всему остальному был глух и слеп. Но кто знает, может быть, часть его заработка доставалась ему ценой позора и слез этих несчастных жертв.

Страшная мысль! Калу не хватало воздуха, когда он думал об этом.

Его сбережения были надежно спрятаны в набедренной повязке, возле самого тела. Теперь ему показалось, что эти деньги все равно, что кусок прогнившего мяса. Разве оно годилось в пищу его дочери?

Общество яростно заклеймило его как преступника, когда он не сделал ничего по-настоящему дурного. А теперь, когда он занимается поистине преступным делом, ему благосклонно улыбаются и щедро платят. Полисмен на углу улицы, приходивший в неистовство при виде истощенных от голода людей, старался завести с ним дружбу и, подмигивая, спрашивал:

— Ну, как дела, брат?

Где же смысл во всем этом? Калу недоумевал. Раз они не дают ему жить честно, значит, они действительно хотят, чтобы он был преступником? Чтобы он совершал преступления им на потребу?

А его дочь? Чего они хотят от нее?

Он знал, чего они хотят. Она тоже должна служить им на потребу. Она тоже заклеймена.

Не опоздал ли он спасти ее? Все мышцы его лица напряглись, когда он мысленно вернулся к страшной сцене в публичном доме. Женщина, размахивая своим хлыстом, говорила: «Думает одурачить меня? Блюет, как больная собака». И следы на ковре. Вот почему этот человек в бешенстве уехал из дома. Какой же гость захочет иметь дело с девушкой,

которую все время тошнит. Это объясняло гнев хозяйки, которая потеряла хорошие деньги.

Калу цеплялся за любую мелочь, укреплявшую его уверенность в том, что он явился не слишком поздно. Лекха потрясена, это несомненно. Но потрясение это было бы во стократ сильнее, оно сломило бы ее совершенно, если бы мужчина добился своего. Калу достаточно хорошо знал свою дочь. Это было самое убедительное доказательство, на котором могла прочно покоиться уверенность.

Калу прислушался к ровному, глубокому дыханию дочери, и на душе у него стало спокойнее.

В сущности, хорошо, что он занялся этим отвратительным делом. Если б не это, Чандра Лекха погибла бы так же, как гибнут многие другие. Он никогда бы не увидел ее больше. Смерть была бы для нее лучше, чем такая жизнь.

Калу облегченно вздохнул. Да, судьба, столь жестокая к ней, пощадила ее в последнюю минуту.

Пора было подумать о будущем. Как заработать на жизнь? Вокруг бушевал голод. Мужчины, женщины, дети, младенцы, еще не появившиеся на свет, погибали, словно забытые на привязи животные. От этой участи Лекху отдаляли всего лишь несколько рупий, которые Калу удалось отложить. Но этих денег не могло хватить надолго, тем более, что какую-то часть из них надо было посылать домой, старой тетке.

Что же делать?

И тут Калу осенила мысль. Разве заключенный Б-3 не указал ему выход? Есть одна возможность, только нужны средства для начала. Калу пытался припомнить каждое слово, сказанное ему заключенным Б-3. В его отчаянном положении эта идея все больше привлекала его. Волшебный фокус казался осуществимым.

Калу сидел, схватив руками голову, и напряженно думал. Потом проверил, целы ли его сбережения. Да! Да! Перед ним был выход.

И это не только способ заработать на жизнь. Это возможность расквитаться.

Хозяева бьют нас туда, где всего больнее. Мы должны отвечать ударом на удар.

Ударом на удар!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Барабанщик в этот день ни о чем не оповещал народ привычной барабанной дробью. Не было видно никаких признаков бойкой рекламы, но еще до полудня молва о чуде облетела всю округу.

Мужчины и женщины с торжественными, сосредоточенными лицами сидели у многоствольного баньяна, разросшегося на пустом участке, ярдах в двадцати от проезжей дороги.

Поджав под себя ноги, они тихо и монотонно повторяли священные слова песнопенья: «Намо Шива! Намо Шива *!»

Вокруг них толпились сгоравшие от любопытства мальчишки. Даже несколько бродяг и те присоединились к толпе. Некоторые предусмотрительные зрители постарались занять более удобную позицию на ветвях дерева. Время от времени раздавались беспокойные голоса стариков, торопливо семенивших к баньяну.

— Уже свершилось? Мы опоздали?

— Нет еще. Нет еще, — отвечали им.

---

* Намо Шива — Слава тебе, Шива!

Тогда они опускали глаза и, тихо повторяя вместе со всеми «Намо Шива!», протискивались в первые ряды.

От полуденного зноя пересыхало в горле, и продавец свежих кокосовых орехов бойко торговал прохладным кокосовым молоком, которое нужно было пить прямо из скорлупы, а какой-то мальчишка в узких коротких штанах кричал высоким голосом:

— Зеленые огурчики! Нежные, сочные зеленые огурчики!

Вокруг толпы сновал старый нищий.

— Получайте отпущение грехов, — взывал он к собравшимся, — пока это можно сделать по дешевке! Стоит только подать одну ану слепому в день явления Шивы.

Явление Шивы. Вот какое чудо было возвещено высоким, очень смуглым брахманом в желтой мантии священнослужителя, в маленькой шапочке и с четками на шее. Скрестив ноги, он сидел на разостланной под деревом тигровой шкуре и звучным голосом неустанно повторял священные слова: «Намо Шива!» И слушатели с благоговением вторили ему. В такт словам брахман покачивался из стороны в сторону и время от времени наклонялся вперед, чтобы пролить на землю несколько капель воды из медного кувшина.

Рядом с ним на другой тигровой шкуре сидела девушка, тоже в желтом одеянии. Длинные густые волосы падали ей на спину и плечи, и на прекрасном лбу алел священный знак, нанесенный киноварью. Но голос девушки на фоне общего хора звучал глухо, а ее лицо застыло в странной неподвижности и руки, подававшие брахману медный кувшин, двигались, как у марионетки.

На рассвете этого дня велосипедист, проезжавший по дороге, заметил брахмана и девушку, совершавших под баньяном какой-то странный обряд. Он остановился и спросил:

— Что здесь происходит?

Ответа не последовало.

— Какие сокровища зарыты здесь? — шутливо настаивал велосипедист. — Может быть, вы собираетесь показывать фокусы?

Брахман не удостоил вниманием эту легкомысленную болтовню, но молодая девушка с печальными глазами подняла голову и сказала:

— Здесь нет сокровищ, и это не фокусы. Здесь должен явиться Шива.

Изумленный велосипедист недоверчиво уставился на нее.

— Шива! — воскликнул он. — Явится из земли?!

— Таков был сон, — сказала девушка.

— Сон?

Все становилось еще загадочнее. Голос девушки был тих и бесстрастен. Казалось, она с трудом произносит слова.

— Он, мой отец, видел сон. Во сне ему явился Шива и сказал: я погребен под старым баньяновым деревом на пустыре близ Бехулародд. Ты узнаешь место по большому муравейнику. Убери муравейник и поливай в этом месте землю до тех пор, пока я не явлюсь на свет.

Девушка отвернулась от незнакомца и снова приняла молитвенную позу. Ее голос слился с монотонным бормотанием отца: «Намо Шива!»

И проезжий уверовал. Он схватил свой велосипед и, бешено работая педалями, помчался обратно. Он жил на расстоянии мили в большом доходном доме. Не переводя дыхания, он сообщил жене и матери необычайную, сверхъестественную новость.

— Чудо! — воскликнула его старая мать и поднесла ко лбу благоговейно сложенные ладони. — Намо Шива! — зашептала она.

Молодая женщина эхом повторила за ней эти слова и также поднесла ладони ко лбу.

— Я примчался сюда, чтобы сообщить тебе об этом, мать. Ты когда-нибудь видела такое чудо?

— Только однажды, — призналась старуха. — Это случилось лет сорок тому назад. Ты был тогда еще совсем маленький. Мы жили в родной деревне. И вот далеко в поле под большим баньяном явился Шива. Помещик сделал большое пожертвование, и на этом месте вырос храм. Люди из семи деревень округи сходились туда на богомолье. Этот храм прославил нашу деревню.

— А был перед тем вещий сон, мать?

Она сдвинула свои седые брови, напрягая память.

— Да, да. Был сон. С него все и началось. Наш чатарджи * в те времена был беден, как полевая мышь. Это был самый бедный брахман во всем крае. И вот великий бог сжалился над ним и явился ему во сне. И когда расцвел храм, стал процветать и наш чатарджи. Он перестал сутулиться, а в глазах у него появился блеск; он даже перестал заикаться. А я до сих пор помню, как раньше над ним смеялись за это. И вот он, пуджари ** стал первым лицом у нас в округе. Он купил землю, а его старший сын, Кали Чаран, женился на дочери Гангулы, судьи нашей округи. Мне говорили потом, что...

— Мать, мы опоздаем. Неизвестно, когда будет явление Шивы. Это может случиться в любую минуту. Я должен поспешить и сказать об этом другим.

— Верно, верно, — согласилась мать. — Беги, сын мой, и расскажи всем соседям о новом чуде. Великий бог в своей милости решил приблизиться к нам. Стоит взять рикшу — и за пять минут ты в храме. Поистине, судьба улыбнулась нам.

— Разве там будет храм? — с недоверием переспросил сын. — На постройку храма нужны большие деньги, если только это настоящий храм, а не какая-нибудь маленькая, убогая молельня. Кто даст эти деньги?

Но мать стояла на своем:

— Запомни мои слова, сын мой. У нас будет величайший храм в Калькутте. Иначе к чему бы Шиве выбирать это место на самой окраине города? Деньги, словно дождь, потекут прямо с неба. Посмотришь!

И полетела вокруг молва, и взволнованная толпа собралась на пустыре под баньяном.

Шива все не являлся, а народ все прибывал и прибывал, и напряжение нарастало. Скопилось уже десятка два машин и подъезжали все новые. Появились разносчики с разной снедью. Какой-то находчивый торговец соорудил стол, на котором расставил бутылки с подкрашенным лимонадом.

Кучка гонимых голодом людей, тянувшихся в столицу из какой-то дальней бенгальской деревни, остановилась на дороге. В потухших глазах заблестела надежда: не принесет ли им это чудо облегчение? Может быть, великий бог для того и является на свет, чтобы положить конец страданиям в стране!

Голодающие свернули с дороги и вместе со всеми уселись на землю, застыв в терпеливом ожидании.

---

* Чатарджи — человек, принадлежащий к одной из брахманских каст.

** Пуджари — священнослужитель при храме.

* * *

У Калу уже болела спина, но душа его радовалась. Картина, которую он столько раз рисовал в своем воображении, — вот она, наяву перед его глазами. Сотни людей собрались здесь. Их многочасовое терпеливое ожидание — доказательство их веры. Лишь нескольким надоело ждать, и они ушли. Тем лучше. Кто сомневается, тот здесь не нужен. Калу украдкой внимательно наблюдал за всем происходящим.

Он был и сам неспокоен. А что если чудо не свершится? Калу пытался отогнать от себя опасения, но они снова осаждали его так настойчиво, что он готов был вскочить и бежать, куда глаза глядят, бросив все это безумство.

Лекха сидела рядом с ним, поджав под себя ноги. Она ничего не ела весь день, была бледна и выглядела усталой. Калу очень хотелось протянуть руку и ласково погладить дочь по голове. Терзают ли ее дурные предчувствия? Не задавая никаких вопросов, она безмолвно подчинилась всем его приказаниям. Но в ее глазах, которые она время от времени обращала к нему, была тревога.

Мужайся, девочка! Осталось недолго ждать. Каждая томительная минута приближает к нам желанный момент. Это чудо должно совершаться медленно, иначе оно лишится всякой торжественности, пропадет весь его эффект. Мужайся, Чандра Лекха!

По мере того как солнце клонилось к западу и нетерпение толпы возрастало, росли и сомнения, одолевавшие самого Калу, заставлявшие его сердце сжиматься от боли.

— Что если чудо не свершится?

Калу накручивал на свой большой палец священный шнур в подражание брахманам, словно это могло укрепить его душевные силы, и прикладывал к животу свою дрожащую руку. В толстый новенький шнур было вплетено девять белых нитей, но это был не простой шнур, а брахманская регалия, священная эмблема. Надев его на себя, Калу пережил серьезную внутреннюю борьбу. Он решался на страшный обман, выдавая себя за человека из высшей касты, самой высшей касты, в то время как в действительности он стоял на одной из нижних ступеней кастовой лестницы. До сих пор никто в Бенгалии не отваживался на такую дерзость. Сомнения терзали Калу. Чем это может кончиться? Точно ли он запомнил все, что ему говорил Б-3? А вдруг Б-3 забыл сообщить ему что-нибудь из того, что он должен знать? Калу долго сидел неподвижно, держа священный шнур в своих бессильно поникших руках и не решаясь надеть его. Может быть, Б-3, не слишком веря в то, что это когда-нибудь осуществится, опустил какую-нибудь важную подробность, от которой зависело явление Шивы. Если б только он более обстоятельно объяснил ему, как сделать, чтобы этот обман удался. Но удивительный рассказ молодого человека тогда просто позабавил Калу, и ему даже в голову не пришла мысль о том, чтобы воспользоваться им, потому что в те дни он все еще надеялся, что будет зарабатывать свой хлеб честным трудом...

И вот, оказавшись на перепутье судьбы, Калу сидел и напряженно думал, удастся ли ему довести до конца этот чудовищный маскарад, так, чтобы не оступиться и не выдать себя?

А если нет другого выхода? Мятежный голос в нем сливался с мрачным воплем отчаяния, шедшим из самых глубин Бенгалии.

Он закрыл глаза. Затаил дыхание. Сжал в руке священный шнур и быстрым движением перекинул его через плечо. От дерзости этого поступка его стала бить дрожь. Этим поступком он сбрасывал с себя тяжкий гнет, под которым прошла вся его жизнь, и бросал вызов трем

тысячам лет прошлого своего народа. Надев на себя священный шнур, он отрывался от родных корней.

Но вслед за ощущением ужаса перед содеянным пришло чувство глубокого облегчения. Он преступил границу, определенную ему при рождении. Радость и отвага наполняли его.

Он подготовил чудо, зная, что совершает богохульство, зная, что вера, в которой он вырос, — это вера предков, неотторжимая от его существа. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо храма, его сложенные руки сами собой поднимались ко лбу в благоговейном жесте. Всякий раз, когда заболевала Лекха, он шептал слова молитвы, шедшие из глубины души, и посылал священнослужителю положенные приношения в виде фруктов, сластей и денег. Подумать только, что он оказался способным на такой кощунственный обман. Решиться выдать себя за провозвестника бога на земле. Но мятежный голос в нем был тверд и неумолим. То был голос разума и справедливости. И чувства эти преобразили Калу. Брахманский маскарад был лишь шагом к полному перевоплощению.

Сон, о котором так таинственно рассказывала Лекха тихим, срывающимся голосом, в самом деле приснился ему. Только главным в этом сне был не Шива, а страх.

Все его страхи с новой силой нахлынули на него. Реальные страхи, от которых не было спасения. Что если в один прекрасный день здесь появится кто-нибудь из Джарны и узнает в нем простого кузнеца? Весть эта мгновенно облетит всех и послужит искрой, от которой вспыхнет пожар. Взбешенные обманом люди набросятся на него и изобьют его до смерти. Это вполне может случиться.

Калу приснилось, будто он умывался у колодца неподалеку от храма, а в это время мимо проходил тюремный сторож. Гангу Сингх, так звали сторожа, остановился и удивленно заморгал глазами.

— Смотри-ка,— воскликнул он,— до чего похож на заключенного, который два или три месяца назад вышел из нашей тюрьмы, только густых усов нет. Смотри-ка, и плешь такая же! Это он, точно...

Но тут Гангу Сингх увидел на обнаженной груди Калу священный шнур и онемел от изумления.

Еще мгновение — и молва полетит во все концы. Нужно немедленно окликнуть тюремщика, заманить его поближе и сбросить в колодец. Счастье, что нет свидетелей. Но Калу не пошевелился — и тюремщик, покачивая черной бородой, уложенной в сетку, пошел своей дорогой, бормоча:

— У муравья вырастают крылья — а дальше что? Вор становится священнослужителем — а потом что?

На этом сон оборвался, и Калу проснулся весь в холодном поту. «Что ж,— подумал он,— я убил свое прошлое во имя смелого и нового будущего. Почему же мне не убить этого человека, который появился из мрака прошлого? Он непременно предал бы меня».

Но это был только сон.

Солнце садилось, сгущались сумерки, и вдруг бурая поверхность земли, которую так усердно поливал Калу, раскололась и из трещины показалась голова маленького каменного Шивы. Только люди, сидевшие в первых рядах, могли видеть это чудо. В первую секунду они смотрели на него в безмолвном изумлении. А потом раздался многоголосый торжествующий крик: «Намо Шива! Сам бог, сам Шива явился к нам...»

Лихорадочное возбуждение охватило толпу. Люди были поглощены происшедшим. Чудо словно обновило их. И они кричали до хрипоты, спеша возвестить о нем всему миру. Отталкивая друг друга, задние протискивались вперед, чтобы своими глазами взглянуть на свершившееся

чудо. Детей сбивали с ног. Кричали женщины. Те, кто послабее, задыхаясь, пытались выбраться из толпы, но не могли. Наиболее предприимчивые взбирались на баньян и отыскивали себе место на свободных ветках. Беспомощные старики приходили в отчаяние:

— Целый день мы сидели и ждали этого чуда, и вот теперь, когда оно свершилось, нам не дают даже одним глазом взглянуть на него. Ах, горе! Ведь другого такого случая в жизни не будет.

Упоенный сказочным успехом своей затеи, Калу старался не обнаружить волнения. Он поднялся на ноги и повелительно крикнул:

— Чудо должны увидеть все, толкаться незачем. Шива явился на землю не для того, чтобы снова исчезнуть. Подходите по порядку. Смотрите и отходите в сторону. Не задерживайтесь!

Свалка прекратилась. И люди длинной вереницей потянулись к тому месту, где Шива явился на свет. Сотни серебряных монет сыпались на божество. Женщины снимали с себя золотые украшения. Какая-то дама, приехавшая в автомобиле, оставила Шиве золотую цепь с рубиновым кулоном.

В толпе верующих попадались и насмешники. Кто-то спросил, принимает ли божество чеки? И Калу, который уже знал, что такое чек, едва не ответил: «А почему бы и нет?» — но во-время удержался и смерил незнакомого шутника строгим взглядом. Приходилось соблюдать осторожность.

Деньги складывали в общую кучу с другими дарами. И Калу, словно тигр, зорким взглядом оберегал свою добычу, ибо даже к деньгам, принадлежавшим божеству, могли протянуться жадные руки. Калу изнывал от нетерпения узнать, какую сумму составит все это. Но нужно было ждать, пока не разойдется толпа. А люди присасывались к зрелищу, как пиявки, и если раньше Калу молил бога, чтобы побольше народу собралось смотреть на чудо, то теперь ему противно было видеть этих людей. Дураки. Как ловко он провел их. Если б можно было, он открыто рассмеялся бы им в лицо. Он создал бога. Он создал легенду. Легенду, которая будет переходить из уст в уста, из поколения в поколение.

Была среди приношений и еда. Он тихо говорил дочери:

— Ешь, Лекха.

Преисполненные благодарностью к Калу за то, что он покрыл их неувядающей славой свидетелей чуда, люди несли ему в дар разную снедь, но Лекха не обращала на нее внимания. Она теперь никогда не бывала голодна. Как-то раз из своих скудных сбережений Калу купил ей на улице Багх-базар тамошний знаменитый сандеш *. Было время — еще совсем недавно,— когда при одной мысли об этом лакомстве у нее изо рта текли слюнки, а теперь ничто больше не трогало ее. У нее пропал вкус к еде, интерес к жизни умер в ней. Так не годится. Ведь ее судьба непосредственно связана с храмом, который должен вырасти здесь, ей отведена важная роль. Осквернённая воздухом публичного дома, Лекха должна обрести ореол святости. Но это еще не все. Чем выше будет подниматься новый храм — тем выше станет возноситься она, сидящая на его вершине. В конце концов разве не ради нее вступил он на эту опасную тропу? Куда лучше было бы оставаться кузнецом в небольшом городке и трудиться с восхода солнца до глубокой ночи за пригоршню риса для Лекхи и себя. Но это невозможно, а среднего пути нет. Он солгал — и оказался в положении человека, который скачет верхом на тигре и не может слезть, потому что, если он слезет, тигр набросится и растерзает его.

---

* Сандеш — индийское блюдо из творога с сахаром.

Эта чудовищная ложь станет краеугольным камнем его храма! Поздно вечером, когда последние назойливые люди разошлись по домам и Калу, наконец, остался вдвоем с Лекхой, он заговорил вполголоса, потому что даже у старого баньяна есть уши.

— Ты даже не спросила у меня, как это произошло?

— Что произошло, отец?

— Явление Шивы.

Она не ответила. Темнота скрывала от Калу ее лицо. Он выжидающе помолчал.

— Ты видела сухие бобы, два сира бобов, которые я купил и принес домой? Весь секрет заключен в них. Прежде всего нужно было достать каменного Шиву. Я нашел подходящий камень, немного обтесал его, потом просверлил в нем дырки, чтобы камень стал полегче, и прокалил на медленном огне, чтобы он имел более древний вид. Потом я вырыл здесь узкую длинную канавку. У меня была приготовлена пустая банка нужного размера и формы. В нее я всыпал бобы — не доверху, а примерно на три четверти. Я поставил эту банку в канавку и прикрыл ее сверху каменным Шивой так, что между бобами и камнем осталось пространство в палец толщиной. И все это засыпал сверху разрыхленной землей, чтобы сравнять с поверхностью.— Он остановился, волнение мешало ему говорить.

Лекха пробормотала безучастное «да», и Калу продолжал свой рассказ.

— Утром я принялся за работу. Я начал понемногу поливать водой разрыхленную землю. От воды бобы стали разбухать. Разбухшая масса бобов подталкивала вверх стоявшего на них каменного Шиву. Мало-помалу, час за часом, до тех пор, пока не свершилось чудо: земля раскололась, и камень показался на поверхности. Все дело было в том, чтобы правильно рассчитать время... Я пробовал много раз, пережил много тревог. Умно придумано, правда, Чандра Лекха?

Калу вглядывался в нее сквозь завесу темноты и терпеливо ждал ответа.

— Умно придумано,— машинально повторила она.

Но Калу не мог слышать голоса, звучавшего ей из далекого прошлого, голоса, который она запомнила на всю жизнь и который сейчас болью отдавался в ее сердце: «Дочь кузнеца, ты скажи своему отцу, чтобы он не надувал заказчиков: он починил нам ведро, а оно опять прохудилось».

Сегодня она как будто вновь услыхала этот голос из давних времен детства.

Калу и не подозревал о том, какие мысли одолевали его дочь, хотя раньше чутьем угадывал все, о чем думала она. Он ожидал, что Лекха с интересом отнесется к смелой выдумке, которая в корне изменяла их жизнь. Ему стало грустно. Лекха не оценила его затею. Но разве можно было отрицать остроумие этой выдумки? Правда, она принадлежала не ему. Всему этому научил его в тюрьме заключенный Б-3. Было предусмотрено все, до мельчайших деталей: количество бобов, степень разбухания, время. Малейшая ошибка — и все могло пойти насмарку.

Сейчас, одержав победу, Калу с благодарностью вспоминал Б-3 и мечтал когда-нибудь отплатить ему услугой за услугу.

«Мы — подонки жизни. Хозяева презирают нас потому, что боятся».

И, повторяя про себя эти знакомые, обнадеживающие слова, Калу улыбнулся. Нет, он уже больше не подонок жизни. Из подонка он превратился в столп общества, в столп, опирающийся на два сира бобов. Вот так он будет мстить. Кузнец превратится в брахмана. Бывший заключенный, агент публичного дома станет верховным священнослужи-

телем храма и будет возлагать благословляющую руку на склоненные головы верующих. Так поворачивалось колесо судьбы.

А его дочь, Лекха, опозоренная ими? Калу помрачнел. Сможет ли она разделить его чувства и стать его верным помощником? Она, которая в самом деле едва не превратилась в подонок общества. Ей пришлось выстрадать неизмеримо больше, чем ему. Она должна ответить ударом на удар. Но станет ли она мстить? Станет ли? Калу снова и снова задавал себе этот вопрос. Он теперь плохо понимал свою дочь. Может быть, она не поверила его рассказу о том, как ему удалось спасти ее? Он сказал ей, что в тюрьме много говорили о торговцах живым товаром, которые расставляют свои сети по всей стране, называли даже дома, куда попадают их жертвы. И вот, выйдя из тюрьмы, он решил следить за этими домами, чтобы при случае помочь какой-нибудь женщине, попавшей в беду. Как мог он, безумец, не предупредить ее обо всем этом, зная, какие теперь времена.

Лекха слушала молча, опустив голову. Но с той поры Калу часто ловил на себе странный взгляд дочери: она смотрела на него так, словно боялась его. В ее лице не было прежней искренности. Лекха ушла от него, ушла глубоко в себя: она стала недосягаемой.

И, вглядываясь сквозь завесу темноты в свою дочь, погруженную в молчаливое раздумье, Калу горестно вздохнул.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Что это, как не милость богов к нам грешным? Ведь до ближайшего храма пока доберешься... А теперь у нас храм будет рядом.

И деньги сыпались дождем. Но предстояло еще уломать владельца участка. Это был торговец скобяным товаром с Клайв-стрит. Хотя он принадлежал к той же касте, что и Калу, но с высоты своего богатства, наверняка, отнесся бы с нескрываемым презрением к простому кузнецу. Калу знал это и поэтому решил быть беспощадным. Борьба начиналась хорошо.

Торговец примчался на участок, чтобы посмотреть, с кем ему придется иметь дело. И когда он, наконец, раскрыл рот, в его голосе прозвучала злость.

— Это моя земля! Что за нечистые дела здесь творятся? В Калькутте еще не отменены законы!

Калу молча смотрел прямо в глаза торгашу до тех пор, пока тот не закричал раздраженно:— Отвечай!

Калу заговорил обманчиво кротким и ровным голосом.

— Из какой ты касты?— спросил он.

Неожиданный вопрос ошеломил торговца, но он быстро оправился и овладел собой.

— Я явился сюда не для того, чтобы обсуждать мою родословную!— крикнул он.— Я пришел по делу. Понятно?

— Сын, внук и правнук людей из низшей касты,— тихо заметил Калу, словно в объяснение самому себе,— он не знает, как следует держаться в присутствии брахмана и служителя Шивы.— И с неожиданной резкостью Калу крикнул:— На колени!

— Как!— торговец не сдавался, хотя было видно, что ему не по себе. Он не ожидал такого тона.— Почему бы нам не поговорить о деле?— спросил он уже более смиренно.

— Ни слова, пока ты не опустишься на колени! — И, отвернувшись от него, Калу обратился к кучке людей, обсуждавших, как лучше строить храм:— Послушайте, друзья мои...

Перепуганный торговец, отбросив гордость, низко, до самой земли поклонился брахману, касаясь его ног.

— Что вы, господин, я не хотел оскорбить вас,— пробормотал он, испуганно оглядываясь по сторонам.

— Тогда я сейчас познакомлю тебя с моими планами.— Калу снова устремил на торговца железный взгляд.— Здесь будет строиться храм. Ты уже слышал об этом, так что нет нужды повторяться. Людям нужно место для служения богу. Попробуй помешать этому — тебе придется иметь дело с народом. Есть закон выше законов, созданных человеком, на которые ты ссылался. В твоих интересах отдать эту землю по доброй воле. Другого выхода у тебя нет.

— А цена!— завопил торговец.— За два года земля вздорожала вдвое. А теперь, когда идет война и деньги текут, как вода, этот участок может вздорожать раз в шесть. Стоит только придержать его. Как можешь ты...

— Не трать слов попусту. Оставь эти расчеты для своего скобяного товара. Здесь будет построен храм, обитель божества. Посмеешь ли ты отказать Шиве в пристанище? Посмеешь ли ты остановить меня? Попробуй. Я все сказал.

Торговец был в полной растерянности. Он подумал немного и предложил компромисс.

— Выслушай меня,— сказал он.— Я сбрасываю со счета все возможные повышения. Я согласен продать тебе землю по теперешней цене. Здесь один бигх земли...

Громким смехом Калу прервал его.

— Поистине это грешный век!— воскликнул он.— Человек ничего не уделяет человеку из сострадания, хотя в стране свирепствует голод и десятки тысяч умирают вокруг. Что же удивительного, если человек не хочет бескорыстно уделить что-то богам? И тебе не страшно, сын мой? Ты не содрогаешься при мысли о грозном гневе Шивы?

Калу наматывал на большой палец руки священный шнур, призывая божество.

Ужас исказил лицо торговца. Неужели пуджари проклянет его?

— Я не думал оскорблять вас, господин,— пробормотал он заплетающимся языком.— Но войдите в мое положение. У меня большая семья. Неужели я бы не пожертвовал землю Шиве, чтобы заслужить его милость, если бы мог позволить себе такую роскошь? И все-таки я сделаю все, что от меня зависит, и уступлю. Я возьму с вас только половину того, что стоит мой участок.

Калу смотрел попрежнему сурово, но вся эта история доставляла ему огромное удовольствие. Он упивался своим могуществом. В самом деле, борьба разворачивалась очень успешно.

— Подонок общества, вот ты кто такой!— воскликнул он, употребляя знакомое слово в новом применении. Он выставил палец и обличающе ткнул им в торговца.— Вы ведете Бенгалию к гибели, ты и тебе подобные! Да ты бы должен был просто раздуться от гордости, узнав о том, что Шива появился на твоей земле! А ты стоишь и торгуешься с самим Шивой.— Калу замолчал, словно онемев перед подобным святотатством, потом его лицо приняло решительное выражение.

— Ни одной пайсы! — воскликнул он.

Торговец окаменел с разинутым ртом и вытаращенными глазами.

— Ни одной пайсы,— повторил он, словно эхо.

Тогда победитель Калу сжалился над ним. Теперь он мог позволить себе стать великодушным:

— Ты будешь вознагражден,— сказал он,— я позабочусь об этом. Во дворе храма мы установим за свой счет мраморную плиту, на кото-

рой будет высечено твое имя — имя человека, принесшего эту землю в дар божеству. За такую умеренную плату ты обретешь бессмертие, сын мой!— воскликнул Калу и, не сводя глаз с торговца, поднял вверх свой толстый указательный палец.— Понятно?

Но после того как были оформлены все документы по передаче земли во владение храма, Калу столкнулся с новой трудностью. Имя! До сих пор его называли просто пуджари. Священные же обязанности исполнял за него настоящий пуджари — белобородый старик, которого Калу нанял, так как сам не знал ни обрядов, ни молитв. Ведь все это мог знать только настоящий брахман. Теперь требовалось подыскать себе достойное брахманское имя, чтобы добавить последний штрих к своей личине священнослужителя.

Может быть, Лекха поможет ему советом?

Она стояла на балконе, устремив взгляд на улицу, по которой медленно ехал автомобиль, развозящий афиши. Мужской голос объявлял в мегафон:— Завтра вечером в театре Биджойя, лучшем театре города, премьера «Зеленый змий»... В главных ролях Бхупал Адхикари и Шипра Деви. Представление с танцами и песнями... Веселье до упаду и душераздирающая трагедия. Все, что угодно!

Выслушав отца, Лекха подумала немного и неожиданно тихо рассмеялась. Калу вздрогнул от удивления. Какое счастье слышать ее смех! Словно на мгновенье вернулась прежняя, забытая Лекха. Что так позабавило ее?

— Вот, — указала она на улицу.

— Что?

— Бхупал Адхикари.

Калу смотрел, ничего не понимая.

— Адхикари — брахманская фамилия. Имя Бхупал надо будет изменить, — Лекха подумала еще немного. — Непал? Крипал? — Она отрицательно покачала головой. — Мангал? Мангал Адхикари?

Калу понял, наконец, что она хотела сказать.

— Мангал Адхикари, — подхватил он. Потом снова повторил про себя это имя и остался доволен им.

Итак, все было решено. Следующие три или четыре дня Калу беспрестанно бормотал себе под нос:—Мангал Адхикари... Мангал Адхикари...

Шли дни, и храм начал расти: скромное строение возле старого баньяна.

Однажды крупному биржевому маклеру по имени Мотичанд случилось проезжать мимо. Он направлялся на биржу в Лайонс Рэйндж.

— Здесь было явление Шивы,— сказал шофер.

— В самом деле?

Шофер рассказал историю чуда со всеми подробностями.

Мотичанд заинтересовался. Он велел остановить машину и подошел к священному месту. Утреннее богослужение было в полном разгаре. Старый пуджари совершал установленный обряд, а Калу и Лекха сидели тут же, скрестив ноги и склонив головы.

Мотичанд посмотрел на них внимательным взглядом, словно что-то прикидывая в уме; ведь перед ним были двое счастливцев, благословенных самим Шивой. В самом деле, эта молодая женщина была точным подобием Гаути, супруги всемогущего Шивы.

Когда молитва окончилась, Мотичанд положил на алтарь рупию и, как полагалось по обряду, низко поклонился брахману, коснувшись лбом земли, потом неожиданно повернулся и заговорил с Лекхой:

— Я занимаюсь тем, что продаю и покупаю акции. Сегодня я совсем теряю голову из-за положения на бирже. Посоветуй, что делать: покупать или продавать?

Калу внимательно оглядел долговязого, худого, похожего на козла мужчину с вытянутой физиономией и большим носом, словно упиравшимся в густые усы. В заданном вопросе могла быть ловушка, и Калу тайком бросил на дочь предостерегающий взгляд.

Она не уловила значения этого взгляда и рассеянно ответила незнакомцу:

— Покупай... Продавай... Покупай... Продавай...

Ее лицо было, как всегда, бесстрастно. Мотичанд поклонился ей, сложив ладони, и направился к своей машине.

— Покупай... Продавай... Покупай... Продавай...— бормотал он себе под нос.

Значит, сначала покупать. Но как же так? Это противоречило положению вещей на бирже. Биржевые курсы падали с молниеносной быстротой, и было самое время продавать, продавать как можно больше и как можно скорее...— Покупай... Продавай... Покупай... Продавай...— повторял Мотичанд волшебные слова, откинувшись на подушки.

Решение было принято неожиданно. Мотичанд был человек настроения.

— Быстрее,— приказал он шоферу.

Он решил пойти на большой риск. За два дня остальные акции пали в цене на шесть пунктов. Для тех, кто играл на повышение, это означало страшную катастрофу. И кто мог твердо сказать, когда это прекратится? Ходили слухи, что война скоро кончится. Бирже был страшен мир, потому что мир означал прекращение бума в промышленности. Биржа вопила: «Продавай!» Скоро станет трудно выполнять приказы.

Приехав в контору, Мотичанд вызвал управляющего:

— Покупай!— приказал он.

Управляющий ахнул.

— Я ждал вашего указания продавать, продавать, пока не поздно. Если б вы приехали хоть полчаса тому назад! За эти полчаса акции упали еще на две рупии. Но все-таки даже сейчас можно еще избавиться от них без большого убытка.

— Покупай!— спокойно повторил Мотичанд.

Управляющий недоуменно уставился на него. Хозяин явно был не в своем уме, но он не смел спорить.

— Сколько?— спросил он наконец.

— Десять тысяч,— Мотичанд запнулся, но тут же добавил твердым голосом.— Даже двадцать тысяч по курсу дня.

Через несколько минут громадное количество акций перешло в новые руки. Биржа замерла.

— Кто продает? — вызывающе крикнул агент Мотичанда, вглядываясь в напряженные лица дельцов.

Охотники продавать еще были, но их становилось все меньше и меньше. Что случилось? Почему Мотичанд начал скупать акции? Может быть, принято новое решение о дивидендах и его посвятили в секрет? У Мотичанда повсюду были свои люди. Этот человек никогда не рисковал вслепую. Но ведь вот стоит его агент и ждет предложений.

Погода на бирже стала меняться. Продажа акций замедлилась. Те, кто делал ставку на высокий курс, перешли в наступление. Игравшие на понижение стали поспешно покупать, чтобы не остаться ни с чем. И в этот самый момент телеграфная лента сообщила цифры месячного выпуска стали: значительный подъем. И тогда все бросились покупать. Страсти разгорались. Стальные акции росли в цене.

— Покупай... Продавай... Покупай... Продавай...— повторял Мотичанд волшебные слова и ждал, когда наступит удобный момент. До закрытия биржи остался один час.

И вот откуда-то к агентам стали поступать распоряжения о продаже. Источник оставался неизвестным. Мотичанд умело вел свою игру. К концу дня стальные акции снова упали до утреннего курса. Мотичанду удалось распродать свои акции по наивысшей котировке. Полученная прибыль в его счете была обозначена внушительной шестизначной цифрой. Если бы стальные акции продолжали падать в цене, он бы разорился в пух и прах. Но этого не могло быть. Красивая молодая девушка, которую он встретил утром у храма Шивы, обладала даром провидения.

На следующий день Мотичанд снова появился перед храмом. Он подошел к Калу и заговорил с ним. В первое мгновение Калу насторожился. Но после нескольких слов, сказанных Мотичандом, радостное волнение охватило его. Они проговорили около часа. Мотичанд вызвался завершить строительство храма, он обещал воздвигнуть величественное сооружение. Не нужно рассчитывать на жалкие приношения молящихся. Соизволив явиться неподалеку от резиденции Мотичанда, Шива найдет здесь достойный приют.

— Я по лицу вижу, с кем имею дело,— сказал Мотичанд, дружески улыбаясь и не замечая, как вздрогнул его собеседник при этих словах.

— Мне понятно, почему божество избрало именно тебя,— продолжал он.— Сотни и тысячи жителей нашей столицы будут благоговейно касаться твоих ног.

Позднее Калу торжествующе говорил дочери:

— Колесо повернулось, и теперь судьба стала милостива к нам сверх всяких ожиданий! Как удивительно все, что происходит.— Его взгляд стал жестким.— Они уже расплачиваются за все. Они благоговейно кланяются в ноги нам, людям низшей касты! Они чтут божество, в котором нет ничего божественного. Чем можно смыть с души такой позор? Теперь это осквернение, падшие люди. Им не искупить своего падения не только в этой, но и во многих будущих жизнях.

Калу помолчал. Его глаза вдруг блеснули лукавством.

— Вчера сюда приходил человек,— сказал он уже другим тоном,— который смиренно склонился к моим ногам. Это был не кто иной, Лекха, как тот самый судья, который приговорил меня к заключению. Это он спрашивал меня: «Зачем тебе жить? Зачем жить твоей дочери?»

Но Лекха не разделяла его восторга и торжества.

— Чем все это кончится?— спокойно спросила она.

— Каков бы ни был конец, для нас он не может быть хуже начала, Лекха. Разве тебя не радует, что мы убиваем сразу двух зайцев: мы не только навсегда избавляемся от голода,— мы мстим.

— Ложь камнем давит меня,— сказала Лекха.

Калу пристально посмотрел на дочь. Он видел, что она несчастлива.

— Послушай,— начал было он ласково. Но тут же осекся, стиснул зубы и, резко повернувшись, пошел прочь.

Однако у него не было причин для недовольства. Ни словом, ни делом Лекха не перечила ему. Она жила словно в полусне, во всем полагаясь на отца, спрашивая его о каждом пустяке. Она напоминала послушную марионетку.

Калу снял дом напротив храма, через дорогу. И они с Лекхой поселились на втором этаже. Первый этаж Калу отдал старому пуджари с женой. Хозяйство в доме Калу вела пожилая женщина по имени Бамни. Ели сытно, даже позволяли себе кое-какие излишества, хотя Калу и теперь, храня под своим дхоти солидную сумму, не склонен был к расточительности. Ему удалось избавиться от многих привычек камара, но только не от бережливости. Он мог забыть свою веру, но память о тяжелой работе и муках голода жила в нем всегда.

Каждый день Калу самолично отправлялся за покупками на базар. На обратном пути он из экономии не нанимал кули, а тащил овощи и зелень на себе. Он пешком проделывал весь длинный путь до Иогу Бабу-базара только для того, чтобы купить подешевле картошку и баклажаны.

Бамни неодобрительно покачивала головой. Ее задевали ехидные намеки жены пуджари, смысл которых нетрудно было отгадать: «У муравья вырастают крылья, и он поднимается в воздух. Но от этого он не становится птицей или хотя бы мотыльком».

Пуджари, в противоположность своей жене, неприветливой, злобной женщине, был человеком простодушным и нетребовательным. Предусмотрительный Калу делал все, чтобы его помощнику не на что было жаловаться.

Все эти месяцы Калу постоянно, даже когда его глаза казались закрытыми, присматривался к ритуалу богослужения, запоминая все подробности. Но усвоить мантру * оказалось ему не по силам. Поэтому всякий раз, когда надо было совершать какой-нибудь сложный обряд, он говорил:

— Я смиренный слуга Шивы, орудие его воли. Избавьте меня от повседневных церемоний. Пусть пуджари занимается этим по своему усмотрению.

Тронутый таким доверием, пуджари говорил своей жене:

— Мангал Адхикари пребывает в высших сферах. К чему заставлять его спускаться на землю? Не будем докучать ему до тех пор, пока не почувствуем, что не можем обойтись без его совета.

В ответ на все колкости и насмешки жены он говорил:

— Пусть так, но чего можно требовать от деревенских жителей? Он ведь был простым священнослужителем в небольшом деревенском храме. Голод заставил его перебраться к нам в Калькутту. Откуда мог он, сельский пуджари, проживший всю свою жизнь среди крестьян, почерпнуть хоть сотую часть наших знаний и мудрости? Но душа у него искренняя и чистая. Он тосковал по привычным молитвам, и тогда Шива, тронутый его преданностью и бескорыстием, сжалился над ним и указал ему путь к строительству Нового храма. Раз боги одарили его своею милостью, значит он заслужил это добрыми делами в своих прошлых жизнях.— И, понизив голос, пуджари добавил:— Кроме того, он хорошо платит и относится ко мне, как к равному. Чего еще желать?

Тогда насмешки его жены приняли другое направление:

— А его дочь? Посмотри, сколько у нее книг — целые горы. Можно подумать, что эта девчонка каждый день проглатывает по книге. Она напичкана ученостью даже больше, чем ты. Придет время, когда она займет в храме твое место!

Но муж только улыбался, поглаживая свою бороду.

— В девушке живет печаль,— сказал он после небольшой паузы.

Жена вспыхнула от возмущения.

— И тебе не стыдно,— закричала она, размахивая перед его лицом своей костлявой рукой.— Она уже успела приглянуться тебе!

— Брось болтать глупости,— резко оборвал ее старик.— Она...

— Седина в голову, бес в ребро!— продолжала кричать жена.— Думаешь, я не видела, как ты глазеешь на эту девчонку? Я еще не умерла! Я могу свернуть ей шею своими руками!

— Шива! Шива!— беспомощно воскликнул бедняга.— Что плохого сделала тебе эта девушка?

---

* Мантра — молитвы, стихи из священных книг или заклинания, которые читают при совершении обряда.

— Ах, ты еще заступаешься за нее? Вот как! В тебе не осталось ни капли совести. И этот грешник смеет называть себя пуджари? Да священный шнур почернел от твоего пота. Воздух храма осквернен твоим дыханием.

Пуджари быстро поднял руку и дотронулся ею до своего уха — жест, очищающий брахмана от скверны, потому что уши человека считаются священным придатком к его телу.

А когда брюзжание жены стало невыносимым, старик вышел из дому и, спотыкаясь, побрел прочь, качая головой и с отвращением бормоча что-то себе под нос.

Печаль, которую пуджари заметил в Лекхе, служила для Калу источником постоянной тревоги. Он все время искал, чем бы развлечь, развеселить дочь. Но что толку? Холодная рука сжимала сердце Лекхи, ледяная стена отгораживала ее от всех радостей жизни. Как растопить этот лед? От малейшего шума она вздрагивала, от веселой шутки бледнела, и глаза ее наполнялись слезами. Может быть, сверстникам удалось бы отвлечь Лекху от угнетавших ее тяжелых мыслей. Но именно теперь Калу был одинок и беспомощен, как никогда. Перешагнув одни кастовые границы, он натолкнулся на другие: теперь ему надлежало иметь дело только с людьми из высших каст, а к ним у него не лежало сердце. Разумнее было сторониться этих людей, избегать всякого общения с ними, потому что в любую минуту из-за маски брахмана мог выглянуть простой камар.

Может быть, спасением для Лекхи была бы возможность учиться. Он часто вспоминал, с каким горячим интересом она расспрашивала его в письмах о столичных школах. Желая порадовать ее, он рисовал ей тогда заведомо обманчивые картины. Разве в то время ее приняли бы в хорошую школу, где ученицы носят форму! Но теперь все изменилось. Лекху везде встретят с распростертыми объятиями. Он устроит ее в школу, Лекха будет учиться. Это решение сразу вселило в него надежду.

— В школу, отец?

На мгновенье ему показалось, словно луч радости мелькнул на ее лице, но, может быть, это было только игрой воображения.

— За эти несколько недель я стала на двадцать лет старше самой себя,— сказала Лекха.— Теперь мне уже поздно возвращаться в школу.— Она покачала головой и повторила:— Поздно, отец.

«На двадцать лет старше самой себя!» — Калу вздрогнул, услышав эти слова. Ведь то же самое говорил ему в тюрьме заключенный Б-3. Странно, что Лекха и Б-3 испытывали одинаковые чувства и выражали их одними и теми же словами.

Однажды Калу принес домой большую картонную коробку и с торжествующим видом поставил ее перед дочерью.

— Я приготовил тебе сюрприз. Отгадай, что это?

Лекха равнодушно взглянула на коробку, потом перевела взгляд на отца и покачала головой. Ей теперь ничего не нужно было, ничего не хотелось.

— Радиоприемник!— радостно воскликнул Калу.— Поворачиваешь ручку — это совсем просто — и раздается музыка. Не надо даже заводить, как патефон. У Сатиша Гхоза, адвоката в Джарне, был такой же. И всякий раз, когда я проходил мимо его дома и слышал музыку, я думал, вот бы мне купить такой для Лекхи. Но в то время я с таким же успехом мог бы мечтать о луне.

Может быть, мир, который умер для Лекхи, вновь воскреснет и заговорит с ней по радио на множестве языков?

Калу установил комнатную антенну — его научил этому продавец в магазине — и подробно объяснил Лекхе, как настраивается радио:

— Передвигай стрелку до тех пор, пока не услышишь звуки песни. А если песня не понравится тебе, поворачивай ручку дальше и следи за стрелкой, пока не поймаешь то, что тебе хочется послушать: музыку, пение, какую-нибудь передачу о семье, например как ухаживать за детьми...

Передача о семье. Дети. Калу замолчал. Новая мысль поразила его. Лекху пора выдать замуж. Но ее мужем теперь мог стать только брахман. Нужно, чтобы Лекха сначала привыкла к своему новому положению. Если ее настроение не изменится и она не войдет в роль, как же ей после замужества продолжать этот обман?

Треск разрядов в эфире прервал его размышления. Калу выключил приемник. Лекха сидела на диване, откинувшись назад, с безучастным, застывшим лицом. Ни музыка, ни треск разрядов не занимали ее. Калу отвернулся и опустил голову. Поведение Лекхи сбивало его с толку, и он чувствовал свою полную беспомощность. Блеск его славы померк, храм, постоянно стоявший перед его мысленным взором, показался ему карточным домиком, и прежняя боль всколыхнулась с новой силой. Если бы только ему удалось найти способ прокормиться честным трудом!

Но тут же резким движением своей большой руки он как бы отмел от себя минутную слабость. Дело было не только в том, чтобы прокормиться. Дело было в возмездии тем, кто причинил ему зло. «Мы должны отвечать ударом на удар». Этот храм — лучшее орудие мщения. Пусть они поклоняются фальшивому божеству. Пусть испрашивают благословение у простого камара. Пусть их надменные жены, украшенные драгоценностями, кичащиеся своим целомудрием, склоняются перед девушкой, которая едва не стала проституткой. Ему вдруг захотелось горько рассмеяться, но он подавил свое желание, чтобы Лекха не подумала, что он сходит с ума.

Он снова повернулся к приемнику.

— Значит, ты поняла, девочка, как надо с ним обращаться?

— Да, отец,— Лекха слегка кивнула головой. Но Калу знал, что в душе у нее пусто.

— Вот подожди! Придет время...— Он говорил с насильственной веселостью.— Придет время, когда у нас будет собственный выезд! Ты поедешь кататься в своем экипаже, а люди будут смотреть на тебя с удивлением и спрашивать: «Кто бы это мог быть?»

Лицо девушки на мгновение оживилось.

— Тысячи женщин катаются по городским улицам. Разве люди останавливаются, чтобы смотреть на них?

— Но ты не то, что другие. Ты — одна на миллион,— сказал он, радуясь, что она хоть как-то откликнулась на его слова.— Разве ты не знаешь этого?

Она спокойно взглянула на него и сказала:

— Это ты так думаешь!

Оказалось, что быть брахманом не так легко, как ему раньше казалось. Чем заполнить бесконечные часы досуга? Серьезная задача для человека, привыкшего всю свою жизнь напряженно трудиться. И когда он, скрестив ноги, праздно сидел на диване, его руки тосковали по любимому делу. Он принуждал себя смотреть в окно на стройку, где десятка два рабочих возводили стройное сооружение из кирпича, цемента и металла. Среди них было два кузнеца — молодые ребята, которым еще следовало поучиться своему делу. Калу наблюдал за ними с болезненным чувством, близким к зависти. Однажды он заметил, что они, нарезая железные прутья для оконных решеток, попусту расходуют железо. Он подошел к рабочим и показал им, как экономно разрезать железный брус и как пригонять решетки к окнам. Поймав на себе изумленный взгляд

молодых рабочих, Калу насторожился. «Берегись!» — предупредил он самого себя.

Но тоска по работе не давала ему покоя. В один прекрасный день Калу сходил в город и возвратился оттуда с паяльной трубкой и другими инструментами, увязанными в виде вполне невинного свертка. Запасшись всем этим, он устроил себе на чердаке дома небольшую кузницу. Дверь, ведущая на чердак, теперь была постоянно на запоре. В часы, которые он проводил за работой, никому не разрешалось сидеть на террасе. Никто не имел права открывать дверь. По некоторым его туманным намекам создавалось впечатление, что там, в полном одиночестве, он углубляется в себя, согласно учению йогов. И люди шептались: «Брахман ждет, когда на него снизойдет просветление».

Прошло две недели. И вот однажды днем взволнованная Бамни примчалась к своей хозяйке. На чердаке пожар. Из-за двери так и валит дым. Лекха бросилась наверх и принялась изо всех сил колотить в закрытую дверь. Дверь распахнулась. Она была не заперта. Лекха ворвалась на чердак и, едва окинув его взглядом, сразу же повернулась и захлопнула дверь перед самым носом любопытной Бамни.

Сидя на корточках, Калу был поглощен починкой ведра, которое недавно взял, чтобы отнести в мастерскую. Его лицо и шея блестели от пота. Взглянув на дочь, он виновато заморгал глазами. Лекха громко расхохоталась, но тотчас же зажала рот рукой.

— Вот так йог! А мы-то, затаив дыхание, смотрим на эту закрытую дверь и ждем, когда же, наконец, на него снизойдет просветление!

Калу восторженно посмотрел на дочь и просто сказал:

— Как йог, я добился своего. Я заставил мою Чандру Лекху рассмеяться, как прежде. В этом мое просветление.

Но от маленькой кузницы пришлось отказаться, потому что слух о пожаре распространился по всей округе. И в ту же ночь Калу бросил все свои инструменты в колодец храма. Он глубоко вздохнул, когда до него донесся всплеск воды. Снова его рукам суждено было томиться вынужденным бездельем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Дефицитные строительные материалы, которые в военное время нормировались, — цемент, сталь, медные петли и многое другое — бесперебойно доставлялись с черного рынка. И за какие-нибудь четыре месяца строительство храма подошло к концу. Это было здание средних размеров в узаконенном вековой традицией стиле: круглый палец шпиля вытягивался кверху и оканчивался трезубцем — эмблемой Шивы. Отполированная медь трезубца горела в солнечных лучах. Белый храм величаво возвышался на фоне густых, разросшихся ветвей баньяна, словно громадный замерзший фонтан.

В благоприятный день, выбранный при помощи календаря, звуки фанфар возвестили народу об открытии храма. Мотичанд с присущей ему предусмотрительностью продумал все, вплоть до мельчайших деталей. Он организовал все настолько безукоризненно, что об этом торжественном событии помнят в городе по сей день. На открытие храма было приглашено более сотни высокопоставленных лиц, среди которых было немало истинных столпов общества. Здесь собрались мудрецы, политические деятели, магнаты промышленности и торговли и даже кое-кто из чиновников, из самой верхушки, разумеется. Окрестности храма были запружены машинами. Незваных гостей собралось в десять раз больше, чем приглашенных. Со всех концов города один за другим прибывали переполненные автобусы. Все это напоминало ярмарку.

То был день торжества для Калу, и он сознавал это. Он был великолепен. Его высокий лоб, лоб мудреца, сливавшийся с оголенной макушкой, оттенял нарисованный киноварью трезубец, на нем было шелковое шервани и дхоти приятного кремового оттенка. Лицо казалось озаренным каким-то внутренним светом. Стоя у белых колонн храма со сложенными на груди руками, Калу встречал почетных гостей приветливой улыбкой. Он казался воплощением достоинства и спокойного сознания своей силы. Глядя на него, гости понимали, почему бог взыскал своей милостью именно его, этого неизвестного и, повидимому, бедного брахмана, хотя мог оказать эту честь какому-нибудь прославленному ученому или мудрецу. Этот крупный, грубовато сколоченный человек обладал редким даром внушать уважение. Он был властен. В нем чувствовалась уверенность. Он будет крепкой опорой храму и тому, во славу чего этот храм воздвигнут. Его дюжие, здоровенные кулаки, так покорно сложенные на груди, в случае необходимости смогут и нападать и защищаться. Такой человек наверняка поможет преградить путь потоку скептицизма и неверия, захлестывающего все вокруг. Бог не ошибся в своем выборе.

Ощущая необычный подъем, Калу был счастлив. Здесь, перед ним, находилось избранное общество столицы, люди, обладавшие богатством, властью, положением,— и эти люди стремились протянуть ему дружескую руку. Раньше, когда он смотрел на них издали, они представлялись ему чудовищами. Вблизи они оказались обыкновенными людьми, даже довольно приятными. Он мог дружески похлопать любого из них по плечу, спросить, точно равный: «Ну, как дела?»

Чувство восторга переполняло его сердце. Он казался себе иным человеком, из другого мира. Но момент наивысшего торжества должен был наступить позднее, через час после захода солнца. Перед изображением божества качался светильник с пятью языками пламени, и девять знаменитых брахманов, чья ученость равнялась их святости, пели мантру. Приглашенные, скрестив ноги, восседали на ярких пушистых коврах, а остальные разместились, стоя или сидя, на скошенной лужайке. Здесь собрался цвет городского общества. Наконец, Мотичанд поднялся, чтобы произнести речь.

Он изложил историю возникновения храма, скромно умаляя собственную роль и всячески превознося Мангала Адхикари.

«Неужели он говорит обо мне?» — спрашивал себя Калу.

В заключение Мотичанд попросил его сказать несколько слов.

— Но прежде всего, — с пафосом добавил Мотичанд, возвысив свой пронзительный голос почти до визга, — разрешите мне, господин, вручить вам наглядный знак любви и уважения всех собравшихся здесь сегодня.

С этими словами он поднял традиционную гирлянду — пышный венок ослепительно белых цветов жасмина. И когда он надевал ее на шею Мангала, толпа захлопала в тысячу рук, единодушно выражая свое одобрение. Восторженное возбуждение охватило собравшихся.

Калу поднялся во весь рост, прижав в знак смирения ладони к груди. В первую минуту хладнокровная уверенность покинула его, у него пересохло в горле. Он несколько раз провел языком по губам и, наконец, заговорил, с трудом подбирая слова:

— Я орудие в руках Шивы, покорное орудие воли всемогущего бога, не больше. Образ праведника, нарисованный моим другом, нашим славным предпринимателем Шри Мотичандом, чьи добрые слова сказаны от благородного и чистого сердца, этот образ — не я. Это не Мангал Адхикари, а некто, весьма отдаленный от него. Образ этот создан сердечным теплом и искренним чувством Шри Мотичанда. Поэтому он должен

воплотиться в действительность. Братья и друзья, я преисполнен решимости стать достойным этого образа.

Буря аплодисментов разразилась в ответ на его слова. Калу снова одержал победу.

«Хорошие люди, — подумал он про себя, чуть не до слез растроганный отзывчивостью своих слушателей. — Сколько сочувствия! Сколько понимания!»

Ремесленник из небольшого городка, человек по натуре простой и непритязательный, Калу был ошеломлен собственным успехом. Он достиг большего, чем мог желать когда-либо. Оружие его победы сегодня потеряло свою остроту, и рука уже не сжимала это оружие с прежней яростью.

Новый голос заговорил в его сердце: разве ты не достиг цели? Разве тебе все еще мало? Не лучше ли ополоснуть рот, чтобы не было в нем больше привкуса горечи, и унять кипение крови в жилах, и тогда ты, самозванный брахман, спокойно займешь свое новое место в мире, место, которое предлагают тебе.

Между тем снова поднялся Мотичанд. На этот раз он говорил деловым тоном, словно на каком-нибудь заседании. Он призывал собравшихся пополнить средства храма. Нужно платить по закладной. Нужны деньги на расширение участка и на пристройки, а также на содержание храма. Этот храм будет украшением города. Пусть все присутствующие взвесят это и раскроют свои сердца и кошельки. И в первую очередь он обращается к дельцам. Для них это вопрос чести, вопрос их репутации. Здесь на ковре сидит немало миллионеров. Пусть они покажут пример.

В ответ посыпались щедрые обязательства, внушительные цифры. Богатство хлынуло в храм, богатство с черного рынка, нажитое на спекулянтских аферах, на крупных сделках по продаже риса во время голода.

Калу стоял, опустив голову, словно тяжесть этих даров пригибала его к земле. Он думал о Чандре Лекхе, которая сидела отдельно слева, вместе с другими женщинами. Ему хотелось, чтобы она была рядом, ему хотелось прижать к груди ее голову и сказать ей: «Не пора ли забыть об обидах? Ты видела, каким уважением они окружили меня. Ты слышала, какие слова они говорили мне. Они считают меня равным, одним из своих. Но ведь всё это — почести и блага, — всё это в конце концов мне нужно только ради тебя. Не унывай, девочка! У нас теперь много хорошего впереди».

Но Чандра Лекха была далеко. Он не мог сейчас даже взглянуть в ее сторону — это было бы неприлично, тем более, что там сидели и другие женщины.

Итак, в храме Шивы звонили праздничные колокольчики, и Калу казалось, будто это настоящий бог вступил в свое святилище. Фокус, при помощи которого он осуществил свою подделку, — ложь, выдумка, и лучше забыть об этом. Мангал Адхикари — это его, Калу, подлинное новое воплощение.

Когда гости стали расходиться, Мотичанд подвел какого-то человека к помосту, на котором восседал Мангал.

— Вы еще не знакомы с нашим Джогешом. Джогеш Митра — большой человек в джутовом деле, — сказал он.

Калу откликнулся не сразу. Он пристально смотрел на стоявшего перед ним мужчину.

— Кто? — беззвучно переспросил он.

— Джогеш Митра. Он вручит свой чек лично. Он хочет, чтобы на эти средства был построен павильон во дворе храма.

Калу смотрел все так же пристально.

— Я мыслю себе,— сказал Джогеш Митра,— сооружение из белого бетона в форме лотоса из девяти лепестков, цветка невинности. Пол, разумеется, должен быть мраморным.

— Хорошая идея, — Мотичанд одобрительно закивал головой.

«Большой человек в джутовом деле...» Ошеломленный этими словами, Калу не отводил взгляда от лица Джогеша, и безмолвное бешенство закипало в нем.

— Если эта сумма окажется недостаточной, впоследствии, в ходе работ, я добавлю еще. — Джогеш вынул чековую книжку. — Я знаю архитектора, который...

Он замолчал. Странное выражение лица Мангала Адхикари поразило его.

Мотичанд дотронулся до плеча брахмана.

— Чудовищная жара и целый день такого напряжения, — сказал он. — Выпейте воды.

Кровь стучала в висках, Калу повернулся и, спотыкаясь, медленно побрел через лужайку.

— Прилягте, отдохните, — крикнул ему вслед Мотичанд. — Я здесь все устрою без вас.

Он обменялся с Джогешем вопросительным взглядом.

— Кажется, мое лицо испугало его, — с удивлением заметил Джогеш Митра. — Что бы это могло означать?

— А вы раньше никогда не встречались с ним?

— Никогда в жизни.

— Странно!

— В самом деле. — Джогеш задумался. — Мангал Адхикари, — бормотал он, пытаясь припомнить, где мог встречать этого человека.

Чандра Лекха шла навстречу им. Когда она остановилась на некотором расстоянии, как того требовала учтивость, Мотичанд сказал, обращаясь к ней: — Ваш отец переутомился. Я посоветовал ему полежать немного. Дайте ему кружку горячего молока.

Он восхищенными глазами следил за тем, как она от волнения менялась в лице, всякий раз хорошея по-другому: сперва побледнела, потом вспыхнула.

— Нет причин для тревоги. — Мотичанд откашлялся, чтобы скрыть дрожь в голосе. — Тем более, что я здесь, — добавил он.

— Вы очень добры, — ответила она, опустив глаза и боясь тронуться с места.

— Какая жалость, что я не смогу лично вручить чек вашему отцу,— сказал Джогеш, обращаясь к ней. — Вот, пожалуйста, передайте ему.

Лекха взяла чек и посмотрела прямо в лицо жертвователю. Это было ничем не примечательное лицо, покровительственно усмехающееся лицо богача, одутловатое, с широким носом, одно из тех, которые встречаешь каждый день.

— Ты озаряешь нас лучами своей щедрости, — ответила она с положенной в таких случаях церемонностью. Потом повернулась и направилась к храму.

Мотичанд провожал ее взглядом, любуясь стройными линиями ее фигуры, ее грациозной походкой.

Калу сидел на цыновке, разостланной на мраморном полу, в его широко раскрытых глазах горел недобрый огонь. Все кончено. Его карточный домик рассыпался. Действительность, от которой он трусливо бежал, снова наступала на него. Он снова был в ее власти. И это должно было произойти именно сегодня, чтобы лопнул мыльный пузырь его торжества.

То был он, человек, который едва не погубил Чандру Лекху, — в полном блеске своего богатства и благочестия. Лица его Калу не запомнил, потому что не успел тогда разглядеть. Но слова, сказанные хозяйкой «Рупы», до сих пор отчетливо звучали в его ушах.

Вот он перед ним. Настала долгожданная минута, но вместо того, чтобы дать волю чувству мщения, Калу должен с благодарным поклоном принимать его щедрые дары. Так он попался в собственные сети.

Его могут раздавить в одно мгновение. Ведь храм не принадлежит только ему. Правда, он волен распоряжаться всеми доходами, но высший контроль принадлежит пяти попечителям, избранным из числа тех дельцов, на средства которых храм был построен. Он наслаждался изъявлениями их дружбы потому, что это льстило его тщеславию, и потому, что приятно было сознавать, что он более не одинок. И он закрывал глаза на то, что все это было ложью, созданной им самим: и бог, во славу которого был воздвигнут храм, и Мангал Адхикари, верховный священнослужитель.

И вот он снова — низкорожденный камар. Его окружают сотни чудовищных морд, сбросивших с себя человеческие маски. Лекха нуждается в защите...

Он теперь во власти врага и должен соблюдать осторожность. Ведь могут появиться и другие. Мало ли их было, мужчин, которых он встречал у дверей «Рупы». Но, может быть, его не узнают? Он и сам не уверен в конце концов, что узнал Джогеша Митру. Скорее всего его не узнают. Он теперь не тот, что был в дни нищеты, в дни гандистской шапочки, которой ему было приказано прикрыть свою плешь. Кому придет в голову связать брахмана-священнослужителя с низкорожденным вербовщиком живого товара? И как бы там ни было, здравый смысл говорил ему, что выход только один. Если ты скачешь верхом на тигре — держись, иначе соскользнешь на землю, и он мгновенно растерзает тебя. Выход один: держись и скачи...

Этот человек снова появится здесь. Когда Лекха увидит его... При мысли об этом Калу бросило в дрожь.

— Отец! — сдавленным от страха голосом пролепетала Лекха. — Ты заболел? — Она дотронулась рукой до его лба. Пот выступил на его искаженном страданьем лице.

Он отрицательно покачал головой.

— Немного закружилась голова. Старею. Пойдем домой.

— Какой у тебя сегодня день! — взволнованно сказала Лекха. — Ты произвел на всех огромное впечатление. Женщины плакали. «Такая искренность в наш грешный век», — повторяли старухи и вытирали полные слез глаза.

Калу быстро взглянул на дочь. Не шутит ли она? Но лицо Лекхи сияло нежностью, почти счастьем, словно она снова обрела веру в своего отца.

— А это — чек.

Калу выхватил из ее рук розовый листок, чтобы немедленно разорвать его, но рассудительность взяла верх.

— Кто дал тебе этот чек? — Испуг застыл на его лице.

— Сам жертвователь.

Вне себя от изумления, Калу уставился на дочь. Значит, Лекха видела этого человека и не узнала? Может быть, в ту ночь она не разглядела его лица. Но слова? Она не могла пропустить их мимо ушей. Они должны были врезаться ей в память. Так как же?

Калу не мог больше оставаться в неизвестности. Он мельком глянул на чек и вскинул напряженный взгляд на дочь.

— Большой человек в джутовом деле, — сказал он шепотом.

— Правда? Ну, для таких тысяча рупий ничего не составляет.

О, счастье! Калу закрыл глаза и уронил голову на грудь.

Потом он поднялся и взял Лекху за руку.

— Пойдем домой, — сказал он. — На сегодня хватит играть комедию. А завтра снова в путь.

— В путь? — с удивлением воскликнула Лекха. — Куда?

— Навстречу нашей судьбе.

Лекха внимательно посмотрела на Калу. Лучше не волновать его. Он выглядит сегодня не совсем здоровым.

Они молча шли к дому. Калу мысленно гадал: узнал ли этот человек Лекху? Маловероятно. В те страшные дни Лекха была не похожа на себя. Но даже если он заметил какое-нибудь сходство, он мог приписать его простому совпадению.

Калу думал о том, что теперь ему будет проще вести борьбу. До сих пор он сражался с чем-то абстрактным, ускользавшим от него, словно воздух. Теперь перед ним была видимая цель. Его оружие будет бить без промаха. Это оружие снова обрело боеспособность; и рука, державшая его, была сильной рукой мстителя!

Странно, что он совершенно забыл лицо этого человека. Он был слишком потрясен в ту ночь, чтобы внимательно разглядывать его. Большой человек в джутовом деле — вот его единственная примета. Но этого далеко недостаточно. В джутовом деле много крупных дельцов. Десятки джутовых фабрик раскинулись по берегам Ганга. Может быть, это вовсе не тот человек, может быть, он ошибся?

Калу замедлил шаги. Тот как будто был шире в плечах и не такого высокого роста. Да и лицо у него было смуглее, кажется...

Как узнать правду?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«Ложь камнем давит меня», — сказала однажды Лекха, и чувство это уже не проходило. Она не испытывала мстительного пыла, который воодушевлял ее отца на борьбу.

Его борьба! Лекха пыталась понять, что он понимает под этим. Она мысленно оглядывалась назад, на тот день, когда отец уходил из родного дома в Джарне с узелком, перекинутым через плечо; она вспоминала, как он шел, волоча ноги, пока не скрылся за поворотом улицы. Он прошел пешком много миль, одинокий, тоскующий о доме человек, потом ехал ночью на подножке железнодорожного вагона. Так началась его борьба, борьба за то, чтобы попасть в столицу, обрести уверенность в завтрашнем дне. Его мучил голод — полицейский бросил в грязь взятые из дому рисовые лепешки, — и он украл банан у богатого пассажира. Судья, не знавший, что такое голод, отправил его в тюрьму, как простого вора.

Лекха вспоминала, какой страх охватил ее, когда она впервые услышала от отца, что он просидел в тюрьме целых три месяца. В ту ночь она безудержно рыдала над своей судьбой, и, может быть, отец именно для того и рассказал все, чтобы отвлечь ее от собственного горя?

Ее отец жил среди воров, заклейменный их клеймом, их именем, которое она ненавидела, которого так боялась.

Она отчетливо представляла себе образ вора. Вор врывается в твой дом глубокой ночью. Ты просыпаешься и сразу же чувствуешь его присутствие: он, как тень, скользит по комнате, и кровь застывает у тебя в жилах. Ты не в силах произнести ни слова... И это к лучшему. Когда вор забрался к тебе в комнату, лучше всего закрыть глаза и уши и

притворяться спящей до тех пор, пока он не возьмет все, что ему нужно, и не уйдет. Счастье, если полицейский, охраняющий улицу, поймает злоумышленника на месте преступления и засадит его в тюрьму, где его заставят дробить камень, ткать ковры, плести цыновки и тяжелым трудом честно зарабатывать свой хлеб.

Вот как Лекха относилась к ворам. И только подумать, что ее отец, всю жизнь в поте лица зарабатывавший каждую пайсу, жил бок о бок с преступниками, спал рядом с ними, ел вместе с ними, слушал их разговоры.

Он совершил воровство. Он ничем не отличался от других заключенных. Все они были врагами порядочных людей, и всех их следовало проучить.

А разве она сама никогда не воровала?

Однажды она вместе со своей старой теткой отправилась на окраину городка, за железную дорогу, в надежде найти в поле какие-нибудь съедобные корешки или поймать несколько креветок в пруду, заросшем водяными лилиями. Пока старая тетка копошилась у пруда — креветок с каждым днем становилось все меньше и ловить их было все труднее,— Лекха бродила вокруг и набрела на землянки чамаров *, неприкасаемых. Люди, должно быть, покинули их, и жалкие, теснящиеся друг к другу хижины выглядели мрачно и печально. Лекха быстро шла вперед и вдруг остановилась. У нее захватило дух.

На крыше одной из землянок распластались широкие листья тыквы, цепкие усики тянулись во все стороны. Лекха, как завороженная, смотрела на пышные яркожелтые цветы: среди них, полускрытая зелеными листьями, лежала большая тыква.

Лекха оглянулась. Вокруг не было ни души. Сердце Лекхи бешено колотилось. Повинуясь неодолимой силе, она шаг за шагом стала подвигаться к землянке. Ее босые ноги скользили по земле, и она чуть не свалилась в канаву, полную жидкой грязи.

Но едва она успела забраться на низкую крышу, как чей-то тихий голос окликнул ее.

— Подожди!

Дрожа от страха, Лекха прижалась к крыше.

Неведомо откуда взявшаяся худая сгорбленная старуха, опираясь на палку, ковыляла к хижине. Из-под густых седых бровей на незваную гостью внимательно и пристально смотрели запавшие глаза.

— Это от голода, — почти шепотом сказала Лекха, словно умоляя о пощаде.

Старуха закивала головой. — Да, да, от голода, — повторила она, не сводя с Лекхи внимательного взгляда.

— Кто ты, девочка?

Лекха слезла с крыши, не в силах произнести ни слова в ответ. «Надо бежать», — подумала она.

— Все ушли, от мала до велика. Все. — Старуха ударила себя рукой по лбу. — Сыновья, их жены, маленькие дети. Я осталась одна в старой хижине. В сумерки я зажигаю лампу. Сыновья уговаривали: «Мать, пойдем с нами. В Джарне есть нечего». Но я сказала: «К чему перетаскивать с места на место старые кости? Сколько им еще осталось? Дайте мне умереть спокойно».

— Я могу идти? — умоляюще спросила Лекха.

— Послушай, девочка. Тыква еще не созрела до конца. Пусть еще дней десять пройдет, прежде чем ты сорвешь плод. Запомни мои слова,

* Чамары — одна из низших каст, к которой принадлежат кожевники, дубильщики, сапожники.

девочка, тыква за это время станет вдвое больше. — Глаза старухи заблестели. — Я покажу тебе еще что-то. — Она заковыляла в другую сторону. — Посмотри! Вон туда! Видишь?

И Лекха увидела. В густой тени листьев пряталась еще одна тыква, величиной с баклажан.

— Будь осторожна, — предупредила старуха, — не показывай пальцем.

Лекха знала, что если показать пальцем на подрастающий плод, бутон цветка, распускающуюся почку, они начнут засыхать и погибнут.

— Этой нужно еще месяц, чтобы дозреть. И тогда мы сорвем ее. Послушай, — старуха понизила голос, — я могу дать тебе немного бобов. На заднем дворе у меня уцелели три кустика...

— Нет! — крикнула Лекха.

— Зачем ты обижаешь меня, девочка? Ты за что-нибудь рассердилась на меня?

— Я рассердилась на вас, мать?

Старуха ласково улыбнулась, обнажив свои беззубые десны.

— Пойдем, я дам тебе горсточку бобов. Мне осталось недолго жить, доченька. Я не хотела быть обузой для моих сыновей. У них и без матери хватает забот.

И, опираясь на свою палку, она заковыляла прочь. Желая помочь старой женщине, Лекха протянула к ней руку. Старуха отпрянула назад.

— Что ты, доченька, я — чамар. Неприкасаемая.

Неприкасаемая? Лекха готова была встать перед ней на колени, покорно и благоговейно прижать свою голову к ногам этой женщины.

Случилось так, что она попалась на воровстве прежде, чем успела украсть. Но все равно это было воровство. Судья, не знавший, что такое голод, мог бы и ее отправить в тюрьму.

Как только Лекха получила две рупии — первый перевод от отца,— она сразу же отправилась к селению неприкасаемых с небольшим мешочком риса в руках: она спешила возвратить свой долг.

Но старухи нигде не было видно. Ее хижина и соседние землянки стояли пустые. От тыквы остались одни голые плети — все было оборвано до последнего листика.

«Умерла», — решила Лекха. Она пришла слишком поздно, ее долг так и останется неоплаченным.

Старуха из касты неприкасаемых, у которой Лекха хотела украсть тыкву, умерла от голода, и это во стократ усугубляло ее вину...

— Очень тяжело было в тюрьме, отец? — спросила однажды Лекха.

— Ад на земле. Я не понимаю одного, Чандра Лекха. Ведь когда человека сажают в тюрьму, — это как будто для того, чтобы перевоспитать его, сделать его лучше, чем он был. Не так ли? А там делается все возможное, чтобы заключенный вовсе перестал чувствовать себя человеком.

— Как так?

— Для этого существует много способов. Без всяких причин его ругают, называют его... — Калу во время спохватился, — называют его самыми отвратительными кличками, которые только могут придумать. Если он осмеливается протестовать, он получает пинки и зуботычины. И снова на него сыплются ругательства. Его человеческое достоинство перетирают между каменными жерновами до тех пор, пока оно не размелется в порошок и не развеется по ветру.

— Может быть, ему хотят внушить страх перед тюрьмой, чтобы он больше никогда не нарушал закона?

— Таково намерение, — согласился он, — но результат получается совершенно другой. День ото дня заключенный теряет страх, день ото

дня в нем растет ненависть. В конце концов она переполняет все его существо. Ненависть не только к тюремщикам, ненависть к той системе, которая этих тюремщиков создает. Ненависть ко всему. Эта ненависть становится болезнью, пожирающей мозг.

Уже знакомое Лекхе ожесточенное выражение появилось на его лице.

— Отец, не будем больше говорить об этом.

— Понимаешь ли ты, какое чувство вкладывают заключенные в песню, которую они поют во время работы? Шагая в ярме, точно скотина, они собирают в пригоршни пот с лица и поют хором: «Жрите его, это масло из наших костей! Жрите! Вот вам, чтобы было на чем поджарить рыбу... Вот для карри из баклажан... И вот для умащения ваших тел! Жрите его, это масло из наших костей. Жрите!..» Это песня ненависти, переполняющей души заключенных.

Лекха сочувственно кивала головой. Слова песни тронули ее до глубины души, и порой она повторяла их про себя. В такие минуты ее лицо освещалось новым светом, а ноздри слегка трепетали.

«Жрите его, это масло из наших костей...»

Из этой песни вырос храм, и борьба перешла в новую фазу — это была уже не борьба за жизнь, а могучее контрнаступление.

Но правильный ли был избран путь? Разделяя стремления отца к борьбе, она сомневалась в средствах, которыми он вел эту борьбу. Можно ли считать это настоящей расплатой?

Он, ничтожный и презираемый, впервые ощутил в себе силу, которую дает богатство. Он стал собственником, он владел большим, чем земные блага, — ему принадлежал сам Шива. Это сделало его избранным среди избранных. Некоторые из них держались замкнуто и высокомерно, но большинство относилось к нему со всей почтительностью, к которой принуждали их верность традициям и многовековая вера. И эта вера стала для них роковой! Непоколебимо убежденные в том, что благочестие заслужит им милость богов, они все глубже давали вовлечь себя в святотатство. Поклоняться мертвому камню, словно живому образу Шивы! Как и чем смогут они когда-либо искупить этот грех?

Но, мстя за обиды, нанесенные ему и его дочери, Калу попал под власть какого-то неведомого ей чувства. Давным-давно, когда они еще жили в Джарне, все в жизни было гораздо проще: Лекха стряпала для него, чинила его одежду, а иногда, шутки ради, бралась за молот и изображала кузнеца, в то время как он, словно школьник, сидел, уткнувшись в ее учебники. Работу свою он любил и даже гордился своим мастерством. Выполнив какой-нибудь особенно сложный заказ, он подзывал Лекху и говорил ей: «Посмотри-ка! Что скажешь о такой работе?» Однажды в школьном дневнике Лекхи, где всегда были только отличные отметки, в графе поведения появилось замечание: «Болтлива». Увидев это, Калу рассмеялся, его глаза лукаво блеснули.

— Будь я на твоем месте, у меня, наверно, во всех графах стояло бы «болтлив». Легкое ли дело целый час держать язык на привязи!

Так велика была его преданность дочери. Он всегда становился на ее сторону, не думая о том, права она или виновата. Но теперь эта безграничная вера в дочь исчезла, исчезла и готовность подчиняться ей во всем. Он требовал, чтобы она ждала его приказаний и выполняла их, не рассуждая, как автомат. В его отношении к дочери появилась непривычная суровость.

Он стал любить деньги, он теперь любил их гораздо больше, чем прежде, когда зарабатывал их тяжелым трудом. Он подсчитывал свои ежедневные доходы и испещрил бесконечными рядами цифр оборотные стороны счетов и расписок.

— Я не даром изучал арифметику по твоим учебникам,— сказал он ей однажды самодовольным тоном.

Но вовсе не для этого он в свое время взялся за книжки. Она-то знала подлинную причину.

Роль брахмана он исполнял с искусством настоящего Дважды Рожденного. Легенда о кастовом превосходстве разлетелась перед ним, как дым. И, тем не менее, он поддерживал эту легенду, используя ее в собственных интересах... А может быть, это служило ему защитой от самого себя? Или священный шнур, который он носил на груди, обвился и вокруг его души?

Однажды вечером, когда он прогуливался возле храма, к нему подошел худой, изможденный старик из голодающих, которых попрежнему много бродило вокруг.

— Вот уже два дня у меня ничего не было во рту,— жалобно взмолился он. — Сжалься, господин, удели мне хоть несколько крох от твоего богатства.

Рука, протянутая в мольбе, коснулась плеча брахмана. Он отпрянул назад.

— Бродяга! — с яростью крикнул он. — Как смеешь ты касаться меня? Придется теперь, невзирая на поздний час, совершать омовение, чтобы очиститься от скверны.

Она в это время стояла у ворот. Она слышала все, и ей показалось, что перед ней не отец, а кто-то чужой, принявший его образ.

— Отец! — с болью и отчаянием воскликнула она.

Он повернулся к ней. Может быть, он понял, что в ней происходит? Его разгневало прикосновение человека из низшей касты, он почувствовал необходимость совершить очистительное омовение. Но разве не оскверняла Мангала Адхикари в каждый миг его существования близость простого кузнеца? Или, может быть, кузнец исчез окончательно и безвозвратно, не оставив никакого следа на личности брахмана?

Калу вдруг весь преобразился, словно ему стало стыдно самого себя.

Голодный старик медленно брел по дороге. Калу окликнул его, и он остановился.

Калу догнал его.

— Не обращай внимания на минутную вспышку, брат, — сказал он. — Где ты живешь?

— Я виноват во всем сам, — виновато прошептал старик. — Я не подумал.

Калу намеренно положил свою руку на обнаженное плечо несчастного.

— Все люди от рождения равны,— сурово сказал он, словно сводя счеты с самим собой. Потом спросил:

— Чем ты занимаешься?

— Стучу молотом по наковальне,— ответил старик. Он говорил тихо и медленно.

— Ты кузнец? — шепотом спросил Калу, помолчав немного.

— Да. Простой камар. Я жил в Восточной Бенгалии. Мимо нашего селения протекает река Модхумати. — Старик едва заметно кивнул головой и повторил: — Простой камар.

— К чему так унижать себя? Честный ремесленник, мастер своего дела стоит лучшего из людей. Он может высоко держать голову, потому что огонь и железо повинуются его рукам. — Гордость потомственного кузнеца прозвучала в голосе Калу. — Никто на свете не может сравниться с ним, уверяю тебя. Никто.

Старик с удивлением уставился на него, и Калу рассмеялся.

— Тебе нужна еда, а я угощаю тебя разговорами. Послушай, брат,

почему бы тебе не остаться в храме? Мы найдем для тебя работу, пусть не ту, к которой ты привык, но какая-нибудь работа для тебя найдется. Вокруг храма хорошая земля, ты мог бы развести огород, выращивать овощи и зелень! — Эта мысль, видно, показалась ему забавной, и его глаза заблестели. — Руки настоящего мастера будут разрыхлять землю и подстригать траву на лужайке.

Слезы облегчения выступили на глазах старика. В порыве чувства он попытался было сказать что-то, но язык отказывался повиноваться ему. Тогда Калу поспешил выручить его.

— Это моя дочь, — сказал он и, повернувшись к ней, добавил: — Поклонись своему богоданному дяде, Чандра Лекха. Это камар из восточного района Бенгалии. Возле его селения протекает река Модхумати.

В это мгновение Лекха боготворила своего отца. Она с глубокой любовью посмотрела на него и, склонившись к земле, коснулась ног старика.

Тот в ужасе отшатнулся.

— Нет, нет, девушка. Ты — дочь брахмана! Что значит все это? Не сон ли я вижу?

— Молодые должны отдавать дань уважения возрасту, — торжественно произнес Калу.

— Пойдем, дядя. — Она взяла старика за руку. — Мы живем через дорогу.

И пока старик угощался молоком и фруктами, поданными на медном блюде, Калу засыпал его вопросами.

— Почем продают у вас в городе уголь? — спрашивал он.— И вслед за этим: — Умеешь ты так подковать лошадь, чтобы подкова держалась целый год? Есть такой секрет... Как ты составляешь сплав для припоя?

— Что за чудо! Откуда ты так хорошо разбираешься в нашем ремесле? — с удивлением воскликнул старик. Концы его вислых седых усов намокли в молоке, которое он пил из медной чашки с гравированным цветочным узором. — Ах, если бы я только мог показать тебе, что такое настоящая кузнечная работа! — воскликнул он, позабыв обо всем на свете.

Прищурив глаза, Калу взглянул на старика, и Лекхе нетрудно было угадать его мысль, которую он не осмеливался высказать вслух: «Я бы тоже не прочь показать тебе, на что способны эти руки».

Так нищий старик Висванатх стал садовником при храме Шивы. Но горячий порыв, побудивший Калу взять его, оказался столь же кратковременным, сколь и внезапным. Через два или три дня он предупредил дочь:

— Смотри, держись от него на почтительном расстоянии. Он должен знать свое место.

Ее ответ таил в себе жало.

— Ты сам приказал мне поклониться этому человеку. Я называла его дядей. Как же я могу быть такой лицемеркой?

Он вздрогнул и отвел глаза в сторону.

— Мы стоим на краю обрыва. Сотни глаз следят за нами, может быть, мы поскользнемся и упадем. Надо соблюдать осторожность. В нашем трудном положении мы не можем водить дружбу со слугами. Понимаешь?

— Понимаю, отец.

Сомнения снова нахлынули на нее. Неужели высокомерие брахмана уже успело проникнуть в его кровь? Ну, пусть он вынужден держаться на расстоянии от Висванатха, но неужели он не может по-человечески обходиться с ним? Она заметила, что отец даже не всегда отвечает на

приветствия старика. Грубость не придавала ему достоинства. Многие из брахманов, которых Лекха встречала каждый день, держали себя просто и благородно. Неужели же фальшивая монета должна блестеть ярче, чем настоящая?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

С джутовой промышленностью связаны десятки крупных дельцов. Оправившись от первого потрясения, Калу нашел этот довод достаточно убедительным. Купцы и посредники покупали джутовое волокно и доставляли его с поля на фабрику. Многочисленные фабрики перерабатывали волокно на дерюгу и мешки. Судовладельцы переправляли товар за океан. Спекулянты не оставляли его своим вниманием с начала и до конца пути, авансом скупая и перепродавая десятки тысяч тонн.

Руководствуясь примитивной логикой, Калу постепенно понял, что не так уж важно, кто именно был тот крупный делец, который посетил «Рупу» в роковую ночь. Это мог быть любой мужчина. Точно так же, как на месте Лекхи могла оказаться любая другая девушка.

Кто бы ни был Джогеш Митра, это не меняло дела. Калу боролся не с отдельными людьми, а с действительностью, которая делает возможным появление таких людей. Он мстил за себя, готовя погибель всем, кто был вскормлен этой действительностью, погибель, от которой не было спасения. Его Шива будет не единственным фальшивым идолом в столице. Появятся другие такие же, и храмы, воздвигнутые во славу поддельного божества, затмят истинные святилища своей вызывающей роскошью. Роскошь эта скажется главным образом в пышных обрядах. Калу долго размышлял о странных противоречиях жизни. Одни люди умирали от голода, а другие богатели; добродетель встречалась все реже, а спрос на религию возрастал. Последнее отвечало интересам Калу.

Целые дни в его храме раздавались песнопенья. Для этой цели было нанято пять почтенных брахманов. В курильницах жгли ладан, и храм тонул в клубах благовонного дыма. Утром и вечером удары гонга были слышны даже пассажирам Алипурского трамвая, проходившего в полумиле от храма.

Состоятельные люди, у которых не было ни времени, ни охоты на молитвы и подаяния, щедро жертвовали на обряды, видя в этом простейший путь к искуплению грехов. Один торговец драгоценностями заменил медный светильник для обряда арати золотым и оправил в серебро деревянную ручку опахала из хвоста яка. Какой-то раджа пожертвовал для ночного отдыха Шивы ложе из сандалового дерева, богато украшенное резьбой. Компания по продаже риса обязалась заблаговременно доставлять божеству месячный запас пищи. Шиве приписывались человеческие потребности, которые можно было легко удовлетворить.

В определенные священные дни совершался обряд ягны. С торжественными песнопениями в ярко горевший священный огонь подливали очищенное масло. Калу предусмотрительно заботился о том, чтобы чаши с маслом, предназначенным для этой надобности, могли приносить все, кто жаждал таким образом приумножить свои заслуги перед божеством. Чтобы внести в это дело порядок, он составил себе строгое расписание имен и дат. В списке значилось много именитых людей: здесь были не только крупные дельцы-промышленники, но также адвокаты, врачи и столпы других профессий.

Существовало также расписание молочных омовений Шивы, обряда, который для Калькутты был новшеством. Много лет назад Калу побы-

вал в Бенаресе, куда устремлялись паломники со всех концов страны, и там в знаменитом храме ему довелось лицезреть совершение этого обряда. Пять служителей с жезлами и другими священными регалиями вынесли из дома жертвователя большое ведро с молоком, по дороге к храму они хором торжественно возглашали: «Шива! Шива!» Им уступали дорогу, люди в благоговейном молчании провожали их глазами. Калу скопировал эту церемонию с небольшими изменениями. Это произвело огромное впечатление на воображение искателей вечной славы, поэтому расписание вскоре было заполнено на несколько месяцев вперед.

Молоко в ту пору было редкостью и стоило дорого, потому что его реквизировали для армии. Но Калу не приходилось беспокоиться об этом. Благочестивые дельцы не останавливались ни перед какими затратами. Но однажды возникло небольшое осложнение, и Калу поделился своими опасениями с дочерью.

— Как быть, Чандра Лекха?

— Ты о чем, отец?

— Ты видела мою красную книжечку-календарь с надписью «Молочные омовения». Против каждой даты там проставлены имена вплоть до конца Шравана *. Это означает, что каждый день строго закреплен за определенным человеком. Никаких изменений быть не может.

— Понимаю, отец.

— И вот сегодня утром ко мне подошел какой-то человек и стал умолять, чтобы я назначил ему день для приношения молока на этой неделе. Я сказал, что это невозможно. Но он продолжал настаивать и сказал, что просит об этом не для себя, а для своего отца. Старик смертельно заболел. Врачи сказали, что он протянет с неделю, не больше. Его последнее и единственное желание — перед смертью послать в храм молоко для омовения Шивы. Свершив это, он умрет спокойно.

— Ты мог бы устроить в этот день для Шивы еще одно омовение,— предложила Лекха.

Но он возразил, что это также невозможно: нельзя вдруг менять установленный ритуал. В храме было заведено, что все молоко, необходимое для вечернего омовения Шивы, жертвовал каждый раз один человек. Если изменить этому правилу, пожертвование потеряет свой смысл, потому что перестанет быть привилегией.

Лекха и тут нашла выход из положения.

— А почему бы не попросить одного из тех людей, которые должны жертвовать молоко в ближайшие дни, уступить свою очередь этому старику? Они же не умирают, они могут подождать.

Калу согласился с ней. И вот он нанял рикшу и сам лично отправился для переговоров с жертвователями. Он объехал семь домов и возвратился в храм с расстроенным видом.

— Подлецы все, — сказал он дочери. — Уж лучше попасть в ад, чем быть в раю вместе с такими эгоистами.

И Калу рассказал дочери, как эти семеро — все как один — отказались уступить старику свою очередь. Им не было никакого дела до умирающего. «Он должен был позаботиться об этом заранее, — говорили они. — Ведь каждый из нас может умереть в любую минуту». И кто-то из них процитировал строку из древнего санскритского стихотворения: «Жизнь недолговечна, как росинка на лепестке лотоса».

Старик скончался, так и не осуществив своего последнего желания. Калу был удручен этим. Если бы он только мог шепнуть умирающему

---

* Шраван — пятый месяц индийского календаря (соответствует примерно июлю — августу).

на ухо: «В моем храме нет бога. Молоко льют на фальшивого идола, которого я сотворил собственными руками».

Пусть хоть в последнюю минуту своей жизни старик бы понял, какую шутку сыграли с искателями вечной славы, и ему легче было бы умереть: бессердечные люди, отказавшие умирающему в уступке, получали по заслугам!

Однако источником более серьезного беспокойства неожиданно явился голодающий, которого Калу нанял в садовники. Этот старик с печальным, изборожденным морщинами лицом, молчаливый, непритязательный, целыми днями был погружен в свою работу. Он трудился под палящим солнцем и под проливным дождем. Иногда Калу наблюдал за ним из павильона Лотоса — великолепного белоснежного строения, расположенного посередине зеленой лужайки перед храмом. Однажды, когда начался сильный дождь, он крикнул садовнику, чтобы тот прекратил работу и не мок под дождем.

— Мне дождь не страшен, — ответил Висванатх, обернувшись к нему. — Кости у меня еще крепкие.

Хотя Калу почти всегда держался от садовника в стороне, его иногда странным образом тянуло к этому человеку, словно какая-то общность судьбы сближала их. Он проявлял беспокойство о родне Висванатха, но все его вопросы наталкивались на упрямое молчание старика. «Понятно, ему больно вспоминать свое прошлое»,— мысленно говорил себе Калу. Однако Висванатх охотно рассказывал ему о своем ремесле и о своей сокровенной мечте — когда-нибудь снова взять в руки кузнечный молот. Но он понимал, что никогда уж ему не вернуться к любимому делу. И Калу знал, что старик понимает это. Вот почему он считал, что в какой-то степени у них с Висванатхом одинаковая участь. Они оба попались в сети: только у одного это были сети нищеты, у другого — брахманского изобилия.

Вызывала удивление непочтительность, с которой Висванатх относился к храму и всему связанному с ним; он даже не давал себе труда скрывать это.

— Почему в этой стране тысячи одного бога столько зла и столько горя? — спросил как-то Висванатх своего хозяина.

Калу уже достаточно хорошо усвоил брахманское учение, чтобы найти подходящий ответ:

— В наших сердцах нет веры. Огонь возмездия — дело наших собственных рук. Мы заслужили его. Это огонь, очищающий наши души.

— Я голодал целых три месяца. И к чему это привело? Я только возненавидел мир за страдания, которые он мне причинил.

— Вот, вот! Ты доказываешь справедливость моих слов! — глубокомысленно произнес верховный священнослужитель. — У тебя нет веры в судьбу, которая управляет жизнью людей и жизнью ничтожнейшего насекомого, даже червя.

Но эти слова не убедили Висванатха.

— Я верил, — сказал он. — Как все люди, я поклонялся богам и боялся их. И я и все мои дети. А к чему это привело?

Калу молчал. Он ждал, не раскроет ли этот старик перед ним секрет своих страданий.

— К чему это привело? — повторил Висванатх. Лицо его передернулось, и он вдруг с ужасом уставился в одну точку. Но это длилось не больше минуты. — Что прошло, того не вернешь, — продолжал он уже спокойно. — Скажи мне только, почему моя маленькая внучка должна была умереть с голоду? Не станешь же ты упрекать трехлетнюю девочку в безверии?

Калу смутился, но брахман Адхикари подсказал ему должный ответ:

— Грехи, совершенные в одной жизни, иногда приходится искупать в другой через страдание.

Висванатх горько усмехнулся, обнажив свои беззубые десны.

— Надо бы дать Мине подрасти немного, стать более разумной, а уж потом требовать от нее искупления былых грехов.

И тут Калу вдруг спросил себя: а за что страдала Лекха, его Чандра Лекха? Она, невинная и чистая, как ребенок. Чем заслужила она такую страшную судьбу? Настоящих грешников минует десница кармы *: они пьют и едят досыта, взывают к Шиве и Раме, безмятежно и сладко спят в своих постелях.

Калу поднял голову к небу, словно мог в его синей пустоте увидеть ту самую судьбу, от которой зависит жизнь человека, насекомого или червя. Он сжал свои большие кулаки. Вы бросили невинную девушку в грязь. И это называется искуплением? Это называется очищением души? Глаза Калу остановились на храме. Потом, поймав на себе удивленный взгляд Висванатха, он поднялся и, не говоря ни слова, пошел прочь.

То, что прежде безотчетно смущало его, теперь всплыло на поверхность сознания, где легче было в этом разобраться. А разобраться было необходимо. Виной всему был старый Висванатх. Он нарушил самоудовлетворенный покой, в котором пребывал Калу.

Факты вырисовывались с достаточной ясностью. До кризиса в нем, как и в Висванатхе, жила какая-то вера. Он никогда не сомневался в непреложности установленного порядка, запретов и несправедливостей, условных границ, деливших человечество как бы на глухие, несообщающиеся отсеки. Он не одобрял этого порядка и не осуждал его. Он был удовлетворен своей личной судьбой, а что происходило с другими людьми, его не касалось.

Но когда начался голод, перед ним возникло множество вопросов. Вместе с последним огнем в его горне угасла его вера. Бунтарь впервые родился в нем, когда он вынужден был продать свои инструменты и отправиться в столицу. Во время суда у него открылись глаза и уши, а тюрьма дала ему голос и с помощью заключенного Б-3 вселила в него дух протеста. Повинуясь этому духу протеста, он бросил вызов человеку и богу. И к чему это привело? Чтобы осуществить свое возмездие, он должен был надеть на себя маску брахмана. И с каждым вздохом он все дальше и дальше заходил в своем «святотатстве», том самом святотатстве, которое, по брахманским представлениям, неизбежно каралось свыше. Самозванный брахман говорил камару:

«Своим дерзким прегрешением ты обрек себя на муки. Возможно, твои собратья по человечеству не разоблачат и не покарают тебя. Но разве ты сможешь уйти от кармы? Все, что ты свершаешь в этой жизни, будет записано в книгу твоей грядущей судьбы. И ты, Калу, обрек на то же свою дочь. Ты понимаешь это?» Камар, умиравший в нем, пытался возражать. Но разве может один человек быть одновременно двумя разными людьми? Разве может он верить и в то же время не верить?

Висванатх, с кроткой улыбкой беседуя с Калу, и не подозревал, что раздувает в душе своего собеседника едва тлеющие угольки тревоги. Однако именно он явился причиной того, что в один прекрасный день эти искры разгорелись в большой огонь.

Поводом послужило все то же молоко для омовения Шивы. Каждый вечер три большие бадьи молока опрокидывались на каменное божество. Молоко стекало в специальный резервуар за наружной стеной храма,

* Карма — понятие судьбы.

куда собиралась также священная вода, листья бэла * и цветы. На следующий день священное содержимое резервуара с особой церемонией предавалось водам Ганга в определенном месте, на расстоянии мили к востоку от храма.

И вот однажды пуджари, который совершал этот повседневный обряд, не обнаружил в резервуаре ни капли молока — ничего, кроме увядших цветов и листьев. Что же случилось с молоком, которое он вылил на изображение Шивы? На следующий день священник опять заглянул в резервуар — молоко снова исчезло.

И тогда священник решил проследить, в чем дело. Он оставался в храме до глубокой ночи, а на следующий день поднялся до рассвета и, притаившись за цветущим кустом, стал наблюдать. Вскоре на дороге появился сгорбленный человек с двумя бидонами в руках. Он наклонился над резервуаром и зачерпнул оттуда жестянкой. Это был старый садовник.

Несколько мгновений священник молча наблюдал за ним. И, только когда бидон наполнился почти доверху, он вскочил и бросился к старику.

— Так это ты? Это ты? — крикнул он, схватив Висванатха за руку.

Далее последовал поток проклятий. Какая дерзость обманывать бога! Слуга храма — не посторонний человек! — смеет воровать в священных местах! Даже если бы его не поймали, разве может он укрыться от всевидящего ока? Разве его душа не знает страха? Или он не верит в силу всемогущего бога?

Висванатх высвободил свою руку и тихо сказал:

— Это молоко принесли сюда для омовения Шивы. Его уже использовали по назначению, а теперь должны выплеснуть в реку, и оно пропадет впустую. Чем же я оскорбил божество?

От гнева у священника едва не отнялся язык. Священный ритуал требовал, чтобы молоко после омовения Шивы сливалось с водами священной реки. А этот низкорожденный посмел осквернить его своим прикосновением! Мало того, он утверждает, что отдать это молоко Матери Рек — значит тратить его впустую.

— Можешь убираться на все четыре стороны! Всякому отребью не место в храме. Милость к таким, как ты, до добра не доводит! Ступай, и пусть твоя черномазая рожа и близко сюда не показывается.

Крики пуджари разбудили всех кругом; вскоре на месте происшествия появился сам верховный священнослужитель. Пуджари торжествующе сообщил ему обо всем случившемся.

— Мне этот бродяга с первой минуты не внушал доверия. Таких, как он, много, они, словно навозные мухи, облепили со всех сторон наш прекрасный город. Но теперь он не посмеет и близко подойти к храму. Я во-время поймал его! — воскликнул пуджари, пыжась от сознания собственной ловкости. — Он начинает со священного молока, а потом обнаглеет и потянет свою лапу за чем-нибудь другим. Я по лицу вижу, с кем имею дело.

Калу не сводил глаз с преступника, как бы безмолвно допрашивая его.

— Я брал это молоко для голодных детей, — тихо сказал Висванатх. — В переулке за Гаутама-род есть десятки детей, умирающих с голоду. — Он замолчал и, казалось, не хотел говорить больше.— Я уйду,— добавил он и, пожав плечами, пошел по направлению к крытым черепицей домикам на заднем дворе, где была и его каморка.

Лекха, привлеченная шумом, стояла у ворот храма.

— Он должен уйти? — спросила она отца с волнением в голосе.

---

* Бэл — вьющееся растение, типа лианы.

— Да, и тем хуже для него. А ведь он не дурак. Должен был знать, чем рискует. Даже я не осмелился бы прикоснуться к молоку для омовения Шивы.

— Отец...

— Я знаю, что у тебя на душе, Лекха. Я испытываю то же чувство. Но зачем ему понадобилось бросать вызов?

— Вызов? — с удивлением переспросила Лекха.

— А как еще это назвать? Установленный обряд неизменен. В этом вся его сила.

— Но дядюшка Висванатх отдавал молоко голодным детям.

Калу утвердительно кивнул головой.

— Никто не отрицает этого, — сказал он.

— Может быть, в этих голодных детишках он видел свою внучку, трехлетнюю Мину, которая умерла от голода. Ты же сам говорил, что он рассказывал тебе о девочке.

Калу смутился. Он не подумал об этом.

— И в то время, когда дядюшка Висванатх кормил этих голодных детей,— продолжала Лекха,— может быть, ему казалось, что он кормит свою Мину. Это молоко, которое бессмысленно выливают в реку, много раз спасало его Мину от смерти. Вот о чем он думал в этот момент.

Они молча смотрели друг на друга. Потом отец вдруг вспыхнул от гнева.

— Идем! Пошли! — хрипло крикнул он Лекхе.

Она молча последовала за ним. Дома он сразу прошел в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Немного спустя Лекха принесла ему кружку чаю. Калу ходил по комнате взад и вперед. Лекха раскрыла было рот, но, увидев его лицо, не стала ничего говорить и вышла из комнаты.

Когда она получасом позже снова заглянула туда, он сидел на циновке, скрестив ноги и низко опустив голову. Нетронутая кружка с чаем стояла перед ним

— Отец...

— Чандра Лекха... — Калу поднял голову и посмотрел на дочь. Лицо его было спокойно. — Ты думаешь, это правда?

— Что правда?

— Что, когда он давал молоко детям, ему казалось, будто он кормит свою внучку? Свою Мину, которая умерла от голода?

Лекха не могла понять его.

— Так я себе представила, отец.

Калу кивнул головой.

— Я должен убедиться в этом, — сказал он, словно обращаясь к самому себе.

— Я приготовлю тебе свежего чая, отец.

Она взяла кружку и вышла из комнаты.

Не прошло и двух минут, как Лекха, хлопотавшая на кухне, услышала его шаги. Калу торопливо спускался по лестнице. Лекха бросилась на балкон. Он быстро пересек дорогу и скрылся в воротах храма.

«Что с ним такое?» — озабоченно подумала Лекха.

А Калу между тем направлялся к домикам с черепичными крышами. Висванатх уже собрал в узел свои жалкие пожитки и теперь прощался со своими друзьями, наемными слугами храма. Они окружили его тесным кольцом, наперебой выражая ему сочувствие, но, завидев хозяина, мгновенно разбежались.

Калу подошел к садовнику и вступил с ним в странный разговор.

— Я должен убедиться в том, что ты отдавал молоко голодным детям.

— Какая нужда в этом? — улыбнулся Висванатх.

— Стало быть, есть нужда. — И, повернувшись к выходу, Калу сказал: — Пойдем.

Два бидона с молоком все еще стояли возле резервуара. Калу остановился.

— Возьми эти бидоны, Висванатх, — приказал он, и в этот самый момент из храма вышел пуджари.

— Это молоко сейчас унесут и выльют в реку, — сказал он и, бросив на садовника холодный взгляд, спросил: — А ты все еще здесь?

— Возьми бидоны, Висванатх, — повторил Калу и, повернувшись к пуджари, резко сказал: — Лучше отдать это молоко голодным детям.

Пуджари с изумлением уставился на него. Он не верил своим ушам.

— Молоко для Матери всех Рек? — с трудом выговорил он наконец.

— Какая мать отвернется от голодных детей? Ответь мне чистосердечно, пуджари. Жаль, что у тебя нет ни детей, ни внуков...

Лицо пуджари помрачнело.

— Что ж, значит, Матери всех Рек будет нанесено оскорбление? Так я должен тебя понимать?

— Послушай, пуджари. — Калу старался утихомирить возмущение брахмана. — Это молоко означает жизнь для голодающих ребятишек — двадцать детских жизней. Слышишь?!

— Ни одна человеческая жизнь не стоит такой цены, — загремел пуджари, — тебе ли объяснять это?

Тогда Калу выпрямился, расправил плечи и словно застыл на месте. Это был новый, неузнаваемый человек.

— Отдать молоко детям — лучший способ использовать его, — с ударением произнес он.

— Но те, кто жертвует молоко, сочтут, что их обманули. А этому презренному безбожнику нет места под крышей храма.

— Он отдавал это молоко... — начал Калу, но тут же оборвал свои слова и только презрительно пожал плечами.

— Жалкий бродяга! — возмущался пуджари. — За этот месяц он отъелся и вот теперь ожил, как изголодавшийся питон. Змея в шкуре невинной ящерицы.

— А я уважаю этого человека, потому что у него сохранились сердце и совесть, — сказал Калу и повелительным жестом приказал Висванатху трогаться в путь. Старик поднял бидоны, жилы на его руках вздулись от тяжести.

— Надо вскипятить молоко, — сказал он, догнав своего хозяина.

— Вскипятить?

— Оно долго было в резервуаре. Ведь это для маленьких детей...— сказал Висванатх своим тихим, словно извиняющимся голосом.

— Ты прав.

У себя в комнате Висванатх развел огонь в очаге, а Калу, усевшись на голый пол, глубоко задумался. Он открыто отказался повиноваться установленному ритуалу. Попечители храма ему этого не простят. Калу мысленно перебрал всех членов попечительского совета — они стояли перед ним, защищенные деньгами и положением. Могущественный господин Абалабандху, председатель, оптом скупал запасы риса, чтобы увеличить голод. Множество людей должны были умирать, чтобы он мог наживаться. И этот человек руководил делами храма. Да, теперь Калу в их власти.

Зачем же он бросил им этот дерзкий вызов? Ведь он гораздо легче добился бы цели, действуя осмотрительно и без шума. Но он не мог не нанести удар, не почувствовать, что равен Висванатху в безумии и в силе.

— Лучше мне все-таки уйти,— тихо сказал Висванатх, пытаясь прочесть мысли своего господина.

— Это почему?

— Я не хочу доставлять вам неприятностей. Как могу я быть таким неблагодарным?

— Ты останешься здесь.

Когда молоко вскипело, Висванатх взял бидоны, и они пошли к воротам: Висванатх впереди, Калу сзади.

— Это недалеко, — сказал Висванатх, когда они вышли на улицу. И Калу кивнул в ответ.

Минут через десять они свернули в узкий закоулок за рестораном «Приют гурманов», славившимся своими жареными креветками. Они увидели здесь обычную картину: прямо на дороге, в пыли, сидели женщины с детьми на руках. У каждой была пустая жестяная банка, добытая в какой-нибудь мусорной куче. Все те же знакомые фигуры — изможденные женщины, рахитичные дети с вздувшимися животами. При виде Висванатха и его спутника неподвижные фигуры зашевелились. В угасших глазах появился блеск. Но никто не произносил ни слова.

Висванатх маленьким ковшиком разливал молоко в консервные банки. Когда оба бидона были пусты, он поднял их с земли и, повернувшись к своему господину, спросил его:

— Ты ничего не скажешь этим людям?

— Что я могу сказать им?

Сомнения оставили Калу. Он понял, что старый Висванатх обрел в этих живых детях своего погибшего ребенка.

— Наступит ли завтрашний день?

— Наступит еще много дней.

— Будут неприятности.

— Пусть. Мне все равно.

Они вышли из переулка, миновали «Приют гурманов», из дверей которого доносились аппетитные запахи пищи.

— До тех пор пока у них есть такие, как ты, им нечего беспокоиться, — сказал Висванатх и многозначительно посмотрел на него.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать.

— До тех пор пока существуют такие честные брахманы, как ты, люди не утратят веру в справедливость нынешнего порядка.

Честный? Он? Калу хотелось рассмеяться в ответ. Если бы только Висванатх мог знать, что он, Калу, был самым отъявленным мошенником во всей истории Калькутты! Что верховный священнослужитель и старый Висванатх — собратья по касте! Калу отвел глаза.

Что если б его товарищ по заключению увидел его в роли брахмана? Мысль, поданная заключенным Б-3, воплотилась в жизнь. При помощи волшебного фонаря из земли вырос храм. Но Б-3 не предусмотрел, что маска, которую носит человек, может наложить отпечаток на его дух. Мы — подонки жизни. Калу сумел подняться со дна на поверхность, он своим потом смыл с себя предательский запах прошлого, но теперь он был словно мускусная кабарга, которую одурманивает ее собственный запах.

Скоро заключенный Б-3 отбудет свой срок. Калу помнил дату, когда его должны выпустить на свободу. Это произойдет на второй день Великой национальной пуджи — праздника десятирукой богини Кали. В этот день, по традиции, странники возвращались домой, но был ли родной дом у заключенного Б-3? Теперь до дня его освобождения оставалось не больше месяца. Целый год тюремного заточения за попытку помочь голодным получить еду.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Три дня над головой Калу собирались тучи, и вот наконец разразилась гроза.

Калу знал, что слух полетел, подобно быстрокрылой птице: молоко после омовения Шивы не выливают в реку, как должно. И тем, кто приносит молоко в дар божеству — по три ведра в день, — не воздастся в полную меру их затрат.

Калу слышал глухие раскаты приближавшейся грозы и знал, что беда неминуема. Он перелистывал страницы календаря с заголовком «Молочные омовения», пытаясь предугадать, что же именно произойдет. Первым из пострадавших был торговец золотыми слитками. Калу хорошо помнил его надменную манеру держаться. Этот купец подъехал на машине к воротам в один из тех дней, когда обряд молочного омовения был еще новшеством в храме, и послал шофера за Мангалом Адхикари.

— Всем сердцем я хочу молить бога об одном. Пусть золото поднимается в цене все выше и выше. Чтобы мое желание осуществилось, я пожертвую молоко для омовения Шивы один раз в этом месяце и один — в следующем.

Он отметил себе дни, когда ему надлежит прислать молоко, а Калу внес в свою книжечку имя жертвователя, а также имена его отца и деда.

Не прошло и двух часов, как появился новый посетитель. Этот человек, настолько же маленький и тщедушный, насколько первый был большим и пузатым, обладал большей скромностью. Он оставил машину у ворот и сам отправился в храм, где Мангал Адхикари занимался каким-то делом.

— Пусть золото падает в цене все ниже и ниже.

Он также пожелал сделать приношение божеству в виде молока для двух омовений. И, бросив на Калу хитрый взгляд, добавил:

— Может быть, приправить молоко пряностями? Прибавить миндальной пасты и сахару? Я сам люблю пить молоко, сдобренное миндалем и сахаром.

— Божество предпочитает чистое молоко, — сухо ответил Калу.

Следующий день, значившийся в списке, был днем большого праздника. Этот день пришелся на долю владельца «Савоя», одного из лучших отелей города. Он не явился лично, а прислал своего управляющего, человека в огромном тюрбане. В этот день, как и в некоторые другие праздничные дни, для омовения требовалось пять ведер молока. Но это нимало не смутило управляющего.

— Мой хозяин не обеднеет от покупки двух лишних ведер молока, — сказал он с надменной усмешкой, показывая блестящие зубы. — У нас в «Савое» каждый день расходуется куда больше.

«Савой». Целая буря чувств поднялась в груди Калу при этом слове. Он вспомнил большую гостиницу на площади Тагора, перед которой остановился однажды во время своих голодных скитаний. За стеклом витрины заманчиво расположились всякие деликатесы из рыбы и морских животных. Калу стоял, как завороженный, глядя на огромного красного омара.

— Наверно, под твоим панцырем фунта два мяса, брат, — заметил Калу, прикидывая на глаз размеры омара. Но тут сзади раздался привычный окрик: «Проходи!»

Отвернувшись от витрины, Калу пошел мимо здания гостиницы дальше. На углу что-то происходило. Перед зданием столпилось десятка два голодающих; подняв головы, они жадно смотрели на одно из окон

третьего этажа. Калу остановился и тоже посмотрел вверх. Два солдата-европейца стояли у окна, облокотясь на подоконник.

Внезапная тишина. Толпа застыла, как неживая. Медленно прошла минута, затем один из солдат взмахнул рукой и бросил что-то из окна вниз. Мгновенно толпа ожила. Люди упали на колени, судорожно шаря руками. Началась свалка. С воплями, с плачем они отталкивали друг друга. Через несколько минут все было кончено. Скорчившиеся фигуры, тяжело дыша, распрямились и поднялись с земли. Но двое или трое продолжали сидеть на корточках, во рту у них был хлеб, который они жадно и торопливо глотали.

Да, им надо было торопиться. Калу видел, как один голодающий насильно открыл рот другому и, вырвав разжеванный хлеб, сунул липкую массу в свой рот, а ограбленный беспомощно размахивал тонкими, как прутья, руками и горько плакал.

Калу взглянул на веселые лица солдат, услышал их громкий смех. Снова в воздухе мелькнула белая рука, и хлеб полетел вниз. Снова толкотня, свалка. Один старик, которому, видимо, сильно досталось, отполз в сторону и сидел на краю тротуара, медленно раскачиваясь, по его грязным небритым щекам текли слезы.

— Еще, сахиб, еще! — вопили несчастные, молитвенно простирая руки. Они били себя по выпиравшим ребрам, по ввалившимся животам. Но солдатам надоела эта забава. Они уже отвернулись, быть может, высматривая в гуще уличного движения, чем бы еще развлечься.

Двое голодающих, моложе и сообразительнее своих товарищей, придумали новый способ позабавить сахибов и привлечь их внимание. С громким возгласом: «Хо!» — они, подражая борцам, стали хлопать себя по костлявым бедрам. Затем с воинственным криком ринулись друг на друга, раздался треск пощечин — костлявые пальцы ударяли по костлявым щекам. Удар следовал за ударом, выкрики — за выкриками. Другие голодающие сперва наблюдали эту сцену с недоумением, затем разобрали, в чем дело, и сами включились в игру. Охрипшие, с посиневшими от натуги лицами, они воинственными воплями старались довести себя до исступления. Удары становились все сильнее и свирепее, и скоро драка из притворной превратилась в самую настоящую. Какое-то безумие охватило несчастных. Они уже забыли, для чего все это затеяли. Жалкие обломки людей дрались, как разъяренные звери. Скелеты набрасывались друг на друга, рвали, царапали, кусали. Кровь струилась по обнаженным телам. Люди дрались из последних сил, как будто от этого зависела их жизнь, дыхание со свистом вырывалось из груди, как воздух из лопнувших мехов. Наконец несколько человек опомнились и с криком бросились бежать, тараща от ужаса глубоко запавшие глаза.

Белые лица в окне смотрели на все это, одобрительно осклабясь.

Калу едва не стошнило от отвращения.

В его памяти сохранились все подробности этой сцены, и, переживая ее вновь, он содрогнулся.

И вот настал день большого праздника — Шиваратри. Стоя в павильоне, Калу видел поток верующих, вливавшийся в ворота с белыми колоннами и заполнявший просторный двор и широкую лужайку перед храмом. Шиваратри бывает только раз в году, и если в этот день бросить хоть взгляд на божество, можно рассчитывать на милость бога.

Калу перелистывал страницы и вспоминал некоторых других посетителей. Вот этот, например, человек с удивительно близко поставленными глазами. Он не хотел открыть своего желания. Божество знает все, сказал он. Калу был уверен, что это вор-взломщик. Он молился о богатом ночном улове и хотел привлечь божество в качестве надежного соучастника!.. А это крупный государственный чиновник, прекрасно вы-

бритый, в хорошем английском костюме, который жаждал дальнейшего повышения по службе. Он должен был выйти в отставку через два года, а на беду в течение этого времени никаких вакансий в высших чиновных кругах не предвиделось. Он не объяснил, каким образом бог может ему помочь, — разве только послав смерть тому, кто стоит на его пути...

Но записи в книжке вызывали к жизни и вереницу других образов. Встревоженная мать, молившаяся о том, чтобы сын выдержал экзамен, — это была его четвертая попытка. Убитая горем женщина, которая просила божество вернуть здоровье ее мужу, больному туберкулезом.

Загадочная отметка красными чернилами у записи, гласившей: «Ратандас из деревни Шрипур, сын Рамдаса, внук Говиндадаса». Калу часто с тяжелым тревожным чувством думал об этом человеке. Это был крестьянин из отдаленного района Бенгалии. Когда голод стал непереносим, он с семьей — с женой, дочерью и двумя сыновьями — тронулся пешком в столицу. Младший сын скоро умер, а отец однажды, прося милостыню, заблудился и потерял своих. Он разыскивал их без устали. Он исходил город во всех направлениях — от Багх-базара до Белигунга, от Силдаха до Хауры, — но так и не нашел их. Пусть бог вернет ему хоть кого-нибудь — сына, дочь или их мать! Только одного из всех. Он не смеет просить о большем. Пусть бог сжалится над стариком, чьи дни уже сочтены. Смиренно, опустив глаза, он протянул руку — на ладони его лежало пять медных монет. Калу на мгновение отвернулся, потом, справившись со своим волнением, сказал:

— Брат, я сделаю подношение за тебя. Оставь себе эту мелочь.

Крестьянин, склонившись, коснулся ног брахмана и сказал:

— Не отказывайте мне, господин! Эти пять пайс — все, что мне удалось скопить. На них можно купить не больше полстакана молока, но если я не пожертвую, что могу, мне не заслужить милости у бога.

И Калу с тяжелым сердцем взял деньги. Как объяснить Ратандасу, что божество в храме не настоящее, а фальшивое и приношения ему — лишь пустая трата денег? Эти пять медных пайс — кровь сердца несчастного голодающего — во много раз перевесили многие тысячи рупий, пожертвованные набожными богачами. Надувать других — это значило выполнять свой обет мести, но обмануть этого обездоленного было все равно, что обмануть свою плоть и кровь.

Калу решил купить три ведра молока для свершения обряда, добавив недостающую сумму из собственных денег. Это немного успокоит его совесть.

...Праздник был в полном разгаре. У ворот по обе стороны дороги выросли маленькие палатки, где торговали различной мелочью, предназначенной в дар божеству: фруктами, маленькими глиняными светильниками, священными листьями бэла, подкрашенными киноварью. Гончары сидели с корзинами, полными глиняных изделий, кукол, фигурок животных и птиц, выкрашенных в яркие, веселые цвета. Цветочница бойко торговала цветами для приношений. И порой молодые девушки, не устояв против соблазна, покупали белый венок, чтобы украсить свои волосы.

Бывало раньше в праздничные дни, наблюдая из павильона за всем, что делалось вокруг, Калу с трудом подавлял желание закричать, издать боевой крик. Казалось, это у его ног были зажжены священные светильники и перед ним курился ладан. Ведь храм-то был не настоящим. Забавляясь, он сотворил легенду. Во всем этом только и было неподдельного, что он сам.

Так ли?

Гордость, упоение собственным величием заглушали этот тревожный вопрос.

Но разве тот голодающий с его пятью медными пайсами не принадлежал к толпе верующих? Не являлся составной частью этой толпы как единого целого? Ведь простых людей в ней было в сто раз больше, нежели богачей, которые обменивали свой товар на милость божью и, считая, что милость божья обходится им дешево, радовались удачной сделке.

И это все тоже было неподдельным, более неподдельным, чем он.

Рабочие джутовых и текстильных фабрик и их жены с младенцами на руках, покупающие фрукты, цветы, светильники. Рикши, неизбежным уделом которых после нескольких лет труда был туберкулез, отдающие свой недельный заработок. Слепые нищие и калеки на костылях. Уличные девки, прячущие свои размалеванные лица, — никому деньги не доставались так тяжко, как им. Все категории угнетенных и обездоленных были представлены среди верующих. Только неприкасаемые не смели подходить близко к храму. Ведь они ничтожнее самых ничтожных. Такие люди, как та старуха, которая, позабыв собственный голод, отдала Чандре Лекхе драгоценные бобы, должны были стоять в стороне и поклонятся святыне издали...

Спор из-за молока, отданного голодным детям, вот-вот должен был разгореться! К воротам храма подъехали три машины, из них вышло человек десять, — они стояли и разговаривали между собой. И среди них были те, о ком Калу только что думал: два торговца золотом — один высокий и толстый, другой маленький и щуплый; человек с близко посаженными глазами, похожий на вора-взломщика; элегантный чиновник; управляющий гостиницей в большом тюрбане. Остальных Калу не мог вспомнить, даже если и видел их раньше.

Они посылали за пуджари и совещались с ним, о чем Калу было известно: пуджари этого не скрывал. Ему, видимо, очень хотелось стать свидетелем поражения своего господина! От жертвователей молока ничего не укрылось, сказал он Калу. Они беседовали с попечителями, с самим господином Абалабандху и были настроены совсем не добродушно!

— Эти два дня детям посчастливилось, — сказал он. — С завтрашнего дня бедным голодающим малюткам снова придется... — Он покачал головой и прищелкнул языком с показным сочувствием и грустью.

— Вот как! Неужели? — произнес Калу. В горле у него пересохло.

— Сегодня вечером молока будет на два ведра больше — от «Савоя». Самого владельца нет в городе, но управляющий послал ему телеграмму и получил инструкции. Они будут настаивать на выполнении всех условий.

— Вот как?

А сейчас пуджари приветствовал посетителей и повел их в святилище. Каждый из них дважды ударил в бронзовый колокол, висящий у входа в храм, — этот низкий звон проникнет в душу и развеет семь покровов внутренней тьмы. И тогда посетители будут готовы к борьбе за то, чтобы отнять молоко у голодных детишек.

Но они встретят достойного противника. Калу решительно сжал кулаки. Ни одна капля молока, использованного для омовения Шивы, не будет бесполезно выплеснута в реку.

Не прошло и минуты, как знатные посетители, проталкиваясь сквозь толпу, приблизились к подножью павильона. Калу встретил их дружеским приветствием и, после того как они сняли туфли, повел их вверх по мраморным ступеням.

— Сегодня большое оживление в храме, — сказал он, когда посетители удобно уселись на устланном коврами полу, прислонившись к большим круглым валикам.

— Нет более священного дня в году, чем Шиваратри, — заметил тот, которого Калу мысленно называл взломщиком.

— Вы еще не заходили в святилище?

Калу заметил, что на лбах пришедших не было следов священной смеси масла и киновари с чела Шивы.

«Взломщик» сразу приступил к делу:

— Нужно ли говорить о том, что привело нас сюда?

Калу притворился изумленным.

— Разве стремление созерцать божество не является достаточной причиной?

— Да, да, — торопливо согласился собеседник. — Но нас, кроме того, беспокоит один вопрос: молоко для омовения бога.

— Успокойте ваши души, — сказал Калу. — Вы не знаете правды.

— Как? То, что нам сообщили, ложь?

Все глаза обратились к пуджари, который воскликнул, заикаясь:

— Этого не может быть! Разве Висванатх передумал и вылил молоко в реку? Но даже если так, все равно без должного обряда это не имеет никакой цены.

— Сообщение само по себе правильное, — объяснил Калу, — но суть его неправильно истолкована.

— Какая суть?

— Молоко не тратится зря. Оно полностью служит той цели, которой предназначено.

Один из торговцев золотом, толстяк, вмешался в разговор:

— Давайте выясним этот вопрос. Наша Мать — река Ганг получает молоко после омовения или нет?

— Его получают дети Матери.

— Дети Матери?

— Наша земля — Бенгалия создана Матерью Гангом. Миллионы и миллионы лет река несла в своих могучих водах ил, который оседал в том месте, где Ганг вливался в море. Так возникла новая земля — Бенгалия. Создав землю, река обильно поливает ее, чтобы поля давали богатые урожаи. Эти урожаи — жизнь нашего народа. Что ж удивительного в том, что река зовется Матерью, что ее любят и почитают? Без нее не было бы Сонар Бангла, «Золотого края» из старинной народной поэмы.

— Вот потому мы и обеспокоены. У Матери отняли...

— Подождите. Разве ваша мать ест, когда вы голодны? Разве для Ганга не оскорбление, если молоко выливают в воды реки в то время, когда на берегах ее дети медленно умирают от голода?

— Пути богов — не пути смертных.

— Мы поклоняемся богам в образе смертных, иначе зачем бы мы стали приносить им в дар молоко? А если так, значит мы должны наделять их и лучшими человеческими чувствами. Мы должны видеть в Ганге настоящую любящую мать.

— Какие нелепые слова! Десятки тысяч умерли от голода. Какая разница, если умрет на несколько человек больше или меньше? Речь идет о чем-то гораздо большем, чем эти бесполезные жизни.

Тут заговорил управляющий гостиницей.

— Меня интересует сегодняшнее омовение. Что было, то было. Но я требую, чтобы завтра на заре молоко, присланное нами, было после свершения обряда вылито в реку.

— И я тоже требую этого.

— И я.

— И я. Я требую, чтобы соглашение соблюдалось полностью.

— Соглашение? — Калу приподнял свои густые брови.

— Да! Обряд омовения не закончен, если молоко не выливают в реку.

— Это я дал вам такое разъяснение?

— Не совсем. Но кто бы мог подумать, что верховный священнослужитель храма нарушит порядок, который он сам установил?

Тощий торговец золотом сказал:

— Неужели вы не понимаете? В молоке, которое мы приносим в дар, заключена наша сокровенная молитва, идущая из глубины души.

— Сокровенная молитва, — подчеркнул его собрат по профессии. — Для нас очень важно, чтобы она исполнилась.

С внезапным подозрением они повернулись и пристально посмотрели друг на друга.

— Мой позавчерашний дар получился неполноценным, но через месяц я снова сделаю приношение. И я требую, чтобы в следующий раз не было никаких отступлений и обряд был соблюден полностью.

— Это и мои слова! — закричал тощий. — Кроме того, я готов сдобрить молоко пряностями и сахаром.

— А я разве настолько обнищал, что не в состоянии прибавить к молоку пряности и сахар, если это дозволяется? — отпарировал толстяк. С усиливающейся подозрительностью они сверлили друг друга глазами.

Калу уловил недоброе чувство, возникшее между этими двумя людьми, и подумал: как же поступить богу, если двое верующих, принеся одинаковые дары, молят его о прямо противоположных вещах? Чья молитва будет услышана божеством?

— И у вас есть своя сокровенная молитва? — неожиданно обратился он к «взломщику».

— У меня? А чем же я хуже других?

Калу взглянул на высокого чиновника.

— Верно, ваш начальник чересчур здоров и крепок.

— Что вы хотите этим сказать?

Калу отвернулся. Несколько минут он напряженно думал, нахмурив брови, потом заговорил:

— Итак, господа, никого из вас не трогает, что дети будут лишены молока?

— Не думайте, что мы бессердечны! Мы тоже кормим бедняков.

— Только в прошлом месяце на похоронах моего отца я накормил целую тысячу нищих — слепых, калек...

— Моя жена устроила благотворительный концерт в пользу губернаторского фонда помощи голодающим. Она лично ездила распространять билеты стоимостью по десять рупий. Его превосходительство даже поздравил ее с успехом в прошлый понедельник, когда мы были на обеде в губернаторской резиденции.

— Но ведь надо же воздавать должное богам. Странно, что нам приходится говорить об этом верховному священнослужителю!

Калу почти не слушал их. Он все еще раздумывал. Вдруг его осенила мысль:

— Это ваше последнее слово, господа? — спросил он после некоторого молчания.

— Можете в этом не сомневаться.

— Вы считаете, что я нарушил условие?

— Ну да, так получается.

— Тогда я предлагаю вот что. Я верну вам стоимость присланного вами молока. А на будущее время вычеркну все ваши имена из списка и составлю новый, на моих условиях. Вот старый список.

— Очень странное предложение,— раздались протестующие голоса.

— Странное или нет, но именно так я и сделаю. Давайте начнем с тех, кто сейчас украшает своим присутствием павильон Лотоса. Кто желает, чтобы его имя было вычеркнуто. И кто хочет жертвовать молоко на моих условиях?

Последовало долгое неловкое молчание.

Калу обратился к двум торговцам золотом:

— Вам обоим нанесен ущерб. Примите деньгами стоимость присланного вами молока. А ваше обязательство, данное на следующий месяц, отменим. Согласны? — Он переводил глаза с одного на другого.

Помрачнев, они продолжали хранить молчание, но посматривали друг на друга беспокойным, испытующим взглядом. Калу поймал этот взгляд и понял его значение. Пусть золото поднимается в цене все выше и выше... Пусть золото падает в цене все ниже и ниже...

— Так я вычеркиваю ваше имя.— Калу ткнул карандашом в сторону одного из них.

— Подождите.

— Я вычеркиваю ваше. — Калу ткнул карандашом в сторону другого.

— Подождите, подождите!

— Чего же ждать? Дело простое. Вам мало того, что омовение божества совершается молоком, присланным вами в дар. Вы считаете, что не получаете своих шестнадцати ан за серебряную рупию. Но многие думают иначе и стремятся попасть в мой список. Нет числа желаниям в сердцах людей, и всякий рад, если хоть некоторые его мольбы будут услышаны богами. А раз вам это не нравится, вы просто можете отказаться от приношения. Решайте же.

— Оставьте меня в списке.

— Меня тоже.

Калу неудержимо захотелось смеяться, но усилием воли он сдержался.

— А вы что скажете?.. Вы? — Калу поочередно обвел всех взглядом.

— Оставьте нас в списке.

Калу задумчиво постучал карандашом по книжке. Он открыл для себя новый источник власти: столкновение интересов великих мира сего, их соперничество, взаимная ненависть. Калу повернулся к пуджари и сказал:

— Ты слышал, пуджари? Эти уважаемые господа желают, чтобы молоко после омовения Шивы отдавали детям. Они полагают, что Мать Рек не будет обижена, если не получит молока. Что ты на это скажешь?

Пуджари нечего было сказать. Он заморгал глазами, и борода его слегка затряслась от волнения.

В минуту победы Калу умел быть великодушным.

— Господа, вам пора взглянуть на божество и снова ударить в колокол, чтобы развеять семь покровов внутренней тьмы. — Он широко улыбнулся, полунасмешливо, полууспокаивающе.— Пойдем в святилище!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Вы победили жертвователей молока, оставили их в дураках, но теперь вам придется иметь дело с попечителями храма. — Мотичанд облокотился на письменный стол, крытый зеленым сукном, и с одобрительной усмешкой взглянул на посетителя. — А попечители — люди упрямые и умеющие гнуть свою линию, — добавил он медленно.

Калу почесал затылок и заерзал на месте. Он привык сидеть не в мягком кресле, а на полу, застланном тростниковой цыновкой или ковром. А к тому же кресло было вращающееся, и усидеть в нем было трудно. Калу вцепился в стол, стремясь сохранить неподвижность и достоинство.

— Они недовольны? — спросил он, заранее зная ответ.

— Что касается меня, то я хочу лишь одного, чтобы мы не утратили доверия. Ведь мы всего лишь слуги народа и выполняем его волю.

— Разве голодающие — не народ?

— Пожалуйста, не думайте, что я не люблю голодающих. Если хотите знать правду, я даже плакал из-за них. Да, да, я действительно проливал слезы. — Мотичанд полузакрыл глаза, как бы растроганный воспоминанием об этих слезах.

— Месяц назад, в день солнечного затмения, пятьсот человек, не считая детей, сидели в моем саду около теннисной площадки, и перед каждым была тарелка, полная рису, чечевицы и овощей. Я хотел было добавить очищенного масла, но потом передумал, боясь, что это может плохо подействовать на желудок голодающих. Они наелись до отрыжки и ушли довольные, моля богов даровать мне долгую жизнь и процветание.

Его худое лицо сияло от умиления, а глаза были устремлены на картину, висящую на стене.

— Кто может отрицать тебя? — сказал он, кивнув картине.

Калу воспользовался случаем и повернулся в кресле к картине лицом. Он уже видел ее однажды при прошлом посещении этого кабинета, месяц назад. Тогда ее только что повесили. Это был рисунок красным и синим карандашом, вставленный в тяжелую позолоченную деревянную раму, в два раза большую, чем он сам. Внизу была подпись: «Мое сокровенное Я».

Как и в тот раз, он с изумлением поглядел на картину и растерянно улыбнулся. «Мое сокровенное Я», — повторил он про себя и снова улыбнулся, собирая морщинки вокруг глаз. В странной путанице линий он мог разобрать лишь некое подобие красного слона, нарисованного вверх ногами, а под ним трех маленьких поросят со страшными глазами.

Мотичанд рассказывал Калу, как случилось, что он создал эту картину. Однажды он почувствовал неудержимое желание рисовать. Красным и синим карандашами он начал проводить линии, прямые, кривые. Он работал, как одержимый. Эта была его первая попытка выразить себя в искусстве. Он испытывал потребность в этом, ему необходимо было облечь свой дух в видимые формы. Это лучший путь к самопознанию. Разве не создали мы себе бога, повинуясь такой же потребности?

— Откуда же берется эта потребность? — спросил Калу.

Мотичанд покачал головой. Еще не пришло время раскрыть себя всего.

— Должно быть, вам так же захотелось нарисовать картину, как в свое время писать стихи? — Калу перевел глаза на другую стену, где висел кусок шелка, на котором было вышито четверостишие. Он знал его историю.

— Ха-ха! — Мотичанд уклончиво рассмеялся. Он не был расположен к излишней откровенности. — Возвращаясь к нашему разговору, я хочу сказать, что мои нравственные принципы требуют, чтобы даже моя левая рука не знала, сколько правая дает на благотворительные дела. — Он остановился, опустил голову и стал что-то задумчиво писать в блокноте.

— Попечители увидят, что ничего вредного не сделано, — сказал Калу.

Мотичанд, углубясь в свои мысли, молчал.

Калу тоже молчал, видя, что настроение его собеседника изменилось, но через минуту стал откашливаться, готовясь заговорить. Мотичанд предупредил его:

— Скажите, — сказал он, — что с вашей дочерью?

— С Лекхой? — удивился Калу.

— Она выглядит больной. Разве вы не заметили, как она бледна?

— Больна? Чандра Лекха?

— Возможно, у нее ничего серьезного нет, ей просто нужно что-нибудь укрепляющее. Но не мешало бы проверить, спокойствия ради.

Калу сделалось страшно. Что если Лекха заболела? Когда-то в детстве она болела брюшным тифом — и на много дней для него померк белый свет. Лекха никогда не была крепкой.

— Пусть доктор Стивенс осмотрит ее. Он личный врач губернатора.

Губернаторский доктор? Англичанин? Калу ошеломило это предложение. Он на миг забыл о своей новой роли.

— Я позвоню ему. Вы не возражаете?

«Она в самом деле осунулась», — думал Калу. Часто она сидит на полу, вся поникшая, словно обессиленная. Чандра Лекха — ведь это все, что у него есть на свете.

— Вы не возражаете?

— Такой большой человек... Захочет ли он прийти в мой скромный дом?

Мотичанд рассмеялся.

— Вот что. Я зайду к вам сегодня вечером. Мы посмотрим, как выглядит Чандра Лекха, спросим ее, как она себя чувствует, и тогда решим, приглашать ли английского врача. — Зазвонил телефон. Прежде чем снять трубку, Мотичанд добавил: — А вопрос о молоке пусть вас не беспокоит. Вашу точку зрения я изложу попечителям в выгодном для вас свете.

* * *

Калу знал, что четверостишие, вышитое на шелку, имело какое-то отношение к одной из жен Мотичанда. Жены Мотичанда были предметом постоянных толков в городе. Люди не понимали, почему, по каким глубоким соображениям Мотичанд должен был жениться четыре раза. Они не знали, что его нравственные принципы не допускали многоженства, ему нельзя было иметь одновременно больше одной жены. И вследствие этих строгих нравственных принципов Мотичанд был обречен стать единственным человеком во всей Бенгалии, имеющим четырех живых и здравствующих жен. Причем он, казалось, даже не подозревал, что другие считали его поведение нелепым.

Первый раз Мотичанд женился еще в юности. Жена была на пять лет моложе его, она мужественно поддерживала его, когда он упорной борьбой добивался положения и богатства. Мотичанд служил тогда клерком у биржевого маклера. Он вел крупную биржевую игру на деньги своих клиентов, а в двадцать пять лет объявил себя банкротом. Долги его были аннулированы. Он оказался свободным от всяких обязательств, хотя на самом деле имел тайные сбережения. В течение последующих десяти лет он то взлетал вверх, то падал вниз. Жена его спокойно принимала все повороты судьбы. Лишь с одной бедой она не могла примириться. Она была бездетна. Молитвы и приношения, чары, заклинания — ничто не помогало. Она оставалась бесплодной. Такова была ее судьба, ее карма. Быть может, в одной из прошлых жизней она причинила зло беременной женщине и теперь вкушала горький плод расплаты.

Как спасти древний род от вымирания? Она не переставала сокрушаться, и Мотичанд разделял ее заботу. Его родословная уходила вглубь веков, к дням царствования махарани Падмини из Мевара. Слух о небесной красе махарани разнесся по всему свету и навлек на королевство нашествие свирепых патанов. Когда после долгой и отчаянной обороны осажденная крепость пала, махарани Падмини и ее пятьсот молодых подруг бросились в горящий костер, чтобы не попасть в руки вра-

гу. Среди них была и прародительница Мотичанда Джасода, равная по красоте самой махарани.

У Мотичанда не было близких родственников. Он являлся единственным отпрыском фамильного древа. Если у него не будет сына, тысячелетний род угаснет.

Было ли то случайностью, что жена Мотичанда носила имя его древней прародительницы Джасоды, ставшей благодаря акту величайшего самопожертвования одной из самых ярких звезд на небе? Джасода, достойная своего имени, поднялась до благородного решения. Существовал лишь один выход: вторая жена. И Джасода со слезами на глазах умоляла мужа взять вторую жену, чтобы освободить ее от ига бесплодия. Ибо сын, рожденный другой женщиной, будет рожден ее, Джасоды, душой, и, таким образом, и ее бесплодное чрево как бы изведает радость материнства.

— Нет! Нет! — Мотичанд покачал головой и неодобрительно покрутил усы, но глаза его забегали. — Разве это возможно?

Джасода, должно быть, почувствовала удар в сердце, увидев его готовность, но дело еще не было сделано: согласно требованиям приличия, Мотичанда надо было еще убеждать.

— Послушай моего совета, — уговаривала она, держа мужа за руку.

Такова была, во всяком случае, версия, передаваемая шепотом из уст в уста. Основные факты не являлись тайной, а детали дополняло воображение.

Точно так же и нравственные принципы Мотичанда не составляли секрета для разносчиков сплетен. Эти принципы удерживали его от прегрешений, обычных для простого смертного. Они не позволяли ему даже иметь двух жен, вот в чем была вся беда. А в те времена у индусов развод не допускался.

На помощь Мотичанду пришла его сообразительность. Почему он должен быть скован устаревшими брачными законами при решении столь важного вопроса? Он будет сам себе судьей и разберет это дело в закрытом судебном заседании.

Джасода получит в собственность дом в ее родной отдаленной деревне и такое содержание, которое позволит ей до конца жизни не знать забот. Таков был приговор. Мотичанд должен был проявить великодушие к своей первой жене, которая в силу его нравственных принципов и приверженности к моногамии не могла больше оставаться его женой. Любители сплетен зубоскалили по поводу столь беспрецедентной судебной процедуры и строили догадки о чувствах Джасоды.

Таким образом в жизнь Мотичанда вошла вторая женщина. На третьем году супружества родился ребенок. Множилось богатство Мотичанда, и появление сына и наследника было радостью. Но в жизни радость редко приходит без примеси горечи. Мать его сына была женщиной болезненной и после рождения ребенка слегла. Вскоре обнаружилось, что она больна туберкулезом.

Мотичанд пришел в ужас. Ведь жизнь ребенка драгоценна! Также и его собственная жизнь. Кто будет поддерживать семью, если он, Мотичанд, заразится страшной болезнью и превратится в инвалида? Его нравственные принципы вновь продиктовали ему решение, столь же быстрое и беспощадное, как и первое. Он провел еще одно закрытое судебное заседание и отправил жену к ее родителям, положив ей приличную сумму на ежемесячные расходы.

Мотичанд опять был свободен и мог жениться, не нарушая принципа единобрачия.

Восемь лет прожил он с новой женой, в семье его появились второй сын и дочь. Мотичанд теперь считался одним из самых богатых лю-

дей в городе. Все шло хорошо, пока он не увидел молоденькую дочь своего старшего клерка Тхакурдаса. Произошло это во время праздника Дивали * на вечере, устроенном Мотичандом для служащих в знак особого к ним расположения. Он увидел девушку, когда она вместе с другими женщинами проходила во внутренние покои.

Мотичанд онемел от восторга и долго еще не мог произнести ни слова, даже когда она исчезла из виду.

На следующий день в конторе ему неудержимо захотелось сложить стихи в честь красавицы. Он не обладал привычкой к литературному труду, но все же сочинил четверостишие. Это и был шедевр, висевший в рамке на стене.

Тхакурдас чуть не подавился, когда хозяин открыл ему свои планы. От радости он потерял голос. Мотичанд предложил ему пост управляющего, и можно было надеяться, что для сыновей тестя тоже найдутся хорошие местечки.

Третья жена Мотичанда устроила дикую сцену: ее истерические вопли всполошили всю округу. Но Мотичанд был тверд, как скала. Когда же женщина перестала сопротивляться и попросила разрешения остаться в доме хотя бы в качестве прислужницы новой жены, нравственные принципы Мотичанда снова пошли в ход. Он размахивал ими, как острым мечом. Он не может иметь двух жен! Единобрачие — правило его жизни.

— Разве я когда-либо отклонялся от стези добродетели? — спросил он назойливую женщину. — Тебе не на что жаловаться. Я куплю тебе дом, какой приличествует твоему высокому положению: если тебе нужна духовная пища — в Бенаресе, если тебе хочется дышать горным воздухом — в Дарджилинге. Тебя ведь не выбрасывают на улицу! — Он помолчал минуту, дивясь полному отсутствию здравого смысла у этой женщины.— После стольких лет супружеской жизни, — продолжал он, резко повышая голос, — не разумно ли было бы посвятить себя молитвам и повторять имя бога сто восемь раз в день, перебирая четки? Не пора ли отрешиться от всего низменного и личного во имя более высоких стремлений?

Упрямая женщина ничего не могла возразить на его слова, проникнутые железной логикой.

Радха, дочь клерка, ныне четвертая жена Мотичанда, оказалась совсем непохожей на его прежних жен. Довольно полная, она выглядела старше своих шестнадцати лет. Мотичанду было уже под сорок. Молодая жена умела заставить свою «старую швабру» — так с игривой фамильярностью называла она мужа — делать все, что ей заблагорассудится. Она хвасталась, что может из него веревки вить.

Любовная лихорадка Мотичанда, должно быть, быстро прошла, но выйти из подчинения Радхи ему не удавалось. Он никогда не мог взять над ней верх. Он боялся приступов ее гнева и, быть может, удивлялся, как такая миловидность — с годами Радха еще более пополнела, приобрела гордую осанку откормленного лебедя — могла сочетаться с такими вспышками дикой ярости. Весьма вероятно, что он с тоской вспоминал годы, прожитые с другими женами, когда он был настоящим хозяином у себя в доме. Друзья и даже слуги считали его тюфяком.

Но с недавних пор Радха ударилась в религию и в ней произошла неожиданная перемена. Страстью ее стали йоги и нищие. Мотичанд сам не знал, как это случилось. Что-то таившееся в ее душе внезапно нашло выход в страстной вере. С годами ее интерес к религии рос, и теперь Радха уже ничем не напоминала ту женщину, одержимую приступами бурной ярости, какой она была в прошлом.

---

* Праздник Дивали — праздник света, который отмечается весной.

После одиннадцати лет угнетения Мотичанд наконец обрел свободу. Не то чтобы он вовсе вышел из-под власти Радхи. Но ее неумолимая воля перестала быть активной, хоть и теперь это была скала, а не глина.

Таково было положение вещей, когда Мотичанд почувствовал неудержимое желание создать картину. Но картина не получилась такой же приятной, как стихотворение. Не один только Калу видел на ней красного слона, лежащего вверх ногами на поросятах со страшными глазками. Мотичанд назвал ее «Мое сокровенное Я». Что это значит? В чем тут соль? Никто не мог ответить на это, кроме самого Мотичанда.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Однажды Висванатх возвратился домой, выполнив необычное поручение. Он побывал в тюрьме, проехав для этого поездом пятьдесят миль.

Да, главный смотритель дал ему сведения о Б-3. Б-3 не заслужил сокращения срока ни на один день. Совершенно испорченный субъект. Да и никто из узников за последние несколько месяцев не заработал себе сокращения срока. Камеры битком набиты участниками движения «Вон из Индии!»: их перевели из Центральной тюрьмы в Калькутте. Эти свиньи сделали себе дурацкий красный флаг и с его помощью хотели напугать и обратить в бегство британского льва. Они произносили безумные речи, и вся тюрьма, развесив уши, слушала их и заражалась их безумием. «Вон из Индии!» Нечего сказать! Жаль, что в тюрьме нет такой машинки, чтобы заклепать им рот или, наоборот, держать его все время раскрытым, как на приеме у зубного врача.

Калу напряженно слушал рассказ Висванатха

— Ты оставил ему записку?

— Через две недели, в день, когда его выпустят, у ворот тюрьмы его будет ждать друг. Пусть ищет этого друга, когда выйдет из ворот. Так я написал.

— А ему передадут записку?

— Думаю, что передадут. Я оставил десять рупий на столе как бы невзначай. Главный смотритель Гангу Сингх подмигнул мне на прощание и сказал: «Скажи жене этого Б-3, чтобы подготовилась хорошенько к...»

— Что?

— А ничего. Просто сказал гадость.

— У Б-3 нет жены.

Висванатх пытливо взглянул в лицо своего господина.

— Его выпустят через две недели. Вы мне опишите подробно, каков он собой, чтобы я мог узнать его, когда он выйдет...

Калу с минуту подумал.

— Я сам поеду.

Висванатх посмотрел на него с удивлением, и Калу добавил:

— Как ты не понимаешь! Он призывал голодающих войти в лавку и взять еду — вот и все, в чем он повинен. И за это его целый год держали за решеткой.

Спустя три дня Калу с озабоченным видом снова обратился к садовнику:

— Послушай! Я опишу тебе наружность Б-3. Он выше меня ростом, но худой, а кожа у него светлая...

Висванатх высаживал рассаду на грядки.

— Раз вы сами поедете, зачем вам утруждать себя и рассказывать мне все это?

— Лучше, чтоб поехал ты,— прервал его Калу.

— Разве?— Висванатх пристально посмотрел на него.

Калу отвернулся от этого пытливого взгляда и наклонился над розовым бутоном, нежно касаясь его пальцами. С минуту оба молчали. Затем Калу выпрямился и сказал, нахмурившись.

— Неудобно, чтобы меня видели в обществе человека, только что выпущенного из тюрьмы... Люди узнают об этом, и пойдут разговоры.

Висванатх кивнул головой:

— Возможно.

— Уж и так довольно было неприятностей.

— Это верно.

На том и порешили.

Как-то Чандра Лекха спросила:

— Б-3 знает только один этот волшебный фокус? Фокус с Шивой?

Калу не понравился ее тон, насмешливый, пожалуй даже презрительный.

— Когда его выпустят из тюрьмы, он может потребовать свою долю доходов с храма,— сказала она.— Ведь это в конце концов его выдумка.

Эта мысль, видимо, засела у Чандры Лекхи в мозгу, и, как только Калу сказал ей о своем решении насчет Б-3, она быстро спросила:

— Ты дашь ему священный шнур и сделаешь его брахманом?

Уязвленный ее вопросом, Калу хмуро молчал, а девушка, как бы не замечая его неудовольствия, продолжала:

— Что если он выдаст нашу тайну?

Калу рассердился. Голос его прозвучал жестко.

— Я знаю Б-3 и доверяю ему.

— Доверяешь, отец? Ведь ты был знаком с ним всего каких-нибудь два месяца.

— Два месяца в тюрьме.— Калу сделал ударение на слове «тюрьма».

— Ты даже не знаешь его настоящего имени.

Калу смутился.

— Я раз спросил, как его зовут, а он ответил: «Разве у кого-либо из нас есть не только номер, но и имя?»

Эти слова, видимо, произвели впечатление на Лекху. Калу ободрился и продолжал:

— Как-то я спросил его, из какой он касты. «Я из касты каторжников»,— ответил он.

— Так и сказал?

Строптивое выражение исчезло с ее лица, и обычная тень грусти вновь окутала его.

— Мне бы хотелось одного, — просительно произнесла Чандра Лекха.

Калу напряженно ждал. Как давно она не выражала никаких желаний.

— Отец, можно мне взглянуть на тюрьму? Я встану у ворот и буду смотреть. Как раз удобный случай: можно поехать с дядюшкой Висванатхом. Ты мне позволишь?

— Зачем тебе это?

— Просто хочется увидеть тюрьму.

— Скажи мне правду.

— Ведь и я могла очутиться там. Разве я тебе не рассказывала, как хотела украсть тыкву? Если бы старуха пожаловалась...

— Лекха, это была жалкая, беспомощная женщина, неприкасаемая. Разве она посмела бы пойти в полицию?

— Если ты крадешь какие-нибудь крохи от изобилия богачей, может быть, даже то, что им совсем не нужно, тебя сажают в тюрьму. Только бедняки помогают беднякам в беде. Но, все равно, суть дела не меняется: я была воровкой.

— Чандра Лекха, как я хочу, чтобы ты забыла эти страшные дни.

— Я стараюсь, отец, стараюсь изо всех сил, но не могу.

Калу молча опустил голову, не зная, как помочь дочери.

Лекха продолжала:

— Это одна из причин, почему наша новая жизнь кажется мне чем-то ненастоящим. Этот дом. Храм.— Она сделала своей тонкой рукой широкое движение. — И даже сам Великий город. Вот тюрьма — это настоящее.

Калу не мог выдержать больше.

— Чандра Лекха!— с горечью воскликнул он.

— Забудь мои слова, отец. Я такая глупая. Зачем мне, в самом деле, видеть тюрьму?

На этом разговор закончился, но он остался в памяти Калу, как загадка, которую надо отгадать.

Дом, храм и даже сам Великий город—все ненастоящее! Но ведь это тигель, в котором переплавлялась жизнь его и Лекхи, принимая новые, четкие формы. Мучиться сознанием вины, не являющейся виной!

«Если бы только Чандра Лекха согласилась показаться врачу»,— вздохнул Калу. Но она отказалась наотрез. Она не больна, сказала она. Не больна? Но разве не хуже болезни постоянное печальное раздумье, мучительное раздумье, удерживающее Лекху во власти тяжелого прошлого?

Мысли Калу часто занимал вопрос о замужестве Лекхи. Если бы ее мать была жива, она не допустила бы, чтобы девушка так долго не выходила замуж, ведь Чандре Лекхе почти восемнадцать лет! Если бы ей надо было заботиться о муже, а там и о детях, Чандра Лекха легче приспособилась бы к жизни. Только это сняло бы с нее тяжелое бремя печали. Но жених должен быть брахманом, никак не иначе.

Найти подходящего юношу брахмана нетрудно. Один из пяти священнослужителей, нанятых читать молитвы из «Шивы Санхита», случайно оказался профессиональным устроителем браков, и он сказал:

— Такая красавица, как ваша дочь, должна украсить одну из наших лучших семей. Я приду к вам с несколькими предложениями, чтобы вы могли их обдумать и взвесить.

— Выбор будет очень нелегкий,— подчеркнул Калу.— Юноша, во всех отношениях достойный стать рядом с моей дочерью, может встретиться один на десять тысяч.

Чандра Лекха должна трезво смотреть на вещи. Она видела, как ее отец сломал кастовые барьеры, разоблачил их фальшь — и гром не разразился ни над его головой, ни над головой его дочери. Она должна смело занять свое место жены Дважды Рожденного, что в действительности значит так мало!

Какой может быть другой выход? Отказаться от храма и вернуться к старой борьбе? Выйти замуж за камара из сельской глуши и разделить его тусклую жизнь?

Не может быть, чтобы она забыла испытания, через которые прошла. Не только голод. Когда Чандра Лекха получила медаль, никто в Джарне даже не поздравил ее, потому что Лекха была дочерью кузнеца. Вот если бы медаль присудили дочери судьи, как бы все ликовали и превозносили ее! А так они не только не гордились, они стыдились того, что медаль завоевала дочь камара!

Если после недолгого благоденствия Чандре Лекхе снова придется вернуться к нужде, как сможет она примириться с такой жизнью? Калу покачал головой. Нет, этого не должно быть. Лекха вместе с ним сидит верхом на тигре, и они должны мчаться все вперед и вперед...

Затем его мысли приняли другое направление. Почему бы им с Лек-

хой не поехать к тюрьме вдвоем? Они поедут по железной дороге со всеми удобствами; путешествие, правда, не продолжительное, а все же это будет что-то новое, увлекательное для нее. А как удивится Б-3!

Да, это отличная мысль. Калу обдумал свой план. Когда он рассказал о нем Висванатху, тихий старик повторил с грустью слова, однажды уже сказанные им:

— До тех пор пока существуют такие брахманы, как вы, люди не утратят веру в справедливость нынешнего общественного порядка.

В назначенный день Калу с дочерью сели в экипаж и отправились в путь. Когда они приехали на станцию и заняли свои места в вагоне поезда, идущего на восток, Лекха в изумлении стала осматриваться. Широкие мягкие сиденья с зелеными подушками, стены, окрашенные тоже в зеленый цвет, зеркало, потолок белый, как внутренность раковины, с электрическим вентилятором. Умывальная, сверкающая никелем, душ и многое другое.

— Это первый класс,— как бы вскользь заметил Калу с плохо скрытым торжеством, наблюдая за выражением лица Лекхи.

Однажды он уже путешествовал первым классом, но только тогда он стоял на подножке желтого вагона, цепляясь за поручни, полумертвый от голода и усталости.

Перед отправлением поезда Калу выглянул в окно и крикнул разносчику фруктов: «Связку бананов, самых спелых, золотистых!»

— Бананы!— Лекха сделала гримаску, взглянув на его покупку.— Мы ведь не любим бананов. Зачем они тебе?

— Они хорошо выглядят на столе,— сказал Калу. Взгляд его, прикованный к золотистым плодам, стал жестким.

Он откинулся в кресле, наслаждаясь ощущением покоя, отдыха. Его рука ласково поглаживала зеленую обивку. Потом он снова выпрямился и включил вентилятор. Два других пассажира, сидевшие против него, уткнув нос в газету, недовольно поморщились, почувствовав прикосновение ветерка. Вентилятор им совсем не требовался — день был прохладный, ночью прошел сильный дождь.

Калу, в свою очередь, нахмурился и мысленно ответил: «Я не хуже любого из вас. И вентилятор будет работать, если я этого хочу. Я заплатил за ветерок и за все». Он пожалел, что не купил газету. По утрам полагается читать газету.

Лицо его прояснилось. Придумал. Он достал из кармана тоненькую книжечку в бледноголубой обложке, откинулся в кресле и углубился в чтение. Это была его сберегательная книжка.

Иногда Калу поворачивал голову и смотрел в окно. Зеленеющие поля. Ряды темнокоричневых глинобитных хижин с остроконечными тростниковыми крышами. Целый год прошел с тех пор, как он видел все это в последний раз. Тогда он ехал, не зная, что его ждет, и память о месяцах тюрьмы тяжким гнетом лежала у него на душе. Но он черпал новые силы, глядя на толпы голодающих на дороге — все они шли в Великий город, все они стремились навстречу миражу.

И вот он снова едет поездом, но теперь уже как победитель в борьбе. Цифры в книжке аккуратно выстроились колонками. Правильно ли выведен итог? Полугодовой процент, вписанный яркокрасными чернилами? Деньги, лежащие без движения, растут сами собой, прибавляя немножко каждую неделю, каждый месяц. Чудеса!

Нет ли где подвоха в этих расчетах? Не расставлена ли невидимая ловушка, чтобы поймать его?

Он посмотрел на молчаливых соседей, читавших газеты, и в глазах его сверкнул гнев. Все-таки, быть может, где-то скрыта ловушка?

Калу повернулся к дочери.

Чандра Лекха сидела, слегка наклонившись вперед, высунув голову в окно, волосы ее развевались на ветру.

— Осторожно!— воскликнул он.— Угольная пыль может попасть тебе в глаза!

Она покачала головой.

— Такой прохладный ветерок.

— Не холодно?

— Нет, приятно.

Желание Лекхи увидеть тюрьму так и осталось загадкой. Калу никак не мог разгадать ее. Лекха замкнулась в стенах темницы, созданной ее воображением,— душной, мрачной темницы, в которую Калу доступа не было.

Узница, она ощущала жизнь лишь через боль. Не в этом ли ключ разгадки? Глаза Калу с тревогой остановились на девушке, скользнув по изгибу ее бледной щеки. Так ли это, Чандра Лекха?

В его воображении встал дом под названием «Рупа» в узком переулке, дом, где властвовала страшная женщина с хлыстом в руке. Остались ли на теле Чандры Лекхи следы ударов, так же, как они, конечно, остались в ее душе?

Все это пройдет и забудется только тогда, когда Лекха целиком отдастся семейной жизни — мужу, сыну, дочери...

Калу вздохнул и стал смотреть в окно на пролетающие мили ландшафта. Черные птицы на телеграфных проводах. Одинокая корова пасется на лугу. Машина мчится по дороге, обгоняя поезд.

Через несколько часов Б-3 выйдет из тюрьмы, а сейчас он, наверно, ломает голову над запиской неизвестного друга. Интересно, связывает ли он ее со своим товарищем по заключению — П-14. Вряд ли. Вероятно, он решил, что П-14 постигла общая судьба — он растворился в массе голодающих, исчез навсегда. «Мы подонки жизни. Они бьют нас туда, где всего больней,— в живот. Мы должны отвечать ударом на удар». Это были только слова. Разве могло ему прийти в голову, что П-14, чье значение в существующем миропорядке меньше, чем значение червя, сумеет выковать оружие для ответного удара.

Каково же будет его удивление! П-14 осуществил волшебный фокус. Он сделал все, что нужно было сделать, и даже больше того. Б-3 должен увидеть храм собственными глазами, иначе он не поверит этой сказке. Лучше ничего не говорить ему, пока они не приедут домой. Тем более волнующим будет момент, когда он все узнает. Посмотри, друг! По моему велению из-под земли вырос храм. Два сира бобов разбухли и создали большой белый храм...

Удивительно, что Б-3 все еще остается незнакомцем! Он так мало рассказал о себе. Как объяснить доверие к человеку, которого даже по имени не знаешь?

Вот так иногда бывает. Можно быть знакомым с человеком много лет и ничего о нем не знать. И можно за одну короткую встречу постичь истинную сущность человека. Лекха поймет это, когда станет старше.

— Отец! Посмотри!

Калу повернулся к окну, глядя туда, куда указывала дочь. Знакомые высокие серые стены. Тюрьма! В тот раз он не видел ее с поезда, наверно смотрел в противоположную сторону. Путешествие длилось меньше, чем он рассчитывал.

Когда они вышли из ворот станции, Калу стал глазами искать рикшу, но Лекха сказала:

— Пойдем пешком. Ведь это недалеко.

— Хорошо,— согласился он и пошел вперед.

Калу шел своим обычным быстрым шагом. Лекха пыталась не отставать, но вскоре оказалась далеко позади, и он остановился, поджидая ее.

— Что, пожалуй, не дойдешь?

— Это мои новые туфли. Они жмут в пальцах.

— Может быть, легче идти босиком? Давай я понесу туфли.

— Отец, хоть ты и ехал в поезде первым классом, ты все еще кузнец из Джарны. Подумать только, брахман, да еще занимающий столь высокое положение, шествует по дороге с дамскими туфлями в руках, а его дочь семенит рядом босая.

Калу расхохотался.

— Видно, меня не отшлифовать никогда!— Он пошарил в складках широкого пояса и вынул дешевые металлические часы.— Лекха, у нас много времени, иди медленно.

— Держать часы за поясом, когда в твоем шелковом шервани карманы с обеих сторон!

Калу щелкнул языком:

— Неисправимая деревенщина!

Они шли вперед. Дорога была немощеная, и машина, промчавшаяся с большой скоростью, обдала их облаком пыли.

— Зажми ноздри,— крикнул Калу,— здесь вдвое больше пыли, чем у нас в Джарне.

— Где же дома? Я вижу только поля по обе стороны дороги, сухие, голые поля да местами чахлые кустики.

— А мы и не попадем в город. Эта дорога недаром называется Тюремным шоссе — все движение здесь так или иначе связано с тюрьмой. Черная машина, что сейчас проехала, принадлежит начальнику тюрьмы.

— Отец! Смотри!

Впереди показались высокие стены.

Ярдах в пятидесяти от железных ворот Калу остановился. Здесь дорога пересекала широкую водоотводную канаву и по сторонам была огорожена низким кирпичным парапетом.

— Мы посидим здесь на парапете. Б-3 должен скоро выйти. Он обязательно пройдет мимо нас.

Они с нетерпением стали ждать. Калу три раза смотрел на часы, и, когда прошло полчаса, он сказал:

— Висванатх, верно, перепутал день или Б-3 продлили срок заключения по какой-либо причине. Не пойти ли выяснить, в чем дело?

У ворот стоял часовой с ружьем. Сердце у Калу оборвалось. Лучше, пожалуй, подождать.

И вот узкая калитка, прорубленная в толще ворот, распахнулась и из нее медленно вышел человек. Калу внимательно посмотрел на него. Б-3! Он с трудом удержался, чтобы не закричать.

Б-3 обменялся несколькими словами с часовым и дружески похлопал его по спине. Калу был поражен. Как мог человек улыбаться и держаться с таким достоинством, просидев год в тюрьме? Как мог он сохранить такое бесстрашие? Б-3 сделал несколько шагов по дороге, потом огляделся, явно разыскивая кого-то. Через минуту он двинулся дальше; переходя канаву, он едва взглянул на мужчину и девушку, сидящих на парапете. Но лишь только он прошел мимо, Калу крикнул:

— Подумать только! Забыл П-14!

Б-3 с удивлением обернулся. Калу встал ему навстречу.

— П-14!..— в голосе у него звучало недоверие.

— Он самый.— Калу от волнения громко засмеялся.— Я ведь послал записку, что у ворот тюрьмы тебя будет ждать друг.

— Я смотрел, но никого не видел, и подумал, что это шутка старшего смотрителя. Он любит так забавляться.

Калу снова засмеялся.

— Ты никого не видел? Но ведь ты смотрел прямо на нас.

Б-3 смутился:

— Да, но...— он остановился.

— Я тебя понимаю,— кивнул головой Калу.— Дорогая одежда, белая шапочка, под которой не видно знакомой тебе сверкающей лысины! Б-3, это моя дочь — Чандра Лекха.

Б-3 повернулся к девушке и, соединив ладони рук, приветствовал ее.

Раздался окрик часового:

— Эй, проходи!

— Пойдемте,— сказал Калу.

— Откуда ты свалился?— спросил Б-3.— Я едва верю своим глазам.

Мужчины шли рядом, Лекха — на несколько шагов позади.

— Фокус с бобами удался.

— Что? — переспросил Б-3, не понимая значения слов Калу.

— Шива вышел из земли. Бобы совершили чудо. Большой храм...— Он остановился.— Я не хотел говорить тебе. Хотел, чтобы ты сначала увидел все своими глазами.

— Как же можно удержаться и целых два часа не рассказать такой секрет!— вмешалась в разговор подоспевшая Лекха.

— Ты что, теперь ведешь меня в этот свой храм?— спросил Б-3.

— Храм такой же твой, как и мой. Чья это была идея? Мы живем не в храме, наш дом напротив, через улицу. А для тебя я нанял комнату за углом, в пансионате «Райская обитель». Отдохни хорошенько с неделю, ешь вволю, ходи в кино, на фильмы, в которых много песен и танцев. А потом у нас с тобой будет серьезный разговор.

— Разве ты сможешь отложить серьезный разговор на неделю, отец?

Калу с нежностью взглянул на Лекху и вновь обернулся к другу.

— Помнишь, что я говорил тебе о моей дочери?

— Да ты только о ней и говорил. А что именно я должен вспомнить?

— Про медаль. Про медаль, которую она получила.— Но лицо Калу тут же омрачилось. Медали больше не было. Чего бы он не дал, чтобы вернуть ее! Но ее нет, и Б-3 никогда ее не увидит.

— Надо быть действительно очень умной, чтобы победить столько соперниц, — ведь их было больше тысячи, — сказал Б-3. — «Глубоко по мысли. Живо по изложению»,— как мудро отметило жюри.

— Отец, зачем тебе было говорить обо мне в тюрьме?— с укором заметила Лекха. Она покраснела и отвернулась, чтобы Б-3 не видел ее лица.

— Когда я думаю об этом,— продолжал Калу,— мне кажется, что я дерзнул перевоплотиться именно из-за медали Лекхи. Ведь отец, у которого такая дочь, ничем не хуже лучшего из брахманов.— Он остановился и грустно покачал головой.— Не знаю, как я буду жить, когда Лекха выйдет замуж и уйдет в свой новый дом.

— Быть может, торжественный день уж близок?— вежливо спросил Б-3.

— Ничего еще не решено, но...

Лекха, бросив взгляд на Б-3, вмешалась в разговор.— Отец о вас тоже говорил. Однажды он сказал мне: Как-то я спросил его, какой он касты, и Б-3 ответил: «Я из касты каторжников».

— Кстати,— сказал Калу.— Хотя ты будешь жить в «Райской обители», питаться ты будешь с нами, если только у тебя нет возражений кастового порядка. У нас стряпуха из касты брахманов, но Лекха часто помогает на кухне.

— Не думаешь ли ты, что я...— Б-3 запнулся.

— А кто тебя знает, может, ты сам брахман. Разве не ты научил

меня тайной молитве Гаятри, которая, как принято считать, никому, кроме брахманов, неизвестна? Я часто думал об этом и нахожу лишь одно объяснение.

— Тогда и ноги моей не должно быть на кухне,— заметила Лекха.

Б-3 рассмеялся:

— Могу вам сообщить, что я ел даже в доме у неприкасаемых. Вы бы на это, конечно, никогда не решились.

Калу кивнул головой: даже камара стошнило бы, если бы ему пришлось принять пищу, приготовленную неприкасаемыми. Они были ниже его настолько же, насколько он сам был ниже брахмана.

— Кем бы ты ни был, Б-3, ты перевоплотишься. Об этом я хочу поговорить с тобой. А пока запомни, пожалуйста, две вещи: теперешнее имя П-14 — Мангал Адхикари, он брахман, которому явился во сне Шива. Ясно?

— Я как в тумане,— сказал Б-3.— Расскажи мне все сначала, чтобы я понял, как это произошло. Фокус с бобами... я подал тебе эту мысль просто потому, что ничего более разумного не мог предложить.

Так слушай-же,— сказал Калу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Два часа обратного пути в поезде, потом ванна, обед, беседа — и только. Но казалось, что Б-3 был вместе с ними все последние месяцы, целый год; по крайней мере такое чувство испытывал Калу.

— Ты был знаком с ним всего два месяца, отец,— только вчера сказала Лекха.

— Два месяца в тюрьме,— ответил он.— Теперь, Лекха, дочь моя, ты видишь сама? Понимаешь?

Б-3, наконец, рассказал кое-что о себе, и это помогло правильнее понять его. Отец его был мелким служащим на большом металлургическом заводе в Татанагаре, где работали тысячи людей и выпускались миллионы тонн стали ежегодно. Б-3 был первенцем, в семье росло еще четверо братьев и сестер. Отцу было трудно прокормить большую семью на скудное жалованье конторщика. Б-3 окончил среднюю школу с двумя отличиями, однако о том, чтобы продолжать ученье, не могло быть и речи. Перед ним стояла задача — помочь содержать семью. Отец нашел ему место конторщика на металлургическом заводе, но у Б-3 были свои планы. Он часто бывал в одном автомобильном гараже, подружился с механиками и смотрел, как они работают. Таким образом он немного изучил эту профессию, и владелец гаража согласился принять его учеником. Через год Б-3 стал уже кое-что зарабатывать. Через три года он получал больше своего отца. Нельзя сказать, чтобы отец был доволен. Трудиться как простой рабочий, когда можно было иметь приличное занятие в конторе, за письменным столом.

— Твое ремесло похоже на мое!— сказал Калу.— Оба заставляем инструменты говорить.

— Верно,— согласился Б-3.— Безмолвный мотор машины в моих руках начинает стучать, петь и рычать.— Он чуть подвинулся на кафельном полу балкона, где они сидели вдвоем, и прислонился к стене.

— А ты тоже умел делать дела своим молотом,— добавил он.

Автомобильный мотор! Калу мог себе представить это чудо. Не раз в Джарне он задумывался над сложными металлическими внутренностями автомобильного мотора. Машины всегда влекли его к себе.

— Да, в нашем ремесле есть много сходного,— повторил Калу, на этот раз несколько неуверенно.— Может быть,— продолжал он после

паузы,— ты когда-нибудь расскажешь мне, как мотор двигает автомобиль. Ведь вот сколько у тебя чудес в запасе.

Старая тюремная дружба вновь согревала их своим теплом.

— Приятная эта работа, — сказал Б-3. — Бывает, что катушки не дают хорошей искры, и тогда машина немножко нездорова, как человек, который простудился и кашляет. Иногда карбюратор засорится или бензин плохо смешивается с всасываемым воздухом. Это тоже легкое заболевание. Но бывают недуги и посерьезнее, когда надо добираться до самой основы. Приходится разбирать все по частям, как врачу, который вскрывает живот. Ты меня понимаешь?

— Да, да!— ответил Калу.

— Вы умеете это? Вы можете разобрать мотор на части и потом снова собрать его? — в голосе Лекхи звучало удивление. Она сидела чуть поодаль от них, поджав под себя ноги.— А если все части перепутаются?

— Но ведь этого не может случиться, Лекха, если человек знает свое дело,— объяснил отец.— Ну скажи сама, разве врач перепутает печенку с селезенкой?

Б-3 смеющимися глазами взглянул на Лекху:

— Для вашего отца на свете есть три бесценных сокровища: молот, кузнечные мехи и дочь.

Лекха рассмеялась. Она ничего не сказала, но опустила голову, и глаза ее засияли под густыми ресницами.

— Да, сердце мое разрывалось на части, когда пришлось продать молот и мехи. Они и вправду были мне очень дороги,— сказал Калу, кивая головой, а в мозгу его промелькнула мысль: «Чандра Лекха засмеялась. Б-3 совершил еще одно чудо».

— Что заставило тебя бросить работу?— спросил он своего молодого друга.— Почему ты перестал чинить внутренности машины?

Тень пробежала по лицу Б-3, и, прежде чем ответить, он с минуту молчал.

— Я уехал в Великий город. Это было два года назад.

— Тоже, значит, думал, что в Великом городе золото растет на деревьях,— покачал головой Калу.

— Шла война и было легко найти работу. Это было за год до того, как разразился голод!

— Разразился голод,— тихо повторил Калу.— И тебя уволили. Ведь хозяева ненавидят нас, потому что боятся.

Б-3 покачал головой.

— Нет, меня не уволили. Работы было по горло, ведь война подкатилась от Бирмы до самых границ Бенгалии, и дела процветали, как никогда. Машины поднялись в цене в три раза. Даже самый старый и потрепанный автомобиль находил покупателя самое большее через неделю. Глава Бенгальской автомобильной компании выдал нам премию в конце года. Он вполне мог это себе позволить: его дела шли так хорошо, что он даже, как мы слыхали, купил новый особняк на Южном авеню.

— Каким же образом ты очутился среди голодающих?

— А вот сейчас расскажу. Я видел, как люди кругом умирают, словно крысы во время чумы. На душе у меня было тяжело, и я старался с головой уйти в работу, чтобы не думать. Но это не помогало.— Б-3 остановился. На лице его отразилась боль.

— Довольно. Не нужно больше говорить об этом,— сказала Лекха.

Но Б-3 продолжал:

— Дело было так. Большая машина сшибла голодающего перед рестораном. Она круто повернула и врезалась в фонарный столб. Меня послали взглянуть, какой требуется ремонт. Полуголый голодающий

валялся на дороге, как раздавленная собака. Кузов машины был слегка забрызган его кровью: не так уж много нашлось крови у этого бедняги. Мертвые глаза его были широко открыты

— Хватит, довольно,— сказал Калу.

— Я не могу забыть этих глаз. Они глядели так странно. Словно обвиняли. Машина убила его и при этом сама пострадала немножко. Я чинил ее в гараже, выпрямил помятое крыло, привинтил новые фары. И все время, пока я делал эту работу, день за днем, мертвые глаза глядели на меня и обвиняли.

Калу прервал его:

— Разве ты был виноват?

— Я чинил машину, которая его убила. Но дело было не только в этом. Как сотни тысяч других людей в городе, я привык к виду горя и очерствел. Эти широко открытые глаза обвиняли всех нас, сотни тысяч людей.

В воцарившейся тишине отчетливо прозвучал колокол в храме.

— Тебе надо идти?— Б-3 выглянул в сторону храма. Величавое сооружение стояло в большом саду, обнесенном стеной, сверкавшей острыми кусками битого стекла, которыми оно было утыкано по краю.

— Нет, у меня есть пуджари. Он знает свое дело. Я могу на него положиться.

Б-3 повернулся, и в глазах его мелькнула усмешка.

— Так что ты самый настоящий брахман? Ну, как тебе нравится быть Дважды Рожденным?

— Сначала я чувствовал себя страшно неловко. Но это прошло. Теперь лишь хочется крикнуть людям: «Смотрите, друзья, как легко сломать преграды, веками считавшиеся священными».

— Я подал тебе эту мысль с тем, чтобы ты смог как-нибудь прокормиться. Мне и в голову не приходило, что ты найдешь целую сокровищницу.

— Она открыта и для тебя, стоит только протянуть руку,— сказал Калу.— Иначе зачем бы я спешил встретить тебя, как только ты выйдешь из тюрьмы?

Б-3 взглянул на него с удивлением.

— Такое великодушие не часто встретишь в наши черные дни,— в голосе его звучал сарказм.

— Ты много рассказал нам о себе, но одну важную подробность ты опустил: твоя каста?

— Я из касты каторжников.

Калу засмеялся:

— Ты мне уже говорил это. Тюрьму трудно забыть, я знаю. Когда я вышел из заключения, от меня еще долго пахло тюрьмой. Стоило потянуть воздух носом, и ноздри наполнялись этим затхлым запахом. Вот и с тобой теперь то же, только у тебя это еще сильнее — ведь ты целый год просидел за решеткой. Но ты молод и скоро избавишься от этого неприятного чувства. Я достану тебе священный шнур и скажу людям, что ты мой племянник и будешь моим помощником в храме. Это справедливо и правильно.

Б-3 покачал головой:

— Это несправедливо и неправильно.

Калу заволновался:

— Я не понимаю. Ведь идея принадлежала тебе? Что касается священного шнура, то я наблюдал тебя в тюрьме и почти уверен, что ты брахман. Иначе как бы ты мог научить меня Гаятри? Этим ты себя выдал. Полно, будь откровенен с нами. Ты брахман? А если нет, то какой ты касты?

— Я из касты каторжников,— с серьезным лицом повторил Б-3.

— Отец,— крикнула Лекха,— снова приближается демонстрация — это уже четвертая за последние две недели. Слышишь голоса?

Когда шум толпы сделался явственнее, Калу и Б-3 перегнулись через перила балкона. Лекха тоже вышла на балкон. Впереди процессии несли большой красный флаг. Можно было разобрать слова: «Хлеба! хлеба! Мы требуем хлеба для голодных!» Люди шли длинной колонной, по пять человек в ряд. Мерно шагая, они выкрикивали эти слова. И то же самое было четкими буквами выведено на флаге.

— Такой большой демонстрации мы еще ни разу не видели! — воскликнула Лекха.— Сотни людей! Пожалуй, вдвое больше, чем в прошлое воскресенье!

Брахманы и другие служители храма столпились у ворот, в молчании наблюдая происходящее. Вдруг случилось нечто странное. Как только демонстрация миновала храм, от группы, стоявшей у ворот, отделился человек. Он догнал колонну и присоединился к ней.

— Висванатх, — беззвучно прошептал Калу и потом уже закричал во все горло: — Висванатх!

Висванатх не ответил. Он продолжал шагать вперед, держа голову прямо и чуть ссутулив худые плечи.

— Висванатх! — Голос Калу прозвучал хрипло.

— Это тот, что кормит малышей молоком после омовения Шивы? — спросил Б-3.

— Да, он. — Глаза Калу напряженно глядели вслед удаляющимся демонстрантам.

Когда вновь раздался крик: «Хлеба! Хлеба! Мы требуем хлеба для голодных!» — Калу был уверен, что различает голос старика, и им вдруг овладело безотчетное желание броситься вперед и занять место рядом с Висванатхом.

— Хлеба! Хлеба! Мы требуем хлеба для голодных! — Калу казалось, что он слышит собственный голос, и его большие руки сжались в кулаки.

— Хлеба всем!

— Работы всем!

— В тюрьму спекулянтов рисом!

Мангал Адхикари дрожал от напряжения, сдерживая безумный порыв Калу. Кузнец вместе с простым людом на улице кричал: «Хлеба всем!» И руки его крепко сжимали большой красный флаг, сверкающий словами «Хлеба всем!»

Быть может, это происходило потому, что кузнецу легко было понять эти доходчивые, проникающие в душу слова. Тут не было сложных переплетений мысли, косвенного обращения к сокровенной мечте. Это был простой призыв к действию.

Пуджари, увидев Мангала Адхикари на балконе, пересек дорогу и, подняв голову кверху, закричал:

— Недаром мне с самого начала внушал сомнения этот безбожник и негодяй! Теперь вы видите сами! Чего можно ждать от нищего? — Он злорадно сощурил глаза. — Они не просят, они требуют!

И Калу нечего было ответить на это.

Постояв еще немного, мужчины снова сели на пол; у перил осталась одна Лекха. Грустно качая головой, Калу сказал:

— Теперь уже ничего нельзя сделать, придется ему уйти.

— А чем он провинился? — круто повернувшись, воскликнула Лекха. — Он не раб храма, и никто не имеет права запретить ему участвовать в демонстрации.

— Лекха, ты слышала, что они кричали?

— Разве это преступление — требовать хлеба для голодных?

— Лекха, они требовали не только этого. «В тюрьму спекулянтов рисом!..» — вот что они еще кричали.

— А кто бы не хотел, чтобы спекулянтов продуктами посадили в тюрьму или, еще лучше, повесили?

Удивленный непривычной страстностью ее тона, Калу с минуту пристально смотрел на нее, потом рассмеялся.

— А знаешь ли ты, что главный попечитель храма господин Абалабандху нажил бо́льшую часть своего состояния на торговле рисом! Это секрет, известный всем. Перспектива быть повешенным вряд ли приведет его в восторг!

— Вот это настоящий деловой человек, — сказал Б-3. — Быть покровителем храма и тем самым обеспечить себе отпущение всех грехов, связанных с массовыми убийствами. Сделать своим союзником великого бога, который не откажется от солидной взятки!

— Приятно думать, что люди, подобные ему, совершают святотатство и оскверняют чистоту своей касты, поклоняясь фальшивому богу и слушая меня.

— Но, — начал Б-3 и осекся, словно проглотил слова, готовые сорваться с языка.

— Что? — спросила Лекха, жадно слушавшая его.

Б-3 покачал головой:

— Лучше мне пока ничего не говорить о храме. Сначала я должен присмотреться и понять, как обстоят дела. Что до Висванатха, нам нечего о нем горевать. Человек, который боролся и преодолел страх, никогда не будет раздавлен.

— Страх, — прошептала Лекха. Взор ее устремился в дальний конец улицы. Демонстранты уже почти исчезли из виду.

— Что, голод не пошел на убыль за это время? — спросил Б-3.

— Многие умерли, но из деревень вместо них приходят другие. Одно время на улицах Великого города скопилось до ста тысяч человек. Сейчас голодающих меньше, но все еще много.

— И никто не пытается облегчить их участь?

— Работают пункты помощи голодающим — частная благотворительность. Но они не могут получать достаточно продуктов с рынка. Их помощь — всего лишь капля в море. Купцы, торгующие рисом, подсыпают для веса в мешки гравий. Гравием не насытишь голодные желудки.

Б-3 встал и принялся шагать по комнате. Калу сидел молча, сложив руки на коленях. Б-3 прошел по комнате раз, другой, третий, то шаркая ногами, то ступая твердо, то быстро, то медленно, потом остановился, и его высокая фигура склонилась над перилами балкона. Наконец, его нахмуренный лоб разгладился, и он тихо сказал:

— Настоящий путь — борьба. Борьба против страха!

— Борьба! — мысленно повторил Калу и почувствовал, как забилось его сердце.

Человек в черной мантии, как бы взвешивающий авторучку в руке. Сетка для бороды Гангу Сингха. Жрите его, это масло из наших костей! Маленький мальчик, его рот, облепленный мухами. Пусть золото повысится в цене, понизится, повысится, понизится.

Калу сидел неподвижно, образы и голоса сменялись в его мозгу.

Это вот тебе на шкатулку для украшений, довольна? Жирная рука в кольцах с хлыстом. Голубое прозрачное сари, запах мускуса. Мужская рука, шарящая под ее сари. Нет... Нет... Будь умницей и старайся жить, как махарани. Нет... Нет...

Капельки пота выступили у Лекхи над верхней губой, она поверну-

ла голову и впилась глазами в собеседников, как бы спрашивая: «Я не кричала?» Потом отвернулась и, тяжело дыша, прижалась грудью к узорчатой решетке.

Голос Калу разрядил напряжение:

— Б-3, хорошо, ты из касты каторжников, и этого для меня довольно. Но как тебя зовут? Я ведь даже не знаю твоего имени, только номер.

Б-3 сел на кафельный пол и рассмеялся. Он посмотрел на Лекху, на небрежный узел ее черных волос, на изгиб ее шеи, освещенной солнцем.

— Правда, должен же ты назвать нам свое имя.

— Что-нибудь вроде Мангала Адхикари? — снова засмеялся Б-3.

— Если хочешь.

Калу мысленно удивлялся, как этот юноша умеет так меняться: сейчас только был серьезным, а через минуту смеется от души.

— Бэтри — это может сойти за имя. В самом деле, почему бы нет? Бэтри.

Калу подумал.

— Я не слыхал такого имени на языке бенгали. А ты, Лекха?

Лекха задумалась.

Снова раздался смех

— Да, да, именно Бэтри. Я буду Бэтри, даже если окажусь единственным человеком с таким именем во всей Бенгалии. Решено?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Бэтри сидел на корточках на голом цементном полу, притирая клапаны старенького «Форда» образца 1937 года. В трех ярдах от него другой рабочий сваривал сломанный глушитель, вокруг с шипением разлетались искры. Дальше в углу, за низеньким столиком, механик в очках в металлической оправе склонялся над разобранным указателем уровня бензина с таким напряженным вниманием, точно чинил часовой механизм. Еще человек двадцать возились с ремонтом поврежденных машин. У Бенгальской автомобильной компании дела было хоть отбавляй.

Бэтри смотрел по сторонам и не видел ни одного знакомого лица. Все его друзья теперь были в армии — в инженерных частях. Армия поглотила многих квалифицированных рабочих с каждого предприятия. Поэтому Бэтри легко было устроиться на прежнее место. Никто не задавал щекотливых вопросов. Не требовалось даже никакой рекомендации для поступления на работу.

— Отдохни с неделю, — упрашивал Калу. — Не хочешь? Ну, хоть три дня, чтобы смыть с себя пот тяжелого тюремного труда.

Но Бэтри не хотел и трехдневного отдыха. Ему надо было добывать средства к жизни. И чем раньше он начнет работать, тем лучше.

Он рассеянно притирал клапан. Мысли его были поглощены другим. Бэтри был очень расстроен. И все из-за Чандры Лекхи.

Один раз случилось так, что всю его жизнь и все взгляды перевернула девушка. С тех пор прошло два года. Но казалось, что это было только вчера.

То была его единственная сестра — Пурнима. Она была на пять лет моложе его и, хотя не отличалась оригинальной красотой Чандры Лекхи, была по-своему привлекательна. После того как Пурниме исполнилось двенадцать лет, ей приходилось дома после школы посвящать много времени религиозным церемониям. Мало того, что она должна была

помогать в приготовлениях к пудже * — родители-брахманы каждый день проводили по нескольку часов в молельне, распевая гимны или читая священные книги, — существовали специальные обряды для молодой девушки, соблюдение которых обеспечивало ей счастье в замужестве. Когда Пурнима жаловалась, что все это отнимает слишком много времени и ей некогда учить уроки, мать грозилась взять ее из школы.

— Все равно ничему хорошему книги не научат, — заявляла мать. — Я бы совсем не разрешила такой взрослой девушке ходить в школу, да только у нынешних женихов головы полны всякими новомодными бреднями, а родители потворствуют им по глупости и на смотринах невесты спрашивают: «Сколько классов она кончила?» Плохие времена настали в нашей стране.

— Пришла пора для нового, одиннадцатого перевоплощения всевышнего в земной оболочке,— вторил ей муж, такой же, как и она, ограниченный человек, замкнувшийся в узком кругу религиозных верований.— Это будет сама ярость, подобно четвертому воплощению — Человеку-Льву, который своими когтями вырвал внутренности у Хираньи — злого духа. Нашему грешному веку тоже нужны когти Человека-Льва.

Пурнима была тихая девушка, мало общавшаяся с людьми; никто не знал, каким образом она встретилась с Басавом и полюбила его. Басав работал мастером на металлургическом заводе. Говорили, что через несколько лет он обязательно станет помощником механика, а может быть, пойдет еще дальше. Однажды Басав написал отцу Пурнимы, прося ее руки. Письмо пришло в воскресенье, когда Бэтри и его отец были дома. Сначала отец не мог выговорить ни слова, как будто его хватил удар. Подобное предложение ему даже в ночном кошмаре привидиться не могло. Потом он пришел в неописуемую ярость. Казалось, он сошел с ума. Он стал звать жену, и, когда она, перепуганная, прибежала из кухни, он в бессвязных выкриках сообщил ей о случившемся. С трудом поняв, наконец, что произошло, она схватилась за голову и начала громко рыдать.

— Какой позор! — причитала она, все сильнее колотя себя по голове. — Какой позор для четырнадцати поколений наших предков на небесах!

Пурнима была в это время в гостях у соседей. Как только она вернулась, родители набросились на нее. Мать схватила ее за волосы и потащила в спальню. Там она принялась яростно бить дочь.

— Лучше б ты умерла у меня в чреве. Лучше б я задушила тебя своими руками, когда ты родилась. Зачем я выкормила змею собственным молоком!

Пурнима сносила побои молча, крепко сжав губы. Веки у нее дрожали, но ни звука не вырвалось из ее груди. Она всегда была такая. Даже ребенком никогда не бунтовала. Тихая, покорная, беспомощная.

Бэтри некоторое время наблюдал эту сцену молча, но в конце концов не сдержался. В первый раз в жизни он поднял гневный голос против почитаемых родителей.

— Что она сделала, за что ты хочешь убить ее?

Отец, который стоял рядом и смотрел, бросил в ответ:

— Она, должно быть, тайно встречалась с этим негодяем, иначе как бы он посмел прислать письмо с предложением? Негодяй, видно, потерял рассудок. Разве он не может найти девушки, которая была бы ровня ему?

— А чем плох Басав? Почему вы думаете, что сумеете найти ей лучшего жениха?

---

* Пуджа — богослужение.

— Болван! — заорал отец. — Неужели я должен тебе говорить, что этот негодяй не брахман? Притворяешься, что не знаешь? Да ты, я вижу, с ним заодно!

Через несколько часов отец уложил кое-какие вещи в железный сундучок, взял узел с постелью и уехал ночным поездом в Калькутту. Вернулся он через два дня. Молчание царило в доме, прерываемое лишь частыми воплями матери, как будто смерть унесла ее дитя. Все эти дни Пурнима была настоящей узницей: она сидела взаперти в своей комнате и не могла сделать ни шагу без надзора. Так прошла неделя. На утро седьмого дня была объявлена ее свадьба, брачный обряд должен был совершиться в тот же вечер.

Это была очень скромная свадьба, совсем непохожая на обычные. Гостей собралось человек десять, не больше. Одинокий музыкант играл на флейте, и звуки, извлекаемые им из инструмента, напоминали рыдания. Жених явился в дом уже под вечер: он приехал в Татанагар поездом из Калькутты и остановился на заранее снятой для него квартире. Бэтри взглянул на него с тревогой. У него был отвисший подбородок и седая голова. Подробности о своем зяте Бэтри узнал позднее. Он был вдовцом, жена его умерла всего два месяца назад. У него были дети и внуки.

Весь вечер Бэтри держался подальше от сестры. Только раз ему пришлось столкнуться с ней лицом к лицу, и тогда Пурнима заговорила:

— Дада *, я верила в тебя. Я думала, что ты не такой, как другие. Я надеялась... — она помолчала. — Но я ошиблась, — добавила она тихо.

Глаза ее горели. Бэтри не мог выдержать этого незнакомого ему жгучего взгляда. Он опустил голову и убежал.

На рассвете Пурнима с мужем уехала. С этого дня начался поворот в жизни Бэтри.

Воспитанный в строгих правилах религии, он каждый день выполнял брахманский молитвенный ритуал, подчиняясь раз навсегда установленному, незыблемому порядку без особого рвения, но и ни в чем не сомневаясь. Но в этот день он не приветствовал восхождения бога-солнца над горизонтом. Он не произнес обычного приветствия, повторяющегося уже три тысячи лет: «О ты, прекрасный, как красный цветок джаба, ты, состоящий весь из ослепительного сияния, ты, разрушитель тьмы и греха, привет тебе, о Дивакара, творец дня». Он не совершил традиционных возлияний предкам и не освятил для них воды чтением Мантры. Не произнес десять раз молитву Гаятри, которую мальчик брахман впервые заучивает в день, когда на него надевают священный шнур и он произносит суровый обет, беря в свидетели бога огня и превращается в Дважды Рожденного. Он почувствовал, что отрывается от корней веры, которые дали такие пышные ростки в сердце его родителей и изуродовали в них все человеческие чувства.

А ведь когда-то эти чувства были сильны. Всего несколько месяцев назад Пурнима болела воспалением легких, и отец с матерью проводили бессонные ночи у ее постели. Бэтри вспоминал их страх и горе. Целую неделю они почти не спали и не ели.

Что же это за злая сила, в одну минуту превратившая любящих родителей в чудовища? Как может вера быть столь слепой и разрушительной? Ведь они готовы были отдать все за счастье своей дочери и, однако, похоронили ее заживо. Как могло произойти нечто до такой степени противоестественное?

Не то чтобы он судил их слишком строго. Он понимал, что они тоже

---

* Дада — обращение к старшему родственнику.

несчастны. Сначала они радовались тому, что удалось спасти дочь, но потом их начало мучить раскаяние — надо было подыскать ей лучшего мужа. Но время не ждало. К тому же денег на приданое не было, а вдовец не требовал приданого. Что другое мог бедный отец придумать при сложившихся обстоятельствах?

Басав чуть с ума не сошел от горя. Он считал себя виноватым во всем. Если б он не встретился на пути Пурнимы, со временем ей нашли бы подходящего жениха — брахмана. Его предложение искалечило судьбу девушки. Непростительное безрассудство!

Через четыре месяца Бэтри поехал к сестре в Калькутту для свершения обряда помазания *. Дом расположен был в тихом предместье города. Семья, казалось, жила в достатке. Но, увидев Пурниму, Бэтри понял, что это золотая клетка.

Обряд был закончен. Бэтри сидел за столом, уставленным обильными яствами. Пурнима казалась спокойной. Только когда они остались одни в ее спальне, она вдруг разрыдалась. Слезы текли из ее глаз и струились по щекам.

Потом она рассказала ему все. Жизнь ее была относительно сносной до того дня, когда в минуту тяжелой тоски она написала письмо Басаву. Это случилось недели три назад. Письмо перехватили прежде, чем оно попало в почтовый ящик, и прочли. С этого времени началась расплата. Ужас появился в ее глазах, когда брат спросил, что ей приходится выносить. Этот взгляд, полный ужаса, навсегда остался в памяти Бэтри.

— Придет день, когда я не смогу больше терпеть. Тогда я освобожусь, — сказала она ему на прощанье.

Этот день пришел очень скоро. И она освободилась!

Письмо принесло весть о том, что тело Пурнимы нашли в пруду за домом. Несчастный случай. Она на заре ушла купаться, видимо, поскользнулась на замшелых ступеньках, упала и утонула. Но Бэтри знал, что произошло в действительности. Версия о несчастном случае была лживой: Пурнима прекрасно плавала. Она сдержала слово и освободилась.

Дом огласился рыданиями, но Бэтри не слышал их: он почти не бывал дома, вид родителей был ему ненавистен.

Раз он пошел навестить Басава. Но Басав, против ожидания, не был убит горем. Казалось, в нем горит какое-то скрытое пламя. Он с презрением посмотрел на Бэтри.

— Что ж, теперь вы, брахманы, довольны? Совершили убийство и успокоились?

Бэтри не протестовал. Он сидел молча и думал... Время шло. Минута прошла или час? Наконец он встал на ноги.

— Уходи! — крикнул Басав, указывая на дверь.

Бэтри не ушел. Медленно, но решительно он обнажил грудь, схватился обеими руками за священный шнур и рванул. Басав, изумленный, не спускал с него глаз. Бэтри дергал и тянул, пока все девять нитей не порвались. Тогда он швырнул шнур в угол комнаты, как что-то грязное.

— Что ты сделал? — закричал Басав, задыхаясь от волнения.

— Басав, брат мой, я больше не брахман. Я такой же, как и ты. Ты все еще ненавидишь меня?

Басав схватил его за руки.

— Друг, ты не сошел с ума?

Бэтри покачал головой. Он долго думал, много дней.

---

* Обряд помазания — бхайпото, особая церемония, заключающаяся в том, что сестра делает брату на лбу метку сандаловой настойкой. Эта церемония повторяется ежегодно и означает пожелание счастливой жизни и здоровья.

— Шнур можно купить новый, хотя, отбросив свой, ты навлек на себя вечное проклятье. Останешься ли ты верен своим чувствам этой минуты?

— Клянусь всем святым для меня, что я никогда больше не надену брахманский шнур. После смерти Пурнимы я с этим покончил. Разве ты не понимаешь, Басав?

Вот как это случилось.

Он не мог больше оставаться в родительском доме: отец и мать пришли бы в ужас, увидев его без священного шнура. Они потребовали бы от него покаяния и новых обетов, ибо в их жизни ничто не изменилось. Как и прежде, они выполняли все обряды. Горе свое они приняли как веление судьбы, наказание за грехи, совершенные в этой или прошлой жизни. Жизненная трагедия, разрушившая веру их сына, в них лишь укрепила религиозное чувство; предписанный ритуал соблюдался еще строже, чтобы не допустить никаких отступлений и избегнуть возмездия в этой жизни или в будущей.

Вечером, после разговора с Басавом, Бэтри покинул дом и уехал поездом в Калькутту. Теперь там не было его сестры, но там он мог заработать на жизнь. Таким образом Бэтри попал на работу в Бенгальскую автомобильную компанию. Год в тюрьме был всего лишь перерывом. И вот он снова притирает клапан «форда» образца 1937 года.

Странная ирония, что он, отрекшийся от брахманизма, вызвал к жизни нового брахмана. Что, в сущности, произошло? Новый брахман осуществлял свой план — заставить людей осквернять свою касту и совершать святотатство. Но не был ли он сам, использовавший веру других, чтобы привести их к гибели, не был ли он сам во власти веры? Как разрешить это странное противоречие?

А тут еще его дочь Чандра Лекха. Не тяжка ли ей эта роль дочери священнослужителя? Перед Бэтри встал ее образ, ее лицо, он слышал ее голос и каждое произнесенное ею слово. «Разве это преступление — требовать хлеба для голодных».

Ее черные глаза, казалось, еще более потемнели в ту минуту, ее ноздри раздулись, как будто от ускоренного дыхания. «Кто бы не хотел, чтобы спекулянтов рисом посадили в тюрьму или, еще лучше, повесили?»

Девушка с такой душой не может быть точно глина, из которой что хочешь, то и вылепишь. Но не ошибается ли он?

Отец скоро найдет ей жениха, и этот жених должен быть обязательно брахманом. Подчинится ли Чандра Лекха своей судьбе? Замужем ей будет значительно труднее разыгрывать свою роль. Сохранять тайну, обманывать мужа каждую минуту, день за днем, год за годом, всю совместную жизнь. Сможет ли Чандра Лекха выдержать это?

Эта мысль усилила безотчетную тревогу в его душе. Чандра Лекха замужем. Ее муж не заметит тлеющего в ней пламени. Она для него будет одной из тысяч. Она станет вести хозяйство, записывать ежедневно расходы, совершать положенные религиозные обряды, будет хорошо одеваться и служить украшением дома. Доставит ли это ей удовлетворение? Будет ли она любить своего мужа?

Клапан выскользнул из его рук, и Бэтри, вздрогнув, очнулся. Он снова взялся за работу, стараясь сбросить с себя тяжелое чувство. Но боль в нем росла, новая, непонятная боль. Никогда еще он ничего подобного не испытывал. Бэтри был совсем один на свете. Родители прокляли его. Любимая сестра умерла. Ему не для кого было жить. Зло царило в Бенгалии, и борьба против него была безнадежна. В тюрьме было легче. Там день проходил в непосильном труде, а ночью можно было расправить усталые члены на железной койке и уснуть спокойно. Но первые же дни после освобождения изменили весь характер его

жизни. Он ощущал пустоту, причины которой не понимал, какую-то мучительную подавленность и чувствовал, что уже никогда не сможет быть в ладу с самим собой.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В сердце Чандры Лекхи звучали странные слова: Путь борьбы — вот настоящий путь, и прежде всего борьбы против страха.

Страх.

Как-то вечером, несколько месяцев назад, отец повез ее в театр на пьесу Тагора. Он заказал лучшую ложу. Они приехали задолго до начала спектакля.

Оглядываясь по сторонам, Чандра Лекха вдруг испуганно вздрогнула. В ложе напротив сидела какая-то толстая дама и смотрела в бинокль. На расстоянии трудно было разглядеть ее лицо, но она определенно была похожа на женщину, которую Чандра Лекха когда-то знала.

Да, это была она!

Сердце девушки бешено забилось. Узнает ли ее эта страшная женщина? Как спрятаться от глаз, сверлящих сквозь бинокль?

В эту минуту женщина встала.

— Отец!

К горлу Лекхи подступила тошнота. Дикая мысль мелькнула в ее голове: может быть, бежать?

— Отец!

— Да, Лекха?

Свет в зале погас. Женщина с биноклем вновь опустилась в свое кресло.

Радость, волнующее чувство ожидания — все исчезло. Лекха не видела того, что происходило на сцене. Она вновь переживала собственную драму.

Когда вновь зажегся свет после первого акта, она, каменея от страха, посмотрела через зал. Но женщина больше не взглянула на Лекху. Бинокль ее был направлен в другую сторону. Она разговаривала с маленьким мальчиком, сидевшим рядом, и ласково гладила его по голове, играя его волосами

Не она!

Как Лекха могла так ошибиться? Если дама в ложе и напоминала ту страшную женщину, то лишь отдаленно. И она, видно, славная, эта дама, она ласкает мальчика, наверно своего внука.

— Шоколаду? — предложил щеголеватый подросток в синей ливрее с большим деревянным подносом в руках.

— Лекха, попробуй европейских сластей.

Открыв нарядную коробку, она развернула несколько конфет. Радуясь своему избавлению, Лекха, кладя каждую конфету в рот, весело приговаривала: «Миндаль... орех... карамель...»

Позже страх вернулся к ней. Ведь могло оказаться, что это та самая страшная женщина.

А хотя бы и так? Что эта женщина могла сделать ей, Лекхе? Бояться было бессмысленно. Но, тем не менее, она боялась.

Человек вышел из тюрьмы. За железной решеткой он оставался свободным, в царстве страха он не знал страха. В узком кругу, где протекала жизнь Лекхи, не было таких, как он. Отец рассказывал, что такое тюрьма: животное существование, постоянное чувство удушья, сотни унизительных испытаний для духа и тела. Мрачный эпизод, о котором

лучше забыть. Он никогда не повторится. Но этот странный человек настаивал на тюремной кличке. Он не хотел никакого другого имени, кроме арестантского номера. Лекха еще недостаточно хорошо понимала его. Она ощущала какую-то растерянность, неловкость. И отец тоже. Отец хотел, чтобы его друг получал долю доходов с храма, занял высокое положение, разделил с ним все то, что было достигнуто ценой его усилий, что наполнило его жизнь новым содержанием, даже придало ей вкус. Мечта претворилась в жизнь, и теперь отец предлагал Бэтри стать его компаньоном по сбывшейся мечте.

. Но Бэтри отверг это предложение. Отверг с улыбкой, полупрезрительной, полупечальной.

Отец уставился на него сначала с недоумением, потом с тревогой. Как хорошо Лекха умела читать мысли отца, как она изучила это лицо, глаза, ясные, как у ребенка, широкий лоб, быстро собирающийся в морщинки, выразительно раздувающиеся ноздри.

— Я не понимаю, — наконец произнес он.

— Придет время, поймешь. Для таких, как ты, нет легкого выхода.

— Нет выхода? — голос Калу звучал жестче, но глаза его были печальны. — Мы стали чужими, — добавил он.

Бэтри пристально взглянул на Калу.

— Такой человек, как ты, не может без конца себя обманывать. Рано или поздно наступит кризис.

Но эта напряженность, возникшая между ними, быстро улетучилась. Сначала, казалось, даже дышать стало трудно, но Бэтри разрядил атмосферу неожиданным звонким смехом.

— Нечего сказать, хорош я! Изрекаю истины, подобно убеленному сединами мудрецу, а сам тебе в сыновья гожусь!

И сразу повеяло теплом.

Попечители уволили дядюшку Висванатха дня через два после демонстрации. Калу, зная его мечту, предложил оборудовать ему кузницу.

— По крайней мере деньги храма пойдут хоть на одно полезное дело, — сказал он.

Но Висванатх ответил:

— Кузница может подождать. У меня есть дело поважнее.

— Какое дело? — удивился Калу.

— Борьба за хлеб для голодных,—сказал дядюшка Висванатх и добавил с улыбкой: — Как я рад, что вы наняли человека носить молоко младенцам.

— Твои младенцы не будут голодать,— заверил его Калу.— И матери тоже получают свои порции рису.

«Хлеба! Хлеба! Хлеба голодным!» Этот крик стоял в воздухе над Великим городом. Что-то вдруг случилось с людьми, что-то словно взорвало их апатию. Почти каждый день проходили по улицам многолюдные демонстрации. В рядах шли не только обездоленные. Среди участников голодных походов, как их называл Бэтри, были рабочие, студенты, конторские служащие. Добровольцы сменяли друг друга. Бэтри уже принял участие в двух или трех таких демонстрациях. Он, как выяснилось, стал членом руководящего комитета. В этом комитете было двое людей, которых он знал еще в тюрьме, ибо корни борьбы уходили в тюрьмы, где томились участники движения «Вон из Индии!» Среди них были представители разных слоев общества — от самых высших до самых низших. Их посадили в тюрьму за участие в движении, потрясшем всю Индию два года назад. Все их преступление состояло в том, что они любили свою страну и хотели лучшей для нее жизни — жизни,

свободной от голода и унижения, трудной, но радостной, ибо каждый камень, заложенный сегодня, станет основой безопасного, счастливого завтра.

Так он говорил, и Лекха слушала как зачарованная.

В тюрьму, где сидел Бэтри, перевели несколько десятков этих людей из Калькуттской тюрьмы, которая была переполнена заключенными другого рода: людьми, нарушившими закон, чтобы утолить голод. Что самое удивительное, среди участников движения «Вон из Индии!» были и женщины. Тюрьма отняла у мужчин и женщин имена и заменила их номерами, но эти номера стали боевыми кличками групп и соединений, готовых бороться за Индию. Каждый человек, выходивший за высокие железные ворота, становился центром, вокруг которого сплачивались единомышленники, готовясь к дню расплаты.

Бэтри описывал все это. На устах каждого заключенного был простой лозунг: «Джай Хинд! — Победа Индии!» Узники приветствовали друг друга этими словами. Когда смотритель тюрьмы по утрам обходил камеры, его встречал клич: «Джай Хинд!» Почтенный муж чуть не сошел с ума от ярости, когда впервые услышал такое приветствие, и угрожал страшными карами. Узники разделились на два лагеря. Те, кого лишь голод толкнул на преступление, охотно присоединились к участникам движения «Вон из Индии!», остальные, закоренелые мошенники, стали фаворитами тюремных властей и пользовались неслыханными поблажками. Им даже разрешалось курить, они получали на обед козье мясо.

Да, клич «Джай Хинд!» настойчиво стучался в уши смотрителя тюрьмы, и он принял крутые меры: главаря засадили в одиночку. Заключенные ответили на это голодной забастовкой. Подобно пламени, гонимому ветром, голодная забастовка охватила всю тюрьму, только закоренелые преступники не приняли в ней участия.

— Вы, — сказала Лекха, затаив дыхание, — вы голодали?

Он улыбнулся, слегка кивнул головой:

— Голодал, так же как и все.

— И вам не было тяжело? Ничего не есть много дней подряд?

— Я все время думал о голодающих на улицах Калькутты. Если они могли сносить муки голода, почему же я не могу? И ведь мне морально было легче, чем им, ибо у них не было выбора, а для меня голод явился оружием в борьбе. Вы понимаете, в чем разница?

Лекха, конечно, понимала, но ведь ощущение голода было в обоих случаях одно и то же.

Нет, заверял ее Бэтри. Голодающие были жертвами боли; заключенные стали господами над ней. Дело тут во внутреннем подъеме. Чандра Лекха обязательно поймет это когда-нибудь.

— А женщины? — спросила она, снова затаив дыхание.— И они также участвовали в голодной забастовке?

— Разумеется, как и все. Разве борьба может быть массовой, если в ней не примут участия женщины? Голосу каждого мужчины, провозглашающего «Вон из Индии!», вторит голос женщины. Это великое знамение времени. Это дает нам уверенность в победе. Это обеспечивает нам будущее.

Лекха долго не говорила ни слова. Бэтри тоже молчал. Она мысленно перебирала все, что узнала, начиная с «путь борьбы — вот настоящий путь, и прежде всего борьбы против страха». Когда она прошептала эти слова, Бэтри кивнул головой.

— Именно так, — сказал он.

Однажды в воскресенье утром он предложил ей пойти с ним в парк на собрание около обелиска Октерлони.

— Вы увидите действительность, — сказал Бэтри.

Она охотно согласилась. Они пошли к трамвайной остановке.

В парке было много народу. Тысячи людей. Когда они приблизились, Лекха увидела большие стяги, на которых были начертаны знакомые слова. Десятки знамен. Вокруг сновали полчища полицейских с длинными дубинками, окованными железом. В стороне, ярдов за сто, на открытом месте виднелись верховые в белых мундирах. Там и сям стояли унтер-офицеры с револьверами у пояса, сверкая медными пуговицами мундиров.

— Мы будем смотреть с дороги, — сказал Бэтри Лекхе.

— Нет, подойдем поближе, — попросила она.

В огромной толпе Лекха увидела много женщин. Она заметно волновалась. Бэтри покачал головой.

— Это запрещенный митинг. Могут быть беспорядки.

— Что мне до беспорядков?

Он засмеялся.

— Смелая девушка! Но вы на моем попечении. Я отвечаю за вас перед отцом.

Прошло еще десять минут, прежде чем начался митинг. Толпа росла. Слышался приглушенный шепот, изредка громкие возгласы. Затем сразу наступила тишина.

Какой-то человек поднялся на возвышение. Когда он начал говорить, вооруженные полицейские бросились на него. Звякнули наручники, и его увели. Все это произошло в одну минуту.

Тогда раздался крик: «Хлеба! Хлеба! Хлеба голодным!» Он был подхвачен десятью тысячами голосов. Он грохотал, как раскаты грома.

На возвышение поднялась женщина.

— Братья, мы собрались сюда, чтобы требовать...

В один миг полиция схватила ее и увела.

Но тотчас же снова раздался крик:

«Хлеба! Хлеба! Хлеба голодным!»

Это повторялось снова и снова: мужчины и женщины поднимались на возвышение один за другим, начинали говорить, и их арестовывали.

— Сколько это будет продолжаться? — горло Лекхи сжалось до боли от волнения.

— Пока вся Индия не очутится в тюрьме! Пока они не посадят за решетку триста миллионов мужчин и женщин. — Лицо его было сурово, но голос звучал спокойно.

— Но разве это возможно? Сколько тюрем нужно для этого построить?

Вопросы эти не нуждались в ответе, и она добавила еще один:

— А если заключенные взломают двери тюрьмы?

— Глубокие сдвиги происходят в стране. Люди, дремавшие в течение столетий, пробуждаются и замечают цепи на своих ногах. Когда народ окончательно проснется и соберется с силами, он мощным усилием разорвет свои цепи.

Лекха видела, как сверкнули его глаза, и похолодела от испуга. Что если он захочет тоже подняться на трибуну и снова попадет в тюрьму?

Она посмотрела на него так, словно желала защитить его своим взглядом. Быть может, Бэтри почувствовал ее тревогу? Его теплая улыбка успокоила ее.

— Видите? Женщины с нами. Мы идем вместе к общей цели. — Его голос понизился до тихого шепота. — Вы и я.

В это мгновение Лекху охватило какое-то необыкновенное чувство, настолько сильное, что она закрыла глаза, стараясь успокоиться. Когда она вновь открыла их, она увидела всадников, скачущих со всех сторон. С криком «Бхаго! — Расходись!» они врезались в толпу. Гневные вопли, стоны и проклятья, топот ног, цоканье копыт, и над всем этим громовым раскатом крик: «Хлеба! Хлеба! Хлеба голодным!»

— Идем, Чандра Лекха!

Они пошли по улице, минуя трамвайную остановку, где толпилось много народу. Оба долго молчали.

— Вы видели? — наконец произнес он.

Очнувшись от своего забытья, она взглянула ему в лицо. И вдруг снова похолодела. Что если бы он присоединился к тем людям и полиция увела бы его? Но тревога ее переплеталась со странным желанием прижаться лбом к его ногам. Желанием, которое причиняло ей боль и в то же время делало ее счастливой.

Когда-то, давно-давно, до того, как он стал Дважды Рожденным, отец возбуждал в Лекхе такое чувство. Сейчас оно снова властно заговорило в ней. Ей хотелось склониться к ногам этого пришельца из тюрьмы и молиться на него.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Калу сидел на балконе, бесцельно устремив взгляд в ночную тьму, сжимая виски ладонями; голова у него, казалось, вот вот разломится от боли. Пот, выступавший из всех пор его кожи, под ветерком вентилятора быстро высыхал. Калу сидел неподвижно, сгорбившись, словно придавленный тяжестью уныния: Чандра Лекха презирает его.

Несколько дней назад до него дошел слух, пущенный, быть может, отчасти по злобе, но, тем не менее, содержащий крупицу истины. Принес его посредник — устроитель браков.

— Твоя дочь — настоящая пери, только без крыльев. Диво ли, что находится столько охотников жениться на ней?

— Столько охотников? — повторил Калу. Лицо его сияло.

— Разные люди расспрашивают меня: «Какой у девушки характер?» «Обладает ли она достоинствами, которые приятно видеть в жене сына?» Хотят узнать глубину пруда, прежде чем смочить в нем ноги. Когда они выяснят все, что им надо, вы получите много предложений и сможете сделать выбор.

— Да, выбирать я буду очень строго.

— Одна заботливая мать обратилась ко мне вчера, перед вечерней молитвой. Увидев Лекху, она сказала себе: «Это богиня счастья, стоящая на лотосе с девятью лепестками, спустилась на землю в образе девушки. Какая радость, если она войдет в мой дом». А дом у нее прекрасный, могу вас заверить. Если хотите увидеть юношу...

— Все в свое время, — уклончиво ответил Калу.

В одном он был совершенно спокоен. Он позаботился купить для Лекхи хороший гороскоп. В нем говорилось о сочетании звезд, которое указывало на высокое брахманское происхождение девушки. Калу заплатил за него сто рупий, но бумажка стоила этих денег.

Устроитель браков остановился на мгновение, затем продолжал несколько натянуто:

— Пора, однако, прекратить толки. Иначе беда...

— Какие толки? — удивился Калу. — Какая беда?

— О Шива! О Шива! — грустно возопил брахман. — Неужели я должен совать нос в чужие дела?

— Что тебя тревожит? — оборвал его Калу. — Говори прямо.

Брахман прочистил горло и затем ответил:

— У людей длинные языки. Толкуют о том, что девушку часто видят в обществе юноши по имени Бэтри. У нее чистая душа, во многом она еще ребенок.

Калу нахмурил брови.

— Бэтри — человек чести. Он не сделает нам ничего плохого.

— Все ли мы о нем знаем? И как остановить язык клеветы?

— Говори мне все, что услышишь.— Калу повернулся и ушел.

Брахман послушно собрал все сплетни и доложил хозяину.

Калу встревожился. У Лекхи были все данные сделать самую блестящую партию. И он только тогда велит трубить в раковины, когда окончательно убедится, что сделал лучший выбор. Но если сплетни будут множиться, все пропало. А этого не должно быть.

Он допустил промах. В обществе камаров, как и среди фабричных рабочих, мужчины и женщины свободно общались между собой. Так же было принято и у городской интеллигенции. Но в кругах священнослужителей существовали свои нормы поведения. Нужно было помнить об этом. Нужно было предупредить Бэтри.

Но как он мог! Ведь это выглядело бы глупо, недостойно.

Он привык ставить Бэтри так высоко. В его годы обладать таким пониманием жизни! Как-то раз, наблюдая поток молящихся, юноша сказал:

— Ты обманываешь не только тех, кто кичится своим происхождением, но и простых людей, таких же, как и ты. — И добавил: — Воздвигнуть храм для служения богу — не такое простое дело, как открыть лавку или кафе на Хаурингхи-род.

Эти слова тотчас пробудили в Калу воспоминание о том бедняке, который принес Шиве пять медяков — все свое достояние, чтобы его молитва была услышана и хотя бы один из его потерявшихся детей нашелся.

В этом юноше слишком много тепла, слишком много сочувствия к людям, чтобы он мог осудить верующих за их слепую веру. Веру у нас в стране можно сравнить с нашими могучими реками, сказал он. Во время паводка они размывают берега, затопляют поля, портят почву и причиняют лишь смерть и разрушения, в то время как вдали от них огромные пространства земли страдают от засухи и не дают урожая; но, если обуздать водную стихию и правильно использовать ее, реки могут орошать поля, давать энергию, способствовать процветанию страны. Таким же образом великая сила веры народной может быть направлена по верному пути, стать созидательной; и тогда, когда эта великая сила не будет пропадать впустую, она перестанет быть проклятьем, омрачающим жизнь; она пойдет на пользу стране, будет способствовать ее величию и славе.

Что удивительного, если человек с такими мыслями и чувствами не желает пачкать свои руки всей этой затеей с храмом?

Калу вздохнул. Он не обладал целеустремленностью и силой духа Бэтри. Он даже не знал, откуда Бэтри черпает эту силу духа. Калу чувствовал себя беспомощным. Кроме того, он должен думать о Чандре Лекхе. Что будет с девушкой, если он завтра умрет, не успев выдать ее замуж и устроить ее жизнь?

Калу принял решение. Он поговорит с Лекхой, скажет ей все начистоту. Другого выхода нет.

Он приступил к делу сразу после ужина, когда Лекха вышла на балкон с книгой.

— Лекха, я должен тебе сказать кое-что. Послушай. Молодая девушка не должна слишком часто появляться в обществе посторонних мужчин.

Лекха с удивлением посмотрела на него.

— Каких посторонних мужчин?

Калу заколебался.

— Пойми, Лекха, я думаю только о твоем благе.

— Но что ты хочешь сказать?

— Не надо, чтобы тебя видели на улице вместе с Бэтри

— Почему, отец? — Недоумение отразилось на ее лице.

— Ходят всякие нехорошие толки.

Лицо ее сразу изменилось, стало суровым.

— Нехорошие толки?

— Что же тут удивительного?

Лекха некоторое время молчала.

— А какое мне дело?

— Чандра Лекха!

Калу увидел, как губы ее сжались в прямую жесткую линию. Он знал, что это значило. Порой, правда очень редко, на Лекху находило такое настроение, когда голос здравого смысла умолкал в ней, она становилась упрямой, безрассудной и твердой, как камень. С ее матерью тоже бывало так, Калу помнил.

— Сколько времени еще я должна быть заперта в этой золоченой клетке? Тебе это нравится, а с меня довольно.

— Золоченая клетка? Ты забываешь ее значение. Как ты можешь?

Чандра Лекха покачала головой и сказала:

— Человек, который любит свой народ, восстает против его дурных правителей, но, получив в руки власть, сам становится заодно с ними. Старая сказка. Так везде бывает.

— Это тебе Бэтри сказал, — голос Калу зазвенел. — Он молод и слишком легко делает выводы. Он не понимает моего положения и твоего...

— Я доверяю ему.

Лекха больше ничего не сказала. Но Калу, зная ее, понимал, что перед ним воплощение непокорности. Он должен быть жесток, иначе ее воля вступит в единоборство с ним, а речь идет о жизненно важном вопросе.

— Скоро же ты забыла, каким зверем может быть мужчина. Вспомни ту ночь... тот ужас...

Лицо Лекхи посерело. Упрямое выражение исчезло, в глазах отразилась невыносимая боль. Губы девушки задрожали. Она вскочила и бросилась прочь.

Калу остался на балконе, сгорая от стыда. Ни разу до этой минуты он ни словом не напомнил ей о той ночи.

— Бхагван! — простонал он. Как видно, суждено ему не знать покоя в жизни. Беды не оставляют его: не одно, так другое.

Она доверяет Бэтри. А кто бы отказал ему в доверии? Но ведь не только в этом вопрос.

Вдруг его осенила мысль: а что если Лекха подразумевала нечто большее? В самом деле. Она теперь часто в конце дня выходит на балкон и смотрит на улицу как раз в то время, когда Бэтри пора возвращаться с работы. Или сидит и слушает радио, но вся настороженная: при малейшем стуке входной двери быстро вскакивает с места. Стоит ему прийти, она так и просияет и смеется весело, как давно уже не смеялась. А с какой заботой она стряпает для него на кухне. Мало того,

она вдруг стала интересоваться нарядами, начала носить золотую цепочку на шее и серьги. Алая мушка украсила ее лоб. Все это он замечал и раньше, но не вдумывался в значение этих перемен.

Так оно и есть. Калу кивнул головой в подтверждение своей догадки.

Если она выйдет замуж за Бэтри, она потеряет свою касту: ведь Бэтри не станет носить священный шнур брахмана. А что будет с ним, ее отцом? Прошло всего два месяца с тех пор, как он выиграл нелегкую борьбу из-за молочных омовений Шивы. Горькие чувства все еще живут в душе побежденных, и они сразу воспользуются случаем отомстить. Они сбросят верховного священнослужителя храма с его высокого пьедестала. Они станут топтать его ногами, растерзают на части.

— Чего еще можно было ждать от человека, отказавшего Матери всех Рек в молоке? — завопят они. — О, мы сразу по его лицу увидели, с кем имеем дело.

Все, что он создал, рассеется, как пустой сон.

А что станется с Чандрой Лекхой? Что может предложить ей Бэтри, кроме бедности, унижения и страданий? Нет, нет, Калу будет умолять ее! Смиренно, сложив на груди руки, он, ее отец, станет просить ее не портить всего.

Как-то давно, до того еще, как дела пошли плохо, он обжег палец на огне паяльной трубки. Лекха, вернувшись из школы, увидела пузыри. Она посмотрела на руку Калу и разрыдалась. Невозможно было успокоить ее. Взрослая, шестнадцатилетняя девушка плакала целый час, как ребенок, которого горько обидели.

Наконец Калу убедил ее, что ожог несерьезен, и тогда, утевшившись и вытерев слезы, она с застенчивой улыбкой сказала: «Как же мне было не заплакать? Разве я каменная? А что бы ты почувствовал, если бы это я обожгла палец?» Глаза ее вновь наполнились слезами, и она добавила шепотом: «Я не могу, когда тебе больно».

Неужели же сейчас она не пожалеет его и не захочет прислушаться к его мольбе?

Калу чувствовал себя униженным. Поднявшись на ноги, он стал вглядываться в темноту вокруг храма, густое переплетение ветвей многоствольного баньяна делало ее еще более непроглядной. Да, он поговорит с Лекхой.

И все же Калу не двинулся с места. Он облокотился на перила балкона, и миг облегчения потонул в море муки.

Что у Лекхи на сердце? А если это настоящая любовь?

Она будет страдать. Она снова будет несчастной, даже больше, чем прежде.

Но иногда, чтобы вылечить болезнь, необходимы энергичные меры, вроде хирургического ножа. Ведь речь идет о будущем Лекхи...

Он пойдет и будет просить ее. Лекха, безусловно, послушает его.

Калу наклонился над перилами, прижался к ним грудью.

А что если в Лекхе живет настоящая любовь, любовь женщины к мужчине, и она пожертвует этой любовью ради отца? Будет ли она когда-нибудь снова счастлива?

Долгое время Калу еще колебался. Потом он принял решение. У него нет выбора. Страдание душило его. Выбора нет.

Волоча босые ноги по зеленому полу, Калу вышел во внутренний коридор и подошел к двери комнаты Лекхи. Рука его протянулась к дверной ручке.

Но он медлил, с содроганием думая о предстоящем разговоре, и в этот момент перед глазами его встала картина.

Сжавшись в комочек на грязной плетеной койке в темной каморке, рыдала Лекха. Слезы смочили его руку, когда он коснулся ее лица... а на спине рубцы от ударов хлыста...

Пальцы Калу, сжимавшие ручку двери, заныли от той боли, которую ей пришлось перенести. Нежность хлынула из его сердца, как прохладный ручей, вытекающий из накаленной солнцем скалы. «Они били тебя, девочка? Они били тебя?»

Рука его опустилась. Он подождал немного, исходя нежностью. Ему так мучительно хотелось погладить дочь по голове, приласкать ее, избавить от боли. С тяжелым вздохом, сотрясшим его могучее тело, Калу повернулся от двери и пошел прочь.

Он выключил свет на балконе и сел на пол, скрестив ноги, пристально глядя на судорожно стиснутые руки, лежащие на коленях. Сгорбившись, он прислонился к стенке, но через минуту выпрямился. Похожий на большого печального идола, он вглядывался в темноту ночи, и теплый пот быстро высыхал на его груди.

(Окончание следует)

(К пятидесятилетию со дня смерти Генрика Ибсена)

Клара Цеткин

ГЕНРИК ИБСЕН

Наш последний номер был готов к выходу, когда телеграф принес известие, что 23 мая 1906 года в Христиании умер Генрик Ибсен. Угасающий семидесятивосьмилетний старец уже долгие годы только пребывал среди нас, словно тень самого себя — тень человека, для которого творить значило когда-то бороться. И вот перед нами — дело жизни борца и художника. Не сетуя на то, что его гений не снимет новые жатвы, мы стоим у могилы великого человека, полные глубокой благодарности и благоговения перед огромными художественными и нравственными сокровищами, которые он создал для человечества в неустанной мучительной борьбе за совершенное мастерство, поставленное им на службу правды. Ибсен достиг высот художественного творчества, обрел силы стать разведчиком, пролагающим новые пути, вел за собой литературу и остался наставником, живым и несравненным, пробуждающим сознание человека, потому что его гений художника никогда не склонялся перед уловками слабых, рабски трусливых и продажных людей, проповедующих l'art pour l'art, искусство только для искусства, искусство ради него самого.

Нет художника, который ценил бы искусство выше, чем Ибсен, и больше, чем он, веровал бы в его обязанность удовлетворять безграничные стремления личности. Творить значило для него: «держать суд над самим собой». Он служил искусству с беззаветной и страстной преданностью, в которой воплотились две характернейшие черты его существа: языческая, упрямая и несгибаемая сила, любой ценой стремящаяся достичь своей цели, и христианское самоотречение, жертвующее всем. Но именно потому, что Ибсен видел в искусстве высший продукт развития человечества, он требовал от него не опьяняющих удовольствий и не эстетических пиршеств для чувств и души, а служения иным, гораздо более высоким целям. Искусство было для Ибсена прежде всего великим воспитателем, призванным вести человека вратами красоты в страну познания. Поэтому его муза не бежит в далекий от мира волшебный сад, где расцветают мечты; она близка человеку наших дней с его трудными, лихорадочными поисками и мучительными конфликтами; она остается в гуще борьбы и сутолоки времени, даже когда ищет тишины фиорда, подымается на сверкающие ледяные вершины или, облекаясь в одежды прошлого, опускается к потонувшим мирам. Она предстает перед нами не как кроткая посланница, наигрывающая на свирели мелодию священной гармонии, но как суровая воительница с оружием в руках. Искусство Ибсе-

---

Статья Клары Цеткин взята из сборника статей, вышедшего в Берлине в 1955 году, «Clara Zetkin, Über Literatur und Kunst», Berlin, Aufbau—Verlag, 1955. («Клара Цеткин, о литературе и искусстве», Берлин, Ауфбауферлаг, 1955). Впервые опубликована в газете «Gleichheit» („Равенство") от 16 июля 1906 года (№ 12).

на — искусство проблемное и тенденциозное в самом высшем и всеобъемлющем смысле слова.

Его цель — решение «вечных проблем» человечества, поиски мировоззрения, приводящего личность к наивысшему развитию и плодотворной деятельности. Эта цель придает творчеству Ибсена, каким бы многообразным оно нам ни казалось, глубокое единство. В поисках правды норвежский мастер углубился в язычество и христианство и сопоставил, критически оценив их, картину одного мира с картиной другого. Но ни античность, ни евангелисты и апостолы христианства не могли дать ответ, который погасил бы в груди упорного искателя всепожирающее пламя. Борьба Ибсена за правду не стала от этого менее страстной. Чтобы расчистить ей путь, он, создавая произведение за произведением, разрушал владычество лжи. Как личных врагов ненавидел он лицемерие и ложь и боролся с ними, даже когда они выступали под маской общественной морали или под гримом индивидуалистического идеализма. Он преследовал их не только в отношениях между людьми, но и в самых глубоких тайниках человеческой души. Ложь не была для него бескровной абстракцией, и он выступал против нее не с назидательными проповедями. С неумолимостью ученого разоблачал он ложь в конкретных и разнообразных проявлениях, видя в ней закономерное порождение как развивающегося, так и достигшего зрелости капиталистического строя; Ибсен судил ложь за то, что она разрушает личность, отношение ее к ближнему и ко всему человечеству.

Неутомимый правдоискатель не мог не стать беспощадным критиком и разрушителем моральной надстройки, венчающей буржуазное общество. Полный здоровой силы и страстной веры в свое призвание художника, напрягая каждый мускул и сосредоточивая всю энергию для достижения одной цели, Ибсен сотрясает опоры общественного здания, разбивая вдребезги украшающие его роскошные орнаменты. Властным жестом указывая на ложь, восседающую, как повелительница, на троне, исполненный святого гнева, Ибсен снова и снова бросает миру свое — «écrasez l'infâme» — раздавите гадину; он будит отвращение, ненависть и зовет к борьбе против господствующей изолгавшейся морали далеко за пределами общества, которое так пышно славословит его за непревзойденное мастерство.

Женщины обязаны Ибсену особой благодарностью за его разрушительный и раскрепощающий труд. Больше чем кто-либо другой, он был их поэтом, поэтом женщины, которая, стремясь вырваться из болота лживого существования, израненными руками и с кровоточащим сердцем разбивает древние скрижали и отстаивает человеческие и личные права. Мы не забываем, что Ибсеном раскрыта, прежде всего, духовная драма буржуазной женщины. Пролетарке приходится вести величайшую и решающую битву за свое человеческое и социальное освобождение не против Гельмеров и лживости брака, а против капиталистов и капиталистического строя. Экономическое развитие освобождает духовные и материальные силы пролетариата, которые революционизируют отношения женщины к мужчине и семье и выметают, как сор, предрассудки и ложь, отравляющие отношения между полами и убивающие в женщине человека. Однако объективные тенденции действительности всегда медленно проникают в субъективный мир. Еще слишком много поэтому среди нас Гельмеров, с которыми пролетарской женщине предстоит рассчитаться, если она хочет завоевать в классовой борьбе свои человеческие права. Конечно, женщина при любых социальных условиях, преодолевая внутренние противоречия, будет бороться за ясность в вопросе, особенно глубоко волнующем героинь Ибсена: в вопросе о границе между правом на самоутверждение и долгом самоотречения. Выходя за рамки буржуазного

мира и своего времени, скандинавский писатель, как глашатай и наставник, воздействует на женщин, понимающих, что женщинами в полном смысле слова они смогут стать, только будучи свободными и всесторонне развитыми людьми.

Благодаря неукротимому стремлению к правде и неумолимости критики Ибсен стал разрушителем устоев и обычаев буржуазного общества, революционером. Но ему не дано было стоять на неколебимой почве социалистического мировоззрения, идеологические бури и ветры играли им. Однако мощь борца, непреклонный, прометеевский, бунтарский дух и творческий гений завоевали Ибсену, несмотря на это, первое место в ряду тех художников нашего времени, в чьих произведениях бурлит и пенится революционная сила жизни. Господствующие классы проявляют всегда тончайшее чутье ко всему, что угрожает их власти. Не случайно поэтому современные тунеядцы и их духовные лакеи ненавидят Ибсена и преследуют его с пеной у рта.

Ибсена связывает с пролетариатом не только революционная критика, но и другая характерная черта его внутреннего облика и его искусства, органически дополняющая ее: страстное стремление к новому миру правды, красоты и свободы, к стране радости, где живут люди, не ведающие иного закона, кроме собственной воли, не знающие иных границ своей деятельности, кроме интересов общества. Но Ибсен не создал широкой и яркой картины этой страны. Его уста не разверзались, когда сердце дрожало в священном трепете гордых надежд на будущее. Глубоко под сверкающими ледяными скалами социальной критики Ибсена пылал вулканический огонь его мечты об обновлении мира. Эта страстная мечта воплотилась в могучих образах героев, которые решились идти вперед, как следопыты, и пробивать дорогу человечеству на его тернистом пути. Она неумолимо влечет Бранда — героя и мученика своей страстной веры — к миссии вывести человечество из мрачных долин наверх, к ясным и светлым высотам. Она владеет опьяненным мыслью и красотой Юлианом, который один отстаивает величие созданного в мечтах идеального царства от вторгающегося в него страшного мира. Она живет даже в героях, слишком слабых и болезненных, чтобы восстать и бороться, и способных только тешить себя пустыми грезами о борьбе; она живет даже там, где запустение и смерть, среди развалин. То, что революционные стремления Ибсена не обретали твердой исторической почвы, а терялись в облаках, было, пожалуй, его трагедией, во всяком случае, его долей национально-исторической ограниченности. Поэтому его судьба «вопрошать, но не давать ответа». В тоскующих, мятущихся душах героев Ибсена конфликты кончаются не благополучными развязками, а катастрофами. И все-таки от его произведений веет надеждой и глубокой верой в будущее освобожденного человечества, а не смертным дыханием усталости и отчаяния. Эта вера возникает не из побед его героев и героинь; ее животворная волшебная сила рождается из стремления личности к красоте и радости жизни; она зовет тех, кто способен желать и бороться, порвать с грязным и лживым, болезненным и лихорадочным существованием; она придает силу древней и вечно юной мечте человечества «быть подобным богам». Такая вера, порождающая борьбу — пусть без осязаемых тотчас плодов,— была для Ибсена залогом непрекращающегося прогресса человечества.

Это сближает Ибсена с Лессингом, который в отличие от сытых, ленивых и самоуверенных хранителей «вечных истин» ценил поиски истины выше, чем обладание ею. Эти поиски придали сомнениям Ибсена силу и плодотворность. Среди гибели и гниения распадающегося мира жажда истины сохранила нетленной его веру в царство грядущего, в торжество идей свободы и счастья, в уничтожение господства «Цезаря и

Галилеянина», порабощающего тела и души. Ибсен видел, как в недрах времен медленно созревает мировоззрение — синтез порожденных античностью, исторически жизнеспособных нравственных ценностей и идеи личного, а потому и всечеловеческого развития, принесенной христианством: синтез, представляющий, однако, в своей гармонической целостности нечто новое, существенно отличное от того и другого. Ибсен боролся за победу гармонического единства; и если на закате жизни в его творчестве все более давал себя знать полный загадок символизм, то это не значит, что Ибсен, подобно Рихарду Вагнеру, пришел к пессимизму Шопенгауэра, а через него — прямым путем — во тьму христианского мистицизма.

Своими поисками и своей верой Ибсен дорог нам. Разве пролетарская классовая борьба — это не классическая историческая форма выражения чаяний человечества, стремящегося, подобно освобожденному от оков Прометею, подняться к солнечным вершинам, и разве не доверием к этому радостному будущему рождено стремление Ибсена раскрыть для него двери?

Однако как бы Ибсен ни приближался в этом отношении к борющемуся пролетариату, он шел к общей цели одинокой тропой, лежащей в стороне от поля исторической битвы, которое сотрясается от поступи рабочих батальонов. Вскормленный соками современной мировой культуры, Ибсен бесконечно перерос узость и мелочность взрастившей его среды, однако даже его упорство и сила оказались не в состоянии полностью сломить преграды, стоявшие на его пути.

В Норвегии юный Ибсен не познакомился с порожденным высокоразвитой индустрией современным пролетариатом, чья классовая борьба, как очищающая гроза, бушует над морем мировой истории, создавая в грохоте бури и блеске молний новое мировоззрение. Духовная атмосфера, в которой жил Ибсен, была проникнута пиэтизмом, проповедовавшим одно разрешение всех социальных проблем и личных конфликтов: религиозно-нравственное возрождение, чистоту внутренней жизни. И в юности, и долгое время в пору зрелости Ибсен боролся в одиночестве, защищая от целого мира непонимания и вражды самое святое для него — призвание писателя. Ибсен не видел поэтому исторической необходимости, которая связала идейную борьбу за новый общественный строй с классовой борьбой пролетариата против буржуазии и передавшей дело освобождения из рук одиночек в руки организованных масс.

Скандинавский писатель создал свое новое миропонимание из бурлящего хаоса духовно-нравственных конфликтов, лишенных тяжести земной социальной борьбы за экономическую и политическую власть; как акушер, помогает он рождению могучих и прекрасных героев, наделенных творческой силой, благородством и человечностью, — героев, которые благодаря высочайшим требованиям, предъявляемым ими к самим себе, могут воспитывать благородство в других. Для Ибсена в противоположность Шиллеру идеальное государство не было эстетической игрой теней, а скорее действительностью, полной жизни.

Однако то, что отделяет Ибсена от пролетариата, не ставит его в непреодолимо враждебную к пролетариату позицию. Научный социализм, за торжество которого идет борьба, есть нечто большее, чем только экономическая и политическая программа. Это мировоззрение — самое всеобъемлющее и самое цельное из всех, которые знает история. Оно дает человечеству величайшие объективные и субъективные возможности развития. Дитя естественных и общественных наук, социалистическое мировоззрение должно разрушить господство и Цезаря и Галилеянина. Новое государство, которое Ибсен предвидел, когда его революционные стремления достигали высшего подъема, может быть только социалистическим. Непреодолимая логика внут-

реннего развития помогла вдумчивому мыслителю, наблюдавшему человеческие характеры и судьбы, прийти к мировоззрению, в котором он, не стремясь к этому сознательно, пришел к подобным же выводам, что и социалистические философы-моралисты в результате научных исследований.

Творчество Ибсена оказывает поддержку пролетариату во многих жарких битвах против лжи буржуазного общества.

Не презрение к массам заставляет Ибсена связать большую часть дорогих ему надежд с утверждением личности, а вера в дремлющие в ней силы. Требуя высшего развития личности, он хотел не отвергнуть, а сделать плодотворнее действия масс. Бо́льшая нравственная ценность каждого индивидуума повышает активность и силу всех. При этом Ибсен определял весомость каждой личности, а не просто пересчитывал их; выше, чем численность массы, Ибсен ценит живущий в ней дух, не замечая при этом, что в процессе исторического развития количество переходит в качество. Однако от непонимания этого закона до индивидуалистического отстранения от толпы — большой шаг, которого Ибсен никогда не делал. Ницше заставляет своего сверхчеловека, не зная сострадания, господствовать над массой. Благородный герой Ибсена остается с людьми, чтобы воспитывать их, после того как он сам в мучительной борьбе добивается нравственной чистоты и воспитывает себя. Он хочет быть свободным не во имя господства, а для того, чтобы не быть порабощенным силой других или собственной слабостью. В своем развитии и деятельности он чувствует себя связанным с жизнью и борьбой масс. Право свободного жизнеутверждения, которое поэт требует для личности,— исходная точка для развития чувства ответственности человека перед обществом. Только тот, кто достиг зрелости и силы, смеет и может стать кем-либо для других. Верность самому себе есть поэтому высшая заповедь человека, которого бич внутренней необходимости пробуждает для работы над решением великих задач эпохи. В этих идеях — истоки пресловутого ибсеновского индивидуализма, внутренне спаянного с суровым и деятельным альтруизмом. Поэтому в 1885 году на собрании дронтгеймских рабочих Ибсен мог сказать, не изменяя своим идеям и не вступая в противоречие с ними,— что он ждет подлинной свободы от развития благородства характера, воли и мысли, которое несут с собою рабочие и женщины.

В рамках этой статьи невозможно оценить художника, который стоит, как равный, рядом с величайшими драматургами всех времен и народов; его творчество оставит глубокий, длительный след во всей современной литературе. Мы сохраняем за собой право в более поздней работе проследить в самых значительных творениях Ибсена их революционное и воспитательное содержание — то, что мы смогли сейчас только бегло наметить.

В буржуазных кругах творчество Ибсена пугает совесть многих ленивых и бездумных; оно безжалостно срывает покровы, скрывающие лживую мораль современного общества. Со взрывной силой динамита его искусство действует прежде всего на буржуазную интеллигенцию, поставляющую отряды духовных защитников капитализма. Оно вносит беспокойство, смятение, разлад и возмущение в мир буржуазии, ослабляя ее сопротивление натиску пролетариата.

Творчество Ибсена освобождает и пролетариат из сетей, которыми опутала его лживая буржуазная идеология. Оно делает его более зорким, учит видеть недуги и пороки буржуазного строя, обостряет его критику и укрепляет ненависть. Побеждая время, искусство Ибсена воспитывает возвышенную, сильную и прекрасную личность. Оно заставляет каждого человека осмыслить свой внутренний мир и окружение,

взвесить свои обязанности и права. Оно ставит человека лицом к лицу с его делами, с его волей и желаниями, с его страстями и надеждами. Из самой глубины его сознания оно извлекает на поверхность все то, что человек хотел бы скрыть от самого себя, не позволяя ему при этом ни лепета уловок, ни надуманных оправданий. «Таков ты есть! Каким ты должен быть и каким ты можешь быть?» — вопрошает Ибсен до тех пор, пока человек не находит свой путь становления или, по крайней мере, не начинает ощупью искать его.

Пролетариат нуждается для борьбы и победы в личностях, способных соединить в себе право самоутверждения и долг самопожертвования. Вместе с ростом задач освободительной борьбы, с расцветом культуры масс будет расти воспитательное значение творчества Ибсена для пролетариата. Ибсен-бунтарь будет жить, пока существует буржуазное общество; Ибсен, художник и воспитатель, переживет его.

Борис Зихерл

Иван Цанкар, основатель словенской социалистической литературы

(К 80-летию со дня рождения)

I

Иван Цанкар родился в 1876 году в Врхнике, близ Любляны. Отец его был бедный портной, человек слабовольный, неприспособленный к жизни, измученный каждодневной борьбой за существование. Мать (писатель в своих произведениях создал ей памятник, неповторимый в истории словенской литературы) была женщиной необычайной моральной силы, она была исполнена всеобъемлющей любви к людям и ради них готова была пожертвовать собой.

Молодость Цанкар, сын полупролетария, провел на врхницкой «улице бедняков». Эти годы оставили глубокий след в жизни и творчестве писателя.

Окончив в 1896 году гимназию в Любляне, Цанкар уехал в Вену, где поступил в университет. Но вскоре он бросил учебу и все свои силы посвятил литературному творчеству, борьбе за освобождение человека— творца материальной и духовной культуры.

Умер Цанкар 11 декабря 1918 года в Любляне. Писатель был свидетелем распада Австро-Венгрии и конца первой мировой войны, во время которой он не избежал тяжелых испытаний, выпавших в те времена на долю «политически неблагонадежных» людей.

Таковы основные факты жизни крупнейшего словенского писателя, основателя словенской социалистической литературы.

В период, когда жил и писал Иван Цанкар, социальные и национальные противоречия расшатывали основы многонациональной капиталистическо-помещичьей Австро-Венгрии.

В конце XIX века судьбой народа Словении, уже сотни лет находившегося под иноземным господством, начали торговать реакционные политические группировки: либералы и клерикалы.

Либералы являлись политическими представителями капиталистических элементов Словении, пытавшихся путем жестокой эксплуатации рабочих и разорения крестьянства противостоять натиску более развитого австро-немецкого капитала и утвердиться в экономическом отношении. Либеральная национально-прогрессивная партия опиралась на узкую прослойку городской мелкой буржуазии. На селе ее главной опорой были купцы и учительство. Идеологи запоздалого либерализма в Словении пытались пустой фразой подменить реальные действия своего класса. Пропасть между словами и делами у словенских либералов достигала неслыханной глубины.

Непримиримые противоречия между словенской либеральной буржуазией и крестьянскими массами искусно использовала объединенная австрийская буржуазно-помещичья реакция, для которой клерикализм стал самым подходящим идеологическим оружием.

Клерикальный «антикапитализм» представлял собой в то время богатый арсенал социальной демагогии, и правящая реакция использовала его в борьбе против слаборазвитой буржуазии национальных меньшинств Австрии и, прежде всего против рабочего движения и его идеологии, против союза обнищавшего трудового крестьянства с пролетариатом. Реакционный клерикальный космополитизм служил венским правящим кругам оружием в борьбе с освободительным движением угнетенных народов Австро-Венгрии.

Пытаясь экономически подчинить широкие крестьянские массы, клерикалы как в Словении, так и в других областях Австрии организовывали сельскохозяйственные кооперативы, которым австрийский финансовый капитал оказывал значительную поддержку. Повсюду появлялись такие кооперативы со сберегательными кассами. Управление этими кооперативами находилось исключительно в руках приходских священников и видных католических сельских хозяев. Бывшая опора либерализма на селе — ростовщики, сельские перекупщики и другие — начинают вступать в клерикальные общества, возникают большие кооперативные центры и финансовые учреждения. Появляется словенский финансовый капитал, который впоследствии, в период меж-

---

Борис Зихерл — известный югославский литературный критик.

ду двумя мировыми войнами господствует в словенской экономике.

Словенский клерикально-финансовый капитал, являющийся агентом австро-германской финансовой олигархии, полностью включается во внутреннюю и внешнюю политику Австро-Венгрии.

Клерикальная реакция стремилась обеспечить себе полную духовную власть над крестьянскими массами, чтобы они не поняли ее подлой игры. Либерализм она считала нужным изолировать, прежде всего потому, что он способствовал проникновению передовой пролетарской идеологии в массы обедневших крестьян, облегчая связь трудящихся города и деревни. Весь мощный аппарат католической церкви — духовенство, алтарь, амвон и исповедальни — был мобилизован для полного духовного порабощения словенских крестьян. Во времена воинствующего клерикализма в Словении епископ Люблянский скупил и сжег весь тираж первого поэтического сборника Цанкара, вышедшего в 1899 году.

Между тем в Словении из рядов разорившихся крестьян и мелких производителей вообще вырастал словенский пролетариат, который сосредоточивался в индустриальных центрах: в Триесте, Трбовле, Есеницах и т. д. Образовались первые рабочие профсоюзы, появились первые социал-демократические организации.

Иван Цанкар был одним из первых словенских интеллигентов, которые уже тогда поняли или хотя бы почувствовали, что рабочий класс несет в себе отрицание тогдашней постыдной словенской действительности.

II

В провинциальных городах Словении — запоздалый, бледный, бессодержательный либерализм, по существу консервативный и ограниченный; в селах — воинствующий клерикализм, верный прислужник господствующей австрийской реакции, враг всякого прогресса и темный властитель «словенской крестьянской души»; в индустриальных районах и крупных городах — растущие, политически пробуждающиеся передовые силы, которым среди словенского народа, как и везде в мире, принадлежала самая почетная роль в национальной истории,— такова была действительность, которую Иван Цанкар художественно воплотил в своих произведениях.

Вместе с поэтом Отоном Жупанчичем и двумя рано умершими поэтами Драготином Кетте и Иваном Мурном-Александровым Иван Цанкар входил в группу, которую в словенской истории литературы называют «Словенская новь» («Словенска модерна»). Эта группа порвала с мелким эпигонством предыдущего литературного поколения, с натурализмом и дряхлым «вольнодумством», отражавшим идейную бедность словенского либерализма. «Словенская новь» выражала стремления молодой словенской интеллигенции, рвавшейся из тяжелой общественно-политической атмосферы в Словении, но не знавшей еще, куда идти.

Первый период «Нови», длившийся приблизительно до 1900 года, характеризуется решительным отдалением ее представителей от какой бы то ни было политики, их уходом в литературу, восхищением немецкой, французской и скандинавской модернистской литературой, западноевропейским неоромантизмом и символизмом. В лекции о словенской литературе в 1911 году Цанкар говорит о причинах такого настроения среди лучших представителей словенской молодой интеллигенции: «Молодежь была настолько возмущена тогдашней политикой и всей общественной жизнью, что совсем зарылась в чистую литературу».

Иван Цанкар первым из группы «Нови» понял, что, кроме реакционной клерикальной политики и мелкого либерального политиканства, существует другая политика — борьба за освобождение народных масс как от либеральных, так и от клерикальных эксплуататоров. Понимание этого привело его в ряды рабочего движения, в социал-демократическую партию. В статье «Как я стал социалистом», написанной в 1913 году (но опубликованной только после его смерти), Цанкар так характеризует первый период своего творчества: «Вместо того чтобы осмотреться и разобраться, я нашел убежище в поэзии, о которой думал, что она выше «неприглядных будней» и пребывает в туманных высотах».

Нет сомнения, что творчество поэтов и писателей «Словенской нови», особенно в первый период ее существования, в известной мере перекликается с западноевропейским модернизмом. Но только в известной мере. Между неоромантизмом и символизмом на Западе и «Словенской новью» есть существенная разница, особенно в содержании самих художественных произведений.

Как на Западе, так и в Словении неоромантизм представлял собой «уход от действительности», «уход в царство мечтаний». Но этот уход в Словении не имел того значения, которое в большинстве случаев имел неоромантизм в западных странах; там было безразличие, примирение с тогдашней действительностью буржуазного мира, то есть не столько уход от этой действительности, сколько уход от революционных общественных преобразований, от новой общественной действительности, которая рождается в борьбе пролетариата и других слоев трудового народа. Наоборот, у четырех словенских представителей «Нови» уход в царство мечтаний был предчувствием лучшего будущего.

Общественная проблематика их творчества заключалась в отражении неудовлетворенных национальных стремлений, что сближало «Новь» с прогрессивным романтизмом первой половины XIX века; с другой стороны, сознание, правда еще смутное, что осуществление этих стремлений тесно связано с победой пролетариата, сближало

Цанкара и его соратников с романтизмом раннего Максима Горького.

Таким образом, объективная общественная роль поэзии Цанкара, так же как и Жупанчича, Кетте и Мурна, никогда не состояла в том, чтобы усыпить общественное сознание людей, парализовать их волю к борьбе, что в большинстве случаев характеризовало западный неоромантизм и его экспрессионистских последователей. Наоборот, прогрессивное значение «Словенской нови» состоит именно в предчувствии роста того, что в конкретной словенской действительности тогда казалось еще незначительным, но уже неизбежно превращалось в могучую реку, уничтожающую гниль и позор.

Цанкар первый * убедился, что его творчество должно иметь и имеет прогрессивное общественное значение. Об этом свидетельствуют многие его заявления и высказывания. Возьмем для примера «Белую хризантему», которую по праву можно считать самой глубокой исповедью писателя и его самым решительным выступлением против ограниченных мелкобуржуазных критиков того времени. В этом произведении Цанкар говорит и об отношении своего искусства к народу:

«Я показываю ему, как он мал, как малодушен, как скитается без воли и цели, я показываю ему торжество беспринципности, почитание лицемерия, прославление лжи; показываю для того, чтобы он пробудился, чтобы понял, кто он и где находится, чтобы заглянул в будущее. Разве я пел о печали не потому, что в моем сердце жила жажда веселья? Я рисовал ночь, пустую и серую, полную позора и горя, чтобы глаза еще сильнее потянулись к чистому свету. Поэтому, хотя мои слова были жестокими и тяжелыми, они все же были полны надежды и веры! Из ночи и болота мой верящий взгляд устремлялся в небесные дали. Вы же объявили меня пессимистом».

Те литературоведы, которые без раздумья причисляют Цанкара к символистам, отрывают форму его произведений от содержания. В действительности же форма его произведений неразрывно связана с содержанием.

Несомненно, что для творчества Цанкара характерны лирическое начало, личные излияния. Писатель любит подниматься на аллегорические высоты, его произведения насыщены символикой. Но на этом основании еще нельзя назвать Цанкара символистом. Реализм был бы очень беден, если бы его представители в художественном воспроизведении действительности отказались от символов и аллегорий. При таком понимании реализма нужно было бы изъять из его сферы лирическую поэзию и, может быть, вообще всю поэзию.

Возьмем в качестве примера «Батрака Ернея».

Известный словенский литературовед Иван Приятель, несомненно, прав, когда в своем очерке «Родина,— вот твой художник» подчеркивает, что главное в этом шедевре Цанкара не в самом скитании Ернея от старшины к царю, а в аллегории. «Батрак Ерней» — это песня песней словенской социалистической литературы. Этот образ символизирует борьбу трудового народа против присвоения капиталистами плодов его труда. К созданию именно такого символического образа побудила Цанкара тогдашняя жизнь. «Батрак Ерней» вышел в 1907 году, когда под влиянием русской революции 1905 года трудящиеся массы Австрии подымались на борьбу за общее избирательное право, за обязательное страхование по старости рабочих и крестьян. Трагедии, причиной которых в деревне явилось проникновение капитализма в патриархальные отношения между хозяевами и работниками, стали тогда, более чем когда-либо раньше, предметом социально-политических дискуссий в Австрии.

Аллегоричностью и символикой «Курента», или фарса «Искушение в долине Санфлорианской», Цанкар особенно подчеркнул основную общественно-критическую идею — идею принципиального противоречия между подлинным художником и будничной низостью буржуазного мира.

Даже в тех произведениях, где Цанкар в наибольшей степени приближается к творческой манере символистов, он черпает мотивы прежде всего из богатой сокровищницы народного творчества, значение которого постоянно подчеркивал Максим Горький. Образы произведений Цанкара связаны с фольклором, легендами, народными сказками, песнями, которые он считал «по форме и содержанию произведениями великими», как он писал в своей небольшой рецензии на сказки Милчинского. Для персонификации тех общественных факторов и тенденций, в окончательную победу которых Цанкар верит, он выбирает образы, созданные народной фантазией на протяжении столетий крепостничества: Курента — олицетворение веселья у древних; Петра Клепца и короля Матьяжа — персонажей, воплотивших освободительные стремления словенских крестьян; прекрасную Виду — символ непреодолимого стремления к счастью.

Поэтому абсолютно невозможно согласиться с теми словенскими буржуазными эстетами, литературными критиками и историками, которые пытались превратить Цанкара в настоящего декадента. В трудах этих эстетов, критиков и историков Цанкар представляется то как слезливый литератор, у которого ничего нет, кроме его «возвышенных» стремлений, то как пустой литературный «вольнодумец» и даже ницшеанец, чье творчество далеко от народа и его стремлений, то чуть ли не как представитель клерикализма в литературе. Тенденциозно подчеркивая в произведениях Цанкара неоромантические и символические элементы, они пытались полностью исказить

* Из группы „Нови". (Прим. автора).

дух прогрессивного художника-бунтаря. А как раз этот дух характерен для всего творчества Цанкара.

Сам Цанкар решительно отвергал такое истолкование своего творчества. Еще 24 августа 1899 года в письме Францу Говекару, одному из типичнейших представителей беспринципности и филистерской ограниченности в словенской литературе и литературной критике, он заявил: «Что мне до того, что вы в моих произведениях находите лишь одни мечтания и сумасбродства, и при этом не видите ни сатиры, которая в них обычно является ядром всего, ни иронии, ни поэзии».

В критических произведениях и заметках о собственных произведениях или произведениях его друзей из «Нови» Цанкар часто повторяет, что для их творчества решающее значение имела победа правдивого, естественного и вместе с тем поистине словенского над «самодовольным, кокетливым хныканьем», над всем эпигонским и декадентским. В заметке о Кетте, опубликованной им в 1900 году, да и в других работах он выступает против формалистов, которые распространяли в стране ложь, будто искусство должно служить самому себе, которые лишили его идей и возвели форму на излишнюю высоту, от чего родился формализм, «не имеющий ничего общего с жизнью и с великими мировыми проблемами и влачащий жалкое существование». Говоря о том, что символизм и неоромантизм имели на него и его друзей лишь преходящее влияние, Цанкар вместе с тем подчеркивает то большое и постоянное уважение, которое все они всегда питали к классикам европейской поэзии первой половины XIX столетия — к Байрону, Лермонтову, Пушкину, Мицкевичу и особенно к крупнейшему словенскому поэту Прешерну.

В период своего пребывания в Вене Цанкар начал интересоваться социал-демократической печатью и приблизился к рабочему движению. В письме словенской феминистке и писательнице Софии Кведровой он изложил свой взгляд на европейский декаданс, а также на свое понимание искусства, его смысла и роли: «Что касается декаданса, я должен Вам изложить свои взгляды более подробно, что бы Вы меня не поняли неправильно. Я дышал им столько времени, что, наконец, устал... Это городская пыль, городская нервозность. Все самые незначительные, едва заметные ощущения непомерно преувеличиваются; у поэта нет другого занятия, как копаться в самом себе. Он эгоист, но эгоист самого непонятного и на первый взгляд совершенно бессмысленного вида. Чего он хочет достичь, например, для себя? На кого и для чего он хочет влиять, раскрывая и объясняя чувства, которые он сам еле замечает и ощущает и которые для других людей не имеют никакого значения? Скажу вам коротко. На мой взгляд, смысл имеет или такое тенденциозное искусство, как искусство Гоголя, Толстого и других, которое ставит своей целью осуществление социальных, политических или философских идей с помощью сильных средств красоты, или же искусство древних греков, Шекспира, Гете и других, имеющее только эстетическое и этическое значение. Искусство же некоторых декадентов — это самоистязание, а у иных вообще не что другое, как игра словами... Но, во всяком случае, декаданс был во многом полезен. Под его влиянием чувства стали глубже и тоньше, а выразительные средства нюансированы и *оригинальны*... Однако — и это главная причина, почему все, что порождал так называемый декаданс, мне стало противным — там у нас нужна реформация и революция в *политической, социальной* и *всей общественной жизни*, и этой реформации должна прокладать дорогу *литература*» (8 мая 1908 г.).

Я не знаю, был ли Цанкар, когда писал эти строки, знаком со статьями Меринга о новейших течениях в европейской литературе, опубликованными в социал-демократической печати, в частности в журналах «Die Volksbühne» и «Neue Zeit». И хотя Цанкар, очевидно, не знал действительных общественных корней литературного декаданса, но все же глубоко понимал его субъективистский, индивидуалистический и, как он говорил, эгоистический характер и его общественную роль.

Мысль о том, что литература должна быть одним из духовных двигателей социального и политического преобразования, проходит через все произведения Цанкара. По мнению Цанкара, критика и борьба — вот подлинное назначение художника. В «Юбилее» он говорит о настоящем писателе, как о человеке, который, подобно Данко из рассказа Горького «Старуха Изергиль», разрывает грудь, вырывает сердце и отдает его народу, который он любит всей силой художника.

III

Вершиной глубоко содержательного и боевого обличительного творчества Ивана Цанкара явились драмы «На благо народа», «Король Бетайновы», «Искушение в долине Санфлорианской» и «Холопы». Сам Цанкар был убежден, что именно в драматургии сила его таланта, о чем он неоднократно писал своим родным и друзьям.

Ведущим эстетическим принципом для своих драм писатель избрал известную мысль из «Гамлета», которого он первый перевел на словенский язык: «Цель искусства как прежде, так и теперь была и есть — держать как бы зеркало перед природой: являть добродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток». Эти слова Цанкар поставил эпиграфом к своей драме «Холопы».

Герои драм Цанкара — это прогрессивно настроенные интеллигенты, задыхающиеся в

гнилой атмосфере словенской действительности. Они то воспламеняются бессильным протестом, то впадают в разочарование, замыкаются в себе или трагически гибнут, то опять чувствуют рождение чего-то нового, что откроет словенскому народу путь к лучшему будущему. Нет сомнения, что во всех этих героях драм Цанкара воплощены и его собственные колебания, мимолетное отчаяние, отрицание и вновь пробужденная вера в освободительную миссию трудового народа.

Все эти образы, так или иначе напоминающие автора, выделяются из массы классически нарисованных типов, представляющих собой тогдашнюю среднюю словенскую интеллигенцию: с одной стороны, продажных литераторов, журналистов и юристов, всяких Стебельцов и Сираток из комедии «На благо народа», либеральных обывателей и самодовольных подхалимов разных Бернотов из «Короля Бетайновы», легкомысленных учительниц и политических хамелеонов, с другой — добродушных, честных святош, вроде учителя Хвастье из «Холопов».

С силой, присущей лишь большому реалисту, Цанкар нарисовал образы тех, кто возвышается над этими жалкими пешками, нарисовал типичных представителей светской и духовной реакции в Словении на рубеже двух столетий: ницшеанского «сверхчеловека» Кантора, «короля Бетайновы» и иезуитского приходского священника из «Холопов».

Сначала Иван Цанкар написал две менее значительные драмы: «Романтичные души» и «Яков Руда», а затем в 1901 году выступил со своим первым значительным общественно-критическим драматическим произведением — комедией «На благо народа», о которой сам говорил, что она «направлена против фразеров и фраз». Это прежде всего сатира на беспринципность борьбы между отдельными словенскими реакционными партиями, на продажность печати и на искусство для искусства официальной поэзии. Цанкар безжалостно высмеивает панславизм либеральной буржуазии, в котором отражается все идейное убожество этого общественного слоя Словении. Пустой фразе борзописцев противопоставляется журналист Щука — олицетворение демократической интеллигенции. Демонстрация масс в последнем действии звучит больше как предчувствие чего-то, что придет и что через 40 лет действительно пришло.

19 августа 1900 года Цанкар в письме к своему приятелю писателю Алоизу Крайгеру писал, что его занимает идея крестьянской драмы: «Еще кое-что мне не дает покоя, и когда приходит в голову, я становлюсь удивительно нервозен. Прежде чем взяться за это, я на некоторое время поеду на родину в Доленский и Нотраньский край. Хочу написать крестьянскую драму; удручающее всеобщее разорение нашего народа, особенно в доленских деревнях,— это что-то трагическое; оно происходит медленно и еле заметно, а поэтому еще более потрясает. И мало кто видит, какая драма заключена в этом разорении; эта страшная пассивность ужасна. Может, ты подумаешь, я преувеличиваю, но мне кажется, что я правильно смотрю на вещи. Подумай, например, разве все мы — ты, Жупанчич и я — не сыновья банкротов?»

В этом же письме Цанкар еще раз подчеркивает, что ему претит искусство, которое ничего не говорит человеку, искусство без цели.

Здесь речь идет о первом замысле «Короля Бетайновы».

Драма «Король Бетайновы», вышедшая в 1902 году, без сомнения, самая совершенная реалистическая драма Цанкара.

Та характеристика «Общего состояния мира», зарисовку которого Цанкар дал в вышеприведенном письме, порождает ситуацию и действие самой драмы. «Общее состояние мира» — это классовые противоречия в деревне, клерикальная экономическая политика, переход сельских либеральных эксплуататоров на позиции побеждающего клерикализма, разорение словенской деревни, которое клерикальное кооперирование не может остановить, формирование двух основных классов в Словении, расслоение мелких крестьянских производителей, превращение их, с одной стороны, в массу сельского полупролетариата, поденных и сезонных рабочих, в бедняков, с другой стороны, в горстку сельских богатеев, купцов и предпринимателей, обладающих силой и властью.

Это фон, определяющий исход борьбы между Максом Крнецом, деклассированным интеллигентом с неоформившимися социально-революционными взглядами, организатором сельских бедняков и рабочих, и буржуазным «сверхчеловеком» Кантором.

Образ Кантора — это типичный образ словенского капиталиста, порожденный процессом первоначального накопления, происходившим тогда в Словении за счёт разорения трудовых крестьян. Это был запоздалый процесс рождения на крови, слезах и преступлении нового эксплуататорского класса в словенском обществе.

Свое понимание искусства и его назначения, состоящего в том, чтобы отражать и судить действительность, чтобы бороться с порядком, при котором процветают мелкие людишки и гибнут благородные человеческие натуры, Цанкар художественными средствами раскрыл в фарсе «Искушение в долине Санфлорианской», увидевшем свет в 1908 году.

По мнению Цанкара, настоящее искусство возвышается над обыденной действительностью, оно отвержено официальным обществом, лицемерие которого высмеивает и разоблачает.

Задача искусства в том, чтобы освещать самые скрытые уголки этой пошлости и этого общества, показывать людей и их отношения, обусловленные буржуазной действительностью. Кто не заинтересован,

чтобы искусство отражало то, что существует, тот ненавидит и изгоняет искусство за его прогрессивную роль в обществе, за «искушение», которое оно вносит в народные массы, одним словом, за все то, что является его прямым призванием.

В этом заключается смысл фарса «Искушение в долине Санфлорианской», в котором перед нами вновь возникает галерея типических образов в типичной общественной обстановке Словении в период, когда там, особенно в деревне, еще был силен клерикальный обскурантизм.

Именно экономическое, политическое и духовное порабощение крестьянских масс клерикальной реакцией в 1907—1910 годах и привело в среде словенской мелкобуржуазной интеллигенции к малодушию, нашедшему свое художественное отражение в драме Цанкара «Холопы», написанной в 1910 году.

«То, что осталось, было вонючей толпой! И мы — внуки своих дедов... Новая правда появилась над миром. Знающий человек мне объяснил: раболепствуй, чтоб быть сытым, и не спрашивай, кто твой хозяин и что он тебе приказывает! Холопы, добровольно продавшие себя, старательнее своего хозяина. Холопы! Вы рождены, чтобы быть холопами, воспитаны, чтобы быть холопами, созданы, чтобы прислуживать! Хозяин сменяется, но кнут остается и останется навечно, ибо спина согнута: она привыкла к кнуту и ждет его».

Учитель Ерман, который произносит эти глубоко пессимистические слова,— сломленный человек, и он в конце концов отказывается от борьбы. Средства, которыми приходской священник заставил его капитулировать, типично клерикальные. Они показаны писателем с мастерством, присущим истинному реалисту. Сознавая свою слабость, Ерман в последнем действии говорит кузнецу Каландру:

«Дай мне руку! За две мои. Эта рука будет ковать мир... Нет, я не буду больше митинговать. Вы, у которых в сердце живет молодость, а в кулаке есть сила, давайте вы. На ваши плечи будет опираться жизнь...»

Это противопоставление беспомощного, надломленного интеллигента кузнецу—творцу новых общественных отношений символично. Образ кузнеца, как бы олицетворяющего собой рабочий класс, мы встречаем и в других произведениях Цанкара, в частности в одном из лучших его романов «Мартине Качуре», написанном на несколько лет раньше «Холопов».

Учитель Качур, сломленный тяжелыми испытаниями и разочарованный в жизни, гибнет. Цанкар противопоставляет ему образ борца, кузнеца, основавшего в селе первую народную библиотеку и ставшего жертвой террора сельской верхушки. И хотя о нем говорится мимолетно, «кузнец с разбитой головой» проходит через все действие романа. Он — художественное воплощение общественной и культурной миссии словенского рабочего класса.

Произведения Цанкара полны веры в жизненные силы народа и особенно в историческую миссию рабочего класса. Только в минуты тяжелого душевного кризиса, когда художник вместе со своим народом оказывается, на первый взгляд, в безвыходном положении, а таких положений у словенцев было достаточно много, Цанкара охватывают настроения, из которых рождаются его наиболее символические произведения: «Воля и сила», «Прекрасная Вида», некоторые «Видения» и т. д. Но и в эти периоды малодушие никогда не берет верх. В душе писателя идет борьба за оптимистическое в основе своей отношение к миру и людям, к их будущему. Так было в годы, когда повсюду в Словении торжествовал обскурантизм, так было после победы клерикалов на выборах 1907 года и в годы первой мировой войны, когда, казалось, словенский народ погибнет в вихре империалистического столкновения.

Вера Цанкара в народ, в его творческие силы привела его к сознанию полного тождества борьбы за культуру и борьбы за освобождение трудового народа. Цанкар — первый словенский интеллигент, который это понял. В лекции «Словенский народ и словенская культура», прочитанной в 1907 году триестинским рабочим, Цанкар сказал: «Единственный путь — это борьба народа, жестокая борьба, до тех пор пока не будут нужны баррикады, пока не будет достигнута конечная цель! Борьба за полное социальное и политическое освобождение, ибо без социальной и политической свободы невозможна свобода культуры... Борьба за освобождение народа — это борьба за культуру, и тот, кто на нее клевещет, кто ставит перед ней грязные цели, тот враг народа, враг культуры».

Придя к этому глубокому убеждению, Цанкар, первым из словенцев, начал борьбу за освобождение словенской культуры от всяческой опеки реакционных сил, которые различными способами, используя всякую возможность, высказывали свое отрицательное отношение к истинному искусству. В период между двумя войнами в эту борьбу вслед за Цанкаром вступила плеяда крупнейших словенских поэтов и писателей того времени, имена которых были и всегда будут связаны с освободительной деятельностью словенских коммунистов. Этих писателей много, начиная от безвременно умершего поэта Сречко Косовела до крупнейшего из числа новых поэтов Словении Отона Жупанчича, прочно связавшего свое творчество в последние годы жизни с борьбой народных масс за свободу и социализм.

Иван Цанкар показал свободомыслящему словенскому интеллигенту путь из одиночества, в которое его толкал буржуазный мир. Писатель видел смысл жизни в борьбе за народное дело. Он видел смысл жизни во всем том, что логично следовало из этой борьбы: в перспективе революционного штурма буржуазного мира, в его революционном разрушении во имя новых от-

ношений между людьми и новой, общечеловеческой культуры.

В «Белой хризантеме» он говорит словенскому интеллигенту, готовому покориться своей судьбе, не понявшему существа исторических событий и не видящего прогрессивных носителей будущего: «Друг, смотри глубже: ты видишь, откуда эти новые силы? Жизнь пробуждается в низах, ранее спавших... Что из того, если весна приходит с бурей и наводнениями. Из этих черных наносов пробьются буйные всходы».

IV

«Я выступал не на литературной арене, а на арене жизни!» — говорит о себе писатель в «Юбилее». Признавая активную роль искусства в процессе прогрессивных общественных преобразований, он до конца остался верен самому себе. И как человек и как художник Цанкар включился в борьбу за эти преобразования.

Мы уже отметили, что Цанкар в 1896—1900 годах приблизился к рабочему движению и вступил затем в социал-демократическую партию. Он принимал участие в рабочих организациях, читал лекции, участвовал в собраниях. В 1907 году Цанкар был выдвинут кандидатом от социал-демократической партии в депутаты австрийского парламента.

Цанкар был прежде всего писатель, и как писатель он является крупнейшим литературным представителем словенского рабочего движения. О своем отношении к научной теории этого движения, к марксизму он пишет в статье «Как я стал социалистом», говоря о впечатлении, которое произвела на него социал-демократическая печать: «Вскоре я почувствовал то, что еще острее осознал позже, когда уже читал научные книги о социализме: я читаю не чужое и новое евангелие, а я уже сам в муках и сомнениях пережил это, и история и наука лишь объяснили мне опыт моей жизни».

Таким образом, очевидно, что Цанкар главные положения марксизма о классовой борьбе и исторической роли пролетариата воспринимал *эмоционально*. Теоретиком он не был, да и не собирался им быть. Нужно добавить еще и тот неоспоримый факт, что среди всех активных сторонников словенской социал-демократии перед 1918 годом Цанкар глубже всех и правильнее всех понимал задачи рабочего движения в маленькой, испытавшей национальное угнетение стране, народу которой при империализме постоянно грозила опасность денационализации и даже физического уничтожения.

Как публицист Цанкар вначале сотрудничал в центральном органе словенской социал-демократии «Красное знамя», который в 1898 году начал выходить в Любляне и потом до 1911 года издавался в Триесте. Кроме «Красного знамени», Цанкар сотрудничал также в журнале «Наши записки». Этот журнал в 1902 году начала издавать интеллигенция, колеблющаяся между взглядами Масарика и Маркса.

В этих двух органах печатались самые острые политические сатиры, критические статьи Цанкара, а также его речи и лекции по политическим и культурным вопросам.

Цанкар-публицист ставил перед собой задачу разоблачить ложь словенской буржуазной и полуфеодальной, светской и церковной реакции о том, что ее интересы якобы соответствуют интересам народа. С необычайной последовательностью он придерживался мысли, которую Ленин выразил словами:

«Есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре».

Беспринципность словенских буржуазных партий, приспособление и изменение их программы в соответствии с узкоклассовыми интересами, ничуть не совпадающими с интересами широких народных масс; их зависимость от венского правительства и от других факторов политической обстановки; действительное содержание буржуазных фраз о «свободе», «панславизме», «народных интересах»; злоупотребление самыми сокровенными чувствами народа; использование различных предрассудков и отсталости; комедия с религией и народностью; торгашеское отношение к искусству и художникам — все это было мишенью политической сатиры Цанкара. С особой силой он обрушивался на попытки буржуазии распоряжаться словенской культурой, литературой, искусством, поставить их на службу своим узкоклассовым интересам. С большой силой он разоблачал лжехудожников, старавшихся угодить буржуазии, предлагая ей свою совесть и перо.

Цанкар относился критически и к словенской социал-демократии, бывшей почти полностью под влиянием австромарксизма.

В годы первой мировой войны Цанкар довольно ясно видел недостатки политики социал-демократического руководства. С критическими замечаниями в адрес этой политики он выступил в конце войны, в апреле 1918 года, во время своей последней лекции, прочитанной триестинским рабочим. Эта лекция под названием «Очищение и омоложение» была опубликована в социал-демократической газете «Вперед».

Австрийскую, и особенно словенскую, социал-демократию Цанкар упрекал в догматизме, экономизме, недооценке и игнорировании национального и крестьянского вопроса, в отсутствии всякой деятельности по установлению и укреплению политической связи между рабочим классом и трудовым крестьянством, в применении отживших организационных и идейных форм. Он выступал против шаблона в стратегии и тактике социал-демократии и требовал конкретности в применении социалистических принципов.

В борьбе против национального нигилизма «старых», то есть официального руко-

водства словенской социал-демократии, Цанкар поддерживал «молодых», то есть интеллигентскую оппозицию в партии, но не соглашался с их концепциями о слиянии рабочего движения со словенским общенациональным движением под руководством буржуазии. Ни ужасы войны, ни бурные дни 1918 года, когда ясно раскрылись ограниченность и незрелость субъективных политических факторов в Словении, не поколебали в Цанкаре уверенности в том, что рабочему классу принадлежит руководящая роль в решении судьбы словенского народа. В лекции, которую он читал 1 июня 1918 года в Любляне, то есть за полгода до своей смерти, Цанкар произнес слова, которые в период между двумя мировыми войнами стали знаменем словенского рабочего движения: «На плечи рабочего-пролетария опирается будущее словенского народа».

В вопросе внутригосударственного устройства, которое должна иметь семья югославских народов в будущем, Иван Цанкар был сторонником демократической федеративной республики.

В лекции «Очищение и омоложение» он отверг концепцию национально-культурной автономии, которая еще раньше, в 1909 году, была выражена в известной люблянской социал-демократической «тивольской резолюции». В этой резолюции, которую Цанкар назвал «туманной», речь шла о превращении Австро-Венгрии в государство с единой экономикой, народы которого имели бы самостоятельность и самоуправление в отношении «всех национально-культурных вопросов».

В противоположность «тивольской резолюции» Цанкар еще в 1913 году в своей лекции «Словенцы и югославы», прочитанной в Любляне, выдвинул лозунг «Федеративной республики Югославии», подчеркнув, что этой цели нужно достичь путем демократического объединения равноправных и равноценных югославских народов. Из-за этой лекции в годы первой мировой войны Цанкара преследуют и интернируют.

Иван Цанкар выступал против так называемого культурного югославянства, то есть против насильственного слияния южнославянских языков в один язык. Но он решительно выступал за политическое югославянство, то есть за объединение югославских народов в общее демократическое, прогрессивное государство, которое бы каждому из этих народов обеспечило свободное национальное развитие.

* * *

Еще в период между двумя войнами произведения Ивана Цанкара стали достоянием словенского пролетариата. Драмы писателя, особенно инсценировка его «Батрака Ернея», много раз шли на сценах рабочих театров. Коллективы художественного слова выступали в рабочих культурно-просветительных обществах, читая произведения писателя. Зачастую драмы Цанкара приходили на сцену очень урезанные цензурой. Реакционные правители старой Югославии даже после смерти писателя запрещали некоторые его книги.

Освободительная война югославских народов против фашистских оккупантов и их слуг из рядов антинародной буржуазной реакции освободила и творчество Ивана Цанкара. В годы войны полностью проявилось все значение, которое имеет для словенского народа творчество Ивана Цанкара, первого значительного социалистического писателя Словении, посвятившего весь свой поэтический талант народу, его идейно-политическому пробуждению.

Именно такой Цанкар своими произведениями воодушевлял словенских рабочих, крестьян и народную интеллигенцию в тяжкие и славные годы освободительной войны. Именно такой Цанкар навсегда останется с ними в их стремлении к лучшему будущему.

Д. Михальчи

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН МИХАИЛА САДОВЯНУ

Среди литературных произведений последних лет, появившихся в странах народной демократии, одним из самых выдающихся, несомненно, является исторический роман М. Садовяну о народном движении XVI века против притеснителей. Молдавия, Польша и Запорожье избраны для развертывания действия этой своеобразной хроники.

75-летие Михаила Садовяну отмечалось недавно в Румынской Народной Республике как общенародное празднество. Многолетнее служение своему народу и безграничную любовь к родине выдающийся писатель подтверждает непрерывным, упорным, длящимся более полувека трудом мастера слова. За годы своей творческой деятельности Садовяну создал 120 литературных произведений и с полным правом принял высокую награду своей страны — звание Героя социалистического труда.

Бо́льшая часть из написанного М. Садовяну появилась до 1944 года. Уже в первых повестях и романах писатель заявил себя последовательным художником-реалистом. В дальнейшем он становится «прокладывателем путей социалистического реализма», по выражению президента румынской Академии наук Т. Савулеску. Как современность, так и историческое прошлое страны нашли отражение в его творчестве последних лет. Романы М. Садовяну «По Серету мельница плыла», «Митря Кокор», «Никоарэ Подкова», рассказы «Вэлинашев омут», «Боярский грех» пользуются широкой известностью у советского читателя.

Плодотворное развитие русского и европейского романа, и в частности исторического романа, ко многому обязывает. В своих воспоминаниях М. Садовяну не раз говорит о пользе своего общения с русской литературой. Гоголь и Толстой, Тургенев и Гончаров в разное время и по-разному были им восприняты, а их опыт был действенно применен и использован.

Как прекрасный знаток своей страны и своего народа, его прошлого и настоящего Садовяну внес значительный вклад в область исторического романа. Он обладает тем поэтическим чутьем и историческим тактом, теми разносторонними и основательными знаниями, которые необходимы художнику, работающему в этой области. Вдохновенный защитник и пропагандист народного творчества, внимательный исследователь летописей, Садовяну в то же время тонкий наблюдатель природы, неутомимый путешественник, исколесивший свою страну вдоль и поперек. Все это помогло писателю уже в ранних романах на исторические темы дать запоминающиеся картины прошлого и образы людей различного общественного положения и характера.

Одно из ранних исторических произведений Садовяну — роман «Соколы» — стало в дальнейшем только подготовительным материалом для такого зрелого произведения, как «Никоарэ Подкова». Трагические события из прошлого Молдавии XVI века, борьба народа в союзе с запорожским казачеством против турецких поработителей и молдавского боярства во главе с господарем Петру Хромым легли в основу этого нового романа. Широко пользуясь народными легендами и сказаниями, песнями и летописными источниками, Садовяну отверг прежнее утверждение буржуазной науки о том, что Подкова и его братья — прежде всего претенденты на престол Петру Хромого. В его романе Подкова — защитник народных интересов, умеющий сплотить недовольных и поднять народные силы против коварного врага.

Садовяну сам признает большое влияние молдавских летописей на его творчество. Однако в романе «Никоарэ Подкова» он не остается спокойным летописцем, который бесстрастно наблюдает кровавые события прошлого, борьбу боярства за власть и высокое положение, смену господарей, не угодных Турции, измену родине и бесстыдное предательство народных интересов. Напротив, романист выступает сторонником и защитником угнетенного народа, он обличает преступных корыстолюбцев и предате-

---

М. Садовяну, Никоарэ Подкова, перевод М. Фридмана, под редакцией Н. Немчиновой, Издательство иностранной литературы, М., 1955.

лей и предсказывает конечное торжество свободной Молдавии.

Для советского читателя в романах Садовяну содержится много нового и неизвестного. Годы подъема Молдавии приходятся на правление господаря Штефана III, который был крупным государственным деятелем и полководцем, удачно отражавшим набеги турок и татар. Но Садовяну отдал предпочтение семидесятым годам XVI века — времени упадка и утраты Молдавией самостоятельности. Страна тогда находилась в полном подчинении Турции, а молдавские господари и бояре грабили города и села, выслуживаясь перед турецким султаном и его беями. Романист не побоялся показать сложное переплетение интересов Турции и Польши, подчеркнуть расслоение господствующего сословия, часть представителей которого оказалась на стороне угнетенного народа. С большим тактом писатель ввел в свое повествование лирические эпизоды, раскрыв различные оттенки сложных человеческих чувств.

Садовяну достиг в своем новом романе широкого эпического обобщения. Он успешно показал всю важность объединенных, союзных действий против общего врага, всесторонней разработки военных планов молдаван и запорожских казаков, умения быстро ориентироваться в меняющихся условиях войны. Обеспечение тыла было достигнуто, как рассказывает Садовяну, благодаря соглашению с татарами. Освободители Молдавии беспощадно расправляются с изменниками и предателями, но постоянно проявляют заботу и оказывают поддержку своим сторонникам, сохраняют им верность.

Пестрая вереница действующих лиц, принадлежащих к различным социальным слоям, люди разных национальностей, несходного характера и темперамента находятся в постоянном и активном взаимообщении. Опытный повествователь создает на пути своих героев усложняющие обстоятельства (тайна рождения братьев Никоарэ и Александру Подкова, любовь обоих братьев к красавице Илинке, измена ямпольского боярина Гаврилы Чокорану). Все это помогает еще убедительнее и ярче показать черты далекого прошлого.

Хотя действие романа в известной степени сосредоточено около Никоарэ Подковы, однако он остается только первым среди равных по значению действующих лиц. Наделяя своего героя недюжинными достоинствами, романист не идеализирует его. Способный военачальник, опытный дипломат и политик, получивший широкое образование, в свободные часы отдающийся любимому занятию — чтению греческих рукописей, Никоарэ Подкова не всегда проявляет умение правильно оценить положение. Нерешительность и известный фанатизм были подчас свойственны Подкове, и это приводило его к ошибкам в военных и государственных делах. Так, неудача постигла его в Яссах, когда он пытался захватить убийц своего брата Иона Водэ, прежде всего стремясь отомстить за его смерть и забывая о народных интересах.

С большим разнообразием даны портреты ближайших спутников и друзей Подковы. Стремительный, не терпящий возражений, храбрый и мужественный младший брат Подковы Александру наделен неровным характером и бурным темпераментом. Его участие в ряде эпизодов исторической хроники придает им романтическую окраску. В его судьбе личное нередко заслоняет большие задачи общего дела. Садовяну убедительно рисует его быстрый суд и расправу на мельнице, эгоистическую и требовательную любовь к Илинке, их свидание в доме матушки Олимпиады и отчаяние юноши при разлуке с возлюбленной. Смерть Илинки — непосильное испытание для Александру: он сходит с ума, убивает старого капитана Петрю (не зная, что это его отец) и наносит себе смертельную рану. В резком контрасте показана Садовяну сдержанная, мужественная скорбь Никоарэ, потерявшего сначала возлюбленную, а затем отца и младшего брата.

Старшее поколение борцов за освобождение Молдавии представлено в образах капитана Петри, капитана Елисея Покотило, дьяка Раду; к ним примыкают Гицэ Ботгрос, нередко воплощающий в себе юмористическое начало романа, Алекса Тотырнак, прозванный товарищами за проворство и сметливость Лисой, и многие другие. Дельные, своевременные советы дьяка Раду, его рассудительные речи перемежаются с лирическими настроениями и песнями возницы Иле Караймана; житейская опытность Елисея Покотило как бы уточняется практической философией вроцлавского купца Иакова Лубиша. Все эти лица находятся в постоянной связи не только между собой, но и с другими персонажами, с которыми их сталкивает умелый и талантливый романист. Они становятся еще более выразительными и живыми в кругу друзей, в стане неприятеля, на дорогах и перепутьях Украины и Молдавии, на переправах через Дон и Днестр, Прут и Серет, в приятельской беседе и лирическом монологе. Роман тем самым удовлетворяет требованию Белинского, говорившего, что в историческом романе «мы... как бы делаемся сами современниками эпохи, гражданами страны, в которых совершается событие романа, и получаем о них в форме живого созерцания более верное понятие, нежели какое могла бы нам дать о них какая угодно история».

Важное место в развитии сюжета занимает матушка Олимпиада. Как и во многих других случаях, хорошее знание простого человека, обычаев и верований старины помогли Садовяну создать запоминающийся и четкий образ умной, сердечной и справедливой женщины. Матушка Олимпиада, по замыслу Садовяну, показана активным носителем подлинного гуманизма, что сближает ее с такими шекспировскими персонажами, как брат Лоренцо — наставник и наперсник Ромео и

Джульетты. Врачевательница недугов и проникновенная советчица в повседневных трудностях и страданиях близких, матушка Олимпиада для каждого находит свои особые слова утешения и помощи. Романист особенно подробно раскрывает ее отношение к Никоарэ Подкове, его брату Александру, к привлекательной и непосредственной в своих чувствах Илинке.

Без мелодраматизма и нарочитого выделения пороков рисует Садовяну характеры лукавых царедворцев, легко меняющих свою политическую ориентацию и продающих интересы отчизны. В романе жестоко наказан ямпольский боярин Чокорану за измену. Чтобы похитить этого предателя из его логова, сторонникам Подковы приходится положить немало труда. Само похищение, удачный побег из Ямполя сопровождается рядом острых ситуаций. Пыркэлаб Иримия и другие приверженцы господаря Петру Хромого получают справедливое возмездие после занятия Ясс войсками Никоарэ. Среди польских шляхтичей и молдавских помещиков были и сторонники Подковы: таковы пан Тадеуш Копицкий и помещик Дэвидяну, но их только единицы.

Монахи и духовенство в романе охарактеризованы неоднородно. Многие стремятся остаться в стороне от событий, трусливо скрываясь, высшее духовенство принимает участие в борьбе за власть, за свои богатые приходы. Впрочем, и в этой среде Садовяну находит такого горячего патриота и храбреца, как Агафангел.

В повествовании Садовяну наряду с сознательным замедлением рассказа встречаются своеобразные возвращения к описанию происходивших ранее событий, которым романист подчас отводит значительное место. Ему удаются массовые картины: охота у вершины Боуры, переправа через Днестр, охота на диких лошадей, занятие Ясс. Умело вкраплены эпизоды, связанные с посещением татарского стана, с жизнью в Запорожье, с ловушкой, в которую попадают приверженцы Иримии.

Садовяну свойственно немногословное, как бы обобщенное изображение нескольких персонажей, напоминающее контурные штрихи на этюде талантливого художника. «Каждый человек, особенно в зрелом возрасте, засыпает по-своему, впадая в глубокий и короткий первый сон. Одни засыпают, лежа на спине, раскинув руки и слегка повернув голову; другие, как дьяк Раду, лежат ничком, уронив голову на скрещенные руки, вытягиваются, недвижные и прямые, будто срубленные сосны; иные свертываются калачиком, как дед Петря, подложив под щеку ладонь и подтянув колени к локтям; только дед Покотило даже во сне как будто сидит в седле: слегка опершись обо что-нибудь, он спит, подняв голову и спокойно опустив руки. Глаза у него закрыты, но кажется, что он внимательно смотрит вдаль».

В искусстве портрета, в построении диалога Садовяну и в этом своем романе проявляет присущее ему мастерство. Однако невольно возникает вопрос: нет ли в его рассказе излишних деталей, не злоупотребляет ли он тем костюмным реализмом и «приблизительной точностью манерных описаний Вальтер Скотта», о которых говорит Стендаль? Нет спора, что в хронике о Никоарэ Подкове много говорится о внешнем облике человека, его одежде, о домах и их убранстве, о постоялых дворах и мельницах, но все это в сочетании с пейзажем является только средством раскрытия эпохи, характеров людей и движущих сил описываемых событий.

Плавная, неторопливая речь Садовяну, так подкупающая в личной беседе с ним, больше всего отражается в его картинах природы, которую он так любит, понимает и умеет рисовать. «Они спустились по отлогому скату в днестровскую лощину к рыбачьим хибаркам, сделанным из плетня, обмазанным глиной и крытым камышом. Рыбачьи сети висели на кривых ивовых кольях. Челны и долбушки были привязаны в тихом заливе у берега. На той стороне среди старых ракит желтел песок и виднелась дорожка, поднимавшаяся по высокому берегу. В зеркальной глади отражалось белое пушистое облако, застывшее в вышине. Был спокойный и ленивый праздничный день; птиц вокруг было мало, они торопливо куда-то улетали».

Единство интересов и стремлений молдаван и запорожских казаков находит свое выражение в дружбе Подковы и гетмана Шаха, в постоянном пополнении запорожской вольницы беглецами из порабощенной Молдавии. Многое сделал Садовяну, чтобы рассказать о простых людях Молдавии и Сечи. Их доблестью и отвагой, их бескорыстием и патриотизмом живет народное восстание против насильников и угнетателей. К ним обращены и слова Никоарэ, сказанные им перед казнью во Львове: «Из крови моей родится возмездие, как из малого зерна растет пшеница. Не весь я умру».

Как известно, метод социалистического реализма требует конкретно исторического и правдивого изображения действительности в ее революционном развитии, требует решительной активизации средствами искусства всех прогрессивных общественных сил и идей на борьбу со старым, отжившим, реакционным во имя интересов трудящихся масс. В этом духе и написан эпический рассказ Садовяну о Молдавии XVI века.

Известный языковед академик И. Иордан, называя Садовяну «мастером нашего литературного языка», ставит его рядом с Эминеску, Крянгэ, Караджале и утверждает, что по ощущению языка роман о Подкове — лучшее из всего им написанного. Эта оценка соответствует действительности. Язык романа лишен стилизации, которой нередко грешат авторы исторических повестей. Дух эпохи правильно отражен в своеобразной лексике индиви-

дуализированной речи персонажей. Слова и словечки даны с большим отбором, часто служа стилистическим целям писателя: юмористические ситуации зачастую закрепляются языковыми средствами. В своих раздумьях по поводу языка выдающийся романист никогда не отделяет литературного языка от общенародного. Особенно близки ему те три классика, в один ряд с которыми его поставил И. Иордан. Глубокое понимание языка, совершенное знание им областных говоров способствует точному и выразительному словоупотреблению.

Перевод романа сделан добросовестно и вполне литературно. Чувствуется стремление переводчика М. Фридмана передать характерные стилистические особенности романа Садовяну. Но иногда он слишком слепо идет за авторским текстом. Подчас же М. Фридмана покидает чувство меры, и это порождает ненужную орнаментальность. Встречаются известные стилистические изыски: «заря — заряница» (стр. 33), в речи матушки Олимпиады «пустеют села исконной земли нашей» (стр. 43), «был тот Юрг Литян муж видный, глаза имел большие, волосы курчавые» (стр. 54), «в горе-злочастье жила страна» (стр. 3) и т. д. Не по-русски звучат слова «младыш», «батяня», много раз встречающиеся в романе. В переводе есть неточности: «Они разорвали его» (стр. 10) вместо четвертовали, «распустили лошадям подпруги» (стр. 31) вместо отпустили, «чревоугодие, хмельное зелье и любострастье» (стр. 205) вместо «еда, вино и женщина». Встречаются и добавления от переводчика: «забывчивые должники вынуждены бывают уйти ни с чем» (стр. 189). Однако в целом М. Фридману удалось передать очень непростой язык и своеобразный стиль романа.

Совершенно очевидно, что примечания к роману недостаточно способствуют расширению представлений о Молдавии XVI века. Такие книги нельзя выпускать без предисловия.

Советский читатель с вниманием и большим интересом прочтет роман М. Садовяну. Садовяну сумел показать народные судьбы на широком историческом фоне. Он эпически свободно раскрыл черты прошлого своей страны, которая сумела пережить и преодолеть неудачи и поражения и достигнуть самостоятельности и независимости как страна народной демократии.

М. Гус

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЭНТОНИ ГРЭХЕМА

На рассвете жаркого летнего дня в конце 1949 года с вершины Столовой горы, господствующей над Кептауном, бросился в пропасть молодой человек, хорошо сложенный, с тонким овалом лица, красиво очерченным прямым носом, синими глазами, темными густыми бровями.

Он бросился в пропасть, когда солнце показалось над горизонтом и окрасило бронзой островерхие пики гор и небо из розового стало золотым. Но для него земля и небо были одного, серосвинцового света...

Энтони Грэхем бросился в пропасть потому, что по сравнению с острыми кольями жизни скалы там, внизу, в пропасти, были для него мягче самой мягкой перины...

Так окончилась двадцативосьмилетняя жизнь героя романа Джеральда Гордона «Да сгинет день...»

Он оборвал свою жизнь спустя несколько часов после того, как сказал в суде:

— Дело в том, что я не сегодня впервые сел на скамью подсудимых. Мы с братом давным-давно предстали перед судом. Этот суд состоялся еще до нашего рождения. Нас судили за дела наших предков, мы были осуждены и приговорены жить в мире, полном предрассудков. И даже если сейчас вы меня оправдаете, тот, другой, приговор все равно будет довлеть надо мной. Он будет довлеть до конца дней моих. Так что я смело могу сказать вместе с Иовом: «Да сгинет день, в который я родился, и ночь, в которую было сказано: «Сегодня зачат человек!»

Суд оправдал Энтони, обвиняемого в убийстве его коллеги адвоката Босмена. Но сам Энтони привел в исполнение тот приговор, который был вынесен ему еще до его рождения — рождения от отца англичанина и матери — цветной (цветными в Южно-Африканском Союзе называют мулатов).

Проклятие рождения — вот зерно трагедии и Энтони Грэхема и его матери Мэри Грант. Вступая в самостоятельную жизнь, Энтони сразу же переменил фамилию, чтобы легче было скрывать тайну рождения от цветной женщины. Этим фактом автор романа подчеркивает, выделяет движущую пружину сюжета: жизнь Энтони — это, как определяет его «цветной» брат Стив, сплошной маскарад. Сам Энтони свое существование характеризует как жизнь на вулкане, из которого в любую минуту может начаться извержение...

Первая часть романа, носящая название «Мэри», рассказывает, как боролась и по-

Джеральд Гордон, Да сгинет день..., перевод с английского Н. Ветошкиной и Т. Кудрявцевой, редактор В. Маркина, Издательство иностранной литературы, М., 1955.

гибла в неравной борьбе с жизнью женщина, повинная только в том, что цвет ее кожи был темным. У нее родился первенец белый, как настоящий европеец, но второй сын родился темным. И все усилия матери направлены на то, чтобы Энтони мог жить, как европеец. Но этому мешает самое существование Стива! Так возникает трагедия материнской любви к детям. Энтони, изгнанный из школы для белых из-за Стива, начинает все хуже относиться к матери; он с радостью уезжает в другой город, чтобы не быть вместе с матерью; он не приезжает домой на каникулы. Так возникает трагедия сыновней любви к матери. Энтони отрекается от брата, видя в нем источник несчастий всей своей жизни...

Мэри погибает от неудачного аборта: она не хотела родить еще одного ребенка, быть может, даже еще более темного, чем Стив... Так бесчеловечные условия жизни уничтожают в Энтони и Мэри глубочайшие чувства, отчуждают от человека все человеческое...

Покидая навеки родной городок после смерти матери и отца, подросток Энтони с тоской в сердце впервые проклял тот день, когда родился...

За первой частью следует краткая интерлюдия. Джеральд Гордон рассказывает в ней, как Энтони, закончив обучение и избрав юридическую карьеру, добровольцем вступает в армию и участвует во второй мировой войне. Война велась во имя того, чтобы навеки и повсюду покончить с фашизмом, с расизмом, и Энтони верил в это. Но когда он вернулся на родину, в Южно-Африканский Союз, то обнаружил, что здесь ничего не переменилось. Даже наоборот, после войны расистская политика стала осуществляться еще круче и беспощаднее.

О жизни Энтони в послевоенные годы повествует вторая часть романа, озаглавленная «Энтони». Перед ним была альтернатива: жить без обмана, но в очень тяжелых условиях, как живет его брат Стив, либо же выдавать себя за европейца и в любую минуту опасаться катастрофы.

Энтони избрал второе. И мы видим ни на минуту не прекращающуюся внутреннюю, глухую борьбу между Энтони действительным, терзаемым страхом разоблачения, и Энтони кажущимся, между Энтони в маске и Энтони без маски.

Джеральд Гордон с подлинным художественным мастерством, психологически и логически верно развертывает действие в направлении к неизбежной роковой развязке. Один факт цепляется за другой, и все они неуклонно и незаметно сплетают сеть, точнее, западню, в которой и гибнет Энтони.

Начав удачно свою карьеру в фирме видного и богатого адвоката Хартли, Энтони решает жениться на его дочери, избалованной, капризной Джин. Он не любит девушки и намерен соединиться с нею только для того, чтобы, как он надеется, навсегда оградить себя от опасности разоблачения тайны его происхождения. Ведь никто не посмеет обвинить зятя «столпа общества» Хартли в принадлежности к цветным париям! «Преклонить колени перед маммоной», — так сам Энтони называет женитьбу на нелюбимой, но полюбившей его девушке.

Энтони отказывается от своего плана, неожиданно встретив на улице Рэн. Двенадцать лет назад, совсем еще юными, они полюбили друг друга. Но Энтони, потрясенный смертью матери, подавил свою любовь, боясь, что и у него с Рэн могут быть дети цветные, дети-парии. После разлуки Рэн неудачно вышла замуж и разводится с мужем. Теперь старая любовь вспыхивает у обоих с новой силой.

Казалось бы, судьба героя может повернуться в другую, лучшую сторону. Но рок обмана делает свое дело, и Джеральд Гордон очень искусно, тонко и точно развертывает цепь событий. Рэн бывает по вечерам у Энтони. Обезумевший от ревности поклонник Джин, адвокат Босмен, отвергнутый ею, случайно увидел, как ночью Энтони вышел из подъезда своего дома с какой-то девушкой. На следующий вечер Босмен врывается в его квартиру, думая, что там находится Джин. Он требует, чтобы Энтони пустил его за перегородку. Но Энтони не может этого допустить: там прячется его «цветной» брат Стив, пришедший к нему впервые после многолетней разлуки. Когда Босмен пытается силой проникнуть вглубь комнаты, Энтони наносит ему удар в подбородок. Босмен ударяется головой о каминную решетку. На утро он умирает в больнице, успев сделать заявление, что Джин была у Энтони и Энтони первый нанес ему удар. Улики складываются так, что Энтони может снять с себя обвинение в убийстве, только сказав, что у него ночью был брат, и призвав его в суд свидетелем. Энтони так и поступает и сам раскрывает тайну, которую так мучительно таил от всех, даже от Рэн.

Рэн, узнав его тайну, остается с ним. Но в разговоре, когда они решают вместе уехать за границу, у Рэн вырываются неосторожные слова: «У нас», то есть у белых...

Это конец всему! Энтони считает, что ему не смыть проклятия рождения со своей жизни. Он принимает решение уйти из жизни.

Краткий эпилог завершает рассказ о трагедии человека, который родился цветным, но хотел жить белым Энтони бросается с вершины Столовой горы в пропасть.

Он не хотел быть тем, кем его создала природа, не хотел жить в борьбе за свои человеческие права. Он построил жизнь на обмане. Но обман не может быть основой жизни, обман подсекает в корне фальшивое существование Энтони. То, что с ним случилось, не могло не произойти.

Таков смысл романа Джеральда Гордо-

на, и к этому выводу автор приводит нас средствами художественными. Сюжет, как мы показали, построен и развит внутренне закономерно. Перипетии и нюансы душевной жизни героя прослежены тонко. Характеристики остальных участников трагедии также убедительны и интересны.

Поэтому не может не вызывать досадного недоумения послесловие, в котором И. Потехин, в сущности, сводит роман Джеральда Гордона к иллюстрации политического тезиса. «Используя форму художественного повествования,— сказано в послесловии,— автор последовательно обличает узаконенную в его стране расовую дискриминацию...»

«Используя форму художественного повествования...» Так говорится о темпераментном, талантливом, ярком художественном произведении! Да, Джеральд Гордон обличает и осуждает расизм и его преступления. Но делает он это средствами искусства, и задача послесловия, если оно необходимо, в том, чтобы дополнительным фактическим материалом помочь читателям в раскрытии художественного и идейного содержания романа, а не в том, чтобы сбивать читателей с толку вульгарно-социологическими «комментариями».

Общественно-политическое значение романа Джеральда Гордона определяется тем, что автор художественно убедительно на судьбе своего героя показывает, что трагедия Энтони — это социальная трагедия.

Понимал это и его герой. Глядя на брата Стива, он думал: «С точки зрения биологии разница в цвете их кожи объяснялась лишь иным расположением генов; с точки же зрения социальной она являла собою трагедию. Этим мог воспользоваться любой из его врагов — на политическом, общественном или служебном поприще — и уничтожить Энтони».

Итак, герой романа понимал, что не биология повинна в его трагедии, а общественные, социальные условия в стране, где правящие классы руководствуются фашистскими, расистскими «теориями» и предрассудками. Но он не понимал, не хотел или не был способен уразуметь, что это не его личная, а общественная драма и что преодолеть нависший над ним лично рок, или, как он говорил, приговор судьбы, он может только в общей с другими борьбе против самого источника этой социальной трагедии.

Роман Джеральда Гордона — страстный и гневный протест художника против разгула расизма на его родине, в Южно-Африканском Союзе. В этом доминионе Великобритании, входящем в Организацию Объединенных Наций, после второй мировой войны расизм стал официальной, правительственной идеологией.

Держащая власть в своих руках националистическая партия Малана, которого полтора года назад на посту премьера заменил Стрейдом, свирепо проводит в жизнь программу «апартеида» — разделения и отделения друг от друга всех народностей и национальностей, населяющих страну.

Проводя свою программу «апартеида», расисты Южной Африки уже ввели обязательную расовую регистрацию, выдают каждому жителю удостоверение о чистоте крови, причем наличие одной шестой части неевропейской крови достаточно для отнесения к цветным.

Для цветных и негров введены пропуска на право появляться на улицах городов, на право искать работу: двенадцать видов пропусков и удостоверений для негров, несколько меньше — для мулатов. В этом сказывается стремление разъединить угнетаемых, противопоставить одну их группу другой. Но в последние годы расисты и мулатов низводят до положения негров.

О неграх в романе Джеральда Гордона не говорится ничего, хотя они составляют более семидесяти процентов населения Союза, а мулаты — только около десяти процентов. Ничего не сказано в романе и о расовой дискриминации индийцев. Южноафриканские расисты отказываются причислять к белой расе даже тот народ, который исторически был родоначальником индоевропейской, арийской расы! Проблема дискриминации индийцев, а их около полумиллиона в Южно-Африканском Союзе, уже не раз выносилась на обсуждение Организации Объединенных Наций. Но расисты в Южной Африке глухи к голосу мирового общественного мнения. Они отлично знают, что имеют могущественных единомышленников и покровителей по ту сторону Атлантики.

Разгул расизма встречает все более крепнущее сопротивление народов Южной Африки.

В романе Джеральда Гордона о борьбе против расизма сказано глухо и бегло.

Стив издает газету «За справедливость», в которой ведется борьба против расовой дискриминации, печатает об этом статьи в европейских газетах, просвещает в школе всеми доступными путями своих цветных соотечественников.

Действие романа заканчивается в 1949 году. В последующие годы, как сказано было выше, расисты ввели в действие много новых драконовских законов. Ответом был рост антирасистской борьбы. Ее возглавляют Африканский национальный конгресс, объединяющий негров, Организация африканского народа, сплотившая мулатов — «цветных», Индийский конгресс. По их инициативе в 1952 году проводилась кампания неповиновения законам о сегрегации. Летом 1955 года три эти организации совместно с Союзом демократов, объединяющим демократические слои европейского населения, созвали Конгресс народов Африки. Он разработал и опубликовал «хартию свободы», которая перечисляет основные политические, культурные и экономические требования миллионов людей всех цветов кожи, населяющих страну. От имени этих же организаций их пред-

ставители выступали на Бандунгской конференции стран Азии и Африки и были горячо поддержаны участниками конференции.

Таким образом, Энтони Грэхем-Грант, если бы хотел, мог бы найти приложение своим незаурядным способностям и силам в коллективной борьбе против страшного социального зла. Он предпочел индивидуальный путь, путь обмана и маскарада — и погиб. Не мог не погибнуть — говорит, доказывает, убеждает читателей талантливая книга.

Она не единственная в южноафриканской литературе. Советские читатели знакомы с романом южноафриканского писателя Питера Абрахамса «Тропою грома». В нем рассказана история гибели цветного Ленни Сварца, который был виновен лишь в том, что у него кожа не того цвета... Когда свистели на холме над деревушкой пули, убившие Сварца и его невесту, негр Мако, его друг, сказал:

— Мало становиться на колени, проповедник, и взывать к богу. Слышишь, что тебе говорят ружья?.. Там, наверху, эти двое сейчас сражаются и гибнут плечом к плечу, потому что в нашей стране любить — преступление... Мы должны что-то сделать. Надо действовать! Вот где путь...

Народы колоний и полуколоний, народы, угнетаемые в Южной Африке, в Латинской Америке, Азии, понимают с каждым днем лучше и лучше: надо действовать! Надо бороться против колониализма во всех его видах, ибо он лишает человека права и возможности быть человеком.

— Любить — это преступление,— сказал негр Мако,— когда любят друг друга белый и цветная.

Не любить свою мать, своего брата заставляла Энтони жизнь.

Вот против таких бесчеловечных условий человеческого существования подымаются десятки, сотни миллионов людей.

Колониализм обречен на гибель. Колониальная система, такая прочная, казалось, в начале XX века, ныне, в начале второй половины века, трещит по всем швам и распадается буквально на глазах.

Движимые стремлением приостановить, если не прекратить этот процесс, подрывающий самые основы империалистической системы, государственные деятели Запада на словах осуждают колониализм, отрекаются от него, публикуют широковещательные документы, вроде известной «вашингтонской хартии», принятой президентом Эйзенхауэром и премьер-министром Иденом в феврале нынешнего года. Но и то, что сказано в этой «хартии» и в аналогичных заявлениях политических деятелей Запада, не может скрыть правды: империализм и не думает об отказе от колониализма, а все его посулы и обещания помогать колониальным и зависимым народам «идти в направлении самоуправления» и «содействовать экономическому прогрессу» — не что иное, как новая попытка обмануть народы. Но ныне и это не удается так легко, как прежде. Индийская газета «Амрита базар патрика», разбирая «вашингтонскую хартию» и последовавшие за ней выступления, писала:

«Угнетенные народы колоний, которые стонут под тяжестью колониальной тирании, вряд ли согласятся со взглядами сэра Антони Идена... Сам факт, что эти угнетенные народы стремятся как можно скорее сбросить цепи колониального режима, опровергает теорию британского премьер-министра».

А «теория» эта состоит в том, будто колониальная политика империализма теперь направлена на благо и колоний и всего мира.

Народы этому не верят, ибо они знают, что нынешний колониализм, как и прежний, построен на угнетении и эксплуатации народов Азии, Африки, Латинской Америки. Расизм — теория превосходства белой расы над всеми остальными — по-прежнему остается теоретической основой колониализма. То, что происходит в Южной Африке, входящей в Британское Содружество Наций, очень убедительно свидетельствует о неразрывной связи расизма и колониализма и о живучести колониализма, вовсе не думающего отказываться от самого себя. Но та борьба, которая идет и в Южной Африке против колониализма и расизма, свидетельствует о том, что эта система порабощения народов, система расистского унижения человека приближается к гибели.

Талантливая книга Джеральда Гордона показала нам один частный эпизод из этой великой исторической эпопеи.

Л. Черная

НОВЫЙ РОМАН ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

Каждая новая книга большого писателя чем-то непохожа на его предыдущие книги, ибо большой писатель стремится найти и находит все новые и новые формы воплощения своих идей, взглядов, тем, для своего ощущения мира. Все это в полной мере можно отнести и к творчеству Лиона Фейхтвангера, в каждом новом романе которого мы открываем все новые стороны его дарования.

Уже первая страница последней книги Фейхтвангера «Испанская баллада» поражает воображение читателя, знакомого с творчеством этого художника. На первой

Lion Feuchtwanger, Spanische Ballade, Rowohlt-Verlag, Hamburg, 1955.

странице Фейхтвангер в качестве эпиграфа приводит строки старинного испанского романсеро:

И отправился в Толедо
Дон Альфонсо с королевой,
Со своей красивой, юной
Королевой. Но известно,
Что любовь сбивает с толку,
Ослепляет. И влюбился
Он в прекрасную еврейку
По прозванию Фермоса.
Да, звалась она Прекрасной,
И недаром. И вот с ней-то
Позабыл король Альфонсо
Королеву *.

Эпиграф «Испанской баллады» — это не только своеобразная поэтическая запевка ко всей книге, но и сжатое изложение сюжета романа. Сомнений нет. Писатель-историк, писатель-философ Фейхтвангер, певец «рацио» — человеческого разума, создатель целого ряда остро проблемных, политических романов — таким он в первую очередь вошел в наше сознание — на семьдесят первом году жизни написал балладу о любви. Большой и сложный мир средневековой Испании он показывает нам на этот раз через сладостную и трагическую историю двух любящих сердец. И именно в этом своеобразие нового романа старого писателя.

Очень тщательно, очень подробно, как умеет это делать Фейхтвангер, рассказывается в «Испанской балладе» о зарождении в сердце короля Кастилии Альфонсо VIII большого, всепоглощающего чувства любви к прекрасной девушке Ракель, получившей в народе прозвище Фермоса.

Вот первая встреча Альфонсо и Ракель во дворце Элеоноры, жены короля, в Бургосе. Первый разговор. Впрочем, этот разговор скорее вынужденный. Королева желает, чтобы Альфонсо оказал внимание дочери своего министра и советника Иегуды ибн Эзры, который только недавно прибыл из мавританской Севильи. Король нехотя обменивается с девушкой несколькими ничего не значащими фразами. Придворный этикет соблюден, но ничто, казалось бы, не затронуло сердце короля. Однако тут же совсем неожиданно Альфонсо совершает странный поступок: он решает подвергнуть себя всем превратностям и опасностям боя быков, что, вообще говоря, не подобает королю. Придворные и королева в волнении. Тем не менее Альфонсо выходит на арену и убивает разъяренного быка во славу своей дамы донны Элеоноры. Но почему-то читатель ясно ощущает, что не во славу донны Элеоноры совершает король свой подвиг...

А вот вторая встреча Альфонсо и Ракель много месяцев спустя. И опять как будто бы ничего не происходит. Только король почему-то очень отчетливо, от слова и до слова, помнит то, что сказала ему дочь Иегуды при первом знакомстве в Бургосе. Читатель уже понял то, чего еще не поняли ни сам король, ни смущенная девушка. Любовь к Фермосе глубоко проникла в сердце Альфонсо.

Настают счастливые дни. И король, как сказано в том же старинном, цитируемом Фейхтвангером романсеро, так полюбил Фермосу, что «свое королевство он забыл и сам себя». Все, что занимало короля раньше: придворная жизнь и турниры, ратные подвиги и борьба с «неверными», вражда с арагонским королем и дружба с воинственным епископом, дела государства и дела веры,— все отодвинуто на задний план. «Все позабыл король».

Однако счастье Альфонсо и Ракель недолговечно. На безоблачном небе их любви уже мелькают первые тревожные зарницы, предвозвестники грядущих молний, которые испепелят Фермосу и опустошат сердце короля.

Что же губит этих кастильских влюбленных? Почему их чувство уже с самого начала носит в себе элементы трагедии и обреченности?

И здесь мы вынуждены на время покинуть Альфонсо и Фермосу и рассказать о тех реальных исторических событиях, на фоне которых протекает их любовь. Впрочем, оговоримся заранее, слово «фон» употреблено здесь сугубо условно. Личная жизнь героев, любовь Альфонсо и Фермосы и события, происходящие в тот период в Кастилии и за ее пределами, на всем Пиренейском полуострове и во всей Европе, настолько сплетены между собой, что их просто невозможно разъединить, оторвать друг от друга, выделить отдельно. Потому произведение Фейхтвангера значительно шире «любовного романа». Это не только роман о больших человеческих чувствах и страстях, но вместе с тем роман больших политических обобщений, имеющих прямое касательство к происходящей ныне борьбе прогресса и реакции, борьбе за мир и счастье людей.

Для того чтобы понять это, необходимо хотя бы бегло ознакомиться с той конкретной исторической обстановкой, в которую вводит нас Фейхтвангер в своей «Испанской балладе».

Что же происходит в Испании в конце XII века, в царствование короля Альфонсо VIII? И об этом Фейхтвангер рассказывает в своем романе предельно подробно и обстоятельно...

Часть Испании занята маврами. Лучшие, плодородные земли и богатейшие города еще находятся в руках мусульман. Но уже началась реконкиста — обратное завоевание Испании испанцами. Поэтические сказания о подвигах Сида, освобождавшего свою родину от иноземцев, воспринимаются в Кастилии Альфонсо VIII как правдивые рассказы о совсем недавних событиях. Однако патриотические идеи отнюдь не объединили Испанию. Ни между

* Перевод Л. Гинзбурга.

отдельными испанскими королевствами, ни в самих этих королевствах нет единства. Политические раздоры, придворные интриги, династические и родовые распри раздирают христианскую Испанию. Португалия враждует с Наваррой, Кастилия враждует с Арагоном. В самой Кастилии феодалы считают себя равными королю. Свои корыстные интересы они ставят выше интересов государства и народа. Богатые гранды притесняют своих подданных — крестьян и ремесленников, обирают города. Торговля и ремесла глохнут.

Но испанские королевства — это только небольшая часть средневековой Европы. Поэтому все события, которые происходят в этот период на европейском континенте, да и во всем мире, неизменно отзываются на жизни кастильцев, арагонцев, лионцев, наваррцев. А в Европе происходит вот что: феодалы — светские и духовные, — владельцы громадных ленных поместий и главы монашеских орденов — англичане, французы и германцы, пытаясь расширить свои владения, устремляются на Восток. Но свои действительные цели рыцари прикрывают громкими фразами о покорении «неверных», о спасении «святой земли» и «гроба господня» от «нечистых» мусульман. Военно-колонизационное движение европейцев на Восток получает звучное имя «крестовых походов»... К крестоносцам примыкает масса голодных, задавленных феодальным гнетом крестьян, которые бегут от своей нищей жизни, от притеснений баронов, от свирепствовавшей в то время эпидемии «черной смерти» — чумы. Вместе с тем воинственные монахи, искатели приключений и авантюристы стараются использовать крестовые походы для разжигания в народе военного психоза, для насаждения в Европе расовой и религиозной нетерпимости. «Бог так хочет!» — кричат крестоносцы, прикрывая этой формулой свои бесчинства, заглушая этим кличем голос совести и рассудка.

Вот та политическая и социальная обстановка, в которой действовали реальные исторические фигуры, изображенные Фейхтвангером. В своем романе Фейхтвангер рассматривает сугубо краткий отрезок этого сложного и бурного периода, а именно тот отрезок, когда шла подготовка Кастилии к участию в крестовом походе, объявленном папой.

Сила Фейхтвангера заключается в том, что он умеет воспроизводить реальную историческую обстановку не только с достоверностью, присущей ученому, но и с мастерством, присущим большому беллетристу. Напрасно стали бы мы искать в «Испанской балладе» длинные и скучные отступления и описания, выпадающие из хода романа. Историческая канва книги нигде не выступает на поверхность, она искусно вплетена в действие романа. О событиях, происходящих в мире, мы узнаем не из авторских ремарок, а из разговоров и споров героев, из их размышлений и поступков. Даже самые интимные переживания действующих лиц романа неразрывно связаны с «большой жизнью» эпохи.

Герои «Испанской баллады» — Альфонсо и Иегуда, Ракель и королева Элеонора,— так же как герои его прежних произведений — мыслитель Жан Жак Руссо и художник Гойя, писатель Бомарше и политик Франклин,— волею автора брошены в самый водоворот событий, в самую гущу жизни, в самый центр схватки. Рожденные в те «баснословные года», когда решаются судьбы мира, когда борьба прогресса и реакции достигает своей наибольшей остроты, они прежде всего должны определить свое место в жизни, решить, на чьей они стороне.

Кастильское королевство переживает упадок. Король только что проиграл войну с Севильей, находившейся под властью мавров. Народ бедствует, хозяйство в стране разрушено. Сердца наиболее дальновидных кастильских политиков объяты тревогой. К ним принадлежат первый министр короля Манрико де Лара, его духовник христианский священник Родриго, его советник еврей Иегуда, ученый и философ мусульманин Муса и многие другие. Как помочь стране и народу? — спрашивают они себя. И перед ними встает ясный и прямой путь — путь мирных дел... Семь лет Альфонсо не должен воевать — таков главный пункт мирного договора, заключенного королем с Севильей. По мнению друзей и советников Альфонсо эти семь лет надо употребить на то, чтобы возделывать и украшать землю Кастилии, укреплять свою мощь. Необходимо также обуздать феодалов, помочь городам и крестьянам. Вот что говорит королю его советник Иегуда, отец Фермосы:

«...я знаю людей, которые научат твоих подданных сделать их поля более плодородными и увеличить их стада. Я вижу железо в твоих горах, ценное железо в необозримом количестве. Я вижу медь, лапис-лазурь, ртуть, серебро. Я найду ловкие руки, которые добудут эти богатства и сумеют их использовать...»

Из уст Иегуды и его друга мусульманина Мусы король слышит изречение: «Унция мира лучше, чем тонна военной победы». А вот что говорит народная мудрость кастильцев: «Вареное яйцо в дни мира лучше, чем жареный бык в военные годы».

Но это еще не все. Народ вообще чужд всякой религиозной нетерпимости в эту эпоху религиозных войн. Люди разных религий — христиане, мавры и евреи — спокойно сосуществуют в одной Испании. Здесь Фейхтвангер как бы продолжает притчу о трех религиях, которую использовал еще Лессинг в своем «Натане Мудром»; смысл ее заключается в том, что ценность человека определяется не его религией и расой, а лишь нравственными качествами...

Итак, путь терпимости и мира — таков тот первый путь, которым может идти Кастилия Альфонсо VIII.

Но есть для Кастилии и другой путь — путь войны и завоеваний. На этот путь короля Альфонсо толкает знать: епископ, папа, а потом и королева Элеонора и ее мать — английская королева. Предлог для начала войны есть. Иерусалим, захваченный крестоносцами, снова попал в руки мусульман. Сам папа призвал христианское воинство к освобождению «святынь» от «неверных». Он послал своего легата епископа Турского к королю Франции и Англии. В своих энцикликах он призвал королей Португалии, Лиона, Кастилии, Наварры и Арагона объединиться и принять участие в крестовом походе. Но освобождение Иерусалима — это только предлог. Фейхтвангер показывает, что в самой Кастилии существовали внутренние причины, толкающие страну на путь войны, к которой она фактически не была готова.

В войне крупные феодалы мечтают восстановить свои старые права и вольности. Кроме того, им мерещится сказочная добыча, ибо мавританские княжества, с которыми воюет Альфонсо, куда богаче Кастилии. Заинтересованы в крестовых походах и церковники. Епископ Мартин, второе лицо в государстве после Альфонсо, приобретет еще больше денег и еще большую власть... Но это не все. Знатные гранды и их мелкие прихвостни погрязли в долгах. Участие в военном походе против «неверных» означает для них не только отпущение грехов на том свете, но и отпущение долгов на этом свете.

Все это тайные, подспудные причины, толкающие Кастилию Альфонсо VIII на путь военных походов.

Вслух апологеты и идеологи войны в Кастилии говорят совсем о другом. Они призывают своего короля к подвигам во имя «рыцарства». «Рыцарство» для средневековой Европы. чрезвычайно емкое понятие. «Рыцарство» — это целая система взглядов. Есть рыцарская идеология, политика, этика и даже эстетика. Суровая, аскетическая и активная идеология рыцарства возникает как противовес к идеологии изнеженности и пассивности, проповедуемой рабовладельческим Востоком, и поэтому несет в себе некоторые элементы прогресса. Но, взятая на вооружение господствующими классами Западной Европы — феодалами и клерикалами, она неизбежно приобретает реакционный характер. И этот реакционный характер рыцарства Фейхтвангер смело и беспощадно разоблачает в своем последнем романе.

Писатель рисует рыцарство так, как оно вошло в сознание народов: как темную силу, которая была призвана огнем и мечом поддерживать власть феодалов внутри страны и совершать военные набеги, сопровождавшиеся грабежами, насилиями и погромами. Именно таких рыцарей-«мерзавцев» («Halunken») бичевали Маркс и Энгельс. Против них и направлен гнев писателя.

«Рыцарство и чума,— говорит мусульманский ученый и философ Муса в романе Фейхтвангера,— это наихудшие бедствия, которыми бог покарал свои создания». Рыцарство в Кастилии в конце XII века — это символ войны, жестокости, необузданности, религиозного фанатизма и расовой нетерпимости. Девиз рыцарства: «Только в войне проявляются истинные качества мужчины и истинные качества народа». Рыцарство — это антипод разума, трудолюбия, осторожности. Рыцарская любовь — «минне» не имеет ничего общего с истинно человеческой любовью, рыцарская честь — с истинно человеческой честью. Но самое главное — это, если так можно выразиться, принципиальная антинародность рыцарства...

В романе Фейхтвангера есть великолепный эпизод, показывающий эту антинародную суть рыцарства... Король Альфонсо и его приближенные уже решились на бессмысленный, заранее обреченный на провал военный поход против Севильи. Они уже ослеплены «великолепием» этого похода... Перед их разгоряченными взорами мелькают поверженные враги, военные стяги, опустошенная земля, богатая добыча... И вот знаменитый певец войны Бертран де Борн встает со своего места, чтобы в звучных строфах восславить подвиги рыцарей... О чем же поет Бертран де Борн? О... презрении и ненависти к крестьянину, торговцу, ремесленнику. Говоря о простолюдине, он призывает: «Перебей ему кости». И восторженными кликами встречают эту песню рыцари Альфонсо.

Быть «рыцарем» или изменить «рыцарству» — вот основной вопрос, который мучит героя романа «Испанская баллада» Альфонсо VIII на протяжении почти всей книги... Король — первый рыцарь христианского государства, твердят Альфонсо папа и прелаты, знать и королева. «Ты — не рыцарь, который отправляется на поиски приключений, ты — король Кастилии»,— говорит Альфонсо его духовник Родриго.

В этих столкновениях отражена борьба королевской власти с феодальным произволом, которая происходит в тот период во всей Европе. Это борьба боярской реакции с центральной властью царя в России, борьба могущественных князей-феодалов с приверженцами абсолютизма во Франции, борьба маркграфов и крупных земельных баронов против королевской власти в Германии. В своем романе Фейхтвангер показывает, что развитие прогресса неразрывно связано с обузданием произвола, со становлением и укреплением центральной, объединяющей власти в европейских государствах.

Рыцари-завоеватели толкают Альфонсо на участие в крестовом походе, на путь грубого нарушения договора с мавританской Севильей. И в то же время голос разума говорит королю, что война для Кастилии преждевременна, ибо народ только-только оправился от поражения, только-только вздохнул свободно.

Война или мир? Меч или плуг? Рыцарство или королевская власть? — это отнюдь не схоластическо-риторические проблемы для Кастилии XII века. Битва между сторонниками плуга и сторонниками меча, рыцарями и приверженцами центральной власти разыгрывается повсюду: на тронных советах, на рыночных площадях, во дворцах богачей и хижинах бедняков. Беспрестанная борьба идет и в сердце самого короля Альфонсо VIII...

Король полюбил еврейку Ракель. Разумеется, любовь, которую он испытывает к Фермосе, в глазах придворных не рыцарская любовь. Первая дама Кастилии — донна Элеонора. И ее-то обязан любить первый рыцарь королевства — Альфонсо. Кроме того, Фермоса — не христианка, она — «неверная». И, наконец, само слепое, нерассуждающее чувство короля к Ракель находится в вопиющем противоречии к рыцарскому кодексу «галантной» сословной и условной любви. Но король любит Ракель, любит «...больше жизни, больше своего королевства, больше своей бессмертной души».

И в этой любви проявляются все трагические противоречия, раздирающие душу Альфонсо. И в то же время любовь Фермосы и Альфонсо — это тот фокус, в котором сходятся все нити романа.

Следуя психологической правде, выдерживая до конца сложный и противоречивый образ Альфонсо, Фейхтвангер показывает, что любовь его к Ракель проходит множество различных стадий. Вначале Альфонсо просто увлечен, просто любит. Любит, не рассуждая. Потом он начинает сознавать всю «греховность» своего чувства, его абсолютное несоответствие с тем идеалом рыцарства, который он сам себе создал. Тогда в нем возникает естественное человеческое желание, не отрекаясь от старых верований, примирить с ними свою любовь. Он мечтает о том, чтобы «переделать» Фермосу, заставить ее признать и полюбить его рыцарское кредо и обратить ее в христианство.

Но очень скоро король начинает понимать, что Ракель не переделаешь. Ее идеалы несовместимы ни с проповедью войны ради войны, ни с жестокой необузданностью. Несмотря на то, что и Ракель несвободна от целого ряда религиозных предрассудков, она смотрит на вещи шире, чем король, она более терпима, свободнее в своих чувствах и мыслях. Рыцарство Альфонсо глубоко чуждо ей. И именно эти качества Ракель — в глубине души Альфонсо хорошо сознает это — освящают его любовь к дочери Иегуды.

Судьба беспощадна к Альфонсо. Она ставит перед ним неразрешимую задачу: либо самому переделать себя, либо погубить свою любовь... С каждым днем напор тех сил, которые жаждут завоевательных походов, становится все сильнее. Сам рыцарь Альфонсо мечтает о них. И в то же время королю ясно, что неразумная и нерасчетливая война будет гибельна не только для страны, но и погубит Ракель. Война развяжет внутри самой Кастилии руки фанатикам: неизбежно начнутся мавританская резня и еврейские погромы. Покинув Ракель ради военного похода, Альфонсо отдаст ее в руки врагов: в руки ненавидящей ее королевы, в руки феодалов, которые волей-неволей склоняют голову перед своим сюзереном, но не преминут расправиться с дочерью Иегуды.

Король не хочет войны. Но он слишком слаб, слишком не уверен в своей правоте, для того чтобы противодействовать ее возникновению. Теша себя надеждой на скорую и блистательную победу, он покидает Ракель. Авантюристическая, ненужная война начинается. Кастилию и Альфонсо ожидает жестокое поражение. «Все, что христианские короли этого полуострова завоевали за сто лет потом и кровью, было потеряно в один-единственный день в угоду рыцарской прихоти»,— говорит духовник короля Родриго.

Таков печальный итог войны Альфонсо. Правда, «чудо» спасает Кастилию. Войска мавров, разъедаемые внутренними противоречиями, не в силах воспользоваться своей победой. Восточные деспотии уже клонятся к упадку. Дни их сочтены, и даже рыцарские прихоти испанских королей неспособны надолго изменить обстановку. Победившей Севилье приходится довольствоваться выгодным миром с Кастилией.

Но как бы то ни было, Альфонсо терпит сокрушительное военное поражение. Война, как и следовало ожидать, опустошает Кастилию. В этой войне гибнет и Ракель. Враги Альфонсо, воспользовавшись поражением короля, разжигают в стране фанатизм. Фанатики ищут «виновных». Королева может осуществить свой план мщения. Фанатики убивают Ракель и ее отца, самого решительного поборника мира из всех советников короля.

Смертью Ракель заканчивается поэтическая история любви короля Альфонсо VIII, заканчивается старое испанское романсеро, заканчивается, собственно говоря, и та «испанская баллада», которая составляет сюжетное зерно романа Фейхтвангера. Но Фейхтвангер отнюдь не ставит на этом точку. Закончена любовь Фермосы и Альфонсо, но не закончена история Альфонсо.

Продолжая эту историю, Фейхтвангер стремится показать, что ни капризы королей, ни ошибки придворных, ни людские заблуждения, ни отдельные неудачи, ведущие к «смутным временам», не могут помешать поступательному ходу истории. Словами Мусы писатель подводит своего рода политический итог событиям, изображенным в романе. Муса говорит: «А потом... выяснится, что ваши крестовые походы никак нельзя назвать неуспешными. Конечно, та земля, которую вы завоевали... не стоила тех жертв, которые вы принесли. Но зато в области хозяйства вы приобрели чрезвычайно много. Вы приобрели бесценные политические и научные

знания... Мы с радостью показали вам наши мануфактуры, вы увидели, как мы воспитываем молодежь, как мы правим своими городами, как мы судим. Вы были прилежными учениками и вы пользуетесь всем тем хорошим, что мы имеем. Вы поняли, что в этом столетии главная роль принадлежит не рыцарям, а ученым людям, которые хорошо знают свое дело — умеют строить, ковать оружие, обрабатывать землю и создавать произведения искусства. Вы молоды, вы на подъеме. Скоро вы нас догоните и перегоните».

Но это еще не все. Горечь поражения и пережитые несчастья не проходят даром ни для короля, ни для всех мыслящих людей тогдашней Кастилии. И Фейхтвангер подводит также своего рода моральный итог описанных им событий. Каков же этот моральный итог? Писатель показывает, что фанатизм не пустил глубоких корней в народе. В великолепной сцене похорон Ракель Фейхтвангер показывает истинные качества народа. Народ сострадателен и терпим. Он на стороне любящих и гонимых. Враги гуманизма и прогресса не могут завоевать душу народа. В ходе войны люди многое поняли. Созрели, стали сильнее позиции духовника короля Родриго, окрепла его дружба с мусульманином Мусой и евреем Беньямином. Громадные изменения происходят и в Альфонсо. На могиле Фермосы король говорит себе: «Не думай, что бог ближе к тебе, чем к другим... Не считай себя центром мира, дон Альфонсо. Кастилия — это не ты. Ты — только один из тысячи тысяч жителей Кастилии...»

Изменился народ Кастилии, изменились король и его друзья... Во мраке средневековой Испании засветился «маленький светлый огонек» — огонек прогресса,— говорит ученый Беньямин. А это значит, что тяжелые и грозные битвы прошли недаром. Это значит, что светлая и бескорыстная любовь Ракель дала свои всходы. Это значит, что разум и большие человеческие чувства торжествуют над мраком реакции, над сословными и религиозными предрассудками...

Такова заключительная, итоговая часть романа Фейхтвангера. Вера в человечество, вера в народ, вера в большую человеческую любовь и в светлый разум людей помогли Фейхтвангеру найти в старинной легенде, не раз использованной крупными писателями прошлого, в особенности немецкими и австрийскими писателями — Грилльпарцером и другими, большой гуманистический смысл.

В своей трактовке этой истории, равно как и в трактовке реальной исторической обстановки, Фейхтвангер отходит от идеалистического изображения исторических событий как цепи бессмысленных случайностей (трактовки, характерной для современной буржуазной исторической науки).

Это не значит, впрочем, что мы безоговорочно можем согласиться со всеми оценками и мнениями, высказанными Фейхтвангером в его новом романе. В некоторых случаях мы явно не согласны с писателем. Сомнительными представляются нам и некоторые рассуждения Мусы: его проповедь пассивности, фатализма, непротивления злу. Неубедительными кажутся и некоторые мотивы жертвенности, которыми автор наделяет образ самой Ракели и ее отца Иегуды.

Осуждая национализм и идеи мессианства, проповедуемые некоторыми представителями еврейской общины в Толедо (сам по себе этот факт осуждения очень важен, в особенности если мы сравним последний роман Фейхтвангера с его ранними романами с той же проблематикой), писатель в то же время делает это недостаточно решительно и сурово.

И, наконец, много раз говоря о народе, Фейхтвангер, тем не менее, отводит ему в романе лишь роль греческого «хора». Народ, высказывая свои справедливые и правильные мнения, сам в событиях активно не участвует; судьбами королевства вершат исключительно «избранные».

Однако главное — это то, что в своей «Испанской балладе» Фейхтвангеру удалось восславить прогресс и высокую гуманистическую мораль, беспощадно осудить нетерпимость и агрессию. Люди разных религий и верований, разных взглядов и политических систем свободно могут сосуществовать в одном мире; не военные захваты и распри, а мирный труд должен быть основой жизни народов — такой вывод делает писатель из трогательной истории двух любящих, рассказанной им в его новом историческом романе.

В. Девекин

Вопросы, оставленные без ответа

Имя Ганса Гельмута Кирста появилось в немецкой литературе сравнительно недавно. До этого Кирст прошел трудный путь от рядового до старшего лейтенанта гитлеровской армии, не перескочив ни одной ступеньки этой военной лестницы. После краха фашистской Германии Кирст пробует найти свое место в гражданской жизни и в итоге приходит к литературе. В 36 лет он выпускает свою первую книгу — «Мы звали его сорви-голова» (1950); за ней последовали «Вы говорите — справедливость, капитан?» (1952) и «Бунт в маленьком городе» (1953). Непривычная для немецких романов легкость и занима-

„08/15. Die abenteuerliche Revolte des Gefreiten Asch" K. Desch — Verlag, 1954.
„08/15 im Krieg" K. Desch — Verlag, 1954.
„08/15. Der gefährliche Endsieg des Soldaten Asch" K. Desch — Verlag, 1955.

тельность в сочетании с нотками хотя и робкой, но остроумной сатиры обусловили удачу его литературного дебюта. Уже в этих произведениях писатель затрагивает острые политические темы, но решает их крайне поверхностно. Элементы развлекательности, детектива, приключенчества преобладают в его романах.

Настоящий успех принесла Кирсту его трилогия «08/15», ставшая известной по всей Германии и далеко за ее пределами. Как только кельнская «Нейе иллюстрирте» опубликовала сокращенный вариант первой книги, вокруг нее разгорелись страстные споры, не прекращавшиеся до завершения трилогии. Интересно, что реакционная пресса вначале обрушилась на автора, осыпав его оскорблениями. Затем курс вдруг резко переменился: было объявлено, что критическое острие трилогии направлено лишь против гитлеровской казармы и гитлеровской армии; к нынешней же милитаризации автор якобы относится сочувственно.

Было ли такое изменение официального курса результатом капитуляции Кирста перед ведомством Бланка, или это был обычный маневр с целью перетащить на свою сторону талантливого писателя — нам пока еще не ясно. Но нам ясно другое: произведению Кирста и его авторской позиции присущи серьезные противоречия.

Прогрессивная печать ГДР и ФРГ живо — и по-разному — откликнулась на все части «08/15». Одни были склонны видеть в Кирсте апологета новой милитаризации, другие считали его убежденным противником казармы, армии, войны. Большинство все же положительно отнеслось к трилогии, критикуя, однако, автора за непоследовательность, политическую близорукость и легковесность. Споры еще более усилили интерес читателей к нашумевшей трилогии, и книги Кирста разошлись редким для Западной Германии тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров.

«08/15» — что означает такое необычное название? Цифры, стоящие на обложке всех трех томов, выражают общепринятое военное обозначение для легкого пулемета, изобретенного в 1915 году. В годы первой мировой войны это оружие играло немалую роль в оснащении немецкой армии. В дальнейшем стало ясно, что пулемет 08/15 не будет играть в грядущей бойне сколько-нибудь существенной роли, но в немецкой казарме это устаревшее оружие попрежнему доставляло новобранцам много горя. Их заставляли «зубрить» название частей, бесконечно практиковаться в сборке и разборке пулемета — в полном соответствии с уставом. В метком солдатском языке 08/15 стало символом казарменной муштры.

В первом романе мы знакомимся с основными персонажами трилогии. Это ефрейтор Аш, его друзья Фирбейн и Ковальский, командир артдивизиона майор Лушке, обер-лейтенант Ведельман и старший фельдфебель Шульц. Время действия — август 1938 года. Все события происходят в течение одной недели. Такой сжатый отрезок времени вообще характерен для всех произведений Кирста. Действие развертывается в них стремительно, все подчиняется одной задаче: держать читателя в непрерывном напряжении. Автору удается достичь своей цели, но, к сожалению, часто в ущерб настоящему, глубокому раскрытию людей и их судеб.

Кирст дает читателю возможность взглянуть на то, что творится за высокой серой стеной немецкой казармы в энском городе. Мы видим, как готовится военная машина к новой войне; как слаженно работает ее механизм в мирное время, сокрушая все сопротивляющееся. «Жернова работают прекрасно и стирают в порошок любой сильный характер, перемалывают любую индивидуальность», — говорит Ведельман.

Особенно удался образ Шульца, человека тупого и трусливого, деспотично хозяйничающего в казарме. Жертвой его мелкой мстительности становится рядовой Фирбейн. На защиту Фирбейна встает его друг ефрейтор Аш. Этот герой всецело пользуется симпатиями автора. Энергичный, находчивый и глубоко порядочный, Аш возмущен бессмысленной и унизительной казарменной муштрой. Своей сестре, фанатичной нацистке, он говорит: «Мы и сотни тысяч других бросаемся по команде в грязь, ползаем на животе или всовываем голову в уборную. Мы позволяем оскорблять нас, издеваться над нами и стоим навытяжку, когда нас величают свиньями или скотами... Наше чувство чести проявляется в ползанье, а характер — в лизании сапог». Аш решает воспротивиться раз и навсегда заведенному порядку вещей. Однако усилия одиночки остаются бесплодными: Шульц не понес никакого наказания, в казарме все осталось попрежнему. Разумеется, случись такой «бунт» не в книге Кирста, а в действительности, Аш бы не миновал военного трибунала. Но — и тут проявляется существенный недостаток Кирста как художника — стремление угодить определенной части публики, желание подогнать события под заранее намеченную схему приводят писателя к банальному «хэппи энд».

Вся положительная программа писателя уместилась в краткой и весьма двусмысленной концовке: «Сейчас казарму снова чинят, чистят и убирают. Пусть же с солдатами, которым придется нести тут службу, не случится того, что здесь происходило 15 лет назад. Многое должно измениться. Лишь тогда можно заполнить казармы надежными людьми». На этом Кирст ставит точку. И сразу возникает кардинальный вопрос, что имеет писатель в виду, говоря: «многое должно измениться»? Идентично ли это «многое» армейской реформе Бланка? Или, изведавши на собственном опыте невзгоды казарменной

муштры, ужасы мировой войны, автор хочет предостеречь молодых немцев от повторения печального пути? На эти вопросы Кирст ответа не дает.

Второй роман показывает нам военную машину в действии. Мы встречаем наших знакомцев на русском фронте в начале 1942 года (то есть еще до Сталинградской битвы). Артиллерийский полк полковника Лушке занимает оборону на одном из участков фронта. Повысились в чинах и другие герои первой книги. Унтер-офицер Фирбейн уже награжден железным крестом за храбрость в боях, Ведельман командует батареей, а потом дивизионом, Аш стал фельдфебелем. Но ни на огневых позициях, ни в обозе мы не видим «грозу» казармы — Шульца. Шульц, уже в чине старшего лейтенанта, преспокойно сидит в тылу, в том же городе, в той же казарме. Ведь фронту нужно пополнение, а Шульц — проверенный специалист по поставке «пушечного мяса».

В первой книге Кирст (хотя и не совсем последовательно) осуждал подготовку к войне; здесь протест против войны звучит очень определенно и занимает центральное место. Кирст резко осуждает грабительскую войну, развязанную фашистами, и страстно протестует против любой войны, уносящей миллионы людских жизней. Эта критика дается автором с двух различных позиций и выражается устами двух действующих лиц: Лушке и Аша. Образ «отца-командира» Лушке явно идеализируется Кирстом. Лушке выступает в трилогии как представитель военной оппозиции, существовавшей среди группы старших офицеров, недовольных вмешательством нацистской партии в армейские дела. Именно ему принадлежат наиболее резкие высказывания против нацизма. «Да, господин старший лейтенант, — говорит он Ведельману, — это бесчестная война. Война, затеянная с расчетом и ведущаяся методами сутенера. Полное презрение к человеческим жизням — к чужим так же, как и к своим. Война, подогреваемая опьяняющим пафосом, поддерживаемая дешевыми фразами о славе. Героизм маньяков, отечество больных манией величия — вот яд, от которого пострадает все человечество». Конечно, эти обличения ведутся не с антимилитаристских позиций; это скорее негодование «честного солдата», желающего подчеркнуть свою непричастность к зверствам и варварству фашистов. Но все же такое определенное и четкое осуждение наносит серьезный удар по остаткам ныне возрождаемого мифа о гитлеровской войне.

Совсем на других позициях стоит Аш, солдат по принуждению. Он является убежденным противником всякой войны. В беседе с Ведельманом и русской девушкой Наташей Аш говорит: «Бог у нас один. Всех нас может соединить любовь. И все люди могут стать братьями. Нет ничего в этом мире, что могло бы оправдать войну. Ничего!» Вполне очевидно, что чиновникам ведомства Бланка нелегко будет одеть мундир на людей, разделяющих эту точку зрения. И хотя политически грамотный читатель пожалеет, что такой страстный призыв к миру трактуется автором в явно пацифистском духе, нельзя не признать, что в условиях Западной Германии слова Аша звучат протестом против милитаризма.

Для выяснения симпатий и антипатий автора весьма интересен образ капитана Витерера. В обрисовке этой фигуры Кирст не жалеет сатирических красок. Он показывает нам самодовольного карьериста, готового любой ценой (в том числе и ценой крови своих солдат) добиться тепленького местечка в генеральном штабе — подальше от фронта. Витерер отлично чует, на кого ему можно опереться, перед кем ему нужно лебезить, что может помочь ему достичь намеченной цели. Его нелепый приказ открыть артогонь по русскому подносчику пищи стоит жизни десятку немецких солдат. Писатель еще раз подчеркивает бессмысленность слепого повиновения любому приказу: все подчиненные понимают безрассудность приказа Витерера, но не решаются протестовать. С чувством гадливости изображает Кирст поведение Витерера во время отступления, обличая его как виновника гибели Фирбейна и его товарищей. «Плохому начальнику» Витереру автор противопоставляет «хорошего начальника» Ведельмана. Он наделяет Ведельмана всяческими добродетелями и даже не особенно порицает его за приверженность к нацизму. Если в первом романе образ Ведельмана обладал известной жизненностью, то в последующих книгах он превратился в литературную марионетку, назначение которой — обелить немецкое офицерство, снять с него ответственность за миллионы жертв, за бесчинства, творившиеся на оккупированных территориях.

Кирст пытается создать в своей книге образ русской девушки. Как и можно было ожидать, писателю не удалось изобразить то, о чем он имел лишь самое смутное представление. Образ партизанки Наташи — хоть она и дана с некоторой авторской симпатией — в романе Криста скорее воспринимается как развесистая клюква.

Роман завершается картиной отступления немецких войск «на заранее подготовленные позиции». Даже видавшие виды Аш и Ковальский обескуражены хаосом этого отступления, глубоко потрясены смертью своего друга Фирбейна. Их диалогом заканчивается вторая книга трилогии: «Нет, за эту Германию я не хочу умирать», — сказал Аш. — «Кто тебя об этом спрашивает?» — поинтересовался Ковальский. — «Должна быть другая Германия, ради которой стоит умереть». — «Друг, — ответил Ковальский, — может, когда-нибудь будет такая Германия, ради которой стоит жить!».

Последнюю книгу трилогии берешь в руки с чувством нетерпения. В ней надеешься найти ответ или хотя бы ключ к пониманию приведенного диалога. За какую Германию стоит умереть? Ради какой Германии стоит жить? Вряд ли найдется хоть один немец, равнодушный к этим вопросам. Ответы на них не безразличны и для читателей за пределами Германии. Однако ожидание напрасно. На эти важнейшие вопросы Кирст ответа не дает. Естественное разочарование читателя усугубляется явной художественной неполноценностью третьей части. На наш взгляд, это наиболее слабая часть трилогии. Действие ее разыгрывается в последние дни войны. Остатки дивизии генерала Лушке, переброшенные на Западный фронт и преследуемые американцами, отступают к тому самому городу, к той самой казарме, откуда в 1939 году они вышли в поход. Автор заканчивает войну там, где она начиналась; круг замыкается. Мы видим, как гитлеровская военная машина разваливается окончательно.

Роман начинается с интересного эпизода. Разрозненные немецкие части (в числе их и батарея лейтенанта Аша) попали в окружение. Общую команду принимает на себя неизвестный полковник. Апеллируя к всеобязывающему понятию солдатской чести, он приказывает, не считаясь с жертвами, атаковать американцев, занимающих шоссе, и сделать попытку вырваться из «котла». Аш против бессмысленного кровопролития: война, по существу, окончена. Но он вынужден подчиниться приказу. Когда ценой потерь солдатам удается овладеть шоссе, полковник садится со своим адъютантом в машину и спасается бегством, бросая остальных на произвол судьбы. Здесь Кирст еще раз доказал свое умение подметить острую типическую ситуацию и художественно обобщить ее: таких полковников в немецкой армии было немало. К сожалению, удавшийся эпизод не явился началом правдивой истории последних дней гитлеровской Германии. Писатель оказался не в состоянии отобразить историческую трагедию своего народа. В этой книге сильнее чем в других проявились пороки художественного метода Кирста. Вместо изображения действительности, вместо раскрытия великого смысла сурового урока истории автор стремится развлечь читателя мало правдоподобными криминальными историями. Он как бы заслоняется от жизни, не желает видеть основного, умышленно замечает только второстепенное. Конечно, важные политические проблемы затрагиваются и в этой книге, но они в большинстве случаев не врастают органически в основу романа.

Теперь уже не один и не два, а почти все действующие лица резко и определенно осуждают нацизм. Кирст остро ставит вопрос о возмездии и, когда пастор Вестхауз просит не воздавать убийством за убийство, призывает к всепрощению и всеобщему отпущению грехов, то старый социал-демократ Фрейтаг твердо отвечает ему: «Господин пастор, нам представилась сейчас неповторимая возможность избавить Германию от всех мерзавцев или, по крайней мере, заклеймить их на веки веков. Если мы это сделаем, мы сможем наконец вздохнуть. Если мы этого не сделаем, то вся эта нечисть с их длинными языками и короткой памятью через десять или пятнадцать лет будет тут как тут».

На фоне общего пессимизма, охватившего героев романа, робко и приглушенно звучит тема «потерянного поколения». Атмосфера общей усталости, апатии захватывает даже «железного» Лушке. И только в духовном мире одного героя мы не видим существенных изменений. Это, разумеется, Шульц. Военная катастрофа застает его в комендатуре родного городка. Коменданта Шульца мало волнуют судьбы германского народа; его тревожит только одно: успеет ли он или не успеет получить звание капитана до окончательного краха фашистской империи. Все свое служебное время он проводит в томительном ожидании, с трепетом вскрывая каждый прибывающий пакет. Однако автор верно подчеркивает, что Шульц не столько жалок, сколько опасен. Когда американцы приближаются к городу, Шульц готов послать на верную смерть не только остатки фольксштурма, но и зеленую молодежь, членов гитлерюгенд, которые видят в Шульце пример, достойный подражания, и безусловно верят всем его басням.

Критическое отношение к американским оккупационным властям, ясно выявившееся уже в романе «Вы говорите — справедливость, капитан?», получает свое выражение и в трилогии. С тонкой иронией изображает писатель комендантскую деятельность Джемса-первого и Джемса-второго. Он раскрывает их высокомерное отношение к немецкому народу, их полное неумение разобраться в людях. Джемс-первый громогласно декларирует свою уверенность в том, что в Германии не осталось честных людей, а поэтому, заявляет он, нужно опираться на немцев, подходящих нам. Кого же американцы считают для себя подходящими? Таким подходящим немцем номер один оказывается... все тот же Шульц, которого назначают немецким комендантом лагеря военнопленных. Шульц сразу разбил всех пленных на сотни, а во главе каждой сотни поставил «фюрера», который назывался также и командиром роты. Новоиспеченные командиры должны были назначить взводных, а те, в свою очередь, получили право назначать дежурных. Так живучий «прусский порядок» был воскрешен в американском лагере в первые же дни после окончания войны.

На смену войне должен прийти прочный мир — таково твердое убеждение лейтенанта Аша и многих других героев

книги. Когда Аш получает приказ распустить батарею, он в последний раз собирает своих солдат и говорит им: «Друзья, мы встретимся снова, но уже как штатские. И до тех пор, пока у нас есть глаза, разум и человеческое сердце, мы будем встречаться только как штатские». Роман заканчивается молитвой пастора Вестхауза. В ней находит свое концентрированное выражение желание большинства действующих лиц извлечь уроки из печального прошлого, сделать мирным свое будущее. «Ты покарал Германию, господи, да прославится имя твое, — воскликнул пастор. — Ты послал смерть миллионам, да прославится имя твое. Ты поверг человечество во мрак, в страх и ужас, чтобы люди наконец узнали, что такое война. Да прославится, господи, имя твое». «Все это, — продолжал пастор, — для того, чтобы в ушах людей неумолчно звучал рев войны, чтобы глаза их ослепли от слез, пролитых над тем, что они видели, чтобы люди, наконец, узнали, чего они не должны делать никогда больше. Никогда! Так ли, о господи?» И не получил ответа».

Но пока пастор молится, Шульц действует. Вместо послесловия к трилогии автор приводит текст его речи, произнесенной осенью 1954 года, «года реабилитации», на одной из встреч бывших фронтовиков. Текст речи, обработанной одним из «воинствующих» журналистов, кажется удивительно знакомым. И это вполне понятно, ибо Шульц высказывает то, что уже несколько лет не сходит со страниц реваншистской прессы Западной Германии. «И сегодня можно отметить, — слышим мы зычный голос капитана в отставке, — что вчерашний противник не прекращал проявлять к нам понимания и товарищеского благожелательства. Наших настоящих врагов следовало искать в собственной стране. Это неисправимые штатские с низменными инстинктами и бессовестные подстрекатели, подкупленные чужими государствами». Голос Шульца наполняется нескрываемым самодовольством: он подробно перечисляет успехи ремилитаризации Западной Германии. Он отмечает также, что «нашлись даже книготорговцы и издатели, которые отныне стойко, с сознанием ответственности отказываются распространять так называемую пацифистскую, следовательно, антинемецкую и поэтому пробольшевистскую литературу». И наконец мы узнаем программу шульцев: «Мы убедительно доказали, что старый дух в нас еще живет. Были организованы объединения, общества, союзы; за наше дело ломают копья газеты, журналы и книжные издательства. Мы всегда знали, чего мы хотим, и никогда не забываем выполнить наш долг. Мы пойдем своим путем... Склоняясь перед нашими павшими товарищами, мы торжественно обещаем им: *мы продолжим* дело» (подчеркнуто нами — *В. Д.*). После речи Шульца следует характерная для Кирста лаконичная концовка: «После этих слов раздались бурные аплодисменты. Лишь немногие молчали. Никто из присутствующих не протестовал».

Трилогия «08/15» — это не итог и даже не кульминация творческого пути, это заявка даровитого писателя. Да, на наш взгляд, Кирст, безусловно, обладает литературным дарованием. И поэтому вдвойне досадны значительные недостатки, присущие его романам. Эти недостатки вскрываются особенно ясно, если проследить, в какой мере удается писателю художественное, то есть образное отражение действительности. Прекрасно зная жизнь казармы и действующей армии, Кирст правдив в деталях, но в целом впадает в идеализацию немецкого офицерства. Казарменная муштра, произвол и прочие беды насаждаются унтер-офицерами и фельдфебелями. Именно они выступают в роли мучителей, деспотов, солдафонов. Офицерский же состав стоит в стороне от всего этого и как бы непричастен к творящимся безобразиям, не ответственен за них. Когда писатель переходит к изображению армии, то и здесь у него большинство офицеров — персонажи сугубо положительные. Правда, Кирст резко выступает против гитлеровских методов ведения войны, обличает карьеризм и бездарность фашистских горе-стратегов, но все эти явления происходят где-то «за занавесом» и поэтому осуждение носит довольно абстрактный характер. На авансцене у Кирста только положительные герои, которым автор симпатизирует, изрядно приукрашивая их. Вполне возможно, что были и такие офицеры, как Лушке, Аш и Ведельман. Но не они составляли основу гитлеровской армии. Так, стремясь реабилитировать офицерский корпус, автор создает картину, в частном случае возможную, но в целом неправдоподобную.

Для Кирста характерен также прием искусственной изоляции изображаемого явления. Это особенно заметно в первой и последней частях трилогии. Казарма и город обрисованы автором так, что они почти лишены примет времени. А ведь 1938 год — это канун второй мировой войны! Читатель не видит ни фашизации казармы, ни подготовки в ней «грязной и бесчестной войны» (выражение Кирста). То, что творится за казарменной стеной, могло с таким же успехом происходить там на 10—15 лет раньше. Это тем более странно, что речь идет о том периоде, когда вся Германия была превращена в зловещую нацистскую казарму, в которой царил произвол и совершались жестокости, намного превосходившие то, что мы видим в книге Кирста. Изображая жизнь одной казармы, писатель мог бы подняться до захватывающего художественного обобщения. Но он предпочел путь более легкий. Таким же путем пошел автор и во второй части, уклонившись от показа острых фронтовых ситуаций. Фронтовая жизнь в изображении Кирста не так уж

страшна. Особенно для людей ловких. Правда, время от времени постреливают то с той, то с другой стороны, но так, что это не вредит героям. Конечно, писатель имел право показать период затишья на фронте, и это Кирст делает безусловно правдиво; но все же для войны характерно не затишье, а боевые действия, правдивый показ которых отобьет у всякого читателя охоту посвятить себя захватническим авантюрам. Этого автор не сделал; в том же случае, когда он изображает бой (эпизод с Фирбейном), он скатывается до уровня «ковбойского фильма». В итоге разоблачение армии дается в трилогии значительно слабее, чем разоблачение казармы.

В третьей книге своей трилогии, повествуя о развале фашистской Германии, автор ухитряется на протяжении 400 страниц ни разу не упомянуть о советских войсках. Нарушая историческую правду, Кирст игнорирует и немецкие антифашистские силы, в частности антифашистское подполье. В числе подпольщиков были такие писатели, как Адам Кукхоф и Гюнтер Вайзенборн; были офицеры, например организатор и руководитель подпольной группы «Красная капелла» старший лейтенант Шульце-Бойзен, были сотни других честных немцев, жертвовавших жизнью для спасения родины. Но старший лейтенант в отставке писатель Кирст прошел мимо этой славной страницы истории своего народа, ограничившись весьма неясными намеками на принадлежность Лушке к «пресловутому движению 20 июля». Кстати, в романе «Мы звали его сорви-голова» — первом своем произведении — Кирст весьма иронически отнесся к событиям 20 июля. Более того, в образе Таннерта, старого рабочего, автор показал представителя иного, антифашистского движения. Таннерт с презрением отзывается о генеральском «движении сопротивления» и резко говорит офицеру Штрику: «Если вы и не генерал, то вы все же работаете на них... Рабочий работает на капиталистов, солдат — на штабное начальство. Одни подыхают, другие на этом наживаются. Нет, господин Штрик, мне нужна иная система, а не другой главнокомандующий». В этом вопросе писатель делает в своей трилогии шаг назад.

В трилогии есть острые, живые диалоги, меткие характеристики, удачные остроты. Но Кирст не делает попытки, как, скажем, Ремарк, сконцентрироваться на основной проблеме, глубже раскрыть психологический мир своих героев.

Писатель выдвинул ряд важнейших вопросов, но не смог или не пожелал ответить на них. Мы не считаем, что автор должен навязывать свое мнение читателю, что он всегда и везде обязан ставить точки над «и». Однако в важнейших вопросах, неразрывно связанных с судьбой своей родины, своего народа, писатель должен выступать «с открытым забралом».

На упрек Ведельмана: «Вы неплохой парень, Аш, но хорошим немцем вы никогда не станете» — Аш отвечает: «Как знать, может, и стану, если Германия станет хорошей». В этой реплике, как в капле воды, отражаются достоинства и недостатки трилогии. Недовольство существующим порядком вещей, сознание необходимости больших преобразований встречают живой отклик у читателя. Но неясным остается главное: *какую* Германию Кирст считает хорошей? *Каким образом* можно сделать Германию хорошей? На эти вопросы читатель ждал ответа в первую очередь и, подобно пастору Вестхаузу, не получил его.

Книги Кирста при всей завуалированности авторской позиции затрагивают проблемы, волнующие сейчас каждого немца, и в этом причина их безусловного успеха. Критическая сторона его романов оказывает более сильное воздействие на читателя, чем путаные высказывания автора. Изображение казарменной муштры неизбежно вызовет проклятие у пострадавших от нее и внушит молодым немцам отвращение перед перспективой очутиться в казарме. Резкие высказывания Лушке о войне и многие эпизоды вряд ли вдохновят кого-нибудь на новые подвиги во имя прибыли кучки монополистов.

Трилогия Кирста вызвала многочисленные письма читателей в редакции газет и журналов. Выходящая в Баварии «Зюддейче цейтунг» опубликовала целую полосу читательских откликов. В одном из них говорится: «Пресловутая система 08/15 принесла нам миллионы убитых, разделенную родину и невыразимую нищету. Представители, которых мы выбрали и послали в Бонн, все это уже позабыли».

Весьма симптоматично, что из всех своих героев Кирст именно Шульца изобразил в качестве поборника возрождения вермахта. Единственный герой «08/15», ни разу не побывавший на фронте, не испытавший никаких лишений за всю войну, виновник гибели многих жизней, олицетворяет собой в эпилоге «доблестное немецкое воинство». Нет, напрасно уверяют чиновники ведомства Бланка, что книги Кирста ратуют-де «только» за армейскую реформу. Действие их гораздо сильнее. Может быть, даже сильнее, чем это хотелось автору. Правда, и сам Кирст в интервью, опубликованном в «Леттр франсез», заявил, что он является противником милитаризации Германии «в какой бы то ни было форме».

Творческий путь Ганса Гельмута Кирста, по существу, только начался. Куда придет Кирст, как решит он стоящие перед ним проблемы — на эти вопросы читатели со временем получат ответ.

Митчел Уилсон

Заметки о романе „Брат мой, враг мой"

Я живу в маленьком городке на зеленом холмистом острове, который носит название Martha's Vineyard — «Виноградник Марты» и находится в нескольких милях от побережья Новой Англии. Атлантический океан со всех сторон омывает двадцать миль его песчаного пляжа; прерывистый гул прибоя и ветра — это постоянный фон повседневной жизни острова. В течение года ясные голубые дни сменяются пасмурными, с моря наползает туман и медленно уходит прочь; море за моим окном порой тихо, как гладь кобальтово-синего озера, порой вздымается серыми волнами, и их пенистые гребни похожи на белую конницу, скачущую по водяным валам.

Здесь каждый день похож и не похож на другой, ибо, как бы часто ни менялось небо и море, для меня существует неизменный распорядок дня. И в этот распорядок входит послеполуденная прогулка на почту, за письмами.

Там меня обычно ждут счета, проспекты, письма от друзей и родственников, но я каждый раз подхожу к своему ящику с надеждой, что сегодня в нем окажется еще один конверт с иностранной маркой: письмо из Англии, Франции, Бельгии, Германии, Аргентины, Польши или Швейцарии от читателей или издателей, которых я никогда не видел. Чудесное чувство удовлетворения приносит письмо какого-нибудь учителя из Уэлса или врача из Гааги, который взял на себя труд написать несколько строк по поводу моей книги. Такие письма говорят о том, что мое произведение вошло — пусть даже очень ненадолго — в чью-то жизнь. И эта мысль доставляет мне ни с чем не сравнимое удовлетворение.

Такое удовлетворение доставило мне письмо из Москвы, в котором сообщалось, что там будет издан мой роман «Брат мой, враг мой». О том, что роман «Живи среди молний» был переведен на русский язык, я узнал с опозданием на несколько лет, и лишь некоторое время спустя мне довелось узнать о том, какой прием оказан ему русскими читателями. Одним из бедствий этих последних лет явилось отсутствие свободного общения между нами, и письмо из Москвы кажется мне предвестником более приятного будущего.

Письмо пришло в самый подходящий момент. Как раз в это время я обдумывал про себя один из тех «ответов критику», которые писатели часто составляют в уме, но почти никогда не выпускают в свет. Незадолго до того мне прислали статью Владимира Рубина, напечатанную в двухнедельнике «Ньюс» и посвященную моей книге. На мой взгляд, статья дает чрезвычайно справедливую оценку роману, но в ней есть несколько моментов, с которыми мне хотелось бы поспорить. И вместо того, чтобы возражать про себя, позвольте мне, наконец, высказаться вслух.

Прежде всего разрешите мне объяснить, почему действие моих последних романов происходит в мире науки и техники. Человек искреннее всего пишет о том, что пережито им самим, а я половину своей сознательной жизни посвятил научной работе. Правда, даже в тот период я писал романы и рассказы, но ни в одном из них не фигурировали лаборатории ученых. Причина проста: все, переживаемое мною тогда, еще, так сказать, не отстоялось. Мое отношение к науке и научным исследованиям было слишком серьезным, чтобы писать о них так поверхностно, как я писал в те времена. В сущности, тогда я только еще учился мастерству рассказа: строил сюжет, придумывал эффектные сцены, но не вкладывал во все это собственных чувств. В результате получались искренние и занимательные, но неспособные взволновать читателя рассказы.

Только после того, как я перестал непосредственно участвовать в научной работе, я смог писать о ней. В 1947 году я начал роман «Живи среди молний», или, как я его назвал вначале,— «Олимп». Книга сразу пошла легко, и во время работы меня не оставляло

ощущение «правильности» выбора темы и героев. Только в одном месте, в той части, где речь идет о Кэмберленде, я надолго сбился с темы. Написав пятнадцать тысяч слов, я понял, что зашел в тупик. Я зачеркнул все написанное и начал снова, уже строго придерживаясь намеченной линии.

Темой романа, согласно моему первоначальному замыслу, является судьба ученого, перешедшего от безвестности, которая была его уделом в довоенные годы, к видному общественному положению. Однако и до и после этой перемены ученый сталкивался с тем фактом, что окружающий мир все же не понимает истинного значения его работы. Огромный интерес, по сей день проявляемый публикой к ядерному горючему, вовсе не означает, что она стала больше интересоваться наукой или лучше разбираться в научных методах. Сами физики понимают, что разработка проблемы ядерного горючего с тех пор, как первые опыты по делению ядра были подтверждены атомным котлом, построенным Ферми и его сотрудниками в 1943 году, не прибавила ничего нового к пониманию ядерной структуры. Самые значительные опыты, проведенные в послевоенные годы, так же непонятны широкой публике, как непонятно было значение открытия нейтронов в начале тридцатых годов. Примечательно, что за последние десять лет Нобелевскую премию по физике не получил ни один из тех ученых, которые посвятили себя исключительно разработке ядерного горючего, хотя их имена имеют широкую международную известность. А когда я предложил одному популярному журналу написать статью о двух последних Нобелевских лауреатах — ученых П. Куше и У. Лэмбе, которых я знаю много лет, редактор растерянно посмотрел на меня и сказал: «Да, я знаю, что они недавно получили Нобелевскую премию, но до тех пор я о них ничего не слыхал. Чем они занимаются?»

Именно это отчаяние ученого, чувствующего, что его никогда не поймут, я хотел раскрыть в романе «Живи среди молний». Кроме того, мне хотелось показать, что это, собственно, значит быть ученым; как, несмотря на всю тяжесть кропотливой и трудной исследовательской работы, в человеке живет радостное сознание, что поиски его имеют огромное значение для будущего всего человечества.

Работая над книгой и радуясь тому, что мне удалось, наконец, найти близкую моему сердцу тему и материал, я постепенно начал лучше понимать силы, движущие мною как в литературе, так и в науке. Я увидел скрытое сходство между людьми искусства и учеными, хотя способы их работы совершенно различны. Еще задолго до окончания работы над книгой «Живи среди молний» у меня возник замысел другого, более крупного произведения о той могучей силе, которая называется тягой к творчеству. Я представил окончательный вариант рукописи «Живи среди молний» моему бостонскому издателю одновременно с планом новой книги, которая впоследствии вышла под названием «Брат мой, враг мой».

В сущности, «Брат мой, враг мой» — это только первая часть задуманного романа, и сейчас я работаю над второй его частью. У меня было много причин разделить книгу на две отдельные части, но ни одна из них не обусловлена самим содержанием романа.

Роман «Брат мой, враг мой», вернее опубликованная его часть, имеет целью представить героев как живых людей, показать обстановку, в которой они действуют, их взаимоотношения друг с другом и с окружающими, а также их отношение к тому, что является для них самым главным в жизни — к их работе. Не с помощью авторских рассуждений, а стараясь показать поступки своих героев, я хотел создать фундамент для подлинной, трагической темы этого романа — бесконечной, ожесточенной борьбы, которую приходится вести людям, наделенным творческой силой. Обычно для разработки такой темы берется какой-либо вид искусства — живопись, поэзия, драматургия, музыка, то есть привычная для широкой публики область творчества. Мне хотелось дать в своей книге более широкое обобщение, и поскольку роман построен на материале американской жизни, я выбрал вид творчества, наиболее типичный для сегодняшней Америки, — область инженерного искусства и прикладной науки.

Я считаю, что творчество — это один из человеческих инстинктов, и вот что я писал издателю, посылая ему план нового романа:

«Этот инстинкт проявляется не так заметно, как любовь или голод, тем не менее он тоже настойчиво, хотя и медленно, требует удовлетворения и зачастую определяет поступки человека. Для сравнения можно привести силу земного притяжения и дополнительную силу Кориолиса, которая действует широкими кругообразными движениями по земной поверхности. Каждый человек каждую секунду своей жизни чувствует силу земного притяжения, но никто никогда не ощущает неосязаемой силы Кориолиса. Однако именно эта сила создает и поддерживает полусферические изгибы океанских течений, определяет направление воздушных течений во всем мире и во всех их видах, начиная от летнего ветерка и кончая циклонами. Эта сила предопределяет течение рек и эрозию гор. Эта сила определяет лицо нашей планеты: она дви-

жет невесомым и, незаметно, но неуклонно воздействуя на мир, является одной из двух главных внешних сил природы, которые влияют на жизнь человека. Сравните любовь и голод с силой земного притяжения, а творческий инстинкт — с силой Кориолиса. За исключением редких случаев этот инстинкт не бывает резко выявлен, и подавление его не вызывает немедленного протеста, но поскольку власть его находится вне человеческого сознания, то, если его глушат слишком долго, катастрофа неизбежна. Цивилизация, которая не дает возможности удовлетворить творческий инстинкт, обходится людям слишком дорогой ценой». В своем романе я пишу о проявлениях такого инстинкта. Это история высокоодаренного инженера, который сталкивается с необходимостью выбирать путь применения своей творческой силы. Это история и другого инженера, который с роковым упрямством отказывается признать даже существование какого-либо выбора. И история третьего человека, начисто лишенного творческой жилки; его неистовые, хотя и примитивные попытки приобщиться к творчеству приводят к гибели каждого, кто подпадает под его власть, основанную на деньгах.

У двух инженеров, братьев Мэллори, инстинкт творчества очень силен. Дэви, более «вдумчивый», чем его брат, очень скоро начинает осознавать в себе этот инстинкт, поэтому он одержим желанием работать над изобретением ради самого изобретения. Кен, его брат, не хочет признавать этот инстинкт, потому что он сбит с толку идеалами и стремлениями своего времени и своей страны — Америки двадцатых годов. Кен, однако, ощущает в себе тягу к творчеству, но считает, что им движет желание иметь деньги — самая понятная цель всякого «успеха». Глубокий конфликт между братьями заключается в различии их отношения к этому важному инстинкту: что это — тяга ли создать нечто новое, что может как-то изменить жизнь человеческую, или же просто стремление выбросить на рынок новый предмет производства и нажить на этом побольше денег? Это основное расхождение во взглядах станет темой книги, когда будет закончена и вторая ее часть. Тема эта уже ясно проступает и в романе «Брат мой, враг мой», хотя с первого взгляда может показаться, что главный конфликт заключается в борьбе двух братьев-партнеров с теми, кто финансирует их.

Советский критик Владимир Рубин не знал, что роман «Брат мой, враг мой»— это только первая часть большой книги, и в своей оценке исходит из того, что прочел. Он полагает, что главной моей идеей является просто борьба изобретателей с финансирующими их лицами и что разлад между братьями, углубляющийся на протяжении опубликованной части книги, не более, как драматический прием, своего рода зацепка для развития любовного сюжета. На самом же деле разлад между Кеном и Дэви из-за Вики и других девушек, а также из-за их отношения к окружающим людям — это только поверхностные отзвуки гораздо более глубокого конфликта. И поскольку верно то, что братья олицетворяют столкновение противоположных философских взглядов, в целях художественной правдивости необходимо было сделать их обоих живыми людьми, наделить индивидуальными чертами, чтобы важные разногласия естественно вытекали из их характеров. Нельзя было сводить эти разногласия к спорам по поводу работы: в таком случае роман превратился бы в сухую полемику. Более того, я хочу, чтобы разлад между ними обозначался постепенно. Я хочу, чтобы у читателя было чувство постепенного открытия, узнавания, как в жизни. Я хочу, чтобы читатель был абсолютно убежден, что Кену и Дэви суждено стать врагами, и не из-за Вики, и не потому, что такова воля автора, а потому, что Дэви становится ясно — он не сможет жить полной жизнью, если его внешняя жизнь не станет осуществлением внутренней потребности, потребности творчества, в то время как Кен настаивает на стремлении к цели, которая фальшива сама по себе.

Если бы братья не были так сильно привязаны друг к другу, они быстро поняли бы причины разлада и разошлись в разные стороны. Но узы, связывающие их, крепки. Братья органически дополняют друг друга как люди, как работники, как творцы. Неизбежный разрыв, который будет описан во второй части книги, будет огромным переворотом в их жизни. Узы крепки, ибо такая двойственность убеждений часто бывает и в одном человеке. Борьба между Кеном и Дэви — это борьба двух разных мировоззрений, происходящая в душе большинства американцев. Вот почему в моей книге два героя, а не один, как в романе «Живи среди молний».

Наряду с очень лестными высказываниями по поводу романа «Брат мой, враг мой» Владимир Рубин приводит ряд критических замечаний, на одно из которых мне хотелось бы ответить сейчас же. Он обнаружил некую «глухую стену», которая как бы отгораживает мастерскую братьев Мэллори от всего, что происходит в мире».

Такое впечатление критика может объясняться только недостаточным знакомством с американскими настроениями в описываемый мною период. В двадцатых годах все мы жили, как в заколдованном сне, веря, что нашему экономическому процветанию нет пре-

дела. Этот сон окончился катастрофой — кризисом 1929 года. Братья Мэллори проникнуты социальными убеждениями своего времени. Это отражается и в их словах и в поступках. Банкир Брок, авиаконструктор Мел Торн, мелкий прожектер Бэннермен — все они в своих действиях и высказываниях в точности отражают дух времени.

Дос Пассос в своей известной трилогии «США» хорошо дал панорамный фон, перемежая повествование ироническим монтажом из газетных заголовков того времени («Новости дня») и краткими биографиями известных деятелей. Для Дос Пассоса такой прием оказался возможным потому, что у него не было единственного героя. Он уделил одинаковое место почти десятку персонажей, которые мало связаны друг с другом. Я отлично сознавал ограниченность фона, на котором изображена жизнь братьев Мэллори в этот ранний период их карьеры, и, чтобы возместить этот недостаток, подробно излагал биографии второстепенных персонажей, надеясь, что в сумме это составит сложную картину времени и даст ощущение большей широты.

Так как важнейшие события тех времен никак не влияли на судьбу братьев Мэллори, было бы художественно неправдиво и даже неуместно вставлять мимолетные упоминания о всяческих сенсациях дня, о войнах, о рабочем движении и политических событиях только для того, чтобы напомнить читателю о том, что́ происходило на свете в те дни.

Чтобы отдать должное Владимиру Рубину, я должен сказать, что из всех критиков, писавших о книге в Америке и Европе, он сумел глубже всех проникнуть в мой замысел. Столько рецензентов расхваливали роман с точки зрения сюжета, не видя в нем более серьезной идеи, что я начал подумывать, не совершил ли ошибки, выпустив в свет только первую часть. Многие из английских рецензентов выражали досаду на то, что я слишком возвеличиваю американские духовные ценности. Некоторые критики внушали читателям, что если кто-либо из англичан еще питает иллюзию, что между ними и американцами есть нечто общее, поскольку они говорят на одном языке, то, прочтя мою книгу, они раз и навсегда расстанутся с этой иллюзией. И тут мне впервые пришла в голову консервативная идейка: быть может, наука и техника — не совсем подходящий материал для литературного произведения. В Англии издавалось немало моих ранних книг, но никто еще не обвинял меня в чрезмерном «американизме». Английские отзывы привели меня в уныние и заставили усомниться в том, что книга будет понята за пределами Соединенных Штатов. Я почти убедил себя, что буду единственным горячим сторонником этого романа. И решение писать вторую часть показалось мне просто нежеланием видеть дальше своего носа.

Представьте же мою радость, когда я прочел следующую оценку советского критика: «Можно соглашаться или не соглашаться с некоторыми идеями, высказанными в романе. Но, во всяком случае, читатель проникается симпатией к серьезному, вдумчивому Дэви, к блестящему Кену со всей его эмоциональной неуравновешенностью, к кроткой Вики и к старому изобретателю Нортону Уоллису; все они — дети своего народа, воплощающие много прекрасных национальных черт,—трудолюбие, настойчивость, стойкость и технический талант».

Одна из главных причин того, что я произвольно разбил роман на две части, заключается в неожиданно появившемся ощущении, что я начинаю писать иначе. Я вдруг почувствовал себя в силах делать свои произведения более эмоционально насыщенными, чем прежде. Такой сдвиг уже произошел со мной однажды, во время работы над одной из прежних книг. Он проявился как недовольство тем, что я делаю, как ощущение связанности, словно привычное пространство стало вдруг для меня тесным. Когда это случилось впервые несколько лет назад, я все же заставил себя закончить роман, над которым тогда работал, и в результате вышло, что роман уже не соответствовал моему первоначальному замыслу, но и не стал таким, каким мне хотелось его сделать потом. Тем не менее сдвиг все же произошел, что сказалось на моей следующей книге — романе «Живи среди молний».

Когда я во второй раз почувствовал признаки перемены, я уже понимал, что происходит, и, вместо того чтобы принуждать себя кончить роман «Брат мой, враг мой» в одной книге, я отложил работу в сторону и принялся писать другой роман — короткую трагическую любовную историю под названием «Влюбленные», которая уже вышла в Швеции, Италии и Англии, где ее рекомендовало к печати «Общество книги». Мне кажется, что во «Влюбленных» уже сказался этот сдвиг, и я снова чувствую себя свободно.

Весь прошлый год я работал над второй частью книги «Брат мой, враг мой». Сообщение об издании романа в Советском Союзе пришло как раз во-время: оно укрепило мое решение продолжать работу. И я глубоко благодарен за эту поддержку. Рецензия в «Ньюс» заканчивается словами: «Мы с большим интересом будем ждать от талантливого писателя новых произведений». Я могу только надеяться, что моя следующая книга оправдает эти лестные ожидания.

Людмил Стоянов

Эра мира и культуры, а не войн

Письмо М. Шолохова в редакцию журнала «Иностранная литература» поставило очень важный вопрос об участии писателей в «широком обмене творческим опытом» и в содействии созданию атмосферы международного сотрудничества.

Волнуют слова, содержащиеся в этом письме: «Наш народ внес свой большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Народ наш был щедр и бескорыстен в своем стремлении сделать ценности своей национальной культуры достоянием человечества».

Болгарский народ, без сомнения, как и все другие народы, испытывает чувство глубокой благодарности к русской классической и современной советской литературе за ее гуманизм и уважение к человеку, за ее благородную борьбу в области установления отношений между народами, основанных на братстве и равноправии.

Призыв к объединению за «круглым столом», то есть к установлению творческих связей и дружескому обмену мыслями между писателями разных стран, воспринят у нас, в Болгарии, с горячим одобрением. Такая встреча будет в высшей степени полезной как для обмена профессиональным опытом, так и для дальнейшего ослабления международной напряженности, для укрепления «духа Женевы».

Мы вспоминаем сейчас другой призыв, прозвучавший двадцать пять лет назад: он имел огромное значение для объединения интеллигенции в борьбе против надвигающейся войны.

Речь идет о знаменитой статье А. М. Горького «С кем вы, «мастера культуры»?».

За четверть века, прошедшие с тех пор, как была написана эта статья, произошли события, в корне изменившие лицо мира, моральный и культурный облик большей части человечества.

Еще тогда А. М. Горький задавал вопрос: «Полагаете ли вы, что 450 миллионов китайцев можно превратить в рабов европейско-американского капитала, в то время как 300 миллионов индусов уже начинают понимать, что для них роль рабов Англии вовсе не предопределена богами?»

Сегодня Китайская Народная Республика — мощный бастион несокрушимого лагеря мира. По пути мира уверенно идет и Республика Индия. Это неопровержимо доказывает, что в словах А. М. Горького отражена правда ленинского понимания исторического развития.

Статья А. М. Горького привлекла внимание честных людей во многих странах. Конгрессы в Амстердаме (1932), Париже (1935) и Мадриде (1937), в которых участвовали главным образом писатели, были серьезным предупреждением, призывом к интеллигенции, к широким народным массам бороться против готовящейся фашистской осью второй мировой войны.

В той же статье А. М. Горький ссылался на ленинский принцип мирного сосуществования стран с различным социальным строем. Теперь, после второй мировой войны, когда опасность еще более страшной катастрофы не миновала, этот принцип все сильнее овладевает сознанием и покоряет умы простых людей и некоторых государственных деятелей капиталистических стран. Народы уже пережили ужасы двух мировых войн; и поэтому вопрос А. М. Горького: «С кем вы «мастера культуры?»» с новой силой прозвучал в послевоенные годы на конгрессах во Вроцлаве, Париже и Праге, Варшаве, Вене и Хельсинки. Движение сторонников мира, по сути дела, явилось ответом на этот вопрос. С кем вы, миллионы честных людей, те, кто воздвигает новые города, театры, больницы, детские сады, — с теми, кто хочет превратить города в кладбища, нивы — в пустоши, или же с теми, кто своим трудом создает светлое будущее поколений? Миллионы миролюбивых людей решили, что их основной долг — защищать свою жизнь, жизнь своих детей и свое благополучие.

Усилия Советского Союза в этой гигантской борьбе за прочный и длительный мир находили и находят горячее одобрение народов всего мира, в том числе и народов Индии, Индонезии, арабских стран.

Так, борьба народов за мирное сосуществование способствовала разрядке международной напряженности, зарождению «духа Женевы», то есть такому смягчению

Людмил Стоянов — известный болгарский писатель и общественный деятель, академик, член Всемирного Совета Мира.

международных отношений, при котором культурные связи, контакт между деятелями литературы, искусства, науки могут способствовать усилению чувства безопасности, открывать перспективы для мирного соревнования.

Дружеский и убедительный тон письма М. Шолохова найдет — в этом нет сомнения — горячий отклик в сердцах писателей, придерживающихся различных взглядов и различного образа мыслей. Сознавая свой писательский долг, они не могут не видеть, какие огромные возможности открывает установление подлинного взаимопонимания народов, их мирное сотрудничество. Речь идет, в частности, о важном и общем для всех людей творческого труда основном стремлении: стремлении быть полезным человеку.

У этих людей должен быть свой «круглый стол», заявляют болгарские писатели. Им есть что сказать, есть мысли, которыми надо и стоит обмениваться. Прежде всего следует обсудить ряд творческих проблем, волнующих каждого писателя, где бы он ни находился.

Как стать полезным человеку? Другими словами, как лучше всего правдиво изображать его жизнь, окружающую его действительность?

Мы могли бы поговорить о многих вопросах, например о том, каково взаимоотношение формы и содержания в искусстве? Как мы понимаем проблему правдивого отражения действительности? Имеется ли связь между методом Бальзака и методом Шолохова? Могут ли писатели удовлетвориться прежним пониманием такого понятия, как «гуманизм», или в него следует вложить новое, более глубокое содержание? Мы, болгарские писатели, овладеваем методом социалистического реализма, который, впрочем, уже приемлется многими писателями мира. Но метод социалистического реализма может иметь свои различия, свои отличительные черты, зависящие от условий, существующих в той или иной стране. В одном этот метод все же един и неделим — в том, что он открывает перед творческим человеком путь дальнейшего развития, вселяет веру в будущее. А разве не полезно писателям побеседовать друг с другом на тему о романтике новой жизни, о героизме человека труда, человека, который побеждает природу и господствует над ней? И сколько еще насущных и интересных вопросов могли бы не только быть подвергнуты обсуждению, но и получить свое разрешение.

А. М. Горький статьей «С кем вы, «мастера культуры?»», как и всем своим творчеством, напоминал интеллигенции, честным людям всего мира об их долге. Сегодня мы можем сказать, что достигнутое в этом отношении может нас только радовать. Но того, что достигнуто, — недостаточно. Мы не должны забывать, что жизни людей, смеху детей, радости матерей угрожают недоброжелатели, те, для кого прочный мир — несчастье, а война — источник личного обогащения.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. Ее первый призыв к народам был призывом о мире и мирном сосуществовании. Не в производстве пушек и атомных бомб следует впредь соревноваться народам, а в области культурных достижений, в создании памятников искусства и архитектуры, образцов народного творчества, в научных открытиях, в мирном использовании атомной энергии, в организации праздников дружбы, мира и справедливости. В этом великом соревновании миролюбивых народов будет достигнуто такое материальное благоденствие людей, будут созданы такие возможности для культурного прогресса, о которых величайшие поэты и мыслители человечества могли только мечтать. Такова, как мне кажется, сокровенная мысль, заставившая автора «Тихого Дона» выступить со столь своевременным призывом.

НАШИ ГОСТИ

Автолитографии худ. М. Бренайзена, сделанные им во время пребывания иностранных писателей в Советском Союзе.

Игорь Неверли

Жан-Поль Сартр

НАШИ ГОСТИ

Али Сардар Джафри

Леонгард Франк

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Международная анкета

В этом номере мы начинаем печатать ответы писателей различных стран мира на нашу международную литературную анкету, состоящую из двух вопросов:

1. Над какими произведениями Вы сейчас работаете?

2. Каковы Ваши ближайшие творческие планы?

Анкета была разослана редакцией журнала «Иностранная литература» писателям почти тридцати стран. Ответы на нее будут публиковаться по мере их поступления.

Решив провести эту анкету, мы руководствовались не только тем, что советский читатель всегда проявляет живой и вполне оправданный интерес к творчеству современных писателей, живущих и работающих в различных странах мира. Это важное соображение далеко не исчерпывает назначения анкеты. Публикация такого рода сведений содействует расширению культурных связей и, следовательно, ведет к укреплению дружественных отношений между народами.

Австралийская писательница Катарина Сусанна Причард сопроводила свой ответ на анкету письмом, в котором подчеркивает, что внимание, проявляемое советскими читателями к ее творчеству, служит, как говорится в письме, «стимулом для того, чтобы я выполняла свое дело возможно лучше».

Мы воспринимаем это характерное и ценное признание в качестве еще одного свидетельства, насколько такого рода общение между писателем и читателем полезно не для одной лишь литературы, но и для установления взаимопонимания и упрочения мира во всем мире.

Австралия

Катарина Сусанна Причард

Мои друзья уже давно настойчиво просили меня взяться за мемуары. Один из них сказал: «При мысли о том, кто может написать вашу биографию, меня охватывает смертельный ужас».

Я не испытываю этого смертельного ужаса. Но недавно один исследователь литературы написал диссертацию о моей жизни и творчестве и настолько исказил картину моего политического развития, что я почувствовала необходимость дать правильную перспективу этого развития, показав связь окружающей действительности и жизненного опыта с формированием идейных взглядов. Правда, я не люблю писать о том, что является сугубо личным. Невольно в таких случаях выпячивается соб-

ственное «я», а мне всегда интереснее писать о других, чем о себе. С большим удовольствием я написала бы роман на современную тему. Замысел его уже в голове, а несколько глав — на бумаге. Но, кажется, придется все-таки закончить сначала мемуары.

Нет нужды говорить, что при всем этом остается еще бесчисленное количество статей, рассказов, обзоров, которые я пишу для прогрессивных журналов и для движения сторонников мира. Писатели капиталистических стран должны выполнять двойной долг: не только создавать долго живущие произведения, но и оказывать влияние на повседневные дела своей страны, участвовать в борьбе за мир, благосостояние и счастье народа. Мы должны также стремиться к осуществлению великих идеалов социального прогресса, к тому, чтобы все народы могли жить в единении и мире и развивать то лучшее, что имеется в человеческих отношениях.

Как это чудесно, что писатели, которым приходится так часто сталкиваться с неодобрением и неудовольствием в своих собственных странах, вызывают такой большой интерес у писателей и народов великого Советского Союза.

Katharine Susannah Prichard

Алжир

Мухаммед Диб

1. Я готовлю два романа. Один из них, который, вероятно, будет озаглавлен «Люди — братья» (это название не является еще окончательным), завершит трилогию, начатую романами «Большой дом» и «Пожар»; он должен выйти в свет к концу года. Другой роман, под названием «Люди без призвания», описывает несколько типов буржуазии и мелкой буржуазии Алжира; я работаю над ним уже несколько лет, но с перерывами, и мне пока еще трудно предсказать, когда он будет закончен.

2. Все мои планы на будущее вращаются вокруг одного: писать новые романы, новую трилогию, героем которой, быть может, будет Омар — мальчик из книги «Большой дом». Эти произведения покажут развитие Омара от детского возраста до зрелых лет.

Благодарю вас за то, что вы включили меня в число писателей, к которым ваш журнал обратился с просьбой рассказать о своих творческих планах.

С сердечным приветом

Mohammed Dib

Англия

Альфред Коппард

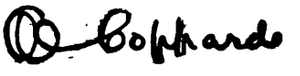
Спасибо за приглашение принять участие в вашей международной анкете.

1. Недавно я закончил первый том своей «Автобиографии» и сейчас только радостно удивляюсь тому, что смог завершить такой большой раздел страшно трудной работы! Ведь мне уже семьдесят восемь лет и я никогда не вел дневников. Кроме того, писатель, пишущий рассказы, всю жизнь приучающий себя к искусству сжатости, быстро изнуряется от тру-

да, который кажется ему соизмеримым с его возможностями так же, как попытка при помощи лука и стрел уничтожить сопротивляющегося кита.

2. В семьдесят восемь лет становишься значительно менее поворотливым. Мои планы на будущее нельзя назвать планами. Я вынужден продолжать писать этой состарившейся рукой второй том воспоминаний о бурных, но давно ушедших в прошлое днях моей жизни. Кажется, это будет утомительное путешествие пешком вдоль и поперек по всему цветущему земному шару!

С самыми наилучшими пожеланиями, искренне ваш



Дорис Лессинг

Спасибо за присланный номер журнала «Иностранная литература», в котором опубликована и моя повесть «Муравейник». Я люблю эту повесть больше всех других своих произведений и счастлива, что именно ее вы выбрали для перевода.

Отвечаю на поставленные вами вопросы:

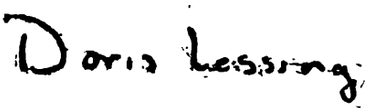
Я закончила роман под названием «Возврат к простоте». Он вскоре выходит из печати.

Попрежнему пишу рассказы. Кроме того, у меня готова новая пьеса «Поющие русалки», которую пока еще нигде не поставили.

Сейчас я работаю над двумя новыми романами: один из них является третьим томом в серии романов «Дети насилия» и называется «Раскаты грома». Работы над ним хватит еще на несколько месяцев.

Другой роман — «Человек принципа» — посвящен тому известному типу западного интеллигента, который в тридцатых годах был прогрессивным, а теперь перешел в лагерь крайней реакции. Я уже однажды написала роман на эту тему, но он не удался, и сейчас я решила написать его заново. Не знаю, когда мне удастся его закончить.

Желаю успеха журналу «Иностранная литература». Искренне ваша



Бразилия

Жоржи Амаду

В настоящее время работаю над романом, название которого еще окончательно не выбрал. В первой части рассказывается о повседневной жизни маленького городка, о его проблемах, показывается бразильская специфика этой жизни, национальная культура и ее богатства, радушие, полное благородства и патриотизма, отсутствие расовых предрассудков. Жизнь городка течет нормально и спокойно до тех пор, пока туда не приезжает из США миллионер, который подкупает некоторых политиков и, будучи связан с местным крупным землевладельцем, устраивает в Арейя Бранка (название города) игорный дом. Прибытие американца и устройство им игорного дома изменяют жизнь города.

Вначале американца принимают с большой симпатией, так как он утверждает, что является другом, который несет «цивилизацию и прогресс захолустному городку». Но его «цивилизация и прогресс» противоречат

бразильскому образу жизни, ее нравам и обычаям, оскорбляют лучшие чувства бразильцев. Он стремится поставить на коммерческую ногу народные развлечения, опошлить народные празднества, навязать расовые предрассудки. Во второй части романа рассказывается обо всех этих событиях и о том, как население города, от старого католического священника до левых элементов, — все слои общества объединяются и добиваются перед муниципалитетом лишения американца прав на эксплуатацию игорного дома.

Между этими двумя частями вставлена глава, в которой описывается история одного из жителей Арейя Бранки, молодого негра Филу, уехавшего из города и ставшего шофером грузового автомобиля. Разъезжая по дорогам северо-восточной Бразилии, он видит горе, нищету, стремления и борьбу народа, познает жизнь и мужает. Вернувшись в Арейя Бранку на новогодний праздник, увидев перемены в городе и возмущение его жителей, Филу начинает действовать. Ему удается добиться единства народа. Он объединяет священника с антиклерикалами, примиряет старых врагов и ведет их на совместную борьбу с общим врагом.

Как видите, это роман о проблемах национальной культуры бразильского народа, о срочной необходимости единства народа для защиты нашей культуры и нашего образа жизни. Это роман на национальную тему, но не в узком смысле. Ряд положительных персонажей — иностранцы (араб Нагиб, испанец Фелипе). В романе показан вклад в создание нашей культуры иммигрантов, выходцев из трудового народа. Это антиимпериалистическая книга, рассказывающая, как империализм США стремится принизить и уничтожить нашу национальную культуру, ее национальный характер. Книга показывает непобедимую силу народа.

Эпиграфом к книге взяты слова из рассказа Марка Твена: «На остров только что прибыл иностранец. Речь идет о североамериканце. Сомнительное приобретение».

На эту тему мною была сделана небольшая вещь для кино. Теперь это будет большая книга на 300—350 страниц, написанная в сатирическом плане. Я думаю закончить и опубликовать ее еще в этом году.

Что касается дальнейших планов, то я думаю начать работу над вторым романом из цикла «Каменная стена» (первый — «Подполье свободы» — уже переведен на русский язык и опубликован). Как известно, в цикле «Каменная стена» предполагается рассказать о политической борьбе бразильского народа под руководством Коммунистической партии Бразилии с 1937 года до наших дней. Действие романа «Подполье свободы» охватило период с 1937 по 1940 год. Второй роман — «Народ на площади», — над которым я собираюсь работать в течение 1956 года, повествует о событиях, происходящих с 1941 по 1945 год.

В этом романе, план которого достаточно созрел, чтобы изложить его на бумаге, я намереваюсь рассказать о том, как бразильский народ под руководством Коммунистической партии Бразилии принудил фашиствующее и пронацистское правительство встать на сторону Объединенных Наций и вступить в войну, о том, как были завоеваны демократические свободы, вплоть до амнистии Престесу и другим политическим заключенным, о легальной деятельности Коммунистической партии. В романе будут подняты такие крупные темы и конфликты, как оккупация наших баз американцами, которые используют свое положение союзников, для того чтобы усилить политическое и экономическое давление на нашу страну. Другая важная тема — разоблачение попыток подорвать изнутри Коммунистическую партию, показ того, как ее молодые руководители во главе с Престесом, закаленные в суровом подполье, не только помешали этим преступным действиям, но и превратили небольшую по численности нелегальную партию в большую и массовую партию.

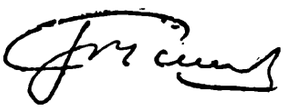
Первая часть романа кончается победой под Сталинградом и проведением в глубоком подполье третьей Национальной партийной конференции, конференции в Мантикейре. Вторая — покажет победоносный марш народа к демократии в то время, когда советские войска одерживают победы на фронтах. Действие кончается в 1945 году установлением в Сан-Пауло первого легального местопребывания центральных органов партии.

Структура романа ставит ряд вопросов, которые потребуют упорного труда. Я думаю написать его в форме классического романа, но это не значит, что я отказываюсь от тех форм, в которых писал свои предыдущие произведения.

Сейчас вместе с Астрожилду Перейра и Моасиром Вернек де Кастру я составляю антологию современных бразильских прозаиков для советского издательства иностранной литературы. Собираюсь пересмотреть для нового бразильского издания мою книгу «Жизнь Луиса Карлоса Престеса». Таковы мои планы на ближайшее время.

У меня есть планы создания пьесы для театра и сценария для кино, но осуществление их будет зависеть от того, насколько быстро я закончу романы, занимающие меня сейчас.

Прошу принять мой братский привет



Германия

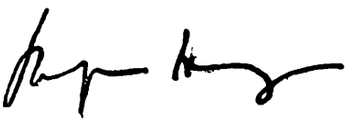
г Д Р

Стефан Гейм

Благодарю вас за ваше письмо, в котором вы спрашиваете о моих творческих планах.

Сейчас я занят тем, что пытаюсь написать роман о людях Германской Демократической Республики. Помимо этого, занимаюсь журналистской работой, пишу очерки, репортажи, короткие рассказы.

Искренне ваш



Людвиг Ренн

Сейчас готовлю к печати новую книгу «Мое детство и юность», над которой работал в течение 25 лет.

Кроме того, пишу новый роман для юношества под названием «Герниу и слепой Асни». Эти столь странно звучащие имена являются древнегерманскими. В романе, который будет состоять, по меньшей мере, из двух томов, идет речь о борьбе германцев, живших в условиях первобытно-общинного строя, против римского рабовладельческого государства с его массовым рабством, о битве в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры и о временном объединении германских племен на территории нынешней Германии под властью такого выдающегося и вместе с тем трагического героя, каким был Арминий.

С социалистическим приветом

Эрвин Штриттматтер

Сердечно благодарю вас за тот интерес, который вы проявляете к моей работе.

В настоящее время я пишу очень много и не могу сказать, чтобы был слишком доволен этим обстоятельством. Одной рукой пишу сценарий по моему роману «Тинко»; фильм должен быть готов уже в этом году. Другой рукой тружусь над романом «Волшебник», который будет состоять из двух томов. Первый том этого романа скоро закончу. Отрывок из него был напечатан в журнале «Нейе дейче литератур» в номере, посвященном съезду немецких писателей. Работа над этим романом займет у меня не меньше двух лет. А потом я очень хотел бы опять написать комедию, материал для которой уже собран.

Ваш

Erwin Strittmatter

Генрих Бёль

Я работаю над новой пьесой. После завершения этой работы хотел бы написать сатирический роман о войне; в нем будут изображены благородные генералы, превосходно умеющие играть на рояле.

Ваш

Heinrich Böll

Гюнтер Вайзенборн

1. Сейчас я читаю корректуру моего нового романа «Третий взгляд», который выходит в издательстве Курта Деша. Работаю еще над одним романом, у него пока нет определенного названия, но он должен выйти в свет к рождеству в Мюнхене в том же издательстве. Кроме того, перерабатываю пьесу, премьера ее состоится 20 апреля одновременно в западноберлинском Шиллер-театре и в Национальном театре в Мангейме. Это инсценировка романа Виктора Гюго «Человек, который смеется».

2. Предполагаю совершить большую заграничную поездку и подготовить издание своих стихов.

С совершенным уважением

Günter Weisenborn

Ганс Генни Яан

Я готовлю к изданию текст оперы Моцарта «Притворная садовница». Эта опера написана девятнадцатилетним Вольфгангом Моцартом. Одновременно пишу роман на современную тему «От этого не уйдет никто» и драму «Обломки совести». Ближайший год посвящу завершению этих трудов.

Hans Henny Jahnn

Дания

Эйнар Томассен

1. В последнее время собираю материалы для труда о духовной жизни России в рамках истории русской культуры, берущей начало в русской древности. Особое внимание собираюсь уделить предпосылкам реформ Петра I и хочу подробно остановиться на идейной борьбе XIX века после нашествия Наполеона, а также на истории русских крестьян, истории русского рабочего движения и, наконец, общих психологических предпосылках Октябрьской революции 1917 года.

2. В самом ближайшем будущем собираюсь выпустить работу об идейной направленности в творчестве Достоевского.

С почтением

Ханс Шерфиг

В 1940—1941 годах я написал роман под названием «Идеалисты». Это книга о Дании накануне второй мировой войны; книга о смятении, царившем в мещанской среде, о сектантстве и глупостях, о реформизме и оппортунизме, о зарождении фашизма, обо всем, подготовившем дорогу гитлеровской оккупации. Книга была запрещена в Дании, но вышла в Швеции в 1943 году, а после освобождения появилась в Дании, в Англии и в ГДР. В мой план входило сделать книгу «Идеалисты» вступлением к большому роману о Дании периода оккупации. Но время идет, а мой план остается неосуществленным. Роман «Идеалисты» продолжает оставаться как бы фрагментом, где выведены все герои, но они еще не начали действовать. Теперь, когда большие события отодвинулись на достаточное расстояние и можно хорошо и отчетливо различить существенное от менее существенного, я чувствую себя в состоянии написать роман об оккупированной Дании и освободительной борьбе в моей стране. Этот период все еще недостаточно освещен в нашей литературе. Ханс Кирк в своем романе «Деньги дьявола» коснулся отдельных явлений этого периода, но книги о широком движении сопротивления, которое в нашей стране имело свою специфику, все еще не написано. Сейчас я работаю над таким романом. Полагаю, что к лету работа будет завершена.

Мои дальнейшие творческие планы частично можно назвать фантастическими. Возможно, за романом об оккупации Дании последует книга об освобождении, об Атлантическом пакте и периоде «холодной войны», за которой открывается перспектива единения народных сил, намечающаяся уже сейчас. При выполнении своей задачи в датской литературе я исхожу из того, что прежде, чем строить новое, следует очистить место от руин.

В моем воображении рождается бесчисленное количество планов, но я должен прожить, по крайней мере, сто лет, чтобы осуществить их. В настоящее время занят экранизацией романа «Скорпион» для немецкой киностудии ДЕФА. Предполагаю также осуществить свою тридцатилетнюю мечту — научную работу о датских стрекозах, которую начал еще в юности. Это будет отнюдь не специальный труд в области энтомологии, а скорее естественно-исторический очерк. А так как я, кроме всего, постоянно занят в качестве журналиста, критика, иллюстратора и художника, моим

стрекозам посчастливится лишь в том случае, если медицине удастся значительно раздвинуть границы человеческой жизни.

Hans Schmidt

Исландия

Халлдор Лакснесс

Спасибо за ваше письмо и за тот интерес, который журнал «Иностранная литература» проявляет к моей работе. Только что вернувшись из-за границы, я нашел дома ваше письмо. Спешу ответить на поставленные вами вопросы:

1. Сейчас пишу свою тридцать пятую книгу. Надеюсь, вы не думали услышать от меня пересказ ее содержания, так как в этом случае мне не нужно было бы ее писать. Но ведь до нее я написал тридцать четыре другие книги; они — уже свершившийся факт, и вы можете их использовать, если захотите представить в своем журнале что-нибудь из написанного мною.

2. В ближайшие полтора года буду занят этим новым романом. По-моему, для одного человека составлять индивидуальный план на срок более полутора лет вперед абсурдно.

С наилучшими пожеланиями ваш

Халлдор Лакснесс

Италия

Альберто Моравиа

В настоящее время пишу роман. Его тема — война, итальянский фронт во время битвы на реке Гарильяно в 1944 году. Женщина из народа рассказывает о своих злоключениях. Она пыталась перейти линию фронта; это ей не удалось, и она остается в расположении немецких войск вместе с группой бедняков, которых война выгнала из их деревень.

Пишу также каждый месяц по две новеллы для миланской газеты «Коррьере делла сера». В этих новеллах описывается жизнь народа в Риме. Я уже выпустил один сборник таких новелл под общим названием «Римские рассказы». Этот сборник скоро выйдет в переводе на русский язык в Советском Союзе. Надеюсь закончить второй сборник к концу года или в будущем году.

Я являюсь также кинокритиком журнала «Эспрессо».

Мои планы на ближайшее будущее таковы: если удастся, приеду весной в Советский Союз. Я очень хочу побывать в СССР и встретиться с советскими писателями. Возможно, что поеду и в Китай. Надеюсь, что мой роман выйдет в свет к концу этого года. Вот и все.

Alberto Moravia

Васко Пратолини

1. Я работаю над второй и третьей частями трилогии, называющейся «Одна итальянская история», первый том которой — «Метелло» — опубликован в 1955 году. Трилогия охватывает период между 1875 и 1945 го-

дами, но каждый из трех романов должен быть законченным, самостоятельным произведением, связанным с другими лишь внешними обстоятельствами. Общая нить, объединяющая трилогию, — нить времени: приблизительно в том же году и сезоне, которым кончается одна книга, начинается следующая. Кроме того, романы связаны между собой действующими лицами и обстановкой, типичной для различных социальных слоев — пролетариата, аристократии, мелкой и средней буржуазии, обстановкой, которая в течение этих семидесяти лет — от объединения Италии (1870 год) до нашей борьбы за Освобождение и падения фашизма — характеризовала итальянскую жизнь. Все это дается не в плане отвлеченной социологической перспективы, а в плане романа, верного исторической правде, в котором развертываются события и действуют люди.

2. Помимо этой работы, не представляю себе пока ничего иного, чем бы я мог заняться в ближайшие несколько лет.

Vasco Pratolini

Канада

Тед Аллан

Сейчас заканчиваю новую пьесу. Потом намереваюсь возобновить работу над романом, который начал некоторое время назад. В этом романе я хочу показать канадского коммуниста, выросшего в годы депрессии, сражавшегося в Испании, но потерявшего веру в коммунизм, когда ему показалось, что Америка разрешила все свои экономические проблемы. Это будет попыткой проанализировать психологию интеллигента — выходца из рабочего класса, который в трудный момент теряет веру в рабочий класс и приобретает ее вновь после личного кризиса, под влиянием которого он принимает решение, изменившее всю его жизнь.

Ted Allan

Сидней Гордон

Заканчиваю роман из современной жизни Северной Америки. Одновременно работаю над другим романом, уже наполовину написанным. Надеюсь в этом году закончить их.

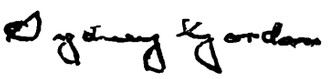
Что касается планов на будущее, то их у меня много. Во-первых, хочу написать роман (с местом действия опять-таки в Канаде и Северной Америке), о котором сейчас могу лишь сказать, что его герои столкнутся в своей жизни с проблемами, возникшими в мире после создания атомной бомбы. Кроме того, задумал роман, посвященный войне 1837 года за независимую, демократическую Канаду. У меня уже собран для этого некоторый материал. И, наконец, мне хочется написать еще один роман — о демократическом движении в Канаде в начале XIX века. Эту последнюю тему я до некоторой степени уже использовал в большой пьесе, написанной для радио.

Пять романов — это, конечно, весьма обширная программа, и она потребует огромного труда. Естественно, что у меня есть и другие идеи, но заниматься сейчас ими сверх пяти названных романов — значит погрузиться в область фантазии и только напрасно расточать свою энергию.

Возможно, вам трудно представить препятствия, с которыми сталкиваются писатели в нашей стране. Конечно, писательским трудом можно прокормиться и здесь, но не авторам таких романов, над которыми я сейчас работаю. Хотя в Америке есть небольшая группа писателей, получающих баснословные гонорары, средний писатель в Канаде или в США не может существовать на литературный заработок и, чтобы прокормить себя и свою семью вынужден искать какую-нибудь другую работу. Я, например, разрешил эту проблему так: полгода работаю ради денег, чтобы иметь возможность остальные шесть месяцев писать. Выход, конечно, не из лучших, но ничего другого не остается. Один мой знакомый поэт работает в больнице и занимается творческим трудом в те немногие часы, которые остаются у него свободными по вечерам. В 1954—1955 годах я не мог посвятить творчеству более двух месяцев в году. Остальное время работать приходилось урывками после долгого и напряженного трудового дня. Конечно, даже самые тяжелые обстоятельства не могут лишить серьезного писателя желания писать. Ваш писатель Максим Горький в своей молодости пережил трудности гораздо большие, чем те, с которыми приходится сталкиваться современным североамериканским писателям. И в наши дни надежда на будущее поднимает наш дух.

Я был счастлив узнать, что наша с Тедом Алланом книга «Скальпель и меч», хотя бы в отрывках, стала доступна читателям еще на одном языке.

Благодарю вас за внимание к моей работе. Искренне ваш



Дайсон Картер

С удовольствием отвечаю на ваши вопросы.

1. Вместе со своей женой Шарлоттой Картер я заканчиваю небольшую книгу, посвященную некоторым вопросам медицинской науки и системе здравоохранения в СССР. Эта книга является результатом наших наблюдений во время последнего посещения вашей страны.

2. У меня сейчас нет определенных литературных планов. Пока я собираю материал для большого романа (может быть, это будет серия романов), который надеюсь когда-нибудь написать. Эта работа уже давно у меня в голове. Я бы хотел проследить в ней, начиная с 1917 года и до наших дней, жизненный путь нескольких рядовых канадских семей, которые так или иначе приходят к выполнению великой исторической задачи — к борьбе за дружбу между канадским и советским народами. Я сознаю, что это очень большой литературный труд.

Мои редакторские и другие обязанности почти не оставляют свободного времени для осуществления литературных замыслов, требующих длительного времени. Кроме того, из-за материальных трудностей я не питаю особых надежд на возможность возобновления серьезной литературной работы в ближайшее время.

Китай

Го Мо-жо

郭沫若

В настоящее время я занят работой в области истории Китая.

Лао Шэ

Сейчас я вношу исправления и изменения в две пьесы, написанные в прошлом году: «Молодежный ударный отряд» и «Чанъань — на западе». Эти пьесы в скором времени будут поставлены в театре.

Работаю также над одной старой пьесой цинской эпохи. Она очень сложно написана, и актеры пекинского театра попросили меня сделать ее новую сценическую редакцию.

Собираю материал для пьесы о социалистических преобразованиях в промышленности и торговле.

Если будет время, собираюсь уехать летом в деревню и писать о кооперировании сельского хозяйства.

老舍

Мао Дунь

Я работаю над романом, идея которого возникла у меня два года назад. Однако вследствие загруженности государственной и общественной работой заниматься книгой приходится лишь урывками, так что вряд ли могу говорить о каких-либо планах на будущее. В первой половине прошлого года удалось кое-как выкроить три месяца, чтобы более или менее обдумать все то, о чем хотел писать. Во второй половине прошлого года начал писать, но писал урывками — бросал, опять начинал. Сейчас не могу сказать с полной определенностью, когда закончу книгу. Однако рассчитываю во что бы то ни стало кончить первую часть до октября этого года. Название книги еще не определил, содержание — серьезные общественные явления нашего переходного периода.

С приветом

茅盾

Польша

Казимеж Брандыс

В январском номере «Твурчость», ежемесячника Союза польских писателей, опубликован мой рассказ «Защита «Гренады». Это история молодого революционного театра, который в 1949 году решил поставить в Варшаве «Баню» Маяковского.

Лучшие силы революции, зря гибнущие из-за догматизма, драма молодых творческих работников, запутавшихся в лжемарксистской софистике сектантов,— вот, собственно, тема этого рассказа. «Защита «Гренады» вызвала оживленную дискуссию в кругах интеллигенции и среди молодежи. Я получаю все новые отклики, вопросы и замечания и все еще живу в кругу этого произведения.

«Защита «Гренады» — одно из «Воспоминаний о современности», которые я пишу и публикую в течение двух лет. Среди них имеются вещи на нескольких страницах, но есть и более длинные, свыше пятидесяти

страниц. Это не всегда рассказы в традиционном значении слова; часто они находятся на грани между рассказом и эссэ, очерком и воспоминанием. Я пытаюсь таким путем приблизиться к современной теме, которая, по моему мнению, все больше выходит за рамки классического эпического романа XIX века.

Теперь я работаю над более крупным произведением в этом же жанре. Это «Мать королей», рассказ о женщине из народа. Мне хочется показать в этой повести драму людей первой половины XX века (1905—1955 годы), которые ищут моральные и материальные основы жизни. Меня всегда будет больше всего интересовать, что сделал человек со своей жизнью, как он определил свою судьбу в зависимости от эпохи.

С этой темой связаны все мои будущие писательские планы.

Кагиша Брандуз

Мария Домбровская

1. Я лечусь и отдыхаю после небольшого сердечного приступа. Помимо сборника рассказов «Утренняя звезда», второе издание которого только что появилось, в печати находится мой сборник записок или очерков, выбранных из публицистических работ, печатавшихся в журналах за последнее десятилетие. В ближайшие дни пойдет в печать небольшая книга «Очерки о поездке в Германскую Демократическую Республику» (это название может еще измениться).

2. После окончания лечения намереваюсь посвятить ближайший год работе над повестью, материалы для которой собираю уже много лет. Я не могу сказать о ней что-нибудь определенное; в ходе работы первоначальные наброски, вероятно, подвергнутся значительным изменениям. Пишется в общем тяжело, с трудом, долго и медленно. В противоположность большинству писателей я не умею говорить о собственном творчестве, особенно находящемся еще «в мастерской». Я всегда боюсь, как бы не сказать заранее больше, чем потом получится.

Простите за бедность этих сведений и примите сердечный привет

Мария Домбровская

США

Эрскин Колдуэлл

Я был очень рад узнать, что вы проявляете интерес к моему творчеству.

Только что закончил работу над сборником, который будет называться «Рассказы Мексиканского залива».

Сборник, состоящий из двадцати одного рассказа, появится в США в сентябре 1956 года. Действие всех рассказов происходит в штатах, расположенных на берегу Мексиканского залива. Это мои первые рассказы за много лет.

Я еще не решил, что буду писать потом. Возможно — роман на современную тему.

Благодарю вас за внимание. С уважением Владимир Сальдуэлл

Альберт Мальц

Получил ваше письмо с вопросами «Международной анкеты», которую организует ваш журнал. Благодарю за приглашение принять в ней участие и буду счастлив ответить на поставленные вопросы.

Я закончил роман, основанный на изучении людей, заключенных в одной из федеральных тюрем США. Материал для книги черпал из собственного опыта пребывания в тюрьме, хотя ни о себе, ни о своем деле не пишу. Изображая характеры героев, я хотел осветить некоторые стороны современного американского общества.

Сейчас пишу рассказы и очерки о жизни в США и Мексике.

Моей следующей большой работой будет исторический роман из времен рабства и гражданской войны в США; здесь я хочу, в первую очередь, показать мужественную борьбу негритянского народа за свое освобождение.

С наилучшими пожеланиями и сердечным приветом ваш

Лион Фейхтвангер

Я работаю над романом «Иафет и его дочь». В этой книге пытаюсь показать на материале, взятом из библейских времен, жизненный путь человека, которого человеком сделали обстоятельства и который постепенно приобретает способность сдерживать свои инстинкты, чтобы добиться мира и благосостояния для своего народа. Я стремлюсь изобразить в романе древние времена, относящиеся к XII веку до нашей эры.

Закончив эту книгу, хочу написать большую работу «Блеск и нищета исторического романа».

С приветом и наилучшими пожеланиями ваш

С. Образцов

Ив Монтан певец Парижа

В конце пятьдесят третьего года вместе с группой советских актеров я выехал из Лондона в Париж. В Дувре наш поезд по кусочкам влез в большой паром и поплыл в Дюнкерк. Это было ночью. Я не спал. Смотрел в блестящую черную воду.

Дувр, Дюнкерк. Эти два слова высечены в памяти военными буквами. Сколько людей погибло между такими мирными сейчас берегами пролива! Неужели это может повториться? Неужели возможна война?

К Дюнкерку подплыли утром и через несколько часов были в Париже. Впервые в Париже. В том самом городе, который знаешь с детства. Все знаешь: названия улиц, площадей, бульваров, имена людей, которые делали его историю, рожденных им писателей, композиторов, художников, его голос, его музыку, его краски. Неужели я сейчас в этом самом Париже?

В лифте гостиницы маленький мальчик, сидевший на руках своей кудрявой матери, неожиданно протянул мне руку и сказал: «Бонжур, мсье!» Мне стало смешно и весело. Балкон нашего номера повис над бульваром. Бульвар был совсем таким, каким я знаю его по картинам Константина Коровина. Я сказал бульвару: «Бонжур, мсье!» И Эйфелева башня оказалась удивительно похожей на Эйфелеву башню, и я сказал: «Бонжур, мадам!» И Елисейские поля, и плас де ла Конкорд, и плас Этуаль, и Собор Парижской Богоматери, и ночная плас Пигаль — все, все я узнавал, как будто вернулся из далекого путешествия.

Но с каждым днем все то, что я раньше знал о Париже, отодвигалось, и появлялся другой Париж, неясный мне, а только угадываемый, но зато французский, а не международно известный. Настоящий парижский Париж.

Слишком мало, слишком коротко я был в нем, чтобы если не понять, то хоть узнать и город, и людей. Слишком было много у меня всяких дел, концертов, официальных встреч, чтобы найти время для встречи с городом, но все, что только можно было выкроить из плотных суток, я старался выкраивать.

За все пятнадцать дней жизни в Париже у меня было только два свободных от выступлений вечера. Я спросил моих новых французских друзей: «В какие театры надо пойти, чтобы понять, что смотрят и что любят парижане?» Мне ответили: «Только не делайте, как все приезжие, не ходите ни в Фоли-бержер, ни в Мулен Руж. Там парижан нет, там иностранцы. Непременно посмотрите Жерара Филипа в мольеровском «Дон-Жуане». Это прекрасно. Пойдите в «Комеди франсез». Это вроде вашего «Малого театра». Посидите в каком-нибудь ночном кабарэ и обязательно достаньте билеты на Ива Монтана. Это сейчас любимый парижский шансонье».

Даже и эту маленькую программу мне не удалось выполнить. С Жераром Филипом я познакомился. Он пришел ко мне за кулисы в антракте концерта, но увидеть его на сцене так и не удалось. В дни, когда Жерар Филип играл, я оказался

занят. В «Комеди франсез» я был. Смотрел «Мещанина». Но, по правде сказать, когда этот же спектакль с этими же актерами я увидел в Москве, он понравился мне гораздо больше. Вероятно, это произошло оттого, что новые обстоятельства и новые зрители открыли у актеров второе дыхание.

Программы двух ночных кабарэ не особенно мне понравились, но в обеих программах выступали кукольники. Они-то меня и пригласили туда. Выступления кукольников были интересными, хотя с одним из них я поспорил. Он показывал номер, в котором кукол-то собственно и не было. Были зонтики. Настоящие зонтики. Мужской и дамский. Зонтики гуляли. Потом целовались. Потом, в самый пикантный момент, их застиг отец героини, то есть второй мужской зонтик. Но было уже поздно. В конце номера появился зонтик детский.

Когда кончилась программа кабарэ и в маленьком потушенном зале остались только актеры, мой коллега спросил меня: «Ну, как?» Я сказал: «Это вы ловко придумали. Очень ловко и очень талантливо. Вот жаль только, что такой острый по своей форме номер у вас бестемен». Он возразил: «Вы из Советской России и поэтому не можете понять. Нашим зрителям не нужна тема. Они хотят просто развлеченья, выпить немножко винца и пойти домой». Я возражал: «Неправда! Подчините форму и сюжет вашего номера какой-то определенной теме и вы увидите, как вырастет и номер и ваш успех».

Мы расстались друзьями, но спор наш так и повис в воздухе. Каждый был уверен, что другой не понимает его, потому что не может понять. И вот на следующий день я оказался в зале театра «Этуаль» на концерте Монтана. Как жаль, что моего коллеги-кукольника из ночного кабарэ не было рядом! Я бы после каждой песенки Монтана оборачивался к нему и говорил: «Ну что? Кто был прав?»

Монтан замечательный певец. Но разве голос у Монтана лучше, чем у всех певцов Франции? Разве только за голос или за манеру исполнения любят его парижане? Нет. Может быть, только Монтан поет эти песенки и нигде в другом месте их нельзя услышать? Нет. Врозь их поют многие. В чем же дело? Почему концерт Монтана — это больше, чем просто успех? Почему счастье, огромное счастье на лицах зрителей и почему на их глазах слезы? Почему слезы эти не похожи на слезы сентиментального умиления и почему хохот не похож на ржанье?

Почему все это? За что влюблены французы в своего национального певца? За сердце. А сердце актера — это и есть тема.

Когда-то Соломон Михайлович Михоэлс говорил мне: «Если у актера нет его личной темы, это не актер. Если он не одержим желанием сказать людям что-то, что он считает самым важным, это не актер». Все то, что пел Монтан, все то, о чем он пел, было подчинено теме: его, монтановскому, неудержимому желанию сделать людей лучше, чище, счастливее, добрее.

Эта тема сузила его репертуар? Нет, наоборот: невероятно расширила, но в то же время отобрала.

Да, врозь многие из песен вы можете услышать и у других певцов, но Монтан нанизал свои песни на единую нить, и они стали жемчугом.

Кто же этот Ив Монтан? Откуда он взялся? Упавшая с неба звезда? Нечто исключительное и неповторимое? Нет. Не с неба упал Монтан. Тем-то он и прекрасен, что вовсе не исключителен, а национален.

Не было бы во Франции великого народного поэта Беранже, если бы не был он песенником и если бы не было прекрасной, чисто национальной формы французской злободневной песни.

Родится эта песня чаще всего в различных кабарэ, тоже являющихся народной, национальной формой отдыха, и звездной эстафетой рассыпается по стране, если только вложенные в песню мысли и чувства оказываются нужными сегодня, именно сегодня, простым людям Франции.

Надежда Константиновна Крупская, рассказывая о жизни Ленина в Париже, говорит: «Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем,— и о том, как под-

выпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице, и т. п.»

Процесс рождения песен не замирает, не останавливается. Каждый год новые. Их поют на углах улиц и бульваров, тут же продавая ноты. Их сочиняют поэты и композиторы, их сочиняют сами певцы, их сочиняют иногда мало кому известные люди, но песни эти родятся и умирают, и родятся вновь, а песенники Франции наследуют один другому. Монтан — звено в золотой цепочке народного шансонье.

Тот вечер, в который мы пришли в зал «Этуаль», не был премьерой Монтана. Он пел в этом зале и вчера, и позавчера, и неделю назад. Он пел уже несколько месяцев один и тот же концерт, и каждый день две тысячи человек заполняли зал, и еще сотни не могли достать билетов.

Молодой, спортивный, в коричневой рубашке с расстегнутым воротником, заправленной в такие же коричневые штаны. Легкий, но не развязный, ловкий, могущий сделать во время песни про акробатов «колесо», но вовсе не эксцентричный и не хвастающийся своей ловкостью.

Сзади него большой, туго натянутый занавес из тюля. За тюлем маленький оркестр. Он виден, но не мешает, не лезет в глаза. Как только Монтан начинает петь, перед вами остается только один человек, объемный силуэт которого вырезан на белом тюле экрана.

Какие же песни поет Монтан? Разные, очень разные. О чем они? О многом. И об очень значительном, и о том, что на первый взгляд может показаться пустяком, но что никогда не пустяк, так как та же ниточка любви к человеку и веры в него пронизывает и эту бусинку.

...Девушка, красивая, молодая, качается на качелях, и ничего ей, кроме качелей, не нужно. Влюбился в нее человек. Простой человек. Стал угощать конфетами, повел смотреть балаганы. Она сказала «мерси» и побежала качаться на качелях. Он дождался ее внизу и поцеловал. Но она опять убежала качаться. Наконец он сделал ей предложение. Женился. А она все-таки бежит на качели. Смешная песня.

Комичность ее Монтан сохраняет полностью и ничем не отягчает песенной легкости, но все это окрашено таким личным сочувствием Монтана к чистоте девушки, что песня становится прекрасной, как хрусталь.

А вот другая песня. Маленький негр. Чистит обувь белым людям. Солнце он видит только тогда, когда оно отражается в блеске начищенных им башмаков. Луч прожектора освещает Монтана. Черная тень все растет и растет сзади певца на широком экране, а Монтан поет — из этого мальчика вырастет большой человек.

Вы видите, как не похожи эти песни — веселая и далеко не веселая. По-смешному любовная и социально заостренная, антирасистская. Совсем не похожи. Но верой в людей объединяет их Монтан.

Он поет о шофере, ведущем грузовик по бесконечной ленте дорог, и вы понимаете, как безжалостен бывает труд. Он поет про дирижера симфонического оркестра, полюбившего обыкновенную девушку, которой нравится только простая музыка танцев, и вы понимаете, что, как бы прекрасно и сильно ни было искусство, все равно любовь сильнее, потому что еще прекраснее.

Он поет про солдата, идущего на войну с надеждами на славу и возвращающегося никому не нужным, с узелком грязного белья за спиной.

В дни, когда я был в Париже, во Вьетнаме еще шла «грязная война». Бессмысленно, безжалостно, ненужно гибли люди. И когда Монтан пел про солдата, в зале было так тихо, будто и нет никого.

А потом Монтан рассказал, не спел, а тихо рассказал про девушку, которую звали Барбара. Он любит ее, хоть и видел всего только раз. Это было давно. Она шла по лестнице, и кто-то ее окликнул: «Барбара!..» И девушка кинулась на этот зов, и стало ясно, что ее позвал возлюбленный. С тех пор прошли года. Была война. Неужели Барбара несчастна? Неужели ее возлюбленный убит? Как горько, как страшно думать о том, что девушка, которую любишь,— несчастна.

И опять было тихо. Очень тихо в зале. Ужас войны позади, но разве горе ее забыто?

Рассказать обо всем, что пел Монтан и, главное, объяснить, показать, как прекрасно он это делал, — невозможно, но не рассказать хотя бы несколько сюжетов, несколько тем его песен тоже нельзя, потому что в их выборе — весь Монтан.

...Двое были женаты. Он женился потому, что любил, а она вышла замуж, чтобы иметь деньги. Каждый вечер она говорила ему: «Дон муа де су!» — «Дай мне денег на наряды, дай денег на развлечения! А не то я уйду!»

Где достать денег, чтобы дать все той, которую любишь?! И он пошел в ломбард, чтобы заложить свое сердце. Это было сердце поэта, мечтателя, влюбленного. Оно оказалось очень легким, и за него дали мало денег. Слишком мало для той, которую он любил. Она сказала: «Я не хочу жить с человеком, у которого нет сердца»,— и ушла.

—...Скажи мне, Жо, почему ты смеешься без причины, как маленький? Я же твой друг. Ну скажи, что ты смеешься? — Я смеюсь, потому что мне что-то щекочет горло. Какая-то неспетая песенка просится наружу.— Скажи мне, Жо, о чем ты мечтаешь, зачем ты все время глядишь на небо? Ну скажи, я же хороший парень. Ты меня любишь. Что же ты молчишь?— Кусочек луны попал мне в глаз, маленький кусочек, величиной с монету.— Скажи мне, Жо, что ты там рассматриваешь на ладони?— Это просто волосок. Обыкновенный волосок.— Скажи мне, Жо, зачем ты поешь слова, которые сам же придумываешь? Ну зачем ты это делаешь?— Песенка щекочет мне горло, кусочек луны попал мне в глаз, маленький волосок, не больше зернышка, вертится на моей ладони. Все это, конечно, несерьезно, но мне двадцать лет, и мне хочется смеяться и петь.

...На рассвете умирают раненые, на рассвете будят приговоренных к смерти, и они уходят туда, откуда никто не возвращается. На рассвете на перепутье дорог люди прощаются, крепко сжимая руки, чтобы не закричать от боли. На рассвете расстаются возлюбленные, чтобы днем нарушить клятвы ночи.

Но на рассвете родятся надежды. На рассвете ты готов совершить самые большие подвиги. На рассвете за далекими морями возникают завтрашние дни. Весь мир я держу в своих руках на рассвете, потому что рассвет — это завтра!

...О тебе написаны стихи и романы. Что я могу еще сказать, чтобы описать твою красоту, мой Париж? Я купил на набережной пожелтевшую от времени книжку о радостях и горе, которые ты пережил, мой Париж! За твою долгую жизнь сколько человеческой любви рождалось и тихонько умирало на твоих улицах. Под стенами твоих домов, на каждом тротуаре люди сражались за свободу. Это народ, люди сделали тебя таким красивым, мой Париж! Они построили Нотр Дам, ла Конкорд, Тюильри. Они с песнями взяли Бастилию и шутя возвели Эйфелеву башню. Прошли года, а ты молод, как двадцатилетний. Сена покоится в своей каменной колыбели, и ей, наверно, очень уютно, но почему я так волнуюсь, когда брожу по твоим улицам, мой Париж?!

Этой песней начался концерт, но когда концерт кончился, когда уже было спето все, зрители стали кричать и требовать песню о Париже. И Монтан спел. Это была другая песня. Веселая, вальсовая песня о солнечном городе, в котором флюгера на крыше кокетничают с ветром. А весеннему ветру не до них. Ему некогда вертеть флюгера. Взявшись за руки, солнце и ветер, как два школьника, бегают по городу, проверяют, все ли в порядке, все ли как всегда. Такси, полицейские, кафе, метро. Днем и ночью приходят к Сене гости. Влюбленные смотрят в ее глаза. Бездомные спят на ее набережных и каждое утро умываются ее водой, а те, кто ничего не ждет больше от жизни, бросаются в ее волны. Но Сена не любит этого, она любит, когда по ней плывут пароходы, и журчит за их кормой. В каждом городе бывает горе, но только в Париже умеют так плясать на улицах, и во всем мире есть только один город, имя которого — Париж! С тех пор как парижане взяли Бастилию, каждое четырнадцатое июля девушки и парни танцуют на каждом перекрестке, кружатся и кружатся... Это — Париж!

Звонкая, веселая, кружащаяся песня. Но почему-то на глазах у моего соседа я увидел слезы. И сидевшая впереди женщина тоже сняла слезу кончиком мизинца. Осторожно, чтобы не размазать ресницы. А через два ряда от нас мелькнул платок. Что случилось? Почему опять так тихо, так напряженно в зале? Почему песня так распахнула сердца?

Потому что Париж для парижан, для французов не просто город и не просто столица. Париж для них — Франция.

И совсем недавно — этого нельзя забыть — над Францией, над Парижем, как туча, висела смерть. Париж навсегда мог перестать быть французским, а Франция — Францией. Недаром весенний ветер и весеннее солнце проверяют, все ли в Париже осталось по-старому. Им есть что проверять! А что еще важнее — горе не только сзади, оно может оказаться и впереди. Разве опасность исчезла совсем? Разве мало об этом и говорится и пишется каждый день? Вот и навертываются на глазах парижан слезы, когда Монтан поет песню о Париже. Песню-танец, песню-гимн, в котором и счастье, и любовь, и боль.

Кончился концерт. Зрители шумели, кричали, аплодировали, Монтан много раз выходил и кланялся. Постепенно зал опустел. Те, кто был в нем, разошлись по улицам Парижа, мурлыкая себе под нос песенки Монтана.

Среди взволнованных, наполненных песнями людей вышел на улицу и я. И, шагая по темному бульвару Распай, я думал: как хорошо, как прекрасно, что искусство может делать такое большое и нужное дело! Как хорошо, когда оно наполняет людей чувствами добрыми и мечтами смелыми. Я думал и о черной воде, в которую смотрел, переплывая Па-де-Кале, и о том, что по бульвару, по которому я иду, ходили враги Франции, и о том, что среди тех, кто спит сейчас за ставнями молчаливых домов, много вдов и сирот, и о том, что среди тех, кто борется за то, чтобы больше никогда этого не было, много прекрасных людей. И что Монтан — один из них. И что каждый концерт его делает огромное дело, и что это происходит не только потому, что Монтан талантлив и не потому, что хороши песни, а потому, что искусство свое Монтан ощущает как активное действие, как тему своей жизни, а тема эта — любовь к людям и борьба за их счастье. Этой же темой живет Монтан, создавший замечательный цикл старых народных песен для граммофонных пластинок. Этой же темой живет он, играя в «Салемских колдуньях». Этой же темой наполнена его роль в кинокартине «Плата за страх». Тысячу раз прав Михоэлс, когда говорил, что большим по-настоящему большим художником может быть только тот, кто несет сквозь все, что он делает, тему. Тему своей жизни. Только тогда он пишет картину или книгу, потому что не может не писать, играет роль или поет песни, потому что не может не играть и не петь.

Вернувшись в Москву, я всем своим друзьям рассказывал про Монтана и заводил привезенные из Парижа две долгоиграющие пластинки, на которых был записан весь концерт. Меня попросили рассказать об этом по радио и передать несколько песен.

И концерт Монтана, правда немного сокращенный, состоялся в домах советских граждан и в Москве, и во Владивостоке, и в Мурманске, и в селах, и в станицах.

Так как на пластинках был записан и шум зрительного зала и даже аплодисменты, то Монтан вошел в комнаты советских людей не один, а с парижанами, с их голосами, их радостью.

И вот в адрес радио, да и ко мне домой стали приходить письма. Отовсюду. С Дальнего Востока и крайнего Севера, с Кавказа и из Казахстана, из Литвы и Белоруссии. Их сейчас больше восьмисот — этих писем. Некоторые подписаны одним человеком, двумя, тремя, а есть письма заводских цехов, воинских частей, факультетов, школ. Если попробовать хотя бы приблизительно подсчитать всех тех, кто фактически стоит за этими письмами, так получатся многие тысячи.

Это прекрасные письма. И говорят они об очень важном. О том, как советские люди любят Францию, как верят во французский народ и как благодарны они Монтану за то, что он пришел в их дома с такими прекрасными и близкими советскому человеку мыслями и чувствами, и за то, что принес им свое сердце француза.

...Какое огромное число радиослушателей самых разных профессий, сословий, возрастов и культуры было взволновано передачей! На другой день у нас на заводе, в цеху только и слышно было разговоров, что о Монтане!

Лариса Богомолова, нормировщица цеха завода Зум. г. Кашин Калининской обл.

...Просим вас передать по радио лучшую, с нашей точки зрения, песню Монтана, песню о Париже, ту песню, от которой на наших глазах, как и на глазах парижан, выступают слезы: ведь нам тоже близок и дорог Париж!

Группа студентов.

...И вот бы Вы с Монтаном приехали ко мне отдохнуть летом на Кубань в г. Кропоткин. Конечно, этот город далеко-далеко не родня шумной Москве и Парижу. Но на короткое время, по-моему, на приглашение можно приехать. А летом здесь очень хорошо отдыхать.

Раиса Песеукова, г. Кропоткин.

...Это так трогательно и серьезно! Когда слушаешь песни Монтана, то думаешь о Франции, о такой же стране, как Россия, где такие же хорошие, обыкновенные люди, каких много и у нас. Когда я смотрела фильм «Верные друзья», вернее слушала музыку этого кино, у меня были на глазах слезы. Так вот и чувствуешь нашу Яузу-«реку», а на самом деле просто канавку, и делается очень хорошо на душе. Это я не отвлеклась. Знаете, мне кажется, что такие же чувства родного Парижа вызывают «Mon Paris» или «Le gamin» у парижан. И еще мне кажется, что у очень, очень многих наших москвичей песни Ива Монтана вызвали такие же хорошие чувства и думы о такой вот Москве, о своей родной Москве...

Ермакова Таня, студентка Московского инженерно-строительного института.

...Нет, ни обманом, ни насилием не заставят народ Франции воевать с советским народом, а советский народ будет всегда другом народу Франции. Эта дружба написана была не только на бумаге, но и в сердцах советского и французского народов, и ее не разорвать врагам Франции и СССР, к каким бы козням они ни прибегали!

Семья полковника запаса Егорова, Петрозаводск.

Невозможно ни пересказать всех писем, ни сделать выдержки из каждого, даже перечислить города и то трудно.

Песни Монтана часто передаются по радио, они изданы, их поют и профессионалы на концертах, и простые люди у себя дома. Фильмы с участием Монтана: «Идол», «Плата за страх», шли в кино и передавались по телевидению.

Советские люди горячо полюбили Монтана. Он стал их другом. Вот почему так хорошо, что журнал печатает автобиографическую книжку Монтана.

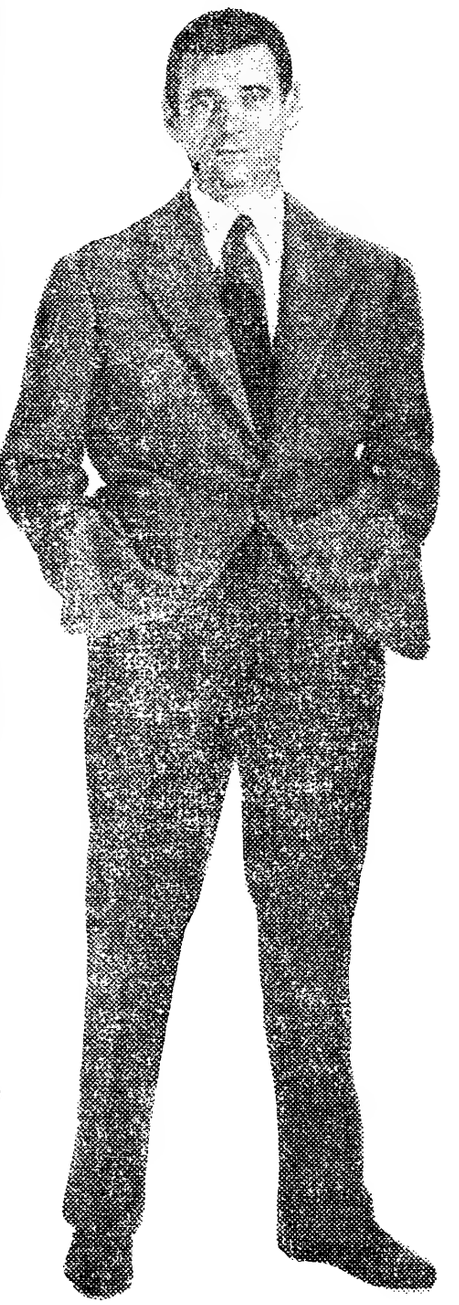
Книжка эта называется «Солнцем полна голова», то есть так же, как называется одна из любимых песен Монтана. Песня о человеке с солнцем в голове и песней в сердце. О человеке, который всем встречным на улице говорит «здравствуйте», потому что все ему друзья.

Как только Монтан, весело пританцовывая, начинает петь эту декларацию влюбленного в жизнь оптимиста, вы сразу же вспоминаете, что где-то слышали этот мотив. Где же? Когда? Да в самом начале концерта. Только эта мелодия счастья звучала тогда маршем, и под него-то и появился Монтан в портале сцены на белом тюле экрана.

Вот и в книжку свою он захотел войти под знаком этой же песни «Солнцем полна голова».

Но появляется он перед читателем сначала не певцом и не актером, а маленьким мальчиком, которого зовут Ив, и звучит тогда не джазовый марш за белым тюлем, а плеск моря, шум порта да гудки пароходов.

Жизнь, люди, Франция сделали Монтана таким, какой он сейчас, и если не узнаешь и не поймешь мальчика и юношу Ива Ливи, разве можно понять, почему так горячи песни Ива Монтана и почему солнцем полна его голова?



Ив Монтан

Солнцем полна голова

Перевод с французского
О. Образцовой и К. Наумова

МОИМ СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Я счастлив добавить для советских читателей несколько строк к этим воспоминаниям. От всего сердца благодарю переводчика и редактора, которые трудились над изданием моей книги.

Я слышал, что в вашей стране знают и любят мой голос и песни моей страны. Я этим счастлив и горд.

Я старался, чтобы и в этой книге прозвучал мой голос, чтобы он помог — сквозь вереницу лет — нарисовать образ той французской земли, образ того народа Франции, чья нежность, чья улыбка, чье мужество были для меня всегда поддержкой и опорой.

«Солнцем полна голова» — что означают для меня эти слова? Они означают надежду, веру в прекрасный свет дружбы и мира. Моя жизнь не всегда была лег-

кой, да и работа артиста вообще далеко не легка — вы это знаете. Нужно большое терпение, упорство. Но работается лучше, работается хорошо, когда трудишься от чистого сердца и когда вокруг дружески звучит припев твоей песни.

В солнечных лучах песен я хочу воспеть труд и мужество честных людей нашей и других стран, их неиссякаемую любовь к Свободе, их стремление жить в добром согласии со всеми народами.

Вот почему мне особенно приятно добавить к этой книге воспоминаний слова привета советскому читателю. Эта радость удваивается благодаря надежде приехать в ближайшее время в вашу страну и познакомиться с советской землей и с советскими людьми.

Итак, до свидания — и до самого скорого!..

Ив Монтан. Париж, 1956.

Глава первая

Первое из моих детских воспоминаний — море.

Море огромно. Оно впитало в себя весь солнечный свет и тепло, все краски, все образы.

Море бесконечно и таинственно. Оно словно чего-то ждет. Воздетые к небу гневные руки портовых кранов притягивают к себе пароходы за канаты дыма, струящегося из их труб. Кранов так много, что их нельзя сосчитать, и мой брат уверяет, что они могли бы немало порассказать о волнах, о путях рыбьих стай, о приливах и отливах.

Море сверкает. Кроме него ничего нет. Оно живет своей особой жизнью, подобно старинной картине в темном зале молчаливого музея.

Повидимому, первое пробуждение сознания оставляет в памяти глубокий след. Говорят, что до этого момента человека как бы не существует: нет ничего и никого, может быть лишь какое-то растение или даже нечто не поддающееся определению. Но потом появляется что-то, какая-то нить, держась за которую уже можно пробираться сквозь туман событий, сквозь толпу образов, сквозь взбудораженный людской муравейник.

Для меня такой нитью было море. Когда я его увидел, мне было четыре года и мы жили в Марселе. Море сияет, как двери рая. Оно поглощает все. Оно все растворяет. Оно бесконечно и непостижимо.

Время бежит. Пылающее лето сменяется суровой зимой. Проходит немало дней, все они волнующие и пестрые.

Взрослые без конца говорят о работе, но я никогда не слыхал, чтобы они при этом смеялись Повидимому, работа — вещь не очень веселая.

— Я работаю. У меня слишком много работы. Я потерял работу. Я ищу работу. Это не работа. Подохнуть можно от такой работы. Все работа да работа!

Моя мать разрезает хлеб вдоль, кладет в него кусок рокфора, заворачивает в газету и торопится вслед за отцом. Они идут на работу. Мы остаемся одни: сестра, брат и я.

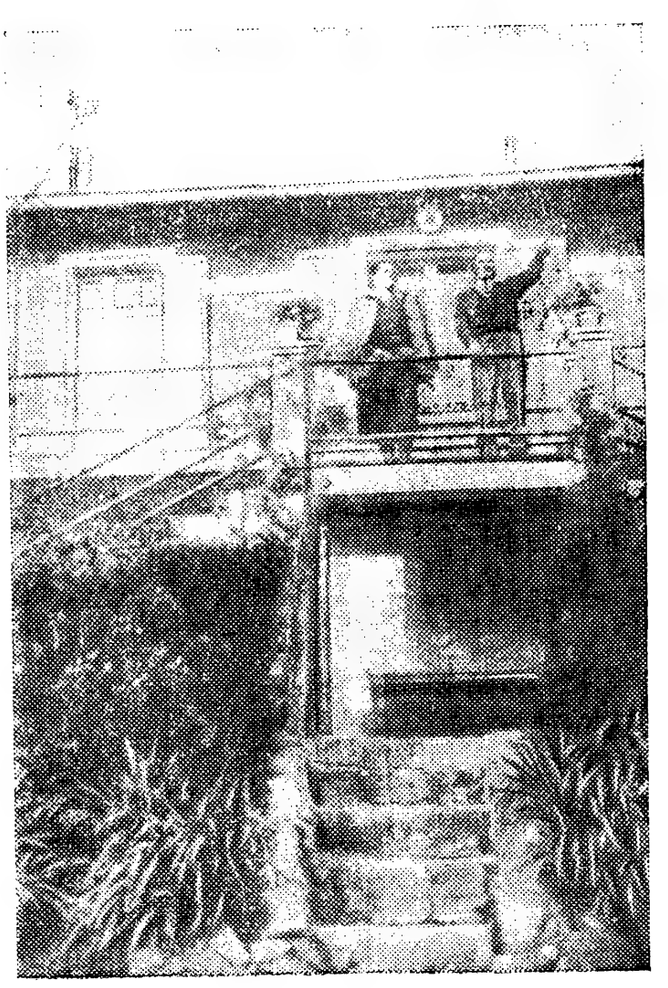
В те дни, когда отец и мать задерживались на работе и возвращались только вечером, изнемогая от усталости, нам часто приходилось делить на троих одно яйцо — одно-единственное.

Иногда нам оставляли хлеб и сыр. Их делить было легко. Но, говоря по совести, у нас частенько было только одно яйцо.

— Поосторожнее с яйцом! — говорила, уходя, мать.

Мы слышали, как звучали, удаляясь, ее шаги во дворе. К ним присоединялись

Дом родителей Ива Монтана в марсельском предместье.



Сокращённый перевод воспоминаний, собранных Жаном Дени. — Изд. «Лез едитёр франсе реюни», Париж, 1955 год.

шаги отца. Они уходили по тропинке, и камни разлетались из-под четырех дружно стучащих башмаков.

На буфете лежало белое сверкающее яйцо, притягивая наши взгляды, как алмаз.

Яйцо оставлялось на попечение сестры — она была самой старшей. Она и должна была решать, как мы будем его есть. Важно было бережно разделить его на равные части, но самое главное — не разбить его!

В ту пору мне было четыре года. Помню, как во время своих незатейливых игр я внезапно вспоминал об этом яйце. А вдруг вошла кошка и сбросила его? А вдруг его стащил вор? Или оно упало, сдутое ветром? Я стремглав бросался домой и успокаивался только тогда, когда убеждался, что яйцо невозмутимо и спокойно лежит на месте. Бессмертное яйцо!

Если варить вкрутую, его легко разделить на три части; если всмятку — задача осложняется; в мешочек — целая возня; делать омлет — невозможно, для этого требуется масло. Одним словом, яйцо причиняло нам много беспокойства, тем более, что мы находились в том возрасте, когда сегодня хочется есть желток, завтра — белок, и все это создавало еще больше затруднений. Но в любом случае голод продолжал терзать наши желудки и после того, как мы съедали последний кусочек.

Когда мы теперь вспоминаем об этом чертовом яйце, которое иной раз было хитрее нас, нам становится смешно. Но тогда случалось из-за него и всплакнуть.

Стоит ли вспоминать об игрушках? У нас не было ни плюшевых зверей, ни деревянных раскрашенных грузовиков, ни лошадей из папье-маше. Зато у нас в избытке имелась фантазия — гений, который мгновенно превращает консервную банку в трактор, старое колесо — в обруч, а дощечку — в корабль. Этот воображаемый мир был не очень надежен. Проснувшись утром, мы видели, что консервная банка — всего лишь консервная банка, жалкий, ни на что не годный кусок жести. Его отшвыривали ногой, и когда он с грохотом катился по земле, никто уже не обращал на него внимания.

* * *

Мне стоило больших трудов узнать, что же происходило со мной до того времени, когда моя память начала работать более или менее прилично. Мой отец не из тех, кто любит перетряхивать прошлое. Он мало говорит, еще меньше объясняет. В прошлом он ценит только опыт, который может пригодиться на будущее. Все, что я мог из него вытянуть, было лишь обрывками воспоминаний. Логика и воображение дополнили остальное.

Мои младенческие дни прошли в другой стране, в Италии, где я родился 13 октября 1921 года. Два года назад, снимаясь в Риме в картине Блазетти, я посетил Монсуммано-Альто. Я увидел деревушку, прилепившуюся к склону Апеннинского хребта над Флоренцией. Я увидел охристую землю, осыпи щебня, тощие деревца. Я увидел пылающее небо, неутомимых крестьян. В волнении я мял какой-то цветок и твердил самому себе:

— Милый мой, ты не турист. Милый мой, ты здесь родился. Милый мой, смотри: здесь происходили всевозможные события в то время, когда ты был всего-навсего маленьким комочком, который мог только спать, есть и плакать...

Я увидел глинобитный домик. Я вошел в комнату. Выступающие балки на потолке. Безукоризненно чистые красные плиты каменного пола. Окно, распахнутое в бесконечность. Но я не ощутил никакого внутреннего толчка, никакой зацепки, ни единого образа.

— Милый мой, значит, ты был всего только маленьким узелком, который перетаскивали с места на место... Это, пожалуй, было даже для тебя неплохо. Жизнь здесь была в то время не так уж весела.

Мои родители были очень бедны. Они жили в этом домике и обрабатывали землю. Но земля здесь упряма. Много раз приходится ее вспахивать, пока она, наконец, согласится вернуть немного ржи, картофеля или олив. Однако все Ливи занимались земледелием из века в век: почему же моему отцу отказываться от этого? В конечном счете борьба крестьян с землею была делом чести, и никто не желал отступать. Придет же такое время, когда все это изменится, и тогда земля признает своих хозяев.

Если бы не Муссолини, отец мой, наверное, продолжал бы сражаться с природой. Попрежнему тянулись бы дни, полные тяжелого труда, которые, однако, скрашивала бы гордость за то, что создано этим трудом, и твердая надежда на более светлое будущее. Мой отец вкладывал эту надежду в одно славное слово: «социализм». Для него в этом слове объединялся ряд важных понятий: справедливость, распределяющая все по заслугам; великодушие, раскрывающее сердца; сила, заставляющая горе отступать; мир, при котором расцветет счастье; свобода, дающая возможность идти куда хочешь, думать так, как тебе кажется правильным, дружить с соседями и иметь право осуждать негодяев, разоблачать их темные делишки. Отец не скрывал своих идей и часто высказывал их друзьям и соседям. Ему было очень радостно сознавать строгую последовательность и стройность этих идей, суливших людям облегчение их страданий и наступление нового, лучшего времени. Эти идеи светили ему, как приветливые огоньки города, к которому подходит наконец усталый путник.

Спустя несколько лет отец открыл маленькую мастерскую для изготовления щеток. Он работал в сарае, и мать ему по-

могала. Должно быть, солнце ярко освещало эту картину мирного труда.

Я представляю себе, как соседи, проходя мимо, обменивались с ними певучими фразами, в которых сквозила простодушная жизнерадостность.

* * *

Все испортил мой дядюшка.

Этот дядя, брат матери, был, говорят, настоящим великаном. В свое время стук кованых сапог молодчиков, отправившихся в Рим, опьянил его, и с той поры он почувствовал себя фашистом. Заказав себе такие же сапоги, он явился к моим родителям и, яростно стуча каблуками, принялся поносить социализм. Он оратор-ствовал точь-в-точь как его толстый вожак. Он лопался от гордости. От него так и несло дешевым тщеславием.

— Убирайся ты со своими сапогами куда-нибудь подальше! — сказал ему отец.

Дядюшка в самом деле ушел, но еще не раз возвращался, грозя огнем, мечом, страшной местью и всевозможными кровавыми ужасами.

Мой отец сохранял всю свою веру в социализм, которой этому паяцу было не понять. Мать моя не была, как отец, слишком уверена в человеческом благоразумии и уже представляла себе страшный дым пожарищ. Она в это время была беременна в третий раз. Я был тем бременем, которое одновременно вызывало у нее и радость, и тревогу.

Одной пары сапог, даже самых великолепных, никоим образом не достаточно для того, чтобы кого-либо запугать. Для этого нужно еще иметь и факелы, и ружья, и кинжалы — целый устрашающий арсенал. Нужно еще иметь полчища людей, которые внезапно появляются по ночам, нужны палачи и убийцы.

Дядя вместе со своими единомышленниками втайне обдумывал свои планы. Здесь, в маленькой комнате, они колдовали над географическими картами, стучали кулаками по столу, пыжились, острословили и держали цветистые речи. Они также готовили оружие и приходили в экстаз при одной мысли о том, что́ совершат для величия и славы Рима. Составить список подозрительных лиц было нетрудно: ненависть подсказывала их имена. И еще легче было для дяди — ведь он стал начальником сектора, видимо, благодаря своим великолепным сапогам — включить в этот список фамилию Ливи. Однако должно было пройти еще какое-то время, чтобы все было подготовлено, и солнце еще не раз поднималось и заходило над безмятежно мирными полями. А затем чудовища вышли из своего логова — и злодеяния начались.

Моя мать была накануне родов. Она лежала возле окна, должно быть, о чем-то мечтая. Октябрь отдавал свое последнее тепло. Если прислушаться, можно было услышать обрывки песенки, которую насвистывал отец за работой. Безмятежность этой картины казалась безграничной и нерушимой.

Кошмар, который начался потом, был так внезапен, что мог показаться вымыслом. Двор заполнился людьми; они яростно жестикулировали и жужжали, как шершни, посылая грозные проклятия. Два человека схватили моего отца, а остальные стали немилосердно избивать его плетьми из воловьих жил. Они пытались насильно влить ему в рот касторку: это казалось им самым подходящим и притом забавным средством для распространения своих идей. Затем они исчезли так же быстро, как появились. Отец с большим трудом дотащился до дома. Он нашел мою мать в полуобморочном состоянии. Он имел право плакать и проклинать этих людей, но он этого не сделал. Он только крепко пожал руку матери.

Вскоре опять явился дядюшка, чтобы поломаться. Его сопровождало несколько человек; их новенькая кожаная экипировка доставляла им немалое удовольствие.

— Ты покоришься, каналья! — ревел дядюшка в бешенстве. — Ты покоришься, или я тебя прикончу!

Мой отец посмотрел ему прямо в глаза: одного взгляда оказалось достаточно, чтобы смутить этого самоуверенного паяца. Преступники и тираны не любят человеческого взгляда. Он их пугает. Недаром после нашествий остается столько людей, которым выкололи глаза. Палач не может выносить огня, который сверкает в глазах жертвы. Поэтому людям, которых казнят, завязывают глаза: так надежнее.

Мой отец не уступил. Он выгнал этого разукрашенного значками и медалями хвастуна и возобновил свои усилия, чтобы остановить действия фашистов. В своем краю он был одним из крупных руководителей-социалистов и имел большое влияние среди честных людей. До него доходили рассказы о покушениях, ограблениях, насилиях и карательных экспедициях. Он видел, как из-за холмов взлетали искры пожаров, зажженных этими бесноватыми. Он задумывался над словами «социализм» и «счастье», которые, казалось, были изгнаны из страны на многие годы. Моя мать вздыхала. Тишина ночи казалась ей теперь наполненной угрозами.

Фашистские бандиты вернулись к нам еще раз. Они подожгли дом и маленький сарай, который служил отцу мастерской. Должно быть, их идиотские рожи, искаженные свирепыми гримасами, лоснились в зареве пожара.

Несчастья, которые приходят в ночи, всегда особенно страшны, хотя бы их и предвидели заранее. Люди бегут. Люди кричат. Можно подумать, что они потеряли голову.

Моей сестре было тогда шесть лет, моему брату — четыре, а я только что

Ив в возрасте 12 лет, когда он работал развозчиком товаров.

родился. Родители думали лишь о том, как бы нас спасти, и забыли про все остальное. Когда нас разбудили ночью, мы были такие теплые, как свежеиспеченные хлебцы... А на утро от нашего жилища остались только почерневшие балки, пепел, железный лом, битая посуда и дымок, прозрачный и легкий, как тюль. Такие дымки — серые знамена горя.

А потом дядя снова появился. Его сопровождала блестящая свита. Он заявил, что такие пожары — печальная необходимость, но они полезны. Сбивчиво он рассказал о птице Феникс, называя ее Феликс — ему недоставало эрудиции, — которая возрождалась из пепла еще более прекрасной. Он заявил также, что его люди смогли бы за короткое время выстроить нам новый дом и мастерскую из кирпича для производства щеток — целый маленький завод. Взамен мой отец обязан был только признать, что социализм — вещь пагубная, что Бенито Муссолини — великий гений, великий вождь и великий строитель, что дядя — его пророк в этом районе и что сейчас нужно только маршировать и ни о чем не думать без разрешения.

Дядя держал свою речь, стоя прямо, как истукан, перед руинами нашего домика. Он бросал свои фразы, как торреро бросает бандерильи. У него была глупая самоуверенность человека, который обращается с идеей, как с товаром. При этом он должен был испытывать смутную радость тирана, который надеется подчинить себе и сердца и мысли.

Отец молчал. Он понимал, какую игру ведет мой дядя. Он знал, что тот хочет подкупить его заманчивыми обещаниями. Если бы такой сильный противник, как он, отказался от своих убеждений, это было бы весьма на руку фашистам. Отец знал также, что не может ждать ничего хорошего от человека, который уже показал свою жестокость. Кто, если не дядя, сказал полицейскому, который кинулся нам на помощь, когда огонь охватил нашу лачугу:

— Пускай огонь уничтожит все это отродье!

Возможно, мой отец в это время думал о том, что при небольшой удаче и достаточном мужестве социализму можно придать свойства птицы Феникс.

— Подумай о моем предложении, Джиованни! — продолжал дядя. — Ты сможешь стать директором фабрики щеток. Через три-четыре года ты сможешь разбогатеть, у тебя будет тысяча рабочих. Ты будешь жить в городе... Подумай также о том, что наш дуче не любит упрямцев. И я тоже!

Дядя в сопровождении своей свиты спустился вниз по дорожке. Он не знал, что нельзя заставить человека отказаться от своих убеждений так просто, будто дело идет о шляпе, которую надо снять с головы, или о легком влечении, которое нетрудно преодолеть. Он не подозревал, что огонь, который горит в каждом человеке, — священный огонь. Он думал, что это всего лишь слабый огонек и его нетрудно задуть. Он небрежно отбрасывал ногой камни, стараясь, однако, не поцарапать великолепную кожу на своих сапогах.

Мой отец понял, что ему надо принять серьезное решение. Жизнь становилась невыносимой. В конце концов дядя все равно посадит его в тюрьму и рано или поздно убьет. Ему оставалось одно: бежать. По всей Италии устанавливался режим, закрепленный террором и запятнанный кровью.

Эмиграция в Соединенные Штаты казалась ему выходом. Америка была далекой страной, окутанной дымкой рассказов о счастливых открытиях и легендарных удачах. Отец побежал в консульство, но его ждало горькое разочарование: двадцать четыре часа назад выдача виз на въезд в США была прекращена.

Мучительная тревога воцарилась в убогой лачуге, где мы с наступлением вечера жались друг к другу, как затравленные звери. Неистовые удары кулаков сотрясали дверь, как в жестоких мелодрамах, и к нам врывались люди с вытаращенными глазами. Они рылись всюду в поисках так называемых «обвинительных документов» и при этом тащили все, что им попадалось под руку. Производя обыск, они без конца бубнили об этих

мнимых документах, которые были достаточным основанием, утверждали они, для того чтобы нас всех расстрелять. Они делали вид, будто верят в этот страшный фарс, хотя сами знали, что все это ложь.

Дядя, изощренный в жестокостях, приказывал совершать налеты через неопределенные промежутки времени. Он великолепно знал, что в ожидании их мы трепещем не меньше, чем во время самих налетов. Он заставлял делать обыски иногда ночью, иногда днем. Внезапность он делал орудием садизма.

Если бы мой отец был один, он, без сомнения, встретил бы их с ружьем в руках. Но ему прежде всего приходилось думать о спасении своей семьи. Он купил географическую карту, изучил маршрут, собрал немного провизии и, поцеловав нас, отправился к французской границе.

Наверное этот отъезд был одновременно и горестным, и прекрасным, как те медали, на которых выбито два разных изображения: одно символизирует печаль, другое — великую надежду. Но решительного путешественника, который отправился пешком по дорогам с палкой в руке и мешком за плечами в поисках убежища и лучшего будущего, видно, хранила счастливая звезда.

Он должен был перейти границу вместе с контрабандистами, скорыми на руку мошенниками, которые пообещали столкнуть его в овраг, если он не перестанет кашлять. Потом они все же его покинули в опасной зоне, не желая обременять себя человеком, который не имел никакого опыта в бесшумных походах, был недостаточно осторожен и ни разу до этого не участвовал в рискованных воровских вылазках.

Отец блуждал по тропинкам, пытаясь выбраться на дорогу, как вдруг столкнулся нос к носу с итальянским таможенником. Это было на рассвете, и чиновник заподозрил в нем контрабандиста.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Ничего! — отвечал отец. — Ничего особенного. Я смотрю. Любуюсь пейзажем. Я художник.

Он говорил так, будто бросается в воду, без всякой подготовки, первое, что ему пришло в голову, и сам удивлялся своему ответу.

— Художник? — изумился таможенник.— Художник!.. Это удивительно!.. И я тоже художник! Вот так история! Если бы вы знали, как редко встречаешь товарищей по искусству!.. Попадаются одни только мошенники и канальи либо чиновники и туристы, ни черта не понимающие ни в рисунке, ни в красках!

Они разговаривали довольно долго. Это было настоящей пыткой, потому что отец ничего не понимал в живописи. К счастью, таможенник был болтлив и говорил за двоих. Он повел моего отца козьими тропками, чтобы показать ему редкостные виды. Они любовались поразительными растениями странной формы и окраски. Поднявшись на крутые скалы, они восхищались солнечным восходом, особенно великолепным в это утро. Потом они расстались, обменявшись рукопожатиями и называя друг друга «синьор», как образованные горожане.

Это оказалось единственным приятным эпизодом, а в остальном путешествие моего отца было тяжелым, бесконечно долгим и полным лишений. Наверное, так же переселяются муравьи сквозь лес, полный препятствий. Я представляю себе, как мой отец упрямо перебирался через горы, обходил города, жуя кусок хлеба где-нибудь под скалой, и брел дальше, сжимая свою палку, как руку единственного друга.

Он обосновался в Марселе, где нашел работу. Экономя буквально на всем, он собрал немного денег, которые выслал моей матери. Она приготовилась к отъезду так же спокойно, как будто дело шло об обыкновенном переселении на другую квартиру. Дети и весь домашний скарб уместились на одной повозке... Это произошло в 1923 году.

И вот мы приехали в Марсель, где нас ждал маленький домик на окраине города, в Вердюрон-О. И именно здесь, в самый первый момент пробуждения моего сознания, я увидел сверкающее море.

В четыре года трудно судить о том, что такое счастье и что такое несчастье. Я знаю только, что лучшими часами в моей жизни были те, когда мы все собирались вместе: отец, мать, сестра Лидия, брат Жюльен и я — Ив.

Мой отец решил дать мне это имя, потому что святой Ив — покровитель адвокатов. Он полагал, что слово может сослужить хорошую службу тому, кто умеет им пользоваться.

Но он никогда не представлял себе, что слово станет для меня жизнью. Правда, слово, положенное на музыку.

Глава вторая

Домик в Вердюрон-О был совсем маленьким, но стоял на солнце и был открыт соленым и знойным ветрам, которые гуляли по его крыше. Я не помню точно, по каким причинам мы его оставили.

Мы уехали из домика на холме и перебрались в дом, расположенный в районе, носящем не очень благозвучное название— Кротт *. Но это было сделано не без расчета, так как новое наше жилище находилось близко от места работы моего отца.

* Кротт—в буквальном значении грязь *(франц.)*.

Я не помню всех обстоятельств переезда. Я вспоминаю себя на маленьком каменистом дворе, в тени шумящих сосен, затем я вижу угрюмую, узкую улицу с рядами больших серых, неприветливых домов, с грязными канавками вдоль тротуаров. Я семеню ногами, стараясь не отстать от мальчишек, имен которых уже не помню.

Наша квартира на третьем этаже состояла из трех комнат. Чтобы попасть в нее, нужно было пройти темными коридорами, подняться по скрипучей лестнице. Если наши игры во дворе затягивались допоздна, то, возвращаясь домой, мы чувствовали себя участниками опасной экспедиции: ведь можно было предположить, что какой-то страшный незнакомец прячется в темноте. Сердца наши бились от радости, когда, наконец, мы поворачивали ручку двери и оказывались в освещенной комнате.

В одной из комнат была столовая — священное место, центр нашего жилища. Расписной фаянсовый сервиз, рюмки и вышитые салфеточки были нашими сокровищами. Они предназначались только для торжественных случаев. Когда мать говорила об этих случаях, в ее тоне звучала вера и упование, как будто речь шла о чуде, могущем произойти в любую минуту: поэтому надо быть всегда наготове. Мы все твердо верили, что жизнь может внезапно измениться. Эта надежда воплощалась в некоем важном лице, которое могло вдруг открыть дверь и без всяких церемоний войти к нам с подарками. К его приходу надо было приберечь хотя бы фаянсовую посуду и рюмки. Само собой разумеется, что этот волшебник так и не появился. Но, тем не менее, мне иногда казалось, что я слышу его уверенные шаги и стук его перстней по перилам лестницы.

Во второй комнате жили мои родители. Жизнь начиналась в ней рано утром, так как отец уходил на работу с рассветом. Наконец, третья комната предназначалась для нас. Она разделена самодельной перегородкой. Одна половина принадлежала сестре, другая — мне и брату. В нашей половине стояла узкая кровать, одна на двоих, и мы с братом без конца выясняли, как ее разделить. Наши дискуссии по поводу жизненного пространства перемежались сердитыми пинками. Когда споры становились чересчур шумными, в них вмешивалась мать. Она была беспристрастным арбитром: кто-кто, а мать умела находить невидимую для наших глаз границу. Наступление мира венчалось поцелуем, мать награждала им нас обоих.

Квартал Кротт имел свои тайны. Первой тайной был канал. Каким образом грязная, казалось тяжелая, вязкая вода преображалась до такой степени, что вдали блестела, словно живое серебро? А как проследить судьбу разных отбросов, которые неслись в этой воде по направлению к порту, берегу, кораблям? Куда деваются все эти дохлые собаки и куры, доски, пробки, бутылки, разные вещи, о которых не сразу даже скажешь, что это такое, обрывки бумаги, клочки писем, с которых вода смыла чернила?.. Похоже, что все города мира прорезаны каналами, чье назначение трудно постичь. По этим каналам даже не плавают лодки. Только мальчишки, этот отчаянный народ, орут во все горло на их берегах, дерутся и выкидывают разные штуки, несмотря на предупреждения взрослых, которые всегда напомнят о том, как кто-то утонул или таинственно исчез.

Не менее интересным местом был пустырь, который назывался Баша. Теперь он больше не существует. Предприимчивые люди построили на нем сортировочную станцию. Там, в путанице путей, стрелок, семафоров, теперь скопляются и с грохотом сталкиваются вагоны и душераздирающе кричат паровозы.

Днем шумные ватаги мальчишек носились по сухой траве, чертополоху и всякому мусору, разбросанному ветром. Одни втыкали в землю лоскутные знамена, другие строили лачуги, рыли берлоги, бросали в воздух крышки от коробок, которые взлетали, кружась, и падали на далеком расстоянии. Старые женщины бродили здесь в поисках еды для кроликов.

Но по ночам самый отважный мальчишка квартала и тот не осмелился бы пройти мимо пустыря даже в сопровождении своего отца. Там преступники и бандиты заключали подозрительные сделки, и зачастую по утрам на траве виднелись следы крови. Там совершались насилия, и не один прохожий, случайно оказавшийся близ пустыря, бывал избит и ограблен. Самых предприимчивых из нас не покидала надежда найти на пустыре какой-либо предмет, потерянный во время этих ночных происшествий: нож, деньги, золотые часы или револьвер. Но ни за что на свете они не отправились бы туда рано утром: очутиться вдруг перед мертвецом с застывшим взглядом — значило идти на слишком большой риск по сравнению с возможностью приобрести сомнительное сокровище.

Как бы там ни было, пустырь вызывал у всех чувство, которое обычно рождается близостью преступления и порока. Он давал пищу нашим беседам и чудился нам в ночных кошмарах.

Кварталу Кротт, находившемуся между каналом, пустырем и улицей, по которой проезжали тяжело груженные машины, удалось сохранить некоторую обособленность. Этот район считал себя городом или, вернее, чем-то вроде старой крепости, в свое время знавшей славу и величие. Обитатели этого квартала, среди которых попадались люди всякого рода, старались по мере сил сохранить в своих привычках и в своем поведении блеск великого прошлого. Что же касается разных подонков, то они полагали, что наш квартал — Техас в миниатюре, чем и гордились, отстаивая его престиж в непрестанных драках с пред-

ставителями других кварталов, претендовавших на подобную же честь.

Днем улицы всецело принадлежали детям, которые в силу различных причин не посещали школ. Собаки стаями гонялись за кошками, кошки подкарауливали воробьев, а те, не обращая на них внимания, без устали летали взад и вперед между крышами и проводами. Эти улицы, давным-давно знакомые, где нам был известен каждый закоулок, сохраняли для нас жгучий интерес.

Дети квартала Кротт предпочитали улицы своим домам и находили тысячу причин, чтобы бегать там целый день.

С наступлением вечера в хорошую погоду на улицу выходили взрослые. Они брали с собой стулья и рассаживались у дверей домов. И хотя не чувствовалось ни малейшего дуновенья ветерка, они все же называли это «подышать свежим воздухом». Маленькие дети не принимали участия в этой церемонии. Их укладывали спать сразу же после ужина.

Я вспоминаю эти традиционные сборища, происходившие еще в те времена, когда мой брат уже достаточно подрос и мог на них присутствовать, а меня все еще укладывали спать. Слышны грубые мужские голоса, пронзительный женский смех. Иногда голоса стихают и доносится неясный шум. Иногда, подобно звуку трубы, вырывается чей-то голос, а потом — снова тишина. И над всем этим, как бы через тонкую паутинку сна, я слышу пронзительные крики ласточек.

Впоследствии мне тоже было разрешено по вечерам «дышать свежим воздухом». Мне вспоминается эта улица, погруженная в глубокое оцепенение. Она осталась в памяти, как картина, нарисованная художником, влюбленным в перспективу. Линии крыш, канав, тротуаров и электрических проводов уходят вдаль, упираясь в небо. Но небо замкнуто и нависает над городом, как гигантская крышка. Небо нависло так низко, что голоса звучат глухо, а птицы проносятся над самой землей. И вот, то вспыхивая, то угасая, словно нехотя рождается первая звезда.

Сильное впечатление производили цыгане. Они появлялись внезапно, как из-под земли. Они принадлежали к расе, понимающей всю прелесть тайн и волшебства, и предпочитали передвигаться незаметно, не привлекая к себе излишнего внимания. Они внезапно возникали перед глазами людей, сидевших возле своих домов, в сумерках, в тот таинственный час, который называется «между собакой и волком», когда так легко возникают миражи и видения.

Их было пятеро: две женщины и трое мужчин. Двое мужчин, играя на гитарах, шли впереди, остальные шествовали на ходулях.

Гитаристы играли какую-то быструю мелодию и прислушивались к звукам, низко склоняясь над гитарами. Те, что были на ходулях, с выражением страдания на лице вслушивались несколько секунд в эти звуки, а потом принимались плясать, отбивая такт кастаньетами.

За плясками следовали песни, в которых звучали и тоска по далекому краю и гордость. В них говорилось о тишине sierras *, прохладе patios **, беспощадном, как muerte ***, солнце. Слово corazón **** повторялось в припеве часто и с невыразимой страстью. Произнося его, танцор прижимал руки к груди и всем своим видом старался показать, что он много настрадался из-за этого corazón.

Представление длилось обычно недолго. Цыгане — странники, они всегда куда-то торопятся. Подобно смерчу, они быстро кружились перед зрителями, заставляя их вытягивать шеи. Под раздирающий душу финальный аккорд танцоры исчезали на своих паучьих ногах. Гитаристы собирали деньги в шапки и исчезали вслед за ними. Четверть часа спустя, если вечер был особенно тихим, те, у кого был острый слух, вновь улавливали далекие звуки песен: это те же цыгане пели где-то вдали, в другом квартале. Но обычно издалека не долетало ни звука.

Цыгане оставляли после себя ощущение некоей загадки. Начинались толки о разных тайнах, которыми они так любят себя окружать. Обсуждались легендарные происшествия, причем они являлись главными действующими лицами. Сообщались приукрашенные фантазией сведения об их необычном и удивительном характере. Они казались овеянными славой таинственными посланцами, которые бродят по свету с неведомыми целями, не прикованные к месту беспросветной работой, жалким жильем, тягостными обязанностями, словом какими бы то ни было цепями.

* * *

Квартал Кротт был населен бедняками. Каждый из них, казалось, потерпел кораблекрушение и теперь старался вычерпать воду из поврежденной лодки и кое-как законопатить ее, чтобы продержаться на поверхности хотя бы еще немного. Они жили, как осажденные, а когда к ним быстро приходила старость, теряли последнюю надежду. Они чувствовали себя во власти коварного, грубого, непонятного механизма. Они были словно заживо замурованы.

Те вечера, когда они собирались на улице «подышать свежим воздухом», походили на какие-то отдушины. Соседи и друзья толковали и спорили, стараясь уяснить свое положение. Искали выход, делали наметки. Прислушивались к голосам наиболее опытных и знающих, и те объясняли, как же нужно относиться к этому миру, как ориентироваться в течении и круговороте

* Скалистые горы *(исп.)*.
** Внутренние дворики *(исп.)*.
*** Смерть *(исп.)*.
**** Сердце *(исп.)*.

событий. Они рисовали картины нового мира, в котором каждый мог бы выкарабкаться из трясины серого прозябания, более цепкого и более коварного, чем самая черная нищета. Они говорили о странах, где труд — не жестокая необходимость, а радость созидания — светлая и счастливая. Свои взгляды они выражали словом «коммунизм», в котором мой отец находил все очарование знакомого ему раньше слова «социализм».

«Моя прогулка по Парижу». Программа театра «Этуаль».

И если цыгане появлялись как раз после подобных разговоров, будивших надежды, на сердце у всех становилось теплее, словно это было добрым знаком. Расставаясь, люди обменивались крепкими рукопожатиями, с новой силой чувствуя веру в великие свершения, точно течение полноводной реки увлекало их к прекрасному будущему.

В такие вечера все казалось прекраснее и доступнее. Женщины приходили в восторг от глаз гитаристов — от этих бархатных глаз, а мужчины рассыпались в восторженных замечаниях по поводу гибкости стана цыганок.

Но, по правде говоря, эти беседы лишь изредка рождали такое праздничное настроение. Обычно они касались мелких повседневных неприятностей, квартирных сплетен или нищеты во всех ее бесчисленных проявлениях. Люди говорили о своих заработках и сопоставляли с ними возрастающие долги бакалейщику, булочнику, аптекарю, врачу, сапожнику. Часто возникали тревожные слухи об увольнениях, об эпидемиях ветряной оспы и плохих прогнозах погоды, об увеличении цен на хлеб, о спорах между государственными деятелями, о произволе и самодурстве хозяев. Все вместе взятое погружало каждого в убийственное уныние. В такие вечера шаги взрослых звучали глухо на деревянных лестницах, а затрещины так и сыпались на ребятишек.

Мы, мальчишки, плохо разбирались во всех этих оттенках настроений. Все сводилось к практическим выводам: «К моему старику сегодня не подступишься!» — «Моя старуха не купила мне улиток!»

Нищета, однако, брала верх над нашей беспечностью. Прежде всего нужно было что-то есть.

— Опять эта картошка!

— Не хочешь, не ешь! Но другого ты не получишь!

Нужно было выбирать между отвращением к картошке и муками голода, который будет вас терзать до вечера.

Но голод был всегда сильнее, с ним не свыкнешься.

Одежда также была очень важной проблемой.

Я имел несчастье быть младшим в семье: таким образом, мне доставались вещи брата. Новую одежду покупали только ему. Но и его положение, впрочем, было немногим лучше, так как вещи покупались с большой осторожностью: лишь самое необходимое, самое прочное, недорогое, на вырост. Без сомнения, внешний вид при этом терпел большой ущерб. Изобретательность матери только немного смягчала это зло.

Но бедность напоминала о себе и другими способами: у нас совершенно не было денег, чтобы купить конфеты или петарды, не на что было повеселиться в воскресные дни. И, наконец, мы ясно сознавали, что принадлежим к особому классу, который

продавцы хороших и красивых вещей глубоко презирают.

Как бы мы ни ссорились по тем или иным причинам, играя с мальчишками с другой улицы или из другой компании,— обычно мы ходили ватагами, — мы все же ощущали себя связанными с ними неписаным договором. Например, мы знали, что стычка с каким-нибудь парнем из нашего района не помешает еще большей дружбе с ним, гораздо большей, чем с каким-либо благонравным мальчиком из богатых кварталов, который выказывал нам знаки внимания. Во всяком случае, мы были твердо убеждены, что у нас нет ничего общего с этими принцами, имеющими чопорных гувернанток и наставников.

Теперь, когда прошло двадцать пять лет, когда я мыслю, как взрослый — с точностью, определенностью, строгостью, не свойственной детям, мне кажется все это мало доступным пониманию. Мне кажется, что я перебираю в памяти события, происходившие в каком-то страшном городе. Мне трудно поверить, что в таких условиях могли расти люди, особенно, что они могли несмотря ни на что избегнуть пути, который привел бы их к падению, что вопреки всему они еще надеялись. Но, может быть, детство таит в себе иммунитет и чудесно преображает то, чем страшна нищета, подстерегающая нас повсюду, как западня, и смертоносная, как яд.

Пример рабочего Анри мог бы свидетельствовать, как могущественно это волшебство детского зрения.

Анри жил в том же доме, где и мы. Он был металлистом, и, если смотреть трезво на вещи, его положение было далеко не блестящим: через несколько лет он должен был умереть от туберкулеза. Тем не менее воспоминание о нем всегда будит у меня представление о великом и благотворном единении между человеком и хлебом.

Анри любил хлеб. Он покупал себе тонкий, длинный, хрустящий хлебец, который разрезал пополам. Потом он клал половинки одна на другую и принимался жевать этот толстый сэндвич. Его лицо выражало чрезвычайное удовольствие. Сердце радовалось, глядя на него, просто слюнки текли. А между тем это был только хлеб... Еще теперь и, конечно, всю мою жизнь вкусный хруст разламываемого хлеба будет вызывать у меня в памяти лицо доброго и честного рабочего Анри.

Семья также имела значение. Не вдаваясь в рассуждения о причинах детской преступности, должен сказать, что дружная семья является лучшей защитой против опасного влияния нездоровой среды. Во всяком случае, для меня семья представляла нечто вроде маленькой крепости, где я всегда находил защиту и любовь. Я знаю также, что у людей, которые совершали самые ужасные проступки, семьи были настоящими осиными гнездами, о чем эти люди рассказывали сами.

«Моя прогулка по Парижу». Программа театра «Этуаль».

Влияние семьи особенно чувствовалось во время вечерней трапезы. Собравшись вокруг стола, мы ощущали, что нас пятеро и что одновременно мы представляем собою одно целое — семью Ливи. Мы были неразделимы и понимали это не хуже, чем рыцари короля Артура, сидевшие вокруг круглого стола.

Мой отец олицетворял уверенность, положительность, честность и прямоту. Но все эти качества, могущие создать в широком кругу впечатление некоего холодка, облекались у него в какую-то человеческую теплоту. Мой отец был человеком добрым,

и эта доброта руководила всеми его поступками. Он обладал также исключительным спокойствием. А нет ничего более ободряющего, чем спокойствие, когда горе или неприятности довели вас до крайности и вконец истрепали нервы.

Моя мать воплощала в себе радость, любовь, нежность и хорошее расположение духа. Она вся как будто светилась каким-то добрым светом, который заставлял радоваться, когда падал на вас. Кроме того, она обладала еще одним редким свойством, присущим лишь хорошим хозяйкам: она умела создать в доме атмосферу удивительной теплоты и уюта, и этим тоже мы все обязаны ее золотому сердцу.

Моя сестра Лидия, мой брат и я горячо любили родителей и друг друга, всех нас объединяло это благословенное чувство.

Занятие, которое состоит в том, чтобы, вспоминая прошлое, добавлять «если бы», довольно бессмысленно. Тем не менее я уверен, что судьба моя была бы совершенно другой, если бы в нашей семье не было такого внутреннего единства. Я знаю, что бедность могла бы испортить мою жизнь, потому что клыки у нее острые и она умеет находить слабые места. К счастью, нищета смогла одержать над нами лишь весьма незначительные победы и на этом, в конечном счете, обломала зубы.

Глава третья

Школа подобна деревцу в сердце ребенка. Она оставляет в нем глубокие корни.

Школа квартала Кротт была не очень-то привлекательна. Она скорее походила на исправительный дом, по крайней мере так мне казалось. Есть вещи, которые вам не нравятся. А школьные здания мне не нравились.

На школьном дворе росло штук шесть хилых деревьев. Эти заморыши давали что-то вроде тени, на них ютились какие-то птички; сорванцы, рискуя навлечь на себя гнев воспитателей, старались добраться до их гнезд. На этом дворе мы проводили время, предоставленное нам для перемен. Оно было слишком коротко, чтобы мы могли придумать какую-нибудь толковую игру. Мы успевали только немного побегать.

Школьное начальство позаботилось о том, чтобы разъяснить, что двор не может служить местом для непредусмотренных забав и вольных развлечений. В глубине двора на стене большими буквами было написано:

Бегать воспрещается.

Конечно, этому приказу никто полностью не подчинялся. Но все же он нас стеснял. Достаточно было взглянуть на эту надпись, чтобы вспомнить, что мы — рабы всяческих школьных правил и расписаний. Эта надпись напоминала нам также, что некий невидимый представитель высшей школьной власти наблюдает за нами с холодным вниманием.

Как это ни странно, я совершенно не помню лиц моих учителей. В моей памяти сохранились только серые, безымянные тени. Они двигаются, они разговаривают, они угрожают, они рассуждают, они секут, они наказывают, они пишут, они ставят отметки, они задают вопросы, они награждают, они осуждают, они хвалят, но совершают все это, как тени. Вместо голов у них туманные пятна.

Я предавался мечтам или же впадал в задумчивость, и это поглощало меня полностью. Я мог сидеть за партой в позе внимательного ученика и ничего не слышать из того, что говорилось в классе. До меня доходило только монотонное гуденье, и я уносился бесконечно далеко, в неведомые края. Я внезапно приходил в себя, когда ко мне обращались, и часто не только не мог ответить на заданный вопрос, но даже и повторить его. Эта удивительная рассеянность заинтересовала некоторых из моих учителей, они сделали свои выводы и сообщили о них моим родителям. При этом они поспешили добавить, что я был примерного поведения и у меня не было недостатка в прилежании. Это состояние они пытались объяснить психологическими законами. Они утверждали, что хотя все это неприятно, однако в такой рассеянности нет ничего, что внушало бы тревогу. В заключение они обычно восторгались своеобразным изложением в моих французских сочинениях.

Я любил писать французские сочинения. С чего-либо начав, я затем отдалялся от темы, открывая, однако, при этом целый мир. Отдаваясь своему вдохновению, подчас довольно вздорному, я исписывал страницу за страницей, разумеется, испещряя их бесчисленными орфографическими ошибками и всяческой чепухой. Я думаю, что учителям приходилось немало ломать голову над моими сочинениями, так как мои метры были чрезвычайно добросовестны и проникнуты сознанием высокой моральной ответственности, связанной с их профессией.

К моему несчастью, сочинения задавались редко. Зато каждое утро происходили мучительные уроки арифметики, истории, до краев набитой великими людьми, которые только и делали, что подписывали договоры, географии, орфографии, чтения и так далее. Моя мечтательность, к счастью, помогала мне переносить весь этот хаос наук, который обрушивался на меня. Зато дома меня ждала расплата, потому что мой отец питал к знаниям большое уважение.

— Почему у тебя, Иво, ветер в голове? Почему ты не слушаешь, что тебе говорит учитель?

— Я не знаю. Я ничего не могу запомнить. Мне скучно.

— Иво, если ты не будешь стараться, ты будешь такой же бедный, как мы, и такой же несчастный. Ты не выберешься из нищеты!

— Я бы очень хотел любить школу, но не могу.

В серенькой школьной обыденщине бывали, однако, и просветы. Время от времени появлялся кто-нибудь ласковый и добрый и не давал угаснуть тому огоньку, который школа не умела поддерживать. Среди этих людей была мадам Педон, консьержка.

Мадам Педон открыла под навесом на школьном дворе нечто вроде киоска, где продавала конфеты, шоколад, рожки и булочки.

После звонка, возвещавшего перемену, голодная стая бросалась к непрочному прилавку и окружала его, подобно жужжащему рою. Дюжины рук протягивались к корзине, а кое-кто, пользуясь беспорядком, старался что-либо стянуть. Те школьники, у которых, как у меня, редко водились деньги, пользовались кредитом. Плоская корзина, служившая прилавком, опустошалась нами в течение трех минут.

Мадам Педон почти всегда оставалась в убытке, ее ничтожная прибыль поглощалась кредитом, которому она никогда не вела учета, и той «утруской», которой подвергалось содержимое ее корзины. В общем она трудилась даром. Хотя нет! Для своего удовольствия. У нее было двое сыновей, наших сверстников, и она знала, что ее маленькая лавочка приносит нам много радости. У нее было золотое сердце, у этой мадам Педон!

Четверги и воскресенья также давали нам возможность забыть о школьной скуке и однообразии: эти дни были для нас даже значительнее, чем каникулы, которые не вносили никаких изменений в наше существование. Мы с нетерпением дожидались этих благословенных дней.

В эти дни мы часами бегали по пустырю или устраивали экспедиции, дальность которых зависела от возраста участников; старшие школьники отваживались заходить иногда на самые окраины города, что казалось уже краем света.

Несколько часов в эти дни посвящалось так называемым внешкольным занятиям.

Нас возили на экскурсии, устраивали праздники и различные развлечения. Мы ездили за город, где можно было подышать воздухом, который ветер приносил с гор и цветущих лугов. Нас обучали разным премудростям, например, как завязать узел, который невозможно развязать, как развести огонь во время дождя, как из двух палок и двух курток сделать носилки. Нас учили массовым спортивным играм. Нам прививали первые понятия общественности, приучали к коллективу. Походные песни, которые поются хором, помогали воспитанию чувства солидарности.

Во время экскурсий нам случалось встречаться с подобными же группами: это были соперничавшие с нами воспитанники католических школ. Их сразу можно было узнать по голубым беретам и шарфам. Они также распевали песни, а при виде нас начинали петь с удвоенным рвением. Их сопровождали энергичные аббаты с палками и в подбитых гвоздями башмаках. Они покровительственно нам улыбались. На эти улыбки наши учителя не всегда отвечали. От питомцев аббатов веяло довольством, они были совершенно иначе экипированы. У них был целый арсенал мячей, флажков, ножей в никелированных ножнах и топориков. Некоторые из этих групп, оснащенных по последнему слову техники, тащили за собой тележки на резиновых шинах, на которых везли множество вещей, вызывавших нашу зависть. Среди встречных попадались и такие, как мы. Они дружески нас приветствовали, как это делают моряки, встречаясь среди океана, под каким бы флагом ни шел их корабль.

В силу некоторых причин аббаты раздражали моего отца, хотя два его брата принадлежали к духовному званию, и, когда они приехали однажды к нам в гости в Марсель, то произвели на меня впечатление людей во всех отношениях почтенных. Но мой отец недолюбливал людей в сутанах. Ему казалось, что им больше по духу класс богачей. Он ставил им в упрек то, что они считали нормальной разницу между хозяином и рабочим, и то, что они были недалеки от мысли, будто душа хозяина лучше души рабочего. Религия, которая таким образом явно освящала социальные барьеры, казалась моему отцу не такой уж совершенной, во всяком случае, она в его представлении не мирилась с законами неба, где, как утверждалось, безраздельно господствует равенство. Тем не менее отец не препятствовал моей сестре, когда та, по желанию матери, готовилась к своему первому причастию. Впрочем, бестактность одного из аббатов испортила все дело. Однажды сестра вернулась после преподанных ей наставлений в вере заплаканная. Ей были заданы обидные вопросы, ставившие под сомнение нашу лояльность эмигрантов. Ее расспрашивали о деятельности отца, о его связях с антифашистским движением, организованным во Франции итальянцами, не прекращавшими борьбу против Муссолини. По мнению аббата, у отца было темное прошлое, раз он покинул лоно нации, которая имела преимущество быть более католической, чем французская.

Моя сестра была страшно оскорблена и отказалась от покровительства церкви. Что же касается меня, то я перестал отвечать на приветствия служителей церкви, которые возглавляли пышные когорты голубых беретов.

Так текли дни и недели.

От этого времени у меня осталась лишь горстка смутных впечатлений, большей частью горько-сладких, как медленно тающая под языком пилюля, отдающая запахом чернил и грязной воды, застоявшейся на школьном дворе, запахом, с которым у меня ассоциируется мое пролетарское детство.

Беспокойный дух и обусловленная жизненными потребностями тяга к перемене мест заставили нас еще раз сменить жилище. Мебель и домашняя утварь снова были втиснуты в фургон и перевезены в дом, находящийся в тупике Мюрье.

С первого взгляда было совершенно невозможно объяснить, чем наша новая квартира отличалась от старой. В ней было то же количество комнат, и она находилась в таком же малокомфортабельном доме. Правда, при ней была маленькая терраса. Но вряд ли именно это обстоятельство привлекло внимание моих родителей, хотя терраса и является признаком внешнего благополучия.

Снова нам пришлось расставлять мебель, втаскивать через окна пружинные матрацы, кряхтеть под тяжестью плиты и бить посуду, которой моя мама очень дорожила. Нужно было знакомиться с новыми людьми и угощать красным вином тех, кто принимал горячее участие в нашем переселении.

Пресловутая терраса интересовала нас некоторое время благодаря возможностям, которые она предоставляла для игр. При желании она могла превращаться в капитанский мостик, а мы — в капитанов дальнего плавания или в мрачных и воинственных корсаров. Но мы быстро потеряли к ней всякий интерес, потому что она была покрыта асфальтом, который самым плачевным образом таял в жаркие дни.

Новый район, который отныне стал нашим, и, наверно, надолго, носил более благозвучное название, чем тот, из которого мы уехали: Кабюселль. Но из этого вовсе не следует, что он был более идиллическим.

Там было мало жилых домов, но зато множество заводов и складов. Там находилось большое здание «Мессажери маритим», огромный склад химических удобрений, сахарный завод, бойни, фабрика, на которой обрабатывали кишки, маслобойные и мыловаренные фабрики, завод, на котором перерабатывали различные отбросы и отходы, собиравшиеся со всего города, свинцовая плавильня. От всего этого исходил отвратительный запах. Люди с тонким обонянием разбирались в этих миазмах и классифицировали их на вредные и просто неприятные. Первые отравляли легкие, и бывалые солдаты сравнивали их с газами, стелющимися по полям сражений. Жители возмущались и посылали заявления в ратушу. Само собой разумеется, что ответа приходилось ждать месяцами, но в подписном листе, переходившем из дома в дом, будто воплощалась внушавшая уверенность сила.

Я и мой брат довольно скоро познакомились с новым кварталом, приобрели новых приятелей, освоились с обстановкой. Мы были быстро приняты в ватагу таких же сорванцов. И скоро нас перестали считать новичками. По правде сказать, дети этого предместья ничем не отличались от тех, которые жили там, откуда мы приехали. И здесь перед детьми был тот же грустный пейзаж, они были так же голодны, плохо одеты и слушали все те же разговоры о рабском труде, о проклятой нищете, о перепалках с соседями. В отношении своего квартала они проявляли корпоративный дух и стояли за него, как бы защищая знамя, которое не ими было выбрано, но которое они подхватили — просто за неимением лучшего. Кто станет их порицать за это? Им ведь не во что было больше вложить свою кипучую энергию. Они почти полностью были предоставлены самим себе, им приходилось самим все выдумывать, самим обо всем судить, все распределять по категориям добра и зла, грубо и примитивно понимаемым.

Повседневное чередование дней, на короткое время нарушенное переездом, снова вошло в обычную колею. От этого времени остались более ощутимые следы, как будто моя жизнь с восьми лет утратила свое безразличное течение, чтобы обратиться в более осмысленное исследование незнакомой страны, в деятельные поиски тех неведомых краев, где жизнь легче пробивается к свету, где одна за другой открываются тайны мира.

Само собой разумеется, я не сознавал этого: мне просто казалось, что события стали более яркими, выразительными, содержательными. Теперь, спустя много времени, я вижу, что это был тот волнующий момент, когда в ребенке пробуждался человек. Именно тогда я впервые начал мыслить, именно тогда сформировывался мой внутренний мир. В это время я начал понимать значение некоторых слов, будящих во мне столь определенные эмоции, слов, которые исполнены такого значения в наше время: «полицейский», «солдат», «пролетарий».

Слово «полицейский» немедленно пробуждало в моем воображении представление о людоеде. Этот человек в мундире медленно едет на велосипеде по нашему предместью. Он бросает испытующие взгляды по сторонам, как на смотру. Лицо его ничего не выражает, кроме чувства холодного довольства, которое свойственно отдыхающему зверю. Кобура его револьвера ярко блестит. Брюки на щиколотках стянуты зажимками. Это — полицейский-велосипедист, который живет на бульваре и терроризирует весь квартал Кабюселль.

Полицейский весьма гордился своей репутацией. У буржуа, которых ему доводилось иногда посещать, он обстоятельно распространялся об избиениях, происходивших в полицейском участке. Он описы-

вал подробности, смакуя, рассказывал о кровавых сценах, о том, каким глухим звуком сопровождается удар ногой в живот, каким тонким голосом кричат избиваемые,— он называл их клиентами,— о зубах, которые находят на полу после «сеанса». Послушать его — так он был первым специалистом в этом деле и его товарищи не могли нахвалиться его работой. Когда при этом присутствовали женщины и дети, он впадал прямо-таки в лирический тон, надеясь привлечь расположение одних и вызвать боязливое восхищение других. Он наслаждался тем, что во всей округе его именем рассердившиеся матери, когда убеждались, что их пощечины уже не действуют, пугали мальчишек. Эта роль пугала позволяла ему разыгрывать из себя покровителя и запросто подходить к женщинам, окруженным выводком ребят.

— Ну, как ваши разбойники — слушаются? Если вам от них очень уж достается, приведите ко мне! Я их мигом вышколю. Не с такими справлялся.

При этом он выпячивал грудь и самодовольно посмеивался, потом, припомнив два-три случая из своей практики, которые увенчались особым успехом, садился на велосипед и уезжал.

Когда я встречался с полицейским, меня охватывала невольная дрожь. Он заставлял меня вспоминать о моем дядюшке-фашисте, который выжил нас из Монсуммано-Альто. Я бешено ненавидел этого типа и от души желал, чтобы в один прекрасный день ему как следует досталось от какого-нибудь ревнителя правосудия, лучше всего от какого-нибудь мозгляка: это бы сбило с него всю спесь.

Мои мечты до некоторой степени сбылись. Во время одной манифестации его великолепнейшим образом вздули, и он провалялся в кровати целых две недели.

У этого полицейского было трое детей, и, казалось, он испытывал к ним нормальные человеческие чувства. Откуда эти чувства у него брались, мне не известно. В глубине души он считал себя достойным гражданином, защитником порядка и верным слугой отечества. Сейчас он наверняка уже вышел в отставку и, должно быть, спокойно покуривает скверные сигаретки, предаваясь своим подлым воспоминаниям.

Что касается солдат, то они были людьми из другого мира; это я знал наверняка. Являясь в наш мир, они маршировали, проводя время в непонятных передвижениях взад и вперед вокруг нашего квартала. При случае они улыбались нам, обнажая ослепительно белые зубы. Это были сенегальские стрелки. Звуки горна, доносившиеся из их казарм, напоминали вой диких зверей и вызывали у нас невыразимую тоску.

Иногда они шли, разбившись на небольшие группы, таща с собой какие-то ящики, бидоны, лопаты. Их вели горластые сержанты со сверкающими на солнце золотыми нашивками на рукавах. Эти сержанты, по большей части украшенные татуировкой, надувались, как петухи, при виде проходящих мимо девиц. Более крупные отряды стрелков обычно вели лейтенанты, иногда капитаны; они гарцевали на маленьких резвых лошадках, с трудом управляясь с ними. При больших выходах солдаты несли ружья на плече. Они вздымали облака тончайшей, как мука, пыли и уже не отвечали на наши дружеские приветствия. Капитаны были белые, сержанты — смуглые, солдаты — черные.

Ив Монтан и Натали Наттье в фильме «Двери ночи».

После прохода сенегальцев начинались самые оживленные толки.

— Отец говорит, что это самые лучшие солдаты!

— А мой брат говорит, что они отрезают уши бошам!

— Мой дедушка говорит, что они никогда не отступают и скорее умрут, чем сдадутся.

Мощь всегда импонирует. Превосходная выправка стрелков вызывала представление о победах, одержанных под бой барабанов, и странным образом заставляла забывать о поле битвы, усеянном трупами.

Эти сенегальцы, построенные в колонны по четыре и одетые в мундиры цвета хаки, казались нам рожденными для военного поприща. Нам даже не приходило в голову, что они могут расстаться со своей формой и превратиться в людей, подобных нашим отцам. Они принадлежали к совершенно иному миру, что еще больше разжигало наше любопытство... Добродушное поведение солдат, когда при них был только сержант, сближало нас с ними. Мы вертелись возле них, выклянчивая сигаретки, которые они швыряли нам, заразительно смеясь. Мы никак не подозревали, что вся эта казенная воинственность имела единственной целью низвести их до уровня автоматов, отнять у них любовь к свободе, искра которой таится в людях от рождения. Все это было где-то на грани наших детских игр. Поэтому война, когда мы о ней говорили, превращалась в забавное и шумное, но интересное развлечение. Благодаря подобному обману зрения имеет успех самая худшая ложь. После этого остается сделать один только шаг, чтобы ввергнуть людей в страшный катаклизм...

«Полицейский», «солдат». Но существует еще одно слово — «пролетарий», которое вызывает в моей памяти целую галерею людей. Среди них вырисовывается фигура армянина Гарабедарьяна.

Гарабедарьян был почти так же внушителен, как полицейский, но ничем не походил на него. В противоположность полицейскому он был олицетворением доброты. Он воплощал идеал добродушного великана. В этом гиганте, которому следовало бы быть борцом, участвовать в жестоких схватках, обитала удивительно нежная душа.

Он жил в сколоченной из досок лачужке, бывшем курятнике, который побелил известкой, придав ему тем самым довольно нарядный вид. Он жил совершенно один и даже сам приготовлял себе пищу. Он с большой осторожностью отворял двери своего жилища, потому что одним неловким движением он мог ее сломать. Казалось, будто он выходит из дома, в котором живет нежная, хрупкая фея: она больна, и он просто заходил к ней справиться о здоровье, прежде чем пойти на свою тяжелую работу в доки: Гарабедарьян был докером. Воскресенья он посвящал двум своим любимым занятиям: музыке и приготовлению сластей. Он привез со своей родины гитару необычной формы и извлекал из нее мелодии, проникнутые глубокой печалью. Он играл сам для себя, сидя с полузакрытыми глазами на ящике, освещенный мягким утренним солнцем.

Изготовление конфет сопровождалось весельем и оживлением, как и вообще всякая кухонная возня. Гарабедарьян ставил на импровизированный очаг чугунный горшок и клал туда свои снадобья. Он растапливал сахар и быстрыми движениями взбивал метелочкой сироп. Охладив немного эту смесь, он добавлял туда изюм, истолченный миндаль и прочие специи, в результате всего этого смесь становилась тягучей. Потом он выливал ее на железный лист, смазанный маслом. Его большие руки становились ловкими и ласковыми. Затем он резал готовую массу на маленькие квадраты и раздавал их всем нам поровну...

* * *

Если в квартале Кротт моим излюбленным местом был пустырь, то теперь, когда мы жили в тупике Мюрье, таким местом стали набережные.

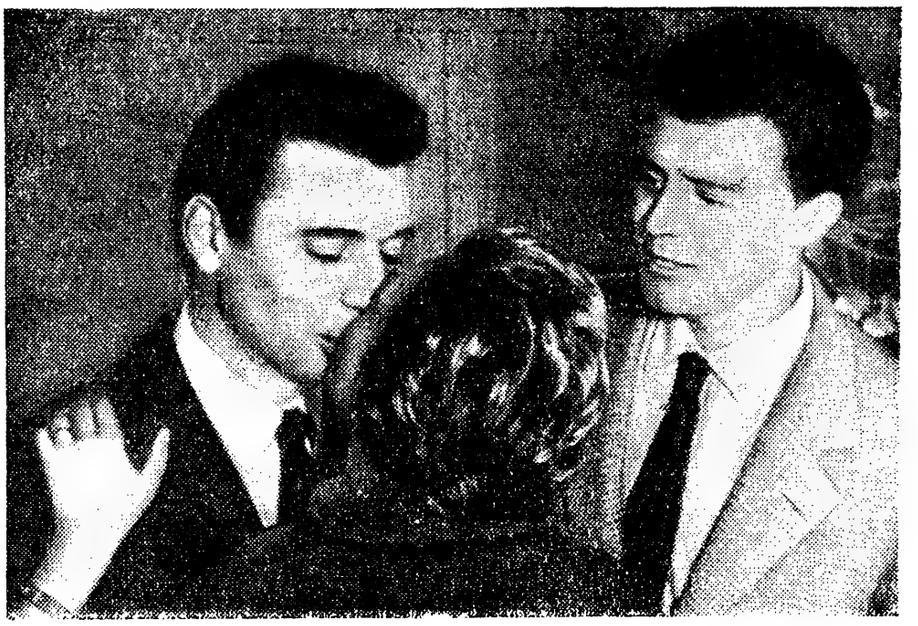
Мне было уже десять лет, и я мог убегать подальше от дома. Со своим неразлучным приятелем, которому было столько же лет, как и мне, Мариусом Середа, мы отправлялись в путешествия по этой таинственной «no men's land» *, находящейся между волновавшим нас морем и удерживавшей нас землей. Проводя здесь целые часы, мы становились свидетелями зрелищ, которые могли происходить только на набережных.

Близость грузовых пароходов, украшенных пестрыми флагами, волновала наше воображение. Увлеченные рассказами, которые ходили в нашей компании, такой легковерной и поддающейся всяческим мистификациям, мы тоже попались на удочку, приняв за чистую монету, что в Соединенных Штатах, например, можно легко сделаться сыщиком уже в двенадцать лет. Нас привле-

Сцена из спектакля «Рыцарь Баяр».

* Ничейная земля *(англ.)*.

Вышла миллионная пластинка!



кала заманчивая перспектива стать шерифом. Мы с Середой представляли себе, как стреляем в бандитов где-нибудь в шикарном салоне, который превращается в место невообразимой свалки. Прислонившись к огромным ящикам, мы совещались о том, как осуществить наш замысел о переселении в эту обетованную землю. Мечтая о побеге, мы черпали вдохновение из прочитанных нами книжек с картинками, таких, как «Двенадцатилетний репортер» или «Следопыт». Нужно было только найти капитана, который бы нас понял, или, еще лучше, тайно пробраться на корабль, идущий в Нью-Йорк, запастись провизией и спрятаться между ящиками. Мы прибегали к дьявольским уловкам, которые нас самих приводили в восхищение, чтобы вникнуть в разговоры матросов. Но, прислушиваясь к их разноязычному говору, мы улавливали лишь самые простые слова: «yes», «no», «si», «да», «нет».

Охваченные лихорадочной жаждой деятельности, мы не поддавались унынию. Мы представляли себе те победы, которые должны были одержать по ту сторону океана, и это приводило нас в экстаз. Каждый из нас начал собирать в надежный тайник запас консервов, необходимых для побега, к которому мы готовились с предусмотрительностью и ловкостью завзятых искателей приключений. Чтобы священный огонь не угас в наших сердцах, мы иногда устраивали генеральные репетиции. Мы забирались в вагон для перевозки скота, зарывались в солому и ждали, что будет дальше. Лязг буферов, короткие переезды между стрелками, крики железнодорожников, распоряжавшихся движением, наполняли наши сердца томительным чувством, не оставлявшим нас и тогда, когда уже бывало выскочишь на ходу из вагона, идущего на запасные пути. То обстоятельство, что никто нас не обнаруживал, заставляло думать, что нам предначертана удача. Тем не менее случай так и не представился, и идея вершить правосудие в Америке была нами оставлена, хотя и не совсем ясно, почему.

Отплытие больших пассажирских пароходов было еще одной причиной сильных переживаний. Переполненные людьми пароходы медленно, но уверенно отчаливали от пристани, и мы показывали друг другу пальцами на пенящийся след за кормой.

Около кораблей, которые готовились к отплытию, всегда кипела жизнь. Торговцы всякой всячиной беспрестанно сновали туда и сюда, надоедая своими криками пассажирам, предвкушающим удовольствия путешествия. Рев гудков действовал на эту толпу, как электрические разряды; женщины кидались к сходням, словно безумные. Обычно в этот момент появлялись странствующий музыкант и его помощник.

Музыкант взбирался на ящик, вынимал из футляра скрипку и начинал ее медленно настраивать. Пронзительные звуки, которые издавал при этом его инструмент, уже сами по себе имели свойство выводить из терпения людей, взволнованных предстоящим отъездом. Затем музыкант с унылым видом принимался что-то играть, страшно фальшивя. А пока он готовился, его приятель, нагруженный гнилыми апельсинами и помидорами, взбирался на пароход. Он продавал их пассажирам, шепнув при этом на ухо, что ими можно швырнуть в надоедливого музыканта. Музыкант сам подавал знак к избиению. Все это было придумано с макиавеллиевским расчетом им же самим.

Сначала бросали робко, неуверенно, апельсины и помидоры не долетали до цели. Затем люди входили в азарт, начинали целиться точнее — вот-вот апельсин или помидор угодит в растерявшегося музыканта. Однако он продолжал пиликать на скрипке. Метательные снаряды летели все чаще, наконец один из них попадал в цель и красноватая жижа обрызгивала музыканта. Толпа встречала аплодисментами удачный удар, и цены на «боеприпасы» возрастали. А через минуту дождь гнилых фруктов обрушивался на несчастного.

Иногда кто-либо точным ударом попадал

прямо в скрипку, выбивая ее из длинных и худых рук музыканта. Покрытый стекающей с него жижей, он спрыгивал с ящика; скользя по грязному месиву, подбирал свои деньги, шляпу и скрипку и пускался наутек, преследуемый улюлюканьем тех, кто отличился в этом спортивном состязании. Раскаты смеха были похожи на трубные звуки, и веселье не прекращалось вплоть до самого отплытия корабля.

Ходили слухи, что музыкант и его приятель зарабатывают уйму денег. Однако, когда мы их видели за столиком в каком-нибудь кафе, они вовсе не походили на веселых пройдох. Тем не менее они были в своем роде знаменитостями. Эти избиения забавляли нас не меньше, чем брюки Чарли.

Наши прогулки по набережной не всегда бывали лишены практической цели. Бродя ватагами, мы охотились за бананами, апельсинами и земляными орехами. Подобные экспедиции будили в нас больше переживаний, чем обыкновенные блуждания. Они венчались каким-то успехом и, в конце концов, были почти безопасны, так как набережные охранялись не так строго, как магазины, в которых хозяин лично сторожит свое добро. Пожалуй, именно эта легкость толкнула нас на следующий шаг: мы обратили внимание на витрины. Однако тут наша жажда впечатлений несколько раз вызывала возмездие, потому что торговцы, стараясь нас поймать, проявляли чудеса проворства. Но мы выбирали среди них тех, кому уже перевалило за сорок и кто страдал каким-нибудь недугом, лишавшим его способности стремительно бегать. Тем не менее они иногда доганяли кого-нибудь из нас — тех, кто бегал похуже. Когда дело доходит до денег, у всех ноги оказываются достаточно быстрыми.

Я вспоминаю одну из таких охот, в которой я играл роль преследуемого оленя. Я лежу на грязной мостовой, у ног обступивших меня людей, сильные руки со всего размаха бьют меня по лицу. В ушах стоит гул от прилившей крови, и я слышу, как все повторяют только одно слово: полиция! В моем сознании тотчас возникает массивная фигура полицейского на велосипеде, и это придает мне нечеловеческую силу. Я вскакиваю, прорываюсь сквозь толпу и исчезаю в первом попавшемся погребе, где в течение получаса, который, как мне кажется, тянется бесконечно, у меня трясутся поджилки...

Познав сладость и горечь самых острых приключений, мы, чтобы отвлечься, отправлялись на второй мол, где выгружали уголь, серу, руду, цемент и другие грузы, не требовавшие особых предосторожностей при разгрузке. Расположившись в тени, мы следили за работой докеров.

Но в конце концов долго смотреть на эту работу нельзя: становится тягостно. Цепочки людей, несущих на спине тяжелый груз, до ужаса напоминают муравьев, делается как-то страшно. Эти муравьи, встав на задние ноги, проникают в трюм и вылезают обратно с добычей, в то время как за ними следят неумолимые надсмотрщики. Постепенно все извлеченное из трюмов скопляется на набережной. Невольно спрашиваешь себя: для кого все это? В этом порядке чувствуется нечто грозное, беспощадное. Человеческая сущность этих чудовищных насекомых обнаруживается, когда они скажут слово, выругаются, выпьют стакан вина или кружку пива. Чувствуешь, что их гнетет какая-то жестокая воля: она скрыта, но от этого она не становится менее зловещей — и проникаешься к ним жалостью.

Среди людей, превращенных злым гением в насекомых, мы иногда узнавали нашего друга Гарабедарьяна. Его сила творила чудеса, и он с легкостью таскал стокилограммовые кули, которые заставляли сгибаться других. В свой труд он вкладывал какое-то особое упорство: так ведут себя, например, слоны, упорно доводя до конца свою титаническую работу.

Однообразие печального зрелища порой нарушалось каким-либо событием, которого мы ожидали со сладострастием зрителей, наблюдающих за укрощением зверей. Нет-нет и случится какая-нибудь неожиданность, кто-нибудь оступится, возникнет спор. Каждую минуту могла начаться поножовщина, свалка; так львы выходят из повиновения и внезапно бросаются на укротителя, чтобы его загрызть.

Из разговоров, слышанных дома, мы составили некоторое общее понятие о жизни докеров, впрочем, не всегда верное. Докеры принадлежали к профсоюзу, который заботился о том, чтобы их работа не превращалась в сплошную каторгу. Этот профсоюз, при мысли о котором в нашем представлении возникал образ бдительного стража, черпал силу в строгой дисциплине своих членов. Мы представляли его в виде человека, прислонившегося к портовому крану и готового дать отпор непомерным притязаниям поработителей.

Наш друг армянин Гарабедарьян однажды рикошетом пострадал в этой борьбе, которая происходила между двумя противоположными лагерями. От своих суровых предков он унаследовал индивидуалистические склонности. Это не мешало ему, как мы уже знаем, быть человеком поразительно добрым. Стремясь добиться благосклонности хозяев, он решил щегольнуть своей силой и показать, что разгрузку товаров можно ускорить, полагая, что малейшее подозрение, будто он работает не в полную силу, обрушит на него гнев хозяев, лишит его куска хлеба и прав эмигранта. Сто килограммов, взваленные на его могучие плечи, казались ему легкими, с этим грузом он мог почти бежать. Товарищи просили его подумать о тех, кому уже трудно таскать свою ношу. Гарабедарьян отвечал им, что каждый волен делать что хочет, он имеет право бегать, если силы ему позво-

ляют, а другие пускай выбирают себе какую-нибудь женскую работу или, к примеру, становятся гитаристами, если уж они так заботятся о своем здоровье. С ним заговаривали об этом не раз, но он стоял на своем. Он смотрел на вещи всегда примитивно: с ним просто хотят поссориться, потому что он думает не так, как другие. Кому какое дело, что он там думает. Но одна хитрая проделка вышибла у него эту блажь из головы.

При разгрузке, перенося мешки, докеры пользуются длинной гибкой доской, заменяющей мостки. Для того чтобы под их тяжестью доска не так сильно качалась, все идут по ней в ногу. Неловкое движение, неверный шаг — и происходит сотрясение, которое может быть катастрофическим для тех, кто находится на доске. Зная, что великана Гарабедарьяна можно убедить в чем-либо только силой, его однажды вывели из равновесия внезапным толчком. Великан упал вместе с мешком, кувыркнулся, как заяц, и с минуту пролежал оглушенный. Виновника он так и не нашел. Свойственное ему чувство справедливости помешало броситься на первого попавшегося докера, который смотрел на него ухмыляясь и спрашивал, не ушибся ли он. Вечером его друзья дали ему понять, что такие приключения могут повториться и впредь, если он будет бегать с грузом, как лошадь. Он решил, что друзья правы, и стакан красного вина смыл осадок, который оставался от поражения. Было выпито и за здоровье профсоюза и за разорение проклятых хозяев.

Полные впечатлений, полученных во время наших странствий, мы возвращались домой молча.

Два-три случая запечатлевались у нас в голове, в наши души западали медленно прораставшие семена, посеянные самой жизнью.

Я снова видел улицы, тупики, дома, а над ними — высокое зеленоватое небо. В окне стояла мать и звала меня обедать. Чтобы выразить свою нежность и заглушить какие-то тревожные мысли, она окликала меня по-итальянски:

— Ivo, monta! Ivo, monta! *.

Глава четвертая

Когда отец приехал в Марсель, ему не пришлось особенно раздумывать над вопросом, какого рода работой теперь заняться. Подгоняемый нуждой и терзаемый гнетущей тоской, знакомой каждому эмигранту, он взялся за первую попавшуюся и был счастлив, что нашел хоть эту. Он нанялся на маслобойню. Положение чернорабочего было тогда в высшей степени непрочным. Производство зловеще сокращалось, и каждое утро, приходя на завод, рабочие спрашивали себя, не предложат ли им сегодня получить расчет. Их хронической болезнью становилось чувство неуверенности. Оно грызло их. Они жили, как приговоренные к казни, получившие отсрочку.

Моего отца швыряло из стороны в сторону, и ему приходилось думать, как потерпевшему кораблекрушение: «Если я не удержусь на этой балке, нужно любой ценой ухватиться за обломок мачты, или за бочку, или за какую-нибудь доску, пока еще есть силы». Заботы, неотступные, как навязчивые идеи, избороздили лицо отца морщинами и сделали еще более явственным выражение тихого отчаяния, которое им овладевало в минуты горьких раздумий. В поисках выхода из положения отец усилил свою активность, он опять начал подумывать о щетках.

Возвращаясь с работы, когда сумерки уже начинали сгущаться, отец находил отдохновение в теоретическом обосновании такого промысла. За ритуальной полентой * он развивал свой план, взвешивал все за и против. Охваченные, как и он, миражем, мы сами удивлялись тому, как перед нами мало-помалу возникает обольстительное будущее. У нас не хватало трезвости, чтобы отдать себе отчет в том, что речь шла лишь о прежних славных днях Монсуммано-Альто, которые, подобно призракам, возвращались к нам преображенными до неузнаваемости, принося с собою пленительное волнение. Мы доходили даже до того, что прошлое в наших воспоминаниях утрачивало всю тяжесть горестей и сохраняло лишь райские краски. И мы хотели во что бы то ни стало вновь обрести этот потерянный рай...

С тех пор отец стал похож на потерпевшего кораблекрушение, который увидел на горизонте берег. Теперь он еще судорожнее цеплялся за плывущие обломки, удесятерив свои усилия. Мать помогала ему. Они на всем экономили. Они призаняли денег. Наконец они открыли маленькую мастерскую по изготовлению щеток и наняли троих рабочих, которые, впрочем, были для них скорее компаньонами. Но год спустя забрезжившая было надежда вдруг рухнула. Разразилось банкротство: долги составляли сумму в тридцать две тысячи франков, что для ремесленника в 1932 году было целым состоянием...

Как осажденный город или преследуемая секта, семья, чтобы отразить угрозу, сплотилась вокруг своего главы, выбитого из седла. Между отцом и матерью происходили совещания, подобные тем, какие бывают в палатках великих полководцев накануне решительных сражений. Потом каждому

* Полента — кушанье из кукурузной или каштановой муки.

* Иво, иди наверх! Иво, иди наверх!

была определена роль: родители снова начали работать на стороне, сестра поступила в парикмахерскую, брат сначала стал официантом в буфете на набережной, потом нанялся в качестве подручного на рафинадный завод, а меня устроили на завод макаронных изделий. Мне было тогда одиннадцать лет.

Героические решения имеют то достоинство, что они отрезают пути к отступлению, оставляют только один выход и тем самым мобилизуют все душевные силы. Я простился со школой и школярством, чтобы решительно вступить в клан взрослых мужчин. Я перестал принадлежать к числу тех, на кого тратят деньги, чтобы присоединиться к тем, кто их зарабатывает. Чувство высокого значения этого шага, горделивое сознание оказанного мне доверия и уверенность в том, что я способствую общему спасению, позволили мне без особых сожалений предоставить моим товарищам продолжать без меня ту увлекательную интермедию, которая разыгрывается к концу школьного возраста, когда каждый поверяет другим, чем он собирается заняться в будущем. Но, поскольку я посвящал себя определенному делу, для меня не существовало больше широкого выбора соблазнительных возможностей. Ощущение того, что я сброшен вниз, поставлен в самое неблагоприятное положение, сыграло немалую роль в том, что скоро я захандрил.

Незадолго до того, как на нас обрушилось это злосчастное банкротство, я был очень болен. Я вдруг начал вытягиваться не по дням, а по часам. Это сопровождалось мучительными болями в плече и ногах, и врач сказал, что у меня, вероятно, ревматизм. Я несколько недель лежал в постели, довольно боязливо наблюдая таинственное явление природы, в силу которого я рос, как тропическое растение; казалось, все мое тело претерпевало какие-то изменения. Я мог сколько угодно убеждать себя, что, оправившись от болезни, стану молодым человеком приятной наружности, — меня печалило, что я никогда уже не буду прежним сорванцом. Мои страхи, впрочем, были не напрасны: молодой человек оказался долговязым и тощим, как жердь; он был похож на тех смешных верзил из комических фильмов, над которыми подтрунивают маленькие толстяки.

Первые дни работы были озарены для меня обманчивым нимбом, свойственным всякой новизне. Я увидел сложные машины, которые не могли не возбуждать любопытства.

Позже, когда я узнал все подробности, многочисленные операции и манипуляции утратили для меня свою привлекательность и потонули в монотонной обыденщине. У меня была нетрудная работа. В мои обязанности входило приготовлять для упаковки различных изделий — спагетти, ракушек, лапши, вермишели, рожков и т. д.— соответствующий набор целлофановых пакетов.

Вначале я обрадовался, что меня поставили на такую легкую и спокойную работу, но скоро узнал на собственном опыте, что некоторые занятия в силу своего однообразия тягостнее тех, которые требуют большого мускульного напряжения. Перед неисчерпаемыми грудами пакетов, которые мне нужно было перебрать по одному, я казался тем воображаемым существом, которое должно дать возможность детям усвоить понятие бесконечности, например, человеком, который должен вычерпать все моря земного шара при помощи чешуйки сардины, чтобы этой титанической работой отмерить всего лишь одно мгновение вечности. Я не мог дождаться понедельника, чтобы избавиться от этого наваждения: по понедельникам я сопровождал шофера Фука, который развозил на грузовике макаронные изделия по окрестным городкам. Я сидел рядом с ним в кабине, счастливый, как принц, объезжающий в карете свои владения: Мартиг, Ла Сиота, Касси, Порде-Бук, Обань...

В действительности эти поездки были прозаичнее, чем мне казалось. Выгружать пакеты на каждой остановке и относить их на склад или в магазин было нелегко, тем более, что я разыгрывал из себя взрослого мужчину и всякий раз брал больше пакетов, чем следовало бы, стараясь не ударить лицом в грязь перед господином Фуком, чье уважение мне было необходимо. Я обливался потом под тяжестью ноши и чувствовал, как у меня набухают на шее жилы и кровь молотком стучит в висках. Удовлетворение, которое я испытывал после этих упражнений, утверждало меня в мнении, что время безделья для меня окончательно прошло и что отныне я тружусь в положительном мире, где каждый шаг чреват серьезными последствиями. То, что я участвовал в снабжении людей пищей, еще усиливало это сознание.

Расставаясь с детством, я вместе с тем покончил с короткими штанами и черными курточками. Я носил теперь брюки, шейный платок, парусиновую кепку. Я старался курить, не вынимая сигареты изо рта, что является неопровержимым доказательством наступившей зрелости. В глубине души я был недалек от мысли, что ко мне должны относиться, как к настоящему мужчине, и, если, например, мне предлагали конфету, я чувствовал себя глубоко оскорбленным. Зато когда лавочники, которым мы доставляли товар, на дорогу угощали меня, как и господина Фука, стаканом красного или рюмочкой абсента и мы чокались, это наполняло меня счастьем.

Мне пришлось проработать два года на заводе макаронных изделий, день за днем уныло копошась в целлофановых пакетах, приободряясь лишь по воскресеньям и во время разъездов на грузовике. Я приносил домой более чем скромный заработок, которым научился дорожить, как варвар своей долей добычи. Эта жалкая сумма, которую мне выдавали в обмен на поденное рабство, очень быстро заставила меня усвоить соответствующий образ мыслей. Мне было трудно считать справедливым такое положение вещей, при котором я всегда оставался страдательной стороной

Кадр из фильма «Двери ночи».

и за мной отрицалось право самому устанавливать цену за свои услуги. В то время я не то чтобы сознавал социальную справедливость, а скорее испытывал чувство, похожее на горькую обиду мальчугана, который замечает, что правила игры не для всех одни и те же. Мне надоело всегда быть тем, кому говорят: Получишь столько-то, — как надоело бы в играх в жандармов и разбойников, затеваемых нами бывало на пустырях, постоянно быть тем участником игры, которого преследуют. Я не знал, что касаюсь здесь одной из язв капиталистического строя, при котором немногим избранным предоставляется привилегия определять плату, тогда как пролетарии должны постоянно подчиняться указаниям так называемых экспертов, изрекающих свои безапелляционные решения, вопреки логике отказывая трудящимся в праве оценить свой труд и свое умение. В общем я становился революционером.

Одно грубое злоупотребление властью со стороны моего патрона меня озлобило, и я ринулся в бой с той неистовой яростью, которая питается долго подавлявшимся желанием все разнести. Этот человек, с виду не злой и приветливый, решил удержать из моего жалованья стоимость бутыли с минеральной водой, которую я разбил, разгружая машину... Если бы я допустил неосторожность, я, быть может, понял его претензию. Но у корзины, в которой была злополучная бутыль, внезапно прорвалось дно, чего я, понятно, не мог предвидеть. Хозяин с упорством носорога отказывался принять в расчет мои доводы и стоял на своем, на все отвечая пресловутым изречением: «Кто разбил стаканы, тот за них и платит!» Он стоял на своем, произнося слова металлическим голосом, что придавало им почти непреодолимую силу очевидности. Он развивал свою мысль, обращаясь к обычным примерам: посетитель бистро, заказавший пиво и разбивший свою кружку, — сорванец, угодивший из рогатки в стекло. Он не признавал никаких смягчающих обстоятельств и не желал считаться ни с чем. По его мнению, хороший рабочий должен был бы предварительно удостовериться в прочности каждой корзины.

На эти слова, якобы подсказанные здравым смыслом, я отвечал отчаянными дерзостями. Словом, я пришел в ярость, будучи не в силах терпеть, чтобы мной командовала такая скотина. Мне было тринадцать лет — и я стал безработным...

* * *

Происшедшая со мной маленькая революция несколько взволновала моих домашних. Они без конца обсуждали ту мысль, что отстаивать справедливость невозможно без жертв, а поэтому не всегда можно позволить себе такую роскошь. Они сожалели о том, что я лишился заработка, но хвалили меня за храбрость, проявленную перед

Ив Монтан, Бернар Блие и Анри Кролла в сцене из фильма «Утраченные воспоминания».

лицом испытания. Сестра извлекла мораль из этой истории, заявив, что место, которое я потерял, не сулило мне никакой будущности, но что я могу обратиться к парикмахерскому ремеслу. Так как ей как раз нужен был помощник для работы в парикмахерской, которую она недавно открыла, мне сам бог велел занять эту должность. К тому же таким образом я получал привилегию работать на свою семью, а не на хозяина. Словом, происшествие в конечном счете оборачивалось к моей же выгоде.

Нетрудно догадаться, что парикмахерская у сестры была далеко не роскошная. Она помещалась в бывшем гараже размерами шесть метров в длину и три в ширину, в котором пол выложили плитками, а стены покрасили белой краской. Мраморные доски, кое-как укрепленные на деревянных подставках, заменяли столики. Наконец, несколько аппаратов для завивки и сушки волос, занимая почетное место, сглаживали, насколько это было возможно, жалкое впечатление, которое оставлял салон.

Первыми клиентками были соседки. Сестра превзошла самое себя, и несколько удачных причесок, наглядно свидетельствуя о ее мастерстве, послужили ей рекламой. Мало-помалу она приобрела в квартале прочную репутацию, и дамы считали ее гением по части завивки. Кроме того, она всегда была к их услугам, даже в самое неурочное время, поднимаясь в четыре утра, чтобы причесать тех, кто уходил на работу рано утром и возвращался поздно вечером, или принимая посетительниц в воскресенье. Благодаря ее терпеливым усилиям салон стал для нашей семьи самым надежным источником доходов, и именно ее заработки позволили погасить долги на сумму в тридцать тысяч франков, которые принесло нам злосчастное щеточное предприятие.

Как и два года назад, когда я поступил на завод макаронных изделий, меня ввела в заблуждение новизна обстановки, и положение ученика в парикмахерской показалось мне украшенным многими преимуществами, льстившими моему тщеславию. Близость электрической аппаратуры и тот факт, что парикмахер, как могущественный повелитель, властвует над клиентками, преисполняли меня сознанием собственного достоинства и заслонили недостатки моего нового ремесла. Всякая профессия, будь она самая скромная и неприятная, имеет ту или иную сторону, которая внушает иллюзии тем, кто ею занимается.

На меня была возложена подсобная работа, а такой работы в парикмахерской не мало. Я суетился и вертелся вокруг сестры, ревностно выполняя свои несложные обязанности, заключавшиеся в умении подавать предметы как раз в тот момент, когда они должны потребоваться, но все-таки раньше, чем их потребуют. Благодаря этой добросовестности я приобрел теоретические познания в искусстве преображения шевелюр, чем очень гордился.

Когда человеку вдруг приходится заняться ремеслом, о котором он никогда не помышлял, редко бывает, что оно ему нравится. Обычно оно сохраняет в его глазах элемент принуждения, губительный для рвения и энтузиазма. Однако сестра сумела мне внушить, что парикмахерское дело само упало в мои руки, как крупный выигрыш, и что мне очень повезло. Впрочем, это вовсе не было с ее стороны макиавеллизмом, потому что она действительно обожала свою профессию и говорила о ней с каким-то великолепным простодушием. По ее мнению, случайное открытие секрета перманентной завивки стояло на уровне изобретения колеса или трудов Пастера. Она красноречиво восхваляла того ниспосланного самим провидением пекаря, который нашел в форме волос, свившийся спиралью, и у которого хватило сметки сделать вывод, что причиной этому тепло; так была проложена дорога горячему перманенту. Этот поразительно простой случай с пекарем и исключительный резонанс, который он получил, были в то время для меня чарующей сказкой, вызывавшей огромные надежды: стоило пошире раскрыть глаза, быть повнимательнее, и я мог завтра же совершить подобный подвиг и достичь богатства и славы. Эта возможность восхитительной находки долго служила мне стимулом и избавляла меня от скуки. То было окно, через которое заключенному виден кусочек неба, то был ключ к романтике, спасавшей от обыденщины.

Первый аппарат для перманентной завивки показался нам в высшей степени сложной машиной. Похожий на робота, он будил какую-то смутную тревогу, и ему было легко приписать самостоятельные поступки и свою особую жизнь. Когда он был собран и налажен, сестра и мать погладили его, как гладят животное, желая расположить его к себе. Он величаво возвышался посреди салона, словно восседающий на своем троне грозный монарх, готовый принять решение, издать указ, который поставит на карту судьбу королевства. Наконец, его присоединили к электросети и решили испытать на мне.

Сначала мне очень тщательно сделали два завитка на шее; можно не сомневаться, что это были прелестнейшие в мире завитки. Потом меня усадили. В последний раз проверили, все ли в порядке, обращаясь поочередно к каждому параграфу инструкции. Наконец включили аппарат. Я читал об электрическом стуле в Синг-Синге * и сразу подумал именно об этом орудии казни. Я в самом деле решил, что погибаю, и принялся корчиться и вопить на потеху матери и сестре, видевших в этом всего лишь дурачество или уловку неженки, неспособного мужественно перенести несчастные бигуди у себя в волосах.

— Иво, не дури.

---

* Синг-Синг — одна из американских тюрем.

Жерар Филип, Симона Синьоре и Ив Монтан встречают Николая Черкасова, приехавшего в Париж по случаю недели советского кино.

— Иво, угомонись, надо же посмотреть, как он действует.

— Иво, это не забава, неужели ты не можешь две минуты не паясничать.

— Иво, никто тебе не поверит, что эта железка так уж дерет волосы.

Когда они взяли меня за плечи, чтобы утихомирить, их тоже ударило током и они поняли подлинную причину моего необузданного возбуждения. Они выдернули штепсель и положили конец моей пытке. Но безумный смех сотрясал их, по меньшей мере, так же, как минуту назад меня трясло электричество, и мы долго не могли прийти в себя. Впоследствии, как только аппарат начинал работать, завивая клиентку, сестра украдкой бросала на меня заговорщический взгляд.

Парикмахерская неизвестно почему считается таким местом, где позволительно сбросить маску. Там делец говорит откровенно о своих делах. Недотрога вспоминает свои адюльтеры. Циник становится сентиментальным. Стоит только представить себе другую обстановку, более величественную, так и кажется, что находишься посреди монументальной исповедальни, куда каждый, под тем пустым предлогом, что ему надо привести в порядок свою шевелюру, приходит покопаться перед свидетелем в своих переживаниях.

Я был еще слишком молод, когда начинал работать в салоне, чтобы действительно интересоваться тем, что рассказывали эти многочисленные незнакомки. Позже, одолеваемый скукой, знакомой каждому, кто занимается ремеслом, к которому не чувствует никакого призвания, я устало пропускал мимо ушей эти отрывочные признания. И, тем не менее, я узнал поразительные вещи по части женской психологии. Я убежден, что драматург, которого интересуют душевные движения, характерные и типичные для женщин, много выиграл бы, если на время надел белый парикмахерский халат. Я думаю, что службы разведки лучше меня осведомлены в этой области и что они давно уже позаботились готовить в шпионских школах весельчаков с великолепным слухом, рассовывая их затем по салонам, посещаемым политиками, точно так же, как они готовят лакеев и официантов, перед которыми люди не боятся показывать себя такими, каковы они есть на самом деле.

После нескольких лет жизни, посвященной волосам, несмотря на ошеломляющую болтовню клиенток, однообразие моей работы снова подавило хорошее расположение духа, которое я проявил, выходя из испытания целлофановыми пакетами. Я перестал забавлять посетителей, шутить и напустил на себя мрачность, свойственную подросткам, которыми овладевает чувство томления. Меня опять начали дразнить былые мальчишеские мечты, не совсем еще утратившие свою прелесть.

— Иво томится, — говорила мать.

— Не так просто сделаться мастером,— замечал брат.

— Возраст, — ронял отец.

— Ему надо поучиться в профессиональной школе и сдать экзамен на К.А.П. *, — заключала сестра.

Мне пришлось вечерами, три или четыре раза в неделю, ходить на занятия, ненавистные мне до отчаяния. Семья шла на большую жертву, платя за мое обучение, и я был обязан работать серьезно. Но я чувствовал, что углубляюсь в какое-то подземелье, откуда нет выхода, тем более, что делал успехи и можно было полагать, что имею все данные стать хорошим парикмахером. Несколько медалей и дипломов, полученных мною на конкурсах, лишь упрочили самые оптимистические предвидения относительно моей будущности. Я еще раз попал в сложный переплет и терял всякий контроль над сцеплением обстоятельств, определявших мою судьбу. В кошмарных снах я видел тысячи голов с растрепанными волосами, которые мне нужно было приводить в порядок всю жизнь.

Наконец сестра заявила, что мне нужно оставить семейную обстановку и наняться в большой салон, чтобы пополнить свои знания и набить руку. Так я поступил в парикмахерскую первого разряда «Ивонн и Фернан» на улице Павийон.

* К. А. П. — диплом профессионального парикмахера.

Глава пятая

События не дали себе труда постепенными переходами подготовить меня к испытаниям, из которых выходишь взрослым. В одиннадцать лет я был внезапно вышвырнут из детства разорением отца, и мне пришлось долго блуждать, теряя почву под ногами. В пятнадцать лет, когда я приобщался к парикмахерскому делу в салоне моей сестры, я еще не оставил все это позади.

Тянулись недели и месяцы, отмеченные глубокой скукой, нетерпением, подавленными приступами ярости, приливами отчаяния, вспышками необъяснимого воодушевления. После того как я часами предавался мрачным мыслям, вялый и пасмурный, меня вдруг без всякой видимой причины охватывало безудержное веселье. Потом я снова впадал в уныние и апатию. Меня угнетало, что судьба обошлась со мной суровее, чем со многими моими сверстниками: ведь несчастья становятся еще невыносимее от сознания, что они — прихоть случая и явно несправедливо выпадают на долю одних и минуют других.

Через эти такие неровные годы обычно проходят под бременем двух-трех скучных, гнетущих и неотступных идей и, в противовес им, с лучезарной мечтой. Моя лучезарная мечта в то время всецело воплощалась в образе Брюны.

Ученичество в парикмахерской сестры имело для меня одно огромное преимущество: оно не лишало меня досуга. Мне не нужно было придумывать удобных предлогов, чтобы вырваться из салона, прервав однообразие работы. Я откладывал расчески, бигуди и убегал, даже не сняв белого халата.

По большей части я только переходил на другую сторону шоссе, чтобы посидеть в бистро, или, скорее, в буфете, который держали пьемонтцы.

Я не пил или пил мало, притом совершенно безобидные напитки — газированную воду, лимонад, слабое, почти даже не горькое пиво. Я приходил туда главным образом ради красочного зрелища, шума, суеты, колоритных сценок, чтобы погрузиться на минуту в водоворот кипучего мира.

Посетителями бистро были в основном итальянцы — рабочие рафинадного завода. Все как один в кепках, лихо сдвинутых на затылок, сверкая глазами и ослепительно белыми зубами, они без конца спорили о вещах, в которых иногда ровным счетом ничего не смыслили. Они шумно окликали приятелей, изо всех сил хлопали друг друга по плечу и хвастались подвигами, в которые никто не верил. Однако подобные рассказы поддерживали общее приподнятое настроение. Слушая их, можно было вообразить себя участником сборища авантюристов или романтических героев и забыть о тусклой, будничной жизни.

Более спокойные посетители с азартом играли в шары на площадке перед бистро.

По своей наивности я долго думал, что прихожу в бистро послушать романтические истории итальянских рабочих. Потом в одно прекрасное утро я понял, что бываю там только из-за Брюны. Этого рода истины познаются по некоторой меланхолии, тесно связанной с какой-то неясной, но светлой радостью, по восторженному и вместе с тем подавленному настроению, в котором вдруг отдаешь себе отчет. Нашему сердцу, видно, нравятся эти сложные ситуации.

Брюне было лет семнадцать, может быть, восемнадцать. Она была хороша той свежей и живой красотой, которой отличаются теперь итальянские кинозвезды, вызванные из безвестности неореализмом. Она привлекла бы внимание Витторио Де Сика.

Брюна знала свою власть. Она разыгрывала женщину-вампира нашего квартала и безумно этим забавлялась. Она знала — и ей это было приятно, — что среди местных молодых повес о ней ходили тысячи более или менее невинных легенд, что по ней вздыхают многие из этих молодцов, что она служит неистощимой темой для разговоров. Ей нравилось подмечать душевное смятение, которое она вызывала у мужчин, и те короткие завистливые и ревнивые взгляды, острые, как бритва, которые бросали на нее другие девушки. Она безраздельно царила в бистро, и ради ее прекрасных глаз завсегдатаи побивали рекорды по части выпивки.

В часы, когда бистро пустовало, я разговаривал с Брюной. Она садилась на край стола и слушала меня. Я расшибался в лепешку. Я имитировал героев Уолта Диснея: Микки Мауса, Дональда Дака, Плюто. Я передавал всякие сплетни, которые слышал у себя в парикмахерской. Я рассказывал вымышленные истории, приписывая шутки ради самые невероятные похождения людям, которых мы знали. Брюна смеялась. Так между нами устанавливалась дружеская близость; иногда мы начинали поддразнивать друг друга, поднимали возню, бегая вокруг столиков и опрокидывая стулья.

С окончанием работы на заводах Брюна преображалась. Теперь уж она не выказывала мне прежнего расположения. Ее внимание делилось, дробилось, распределялось между всеми клиентами. При этом она ухитрялась сделать так, чтобы каждому казалось, будто именно ему отдается предпочтение. Она лукавила, как завзятая кокетка, и ей без труда удавалось одурачить даже самых недоверчивых. Все были в ее руках. Впрочем, те, кто малость перехватил абсента или розового, выйдя из бистро, долго препирались о том, кому принадлежит сердце Брюны: каждый мог сослаться на какой-нибудь жест, словечко,

знак, насчет которого было невозможно обмануться.

— Я тебе говорю, что она обещала выйти за меня замуж.

— Я тебе говорю, что мы с ней скоро уедем.

— Я тебе говорю, что она сжала мою руку.

— Я тебе говорю, что она водит тебя за нос, а любит меня.

— Я тебе говорю, что она еще с ума не сошла, чтобы спутаться с таким типом, как ты.

— Я тебе говорю, что Брюна только что...

Рядом с этими мужчинами, сильными, решительными, уверенными в себе, голосистыми, я чувствовал себя жалким в моем белом халате ученика-парикмахера. У меня было такое ощущение, будто я вдруг стал совсем крошечным, превратился в муху, в козявку, которую Брюна не замечает и которая потонет в стакане, если матрос ее не прогонит щелчком и боксер не раздавит на своем мощном бицепсе. Я сделал открытие, что женщины — бесконечно сложные и непостижимые существа и что любовь не всегда так проста и легка, как об этом говорится в наивных песенках.

В течение многих лет я влачил бремя одной до уныния безрадостной мысли. Я думал, что я совершенно безобразен. А это не было козырем, который помог бы покорить Брюну. Перед зеркалами парикмахерской, когда я оставался там один, я погружался в созерцание своего малопривлекательного облика. Я проклинал судьбу, наделившую меня такой внешностью.

Убеждение, что я на редкость некрасив, сложилось у меня еще в детстве, в школьные годы. Мне дали тогда прозвище «Пасть» — за толстые губы, за рот до ушей, который я разевал во всю ширь, поглощая сразу по пол-апельсина. Мало-помалу это прозвище отравило мне существование. Меня обезображивал не только широкий рот. Девочки подшучивали над моими большими ушами и крупным носом. Они дразнили меня этим, изводя так, что мне хотелось их отколотить.

У него большой нос, э-э,
И ослиные уши, э-э,
У него большой нос, э-э,
И ослиные уши, э-э.

Они мололи это неутомимо, как заведенные, и на их хитрых лицах играло злорадство. Вдобавок, они смеялись каким-то пронзительным смехом, словно кусали меня своими острыми, как у зверьков, зубами. «Я некрасив... Я глуп... Я глуп и некрасив и беден... Моя профессия мне противна... Брюна плюет на меня, и она права, потому что я некрасив и беден, и глуп, и робок, и ничего не умею... Мне бы надо быть красивым и богатым... Я обречен на прозябание. Не знаю почему, но это факт, и так мне и надо, я слишком глуп... Ничего из меня не выйдет, я буду стареть

Неделя советского кино во Франции. Алла Ларионова и Ив Монтан.

не по дням, а по часам, вот и все... Я всегда буду парикмахером, некрасивым, и бедным, и неумным; никогда не посмею рта раскрыть, и никто не заглянет мне в глаза и не скажет: «Ив, ты красивый, и я тебя люблю», — потому что ведь я безобразен. Я ничего не добьюсь и даже не знаю, чего я хотел бы добиться, меня никто не научил, чего нужно добиваться... Мы живем в какой-то паршивой дыре, а у человека должно быть жилье как жилье, чтобы хотелось поскорее прийти домой, чтобы туда так и тянуло, но в одном Марселе, должно быть, тысячи и тысячи таких, как я, и, значит, нет ни малейшего шанса, что я выбьюсь скорее, чем другие, которые тоже стареют не по дням, а по часам, как машины, которые тронула ржавчина; и все мы так и будем жить в паршивых дырах, и ничего тут не поделаешь, хоть плачь...

Может быть, мне нужно было лучше учиться, но все равно дальше начальной школы я бы не пошел, потому что не мог бросить отца, когда он потерпел крах со своими щетками... Отец хотел повеситься или утопиться, но нельзя же было его до этого допустить, и нельзя же все-таки вешаться или топиться всем, кто беден и обречен на прозябание...

Удача... Говорят, удачу надо ловить, не то она проносится мимо, как человек, который очень спешит... Но я ее еще ни разу не видел, удачу... Она ведь не всем встречается на пути...

Все в пятнадцать лет бродили по улицам, засунув руки в карманы и спотыкаясь о камни мостовой, одержимые мыслями, сту-

чавшими в виски, как запертые в клетке пискливые цыплята. Все...»

А потом неизвестно почему настроение резко менялось. По волшебству восхитительной надежды являлись видения триумфа. И вот я уже возводил подмостки, на которых должны были разыгрываться сцены прекрасного будущего...

«Ничто не мешает попытаться... Это только робость, а робость — болезнь излечимая... Не может быть, чтобы люди были обречены прозябать всю свою жизнь, чтобы еще в пеленках они были заранее обречены... Мне нужно только избавиться от своей робости, что-нибудь предпринять, не быть шляпой, бараном, волом... Надо тронуться с места...»

После таких размышлений я давал себе клятвенные обещания совершить чудеса храбрости, побороть все препятствия, показать себя. Я уже видел, как с триумфом вхожу в бистро пьемонтцев, расталкивая дюжих парней, ошеломляю любителей игры в шары своей дьявольской ловкостью, затыкаю рот фанфаронам и на глазах у всех целую Брюну.

«Наступит день, — думал я, — наступит день, когда все изменится. Я стану фигурой. Неважно, кем именно, но — фигурой. Передо мной распахнутся двери всех баров мира, и в любом из них хорошенькие официантки будут терять голову, едва я войду... Я не буду больше бояться никого и ничего, буду говорить то, что думаю, и вспомню то время, когда я был несчастен...»

Но как только надо было переходить к действиям, моя робость вступала в свои права, и Брюна смеялась для других.

Достаточно простого изменения обстановки, замещения одних привычек другими, чтобы уже через несколько недель, самое большее месяцев, с изумлением увидеть, как исчезают твои прежние заботы и треволнения. Стоило мне закончить обучение, получить диплом и бронзовую медаль, поступить в салон «Ивонн и Фернан» на улице Павийон, как Брюна и романтические бредни, навеянные моей влюбленностью, остались далеко позади.

Нужно сказать, что женщины, приходившие сюда холить свою шевелюру, совершенно отличались от соседок, посещавших парикмахерскую сестры: добрую часть клиенток «Ивонн и Фернан» составляли девицы легкого поведения; своим ремеслом они занимались в порту, подстерегая туристов и матросов.

Это были хорошие клиентки. Ведь их профессия требовала, чтобы они заботливо следили за своей внешностью, и в то же время весьма часто ставила их в обстоятельства, при которых страдает прическа. В салоне всегда находились две-три такие посетительницы. Они тщательно перенимали манеры у других клиенток. Они оставляли царские чаевые.

Сдержанные и скромные, если вместе с ними ждали своей очереди порядочные женщины и матери семейств, занятые обычными разговорами о детях и дороговизне, они держались куда непринужденнее, когда оставались среди своих. Тысячи случаев, неизбежных в их жизни, становились предметом бесконечных рассуждений. В их словах и намеках передо мной раскрывался доселе неведомый, тревожный и тайный мир. Они не делали секрета из своего ремесла, напротив, они говорили о нем, как о профессии столь же почтенной, как и всякая другая. Подобно портнихам, секретаршам или продавщицам, они сообщали друг другу приемы, уловки, рецепты, добросовестно проверенные опытом. Вначале они производили на меня впечатление женщин, приехавших из далекого города, где господствуют чуждые нам обычаи и обескураживающие правила нравственности.

Они упивались романами, которые печатаются в журналах, неизменно отдающих свои страницы душещипательной литературе самого дурного пошиба. Они ставили себя на место героинь, критиковали тот или иной поступок, хвалили бравых ребят и ругали негодяев. Они рассказывали друг другу содержание фильмов, подробно, по косточкам разбирали красивых актеров, восхищались их обаянием и мечтали о том, чтобы один из них когда-нибудь вошел в их жизнь. Великолепные океанские пароходы, кругосветные путешествия, стоянки в тропиках, райские острова, изобилие, роскошь...

Они рассказывали разные истории, и в их рассказах угадывалось доброе сердце этих склонных к фатализму и сентиментальных девиц. Они вспоминали своих покровителей и выразительными штрихами рисовали повадки этих иногда опасных, темных личностей. Они потешались над своими клиентами, с удовольствием изображая их ничтожными, жалкими людишками и выставляя их в самом смешном свете. Слушая их, я узнавал, как вселяющие трепет бюрократы превращались в смехотворных обезьян, самые самоуверенные бизнесмены — в хныкающих хлюпиков, самые благородные джентльмены — в пьяных животных, и начинал без особых иллюзий смотреть на прочность и ценность внешней респектабельности, которую придают себе иные люди.

— Мой толстый виноторговец, знаешь, который приходит в четверг вечером, представь, вошел в комнату и разревелся. Вытащил фотографию своей дочери и начал с ней разговаривать. Расшвыривал по комнате деньги и хотел, чтобы я называла его грязной свиньей...

— Мой старый маркиз, знаешь, тот, который каждый день меняет тросточку — у него их по одной на каждый день недели, — приходит всегда с накладной бородой, а я должна его звать: «Ландрю, мой мальчик, мой дорогой Ландрю». Я ему говорю: «Чем разыгрывать рождественского деда, вы бы лучше отпустили настоящую бороду». Но он не хочет, чтобы у него была седая борода, говорит, что это ста-

рит. Он утверждает, что дело добром не кончится: вот теперь он думает о пламени, которым сжигает сердца женщин, а придет срок — он попадет в ад и сам будет гореть в пламени, окруженный миллионами женщин...

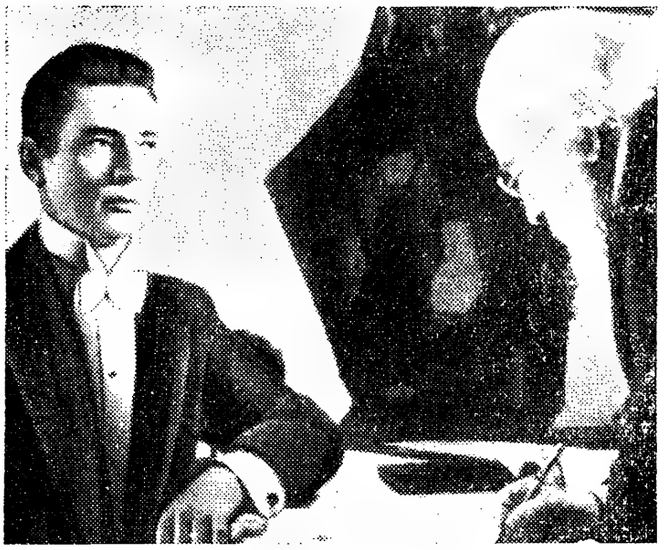
— Мой офицер колониальных войск говорит, что мы лучшие из женщин, что повсюду, во всем мире, проститутки — лучшие из женщин, что другие скрытничают, не хотят признаваться в своем пороке и что если бы он мог, то отвез нас в города, где нас бы все уважали, поставил бы на место других, поселил бы в их домах, а тех отправил бы сюда, чтобы они занимались нашим ремеслом. Он говорит, что ни одна из нас не заслуживает такого презрения, как самая добродетельная высокопоставленная матрона...

Они высказывали также общие взгляды на человечество и на жизнь. Хотя они охотно афишировали свой пессимизм и цинизм, некоторые из них все же верили в искупление, верность, справедливость. Однако они были убеждены, что им выпала злая участь, и в один голос жаловались на жизнь, выбросившую их на задворки, но не всегда соглашались признать, что их падению немало способствовало дурное общество, с которым они в свое время связались, а часто и фантастическая лень.

Когда я возвращался домой из парикмахерской, они уже выходили на работу, и я их встречал на обычных постах. Они подмигивали мне и улыбались. В ответ я дружески махал рукой. Я испытывал при этом какое-то смутное удовлетворение, как бывает всегда, когда с симпатией относишься к людям, так или иначе поставленным вне закона. Я очень удивлял своих товарищей, упоминая об этих подозрительных приятельских отношениях с женщинами, у которых вместо имен и фамилий были лишь клички, выхваченные из завалявшихся романов: Лола, Рита, Дора, Кармен, Люлю...

Кварталы, где подвизались эти дамы, были не из самых спокойных. Здесь часто попадались ужасающие трущобы, самые мрачные закоулки, внушавшие смутную тревогу, подозрительные кабаки. Здесь совершенно открыто хозяйничали темные личности.

Днем их можно было видеть за столиками на террасах кафе. У них было пристрастие к светлым костюмам, широким брюкам, туфлям с острыми, как щучьи головы, носами, тонким усикам, безделью и абсенту. Они постоянно предавались игре, с нарочитой небрежностью бросали карты на стол, вызывающе поглядывали друг на друга, следили за партнерами таким подчеркнутым недоверием, как будто все это было рассчитано на публику. В промежутках между партиями они со знанием дела любовались своими кольцами с огромными бриллиантами, поворачивая их так, чтобы камни играли на солнце. Иногда эти субъекты останавливали свое внимание на прохожих. Когда их взгляд падал на вас, вам делалось как-то не по себе. Я предпочитал их особенно не разглядывать.



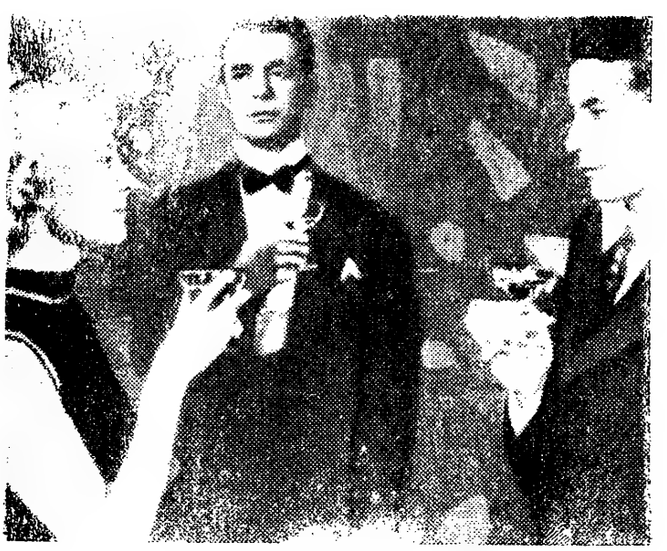
Кадр из фильма «Ночная Маргарита».

В том же районе находился и штаб фашистской банды Дорио. Дом, в котором он помещался, привлекал внимание расклеенными на стенах вызывающими плакатами и прокламациями. Вокруг него царила какая-то лихорадочная суета. Хлопали двери, скрипя тормозами, подъезжали машины, слышались короткие приказания, предвещавшие насилия и драмы. Молодчики в шляпах с показной непринужденностью прохаживались по тротуару взад и вперед. Они держались всегда по двое, по трое, никогда не уступали дорогу встречным и отпускали наглые замечания по адресу женщин. У них оттопыривались карманы, и время от времени они вдруг оборачивались, как будто опасались быть застигнутыми врасплох врагом.

О них писали в газетах.

Перед парикмахерской, где я подвивал волосы грешниц, находился один из баров, прилежно посещаемых бандой заядлых игроков. Я завтракал там сендвичами с итальянской колбасой, запивая их пивом.

Кадр из фильма «Ночная Маргарита».



Ив Монтан в фильме «Ночная Маргарита».

В углу зала обычно сидел молчаливый и апатичный сутенер, с которым все обращались почтительно. Он был толстый и жирный. Его возраст определить было невозможно. Он походил на огромную жабу, окруженную блюдечками, чашками, пепельницами, стаканами.

Окутанный дымом своих сигар, он изъяснялся ленивыми жестами, которые каждый старался как можно скорее понять, чтобы избавить его от труда уточнять свою мысль. Когда ему подавали вино, отвечали на вопросы, просили к телефону, то все это делалось так, будто он был повелителем, пользующимся неограниченной властью. Молодые сутенеры подобострастно ему кланялись, женщины покорно улыбались.

Этот тип внушал мне ужас и отвращение. Я распознал в нем воплощенное преступление, неприкрытое преступление в его подлинном кошмарном и гнусном обличье.

Там попадались и люди, правда, сбившиеся с пути и замешанные в нечистых делах, но, тем не менее, симпатичные и не лишенные известного прямодушия. С двумя из них я на время сдружился. В юные годы охотно находят таких людей в среде авантюристов, смахивающих на героев детективов. Они оставляли в тени истинный источник своих доходов. Мы без конца разговаривали перед баром, пока я дожевывал свой хлеб с итальянской колбасой.

Меня часто подмывало расспросить их об их жизни и сказать, что от них немногое требуется, чтобы стать действительно честными ребятами. Но у них была манера посмеиваться над честностью, и это заставляло меня быть сдержанным. Они тоже шептались с гнусной жабой и почтительно ему кланялись.

Мы говорили, например, о ковбоях. Они, как и я, восхищались ими, рукоплескали их подвигам, смеялись от удовольствия, вспоминая главные сцены, те, где блюстителям правосудия, наконец, удавалось изрешетить пулями подлых предателей. Я думал о том, что эти предатели были не лишены сходства с жирным сутенером, и меня поражало явное противоречие, в которое впадали мои приятели. Правда, они превозносили также ловких гангстеров, джентльменов-грабителей, всякого рода отверженных законом и горевали, когда за несколько минут до окончания фильма те попадали в лапы сыщиков и шерифов. Иногда они даже покидали зал, как только для этих сомнительных героев события начинали принимать дурной оборот.

Этот бар, в котором невинность была представлена разве только двумя правонарушителями, готовыми отрешиться от своих последних моральных устоев, да порядком оторопевшим парикмахером, не имел ничего общего с кафе пьемонтцев, где давали себя знать душевная чистота и человеческие чувства.

«Толстая жаба — сволочь. Он — убийца. Такие вещи чувствуются. Он кого-то убил неизвестно за что. Вот почему его боятся другие. Человек, который кого-то убил, страшен другим... Даже оба моих товарища боятся его... В один прекрасный день он опять кого-нибудь убьет... Молча поднимется со своей скамейки и убьет из маленького дамского револьвера, а потом исчезнет, и вам покажется, что это было только привидение, какой-то гнусный призрак, — вот и все...

Будь я на месте моих двух приятелей, я бы дал ему коленкой под зад, я бы выпустил из него потроха, прежде чем он принялся убивать, кого ему вздумается... На их месте я бы по-ковбойски разделался с этим боровом, у которого брюхо трясется, как желе. Если бы отец был молодым и сильным, он бы живо его вышвырнул... Если бы я был постарше, я бы подошел к этой туше и выплеснул вино из его стакана ему в лицо и выволок его на улицу, как мешок с рухлядью... Нельзя оставлять в покое тех, кто замышляет убийство, кто вот-вот вытащит из кармана маленький револьвер... Нельзя в мечтах творить правосудие на Дальнем Западе, а на деле пресмыкаться перед жабами... Нельзя плясать под дудку банды прохвостов, которые дергают за веревочки, готовят преступления... Надо сказать свое слово и вывести их на чистую воду...

Этот толстый мерзавец наверняка распоряжается как ему угодно, именно как ему угодно, десятками парней и женщин, которые лучше его, сильнее, моложе и которые,

сидя в зрительном зале, дрожат от удовольствия, когда видят, как справедливые и мужественные ковбои громят салун какого-нибудь подлеца, но забывают все это перед такой мразью... На свете, должно быть, пропасть людей вроде него, которые более или менее тайно тиранят других... Среди них, можно не сомневаться, есть и такие, у которых красивые и добрые лица и которые подают милостыню нищим, носят элегантные черные шляпы, действительно элегантные шляпы в английском вкусе, и превозносятся в газетах как благодетели человечества. Нередко у них почтенные седины, маленькие дети, которых они ласкают, библии, дома, утопающие в цветах, и, тем не менее, они такие же, как эта жаба, преступные твари, подлецы, кровопийцы...»

Иногда я пытался тайно и хитро восстановить моих приятелей против толстобрюхого. Я играл на их самолюбии.

— Брось, — только и отвечали они. — Брось свою канитель. Не думай, что все так просто устроено и что от одной драки все на свете пойдет как по маслу.

Однажды после обеда я сидел у окна парикмахерской, предаваясь мечтам в ожидании клиентки. Я смотрел на улицу, на дома, похожие на декорации, на открывший свою пасть бар, на редких прохожих. Стояла невыносимая марсельская жара. У меня было необычайно ясное ощущение, что ничего не может случиться на этой улице, казалось, придавленной зноем, что, быть может, на ней никогда ничего не произойдет, что все это я уже видел в каком-то далеком, далеком тяжелом сне...

И вдруг в баре поднялась суматоха. Раздался серебристый звон, в витринном стекле образовалась огромная звездообразная дыра, какой-то человек быстро раздвинул светлые шторы, выпрыгнул наружу и бросился бежать. Вслед за ним из дверей выскочил другой. Он вытащил револьвер, прицелился. Раздался выстрел, и в тот же миг убегавший перекувырнулся и рухнул на землю. Второй подошел, разрядил револьвер в распростертое тело, которое несколько раз конвульсивно вздрогнуло, и ударами ноги по голове прикончил умирающего. Он обвел кругом взглядом, как боксер, нокаутировавший противника, потом ушел удивительно легкой, упругой походкой.

Все произошло, как в театре, будто все было совсем ненастоящее. Выстрелы не произвели на меня впечатления, прозвучав не громче, чем хлопанье пистонов игрушечного пистолета. Однако на мостовой лежало бездыханное тело, и из него била кровь, растекаясь тонкими струйками.

Сирена полицейской машины разорвала тишину. Полицейские засуетились, прикрыли труп серым брезентом, потом, когда он был сфотографирован, не очень-то бережно унесли. Они опросили соседей, но ничего не добились: те, кто присутствовал при трагической сцене, наверное, были, как и я, потрясены. Язык их не слушался, они не в силах были вымолвить слова, точно онемели.

Я был страшно взволнован этим происшествием. Впервые я видел смерть и смог почувствовать ее беспредельную власть. Приукрашенная несколько театральной обстановкой, она поражала воображение.

Мне пришло в голову, что субъекты, вечно играющие в карты, быть может, даже не прервали партии и что отвратительная жаба, должно быть, гнусно ухмыльнулась, смакуя зрелище из своего окна. С той поры бар потерял для меня всякую привлекательность. Он был отныне лишь вертепом, откуда вышла смерть.

(Окончание следует)

Седрик Белфрейдж

С вами говорит Чаплин

«Соединенные Штаты? Мне там больше нечего делать, и моей ноги там не будет, даже если президентом стал бы Иисус Христос».

Человек, который произнес эти слова, уже давно в глазах множества людей во всем мире олицетворяет лучшее из достижений американской культуры. В своем изгнании — около Веве в Швейцарии — в течение четырнадцати часов без перерыва Чарли Чаплин говорил со мной об Америке и о себе самом. Я заметил, что его приговор кажется чересчур суровым даже мне — также изгнанному из Америки, но все же еще надеющемуся когда-нибудь туда вернуться.

«О да,— сказал он,— мне очень горько. Но поймите, в течение целых пятнадцати лет меня преследовали, обвиняя в коммунизме, травили, называя меня преступником. Я чуть не был приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы за «торговлю белыми женщинами» и еще бог знает за что... не хватило всего нескольких голосов присяжных...»

Седрик Белфрейдж — американский публицист, основатель прогрессивного нью-йоркского еженедельника «Нейшнл гардиан». В мае 1955 года он подвергся аресту, а спустя несколько месяцев был под конвоем доставлен на борт трансатлантического парохода и выслан за пределы США. В настоящее время проживает в Англии. Помещаемый с небольшими сокращениями очерк «С вами говорит Чаплин» был напечатан в газете «Либерасьон».

Чаплин запальчив; но когда думаешь о шестидесяти шести годах его из ряда вон выходящей жизни, понимаешь, что за этой вызывающей откровенностью скрыто нечто большее, чем внезапная перемена настроения. Беседуя со мной, он касался самых различных вещей, переходил от смешного к серьезному, от издевательской критики некоторых власть имущих к мягкому незлобивому юмору. С горечью осуждая «американцев» вообще, он умилялся при воспоминании о женщине — одном из присяжных в Лос-Анжелосе, мнение которой во время известного процесса «о признании отцовства в торговле белыми женщинами» оставалось холодным, как лед. Однако после вынесения приговора она подошла к нему и сказала: «Этого сделать с вами не могли. Америка еще остается свободной страной».

Таков Чарли Чаплин. Принимайте его таким, каков он есть; это гений со множеством противоречий, эгоист, любящий жизнь и всех живущих; принимайте его таким, каков он есть, и будьте удовлетворены тем, что он такой.

* * *

Когда выпадает счастье находиться в его обществе, не расточаешь драгоценного времени на собственные высказывания, разве что порой побуждаешь его продолжать разговор. И так происходит со всеми, кто да-

же с коронованными особами или международными знаменитостями, которые соперничают с журналистами, добиваясь аудиенции. Я также предоставил ему возможность говорить о чем вздумается и собрал здесь воедино эпизоды его жизни и фрагменты его мыслей так, как он их нам высказал.

«Я остался таким же, каким был всегда,— мятежником и бродягой. В возрасте двенадцати лет я жил в лондонском Ист-Энде и всякий раз приходил в ярость, когда по улице проезжал король и мне запрещали пересекать путь его свиты. Мне не нравились барьеры, воздвигаемые между классами, чтобы подавить бедняков, к которым принадлежал и я, и, эмигрируя в Америку сорок пять лет назад, я предпочел бы стать там продавцом в мясной лавке, чем в Англии — лордом Пибоди».

* * *

«А затем — одинокий и робкий эмигрант — я вдруг сразу погрузился в атмосферу успеха, и это было самым большим событием, которое мне когда-либо пришлось пережить. Впервые я заметил некоторые перемены еще в экспрессе Голливуд — Нью-Йорк, в 1916 году, после появления моих первых фильмов. Я брился, поезд подходил к вокзалу Альбукерке, в штате Нью-Мексико. Едва я вышел на перрон, как меня подхватили встречавшие и задержали паровоз на то время, пока по настоянию мэра и восторженных горожан я сидел за банкетным столом, заранее приготовленным на украшенном флагами перроне вокзала. В Чикаго я вынужден был взобраться на крышу вагона, чтобы ускользнуть от толпы поклонников. В Нью-Йорке опасались волнений, поэтому полиция явилась за мной и доставила меня в город на своем автомобиле. Газеты вышли с шапками на восемь колонок: «Он прибыл!»

Благодаря успеху я увидел жизнь еще ближе и понял суетность людей, управляющих миром с помощью широковещательных речей. Все чаще люди интересовались моим мнением по вопросам, самая суть которых мне была совершенно неизвестна. Я начал говорить себе: если уж они дошли до того, что интересуются моими взглядами, то у кого же они не клянчат ответа и почему эти другие должны в чем бы то ни было разбираться лучше, чем я?

В ту же пору удостоили меня своим посещением Рокфеллер и Вандербильт; поняв, что и в Америке есть своя особая аристократия и свой снобизм, я одновременно осознал, что нигде не смогу быть патриотом в обычном смысле этого слова. Тогда я узнал, что человек зависит только от самого себя. Только в самого себя можно верить, и сражаться нужно за достижение тех целей, которые сам перед собой поставил.

Я не верю в девиз: «Права или виновата, это прежде всего моя страна». И считаю абсурдным все эти разговоры о благодарности Америке или любой другой стране за то, что якобы ей я обязан полным расцветом моего творчества. Некоторые называли меня «неблагодарным», потому что я никогда не принимал американского гражданства и потому что я «кусаю руку, которая меня кормила». Какая глупость! Не более 30 процентов моих доходов получены мною от Америки, а все остальное — от разных стран, где демонстрировались мои картины. Я отвечал, что я в Америке — гость, который платит за гостеприимство, и платит щедро.

Во всяком случае, я никогда не считал себя связанным с Соединенными Штатами, хотя я и прожил там так долго. И как чудесно, совершенно чудесно снова жить в Европе!

Что же касается Голливуда, то что можно сказать об отрасли промышленности, которая создала такие состояния и в то же время никогда не подумала сделать дар в миллион долларов какому-нибудь университету, или учреждению драматического искусства, или больнице на строительство нового корпуса? Единственное, что Голливуд оказался способным создать для публики, — это ипподром».

* * *

«Товарищи! Да, я называю вас товарищами, и я приветствую наших русских союзников, как товарищей».

Когда в начале войны на митинге, организованном военным комитетом «Помощи России», Чарли Чаплин произнес эти слова перед десятью тысячами жителей Сан-Франциско, он как бы сделал первый шаг на пути к изгнанию. Некоторое время спустя начался процесс «о торговле белыми женщинами». Затем он прослыл «дважды», а впоследствии и «трижды» коммунистом, когда в Нью-Йорке и Чикаго поднял голос, требуя открытия второго фронта. Именно там он говорил:

«Сотни тысяч русских умирают за нас. Но я знаю также, что американцы сами любят сражаться и готовы умереть за свое дело».

* * *

«Послевоенная «охота на ведьм» сразу привела к тому, что я был вызван в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, где должен был дать отчет о моих политических убеждениях и нравственных принципах. Вызов был отменен, быть может, потому, что комиссии стало известно о моем намерении выставить в смешном свете моих обвинителей и появиться перед ними в костюме «Чарли» — в котелке, с тросточкой и в длинных уродливых башмаках. Тем не менее публичные атаки против меня становились все более частыми и агенты ФБР продолжали свои расследования, неизменно ставя передо мной один и тот же вопрос: «Вы ведь так именно и сказали «товарищи»?»

Я заявил им, что не был, никогда не был коммунистом, что я ничего не знал о коммунизме и не мог ненавидеть то, о чем ничего не знаю. Мои адвокаты коварно

подсказывали мне возможность уладить дело простой антикоммунистической декларацией. Я отказался.

Покинув Америку с моей женой Уной, американкой по национальности, и четырьмя детьми, я только через два дня, в открытом море, убедился, что больше никогда моя нога не ступит на ее почву. Из сообщения корабельного радио мне стало известно, что, как только я туда вернусь, меня подвергнут заключению на Эллис-Айленде, где я должен буду дать отчет о своих политических взглядах и нравственности. Тогда же я утвердился в своем решении остаться на постоянное жительство в Европе. Необходимо было ликвидировать американские вложения и извлечь мои деньги таким образом, чтобы я мог продолжать производство фильмов, не завися от какой-либо ссуды со стороны, так же, как я это делал уже в течение многих лет... Успех этого проекта держался на волоске. После окончания операции по продаже имущества я попросил своего финансового агента вылететь с чеком и притом первым же самолетом. Это было сделано во-время! Два дня спустя американские власти — хотя налоги и были мною полностью уплачены — потребовали дополнительного взноса в пятьсот тысяч долларов, утверждая, что в 1953 году я безвыездно проживал в Соединенных Штатах, хотя я еще в 1952 году купил дом в Веве.

Требовалось также уладить вопрос с ценными бумагами на сумму в четыре миллиона долларов, которые хранились в сейфе одного из банков Лос-Анжелоса. Уна проделала десять тысяч километров на самолете и явилась в банк. Служащий вначале заявил, что он не получал от меня никаких полномочий предоставить ей право доступа к сейфу. Уна проявила настойчивость, и в результате за несколько минут до закрытия банка тот же служащий нашел карточку с разрешением — ее поставили не туда, куда полагалось».

За время своего короткого пребывания в Америке Уна должна была также продать их дом в Беверли-Хилс и рассчитать домашний персонал и служащих. студии Чаплина, щедро наградив их всех на прощание.

«Те несколько часов, которые она провела с этими мужчинами и женщинами, бывшими в течение многих лет частью нашей семьи,— рассказывал нам Чаплин,— рассеяли грусть Уны накануне того дня, когда она должна была навсегда расстаться со страной, где родилась. Они рассказали ей о неоднократных визитах агентов ФБР, стремившихся любыми средствами подкрепить выдвинутые против меня обвинения в аморальном поведении и коммунизме.

— Ведь это правда, не так ли, что он устраивал оргии с голыми женщинами?— такого рода вопросами они забрасывали обслуживающий персонал. И получали неизменный ответ: «Мы работали с Чаплином в течение многих лет, и он всегда вел себя с нами, да и с другими, как джентльмен». У всех были слезы на глазах, когда, наконец, дом и студия были проданы. Уна испытывала такое отвращение к раскрывшейся перед нею обстановке, что она тогда ощутила: больше у нее нет ничего общего с Америкой, и ей стало легче от того, что она покидает ее навсегда».

Едва прибыв в Швейцарию, Уна отправилась вместе с Чаплином в американское консульство в Женеве, где он вернул свое разрешение на обратный въезд в Соединенные Штаты. «Я больше в нем не нуждаюсь»,— сказал он. Консул, чувствовавший себя неловко, пытался быть любезным, и Чаплин не захотел воспользоваться этой последней встречей с американскими властями для окончательного сведения счетов. Уна формально отказалась от американского гражданства только некоторое время спустя, в Лондоне, в американском посольстве.

В Европе с момента его прибытия все приняли великого артиста с энтузиазмом и не испытывали ничего, кроме презренья, к его американским преследователям. Состоялась сердечная беседа Чаплина с Уинстоном Черчиллем, с которым он был знаком много лет; однако, когда некоторое время спустя Чаплин направил Черчиллю письмо с просьбой вступиться за одного американского гражданина, ставшего жертвой «охоты на ведьм», его даже не уведомили о получении письма.

Во время торжественного обеда, устроенного влиятельными членами палаты лордов и палаты общин, Чаплин оказался рядом с лейбористом Гербертом Моррисоном. Он выразил удивление, что лейбористское правительство..., предоставив американцам базы в Англии, не получило ничего взамен. Когда он добавил, что политика «холодной войны» в целом кажется ему вредной, Моррисон сухо ответил:— «Я совершенно не согласен с вами». И демонстративно отвернулся.

* * *

Будучи почетным гостем «Диккенсовского общества» на одном обеде, организованном в память о великом романисте, Чаплин, который сам назвал себя «поджигателем мира», стал рассуждать на свою любимую тему о вреде «холодной войны». Он назвал атомную бомбу «самым большим из всех возможных преступлений» и добавил: «Если бы Диккенс был сейчас жив, он был бы возмущен до глубины души». Чаплин заявил, что, как это с успехом доказал в Индии Ганди, война есть устаревшее средство разрешения разногласий между народами.

Он сказал также: «Если бы вы даже могли посадить в тюрьмы или казнить всех коммунистов, то другие люди поднялись бы, чтобы потребовать хлеба и справедливости». Его речь была отнюдь не во вкусе «диккенсистов», которые ждали куда более умеренного и безобидного выступления.

Когда Чаплин окончательно обосновался в Веве, чтобы писать сценарий и сочинять музыку для своего нового фильма, он понял, что его политическое кредо не пришлось по вкусу в Лондоне, но, тем не менее, сохранил слабость к своему родному городу, где после многолетних преследований в Америке он вновь был встречен с почетом. Однако во всевозможных историях, которые приключились с ним уже после его возвращения в Лондон, проявилось все то же независимое отношение к власть имущим, всегда ему свойственное и являющееся также сущностью его искусства.

Самой забавной из показанных им сценок была поразительная сатирическая имитация диалога между двумя благородными лордами за послеобеденным коньяком и сигарами. Чарли присутствовал при этом диалоге, который закончился так:

— Черт побери! Ее величество была так хороша на открытии парламента, что мне хотелось закричать: «Боже, храни королеву!»

— Почему же вы не сделали этого? Я бы крикнул несколько раз: «Слушайте! Слушайте!» (традиционный возглас одобрения в отношении публичных выступлений).

Это было почти так же забавно, как его знаменитое изображение г-жи Трумэн, которая осеняет крестным знамением военный корабль.

* * *

Поместье Чаплина раскинулось среди нависающих над ним террас виноградников в великолепном парке, окаймленном высокими деревьями; в нем есть и бассейн, и фруктовый сад, и цветочные клумбы. Пологим склоном спускается оно к самому Женевскому озеру.

В то время как Чаплин и Уна водили меня и мою жену по своим владениям, обращая наше внимание то на фруктовый сад со щекастыми грушами, то на пунцовые помидоры на огороде, то на вершину Дом дю Миди, виднеющуюся на горизонте,— в нескольких сотнях метров от нас, на противоположном берегу, послышался треск пулеметных очередей.

«Швейцарские власти решили, что именно здесь идеальное место для проведения тренировочных военных стрельб,— пояснил Чарли.— Я не разделяю этого мнения, и мой юрист пытается заставить их согласиться с моей точкой зрения».

Но в остальном этот неудавшийся американец, этот человек, уже в течение сорока лет являющийся для всего мира живой легендой, нашел здесь свою тихую гавань, столь необходимую и ему, и его жене, у которой осанка королевы сочетается с грацией молодой девушки, и его прелестным детям.

Как и в далекие дни в Калифорнии — до того, как антикоммунистические вопли «охотников на ведьм» не спугнули их,— к его дверям стекаются толпы всякого рода знаменитостей, готовых воздать должное «кокни из Ист-Энда», которым никогда не переставал быть Чаплин.

Он принимает всех этих «важных лиц», интересующих его, как «личности»,— от бывшей королевы Италии до графа Бельянко, гранда Испании, который, к удовольствию Чарли, избрал для своего визита тот же день, что и испанский республиканец Пабло Казальс. Однако, когда Женеву посетил Чжоу Энь-лай, Чаплин сам отправился с визитом к китайскому министру.

* * *

Для него необычно ново сознавать, что, когда бы ему ни вздумалось отправиться в Лондон («Я обожаю Лондон, он полон приключений») или в Париж, он может очутиться там по прошествии всего лишь одного или двух часов. Это наполняет его радостью. Непохожи на то, что было в Голливуде, и его отношения с местными жителями. Он мне рассказывал о вевейском «Культурном обществе», группу членов которого он недавно принял, и забавно, но дружелюбно их имитировал.

В ближайшие годы Чаплин намерен написать пьесу для театра, оперу и книгу — не биографию, а «дневник этапов моего духовного развития». Я спрашиваю, намерен ли он изложить в ней свою теорию искусства.

«Ну, знаете, моя теория как раз и состоит в том, что никакой теории не существует. Я собираюсь много говорить о театре, который, несмотря на мое длительное кинематографическое прошлое, мне известен лучше, чем что-либо другое. Что же касается созданного мною персонажа «Чарли», то он был объектом потока абсурдных комментариев. Кто такой Чарли я и сам не ведаю, но зато я знаю, что трагедия и комедия в действительности нераздельны. Я создал свою систему комического, отправляясь от великих человеческих трагедий. Вы помните «Золотую лихорадку»? Ее исходным пунктом было действительное происшествие: золотоискатели, у которых иссякли продукты, дошли до того, что, питались печеными... башмаками, а потом стали поедать друг друга. Из этой драмы я сделал комический фильм».

Говоря о кампаниях вроде «охоты на ведьм», он находит завершающее определение: «они изнурительны» — и добавляет, что жизнь в сегодняшней Америке «ужасно трудна, несмотря на все ее материальное благополучие. Я не против материалистического подхода, но поглядите только, что из него сделали американцы. Они разучились даже плакать. Умерло сочувствие и старые традиции доброго соседства. Люди живут бок о бок и молчат, когда их друзья, их соседи подвергаются нападкам, диффамации и разорению».

Зная, как сильно он убежден в родстве слез и смеха, понимаешь, насколько суровым приговором в его устах звучит упоминание о том, что смех забыт.

* * *

Иногда при воспоминании о перенесенных испытаниях этот человек, больше всего ненавидящий напыщенность, ловил себя на том, что впадает в высокопарность. Тогда его настроение внезапно менялось и он принимался подшучивать над собой. Однако чувствуется, что ему нанесена глубокая рана.

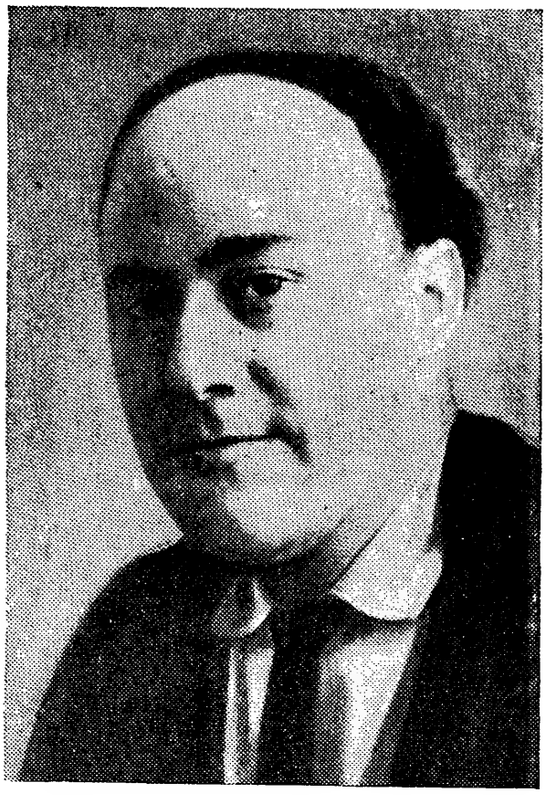
«Страшнее всего,— сказал он мне,— то, что сделали с детьми. Их учат восхищаться доносчиками, подражать им, предавать и ненавидеть; они воспитываются в тошнотворной атмосфере религиозного ханжества».

Несмотря на все испытания, Чаплин не разучился смеяться и вызывать смех у других. Он доказывал нам это сотни раз, совершенно неподражаемо разыгрывая сцены из своего нового фильма. Его последнее произведение почти закончено. Это история короля, лишившегося престола и явившегося в Соединенные Штаты, чтобы заручиться финансовой поддержкой, а также добиться предоставления возможности его стране использовать атомную энергию для мирных целей. Его ожидает много сюрпризов и среди них — ошеломляющее обвинение в коммунизме.

То, что Чаплин, испытывая такую горечь по отношению к Америке, продолжает в то же время как художник находить в этой стране неисчерпаемый источник юмора и человечности, является подлинным триумфом правды в искусстве. Я полагаю, что объясняется это той нежностью, которую он испытывает к некоторым американцам. Надо слышать, как он говорит о тех, кого хорошо знает (например, о Поле Робсоне или Рокуэлле Кенте, о чьей непрекращающейся борьбе против «охотников на ведьм» я сам смог ему рассказать), как он говорит о безыменной народной массе, внешнего облика и речи которой он не может забыть, и о тех, кого ему просто жаль, потому что он понимает всю хрупкость одного человека перед огромной машиной организованного террора.

Я думаю также о теплой улыбке, которую вызвали у него мои слова о наследии, оставленном им «рядовому» американцу и крепко связывающем их друг с другом. Эта связь была лейтмотивом фильма «Огни рампы». И хотя диктор никогда не называл автора картины, волны радио ежедневно доносили этот мотив в тюрьму, где я провел последние месяцы моей жизни в Америке.

Мне кажется, никто не испытывает с большей силой, чем этот человек, о котором не так давно было сказано, что его «больше всех в мире любят и больше всех ненавидят», чувство братского отношения ко всем жертвам преследований, где бы они ни страдали, в Америке или в другом месте. Чарли Чаплин — индивидуалист, вдохновляемый любовью к человеческим существам, где бы они ни жили. И горечь, которая порождена в нем Америкой, никогда не сможет заглушить этой любви.



ПОРТРЕТЫ И ПЕЙЗАЖИ ПОЛЯ ХОГАРТА

О. Верейский

Когда идет речь о творчестве большого, одаренного художника, принято отмечать многокрасочность его творческой палитры, разнообразие его художественных средств. Придется нарушить эту устоявшуюся традицию.

Выдающийся английский художник Поль Хогарт намеренно ограничил арсенал своих изобразительных средств, свел их к минимуму. И несмотря на это, его творчество, оставаясь предельно лаконичным, отличается прежде всего многообразием, оно глубоко человечно.

С Полем Хогартом, как художником, советские люди впервые познакомились в послевоенные годы. Говорят, было время, когда Хогарт являлся, что называется, „утонченным" художником. Сейчас, отказавшись от изощренных изобразительных средств, художник намеренно сделал свое искусство понятным и доступным. Любимым героем Хогарта стал простой человек; его работы получили широкую известность далеко за пределами Англии.

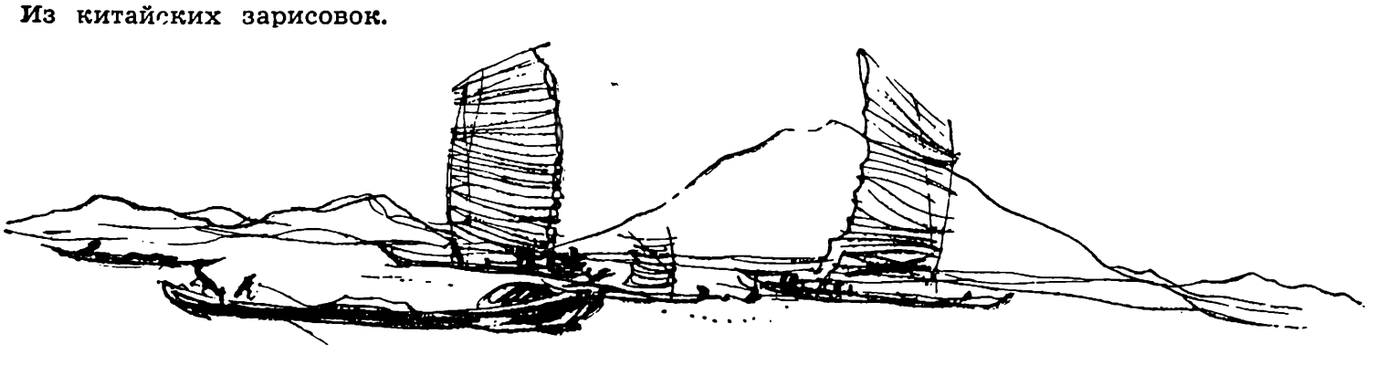
Еще в студенческие годы художник примкнул к рабочему движению и посвятил свое творчество самым большим и благородным идеям современности — защите мира и справедливости.

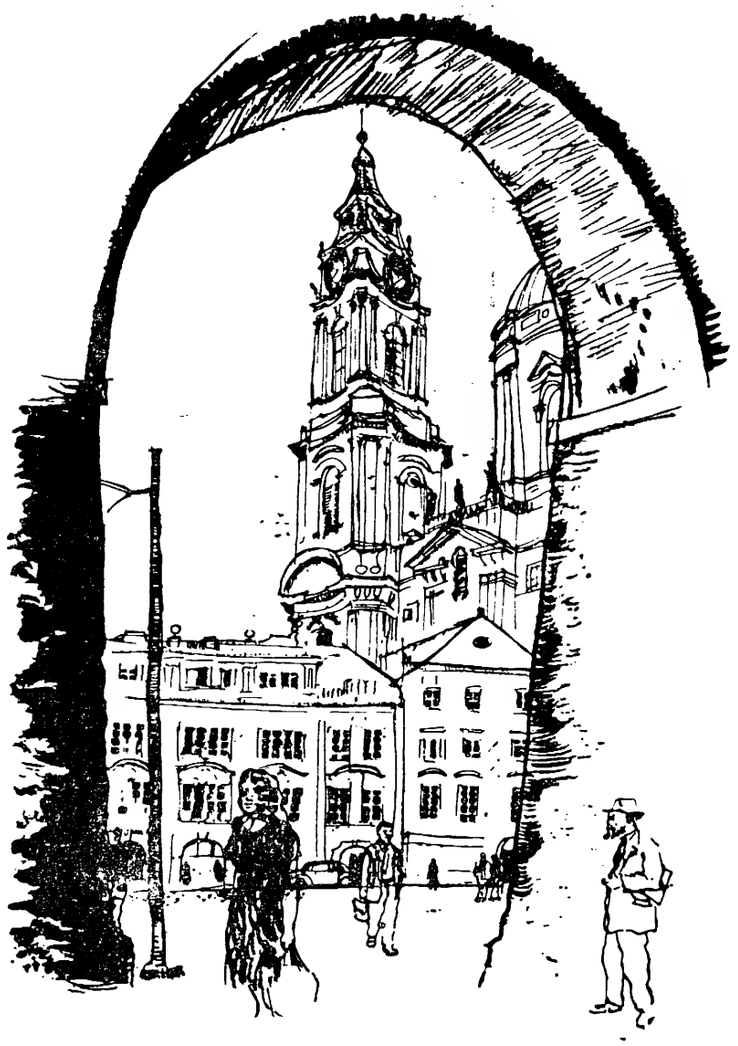
После войны он почти совсем забросил живопись маслом и взялся за карандаш, уголь, тушь, за те простейшие материалы, которые дают возможность максимально размножить рисунок, сохранив все его качества. Этот простой и доступный творческий язык Поля Хогарта отнюдь не стал примитивным. Карандашные рисунки Хогарта предельно выразительны.

Возникает вопрос: как может один и тот же черный контур передать то мягкие, уходящие в облака очертания горных хребтов, то металлическую жесткость колючей проволоки, то шершавую поверхность каменной стены, то тончайшую ткань женской одежды? Как может, наконец, простой черный карандаш передать цвет? Между тем, черные рисунки Хогарта настолько живописны, что мы ясно ощущаем в них не только фактуру предмета, но и его цвет.

Наибольшей виртуозности достигает художник в изображении людей — в портретах, жанровых рисунках, в репортерских зарисовках событий, участником, а не равнодушным наблюдателем которых он обычно становится. Главное место в творчестве Хогарта принадлежит человеку, и прежде всего — человеку тру-

Из китайских зарисовок.





Малостранская площадь в Праге.

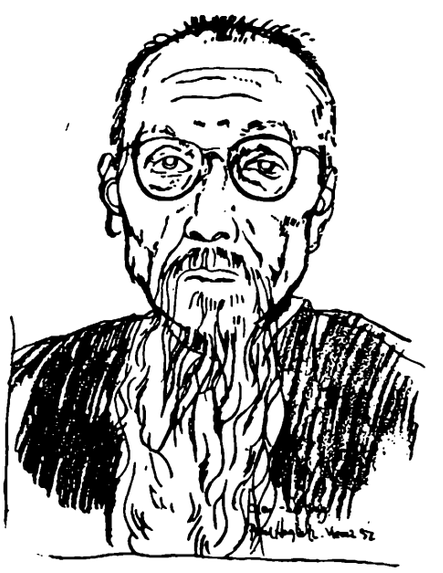
Молодой коммунист из Новой Гуты.

да. Взгляните на его шахтеров из Ланкашира и Уэльса, слесарей из Манчестера, рабочих, рыбаков, крестьян-тружеников из Испании и Греции. Вглядитесь в эти лица,— и вы увидите не просто типаж, натуру, чем-то привлекшую внимание пытливого мастера. Вы почувствуете его горячую симпатию к этим людям, и силой своего искусства он заставит вас разделить с ним это чувство.

Хогарт изображает кладненских углекопов, словацких крестьян, силезских горняков, рабочих Готвальдова, строителей Варшавы, тружеников свободного Китая. Внешне они

Из китайских зарисовок.

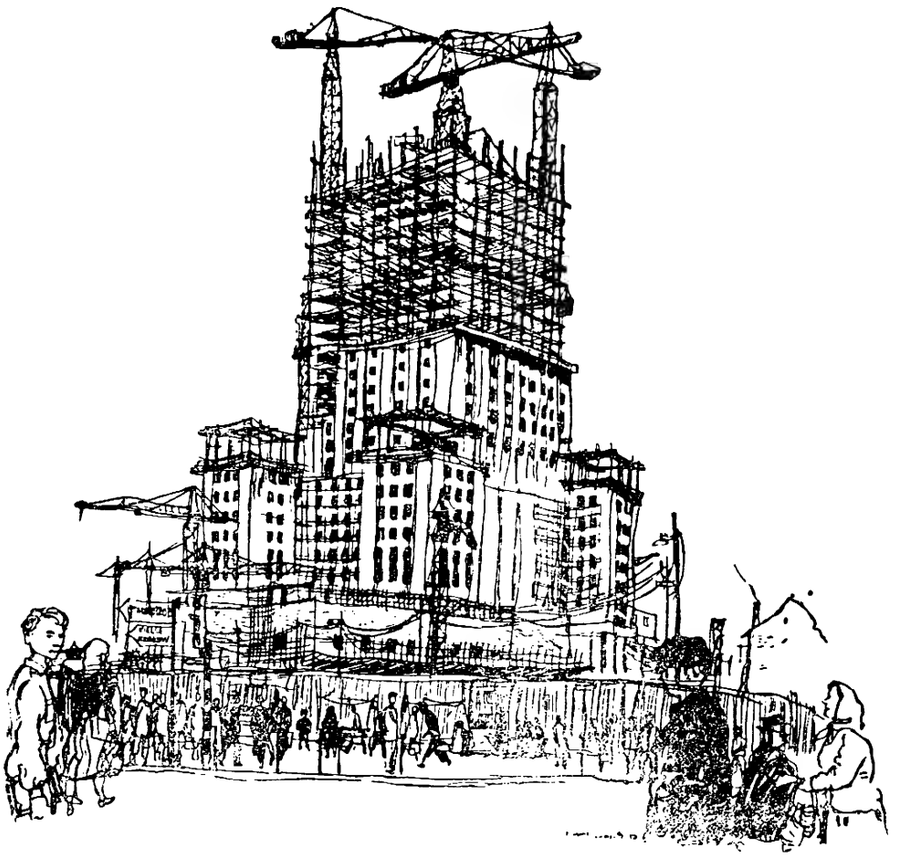
Китайский ученый Чэнь Шу-тун.



Металлург из Кладно Антонин Китка.

не всегда и не обязательно красивы; но художник умеет внушить вам расположение к этим людям, и вы верите ему, верите, что это действительно чудесные люди. Такова сила настоящего искусства. Точно так же художник трогает вас и пробуждает в вас жалость к одинокой и обездоленной гречанке—продавщице спичек или глубокое сочувствие к старому инвалиду, бывшему шахтеру, или уважительное удивление перед богатырским сложением рабочего из Пирея.

Но если вглядеться почти в любой портретный рисунок Хогарта, который никогда не оставляет вас равнодушным, вы обнаруживаете: перед вами человек, чей характер и чья судьба вам кажутся совершенно ясными и понятными, и



Дворец культуры и науки в Варшаве.

Из китайских зарисовок

Астурийская крестьянка.

Красная плсщадь.

художник добился этого лишь несколькими энергичными прикосновениями карандаша к бумаге.

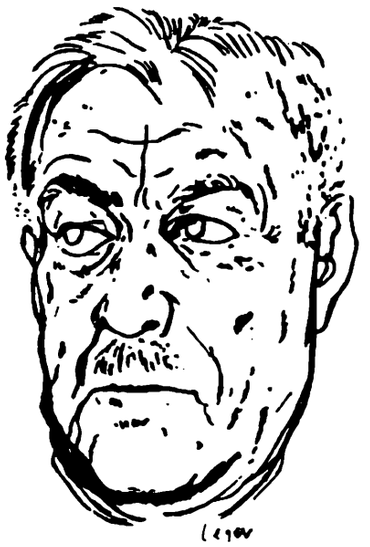
В 1954 году Поль Хогарт был в Москве проездом из народного Китая. Он показал нам большую серию рисунков, среди которых, как всегда у Хогарта, было много портретов. И, глядя на эти выразительные, лаконичные зарисовки, хотелось ему сказать: „Как много друзей вы приобрели в Китае!“ Чтобы так сделать любой из этих портретов, нужно хорошо узнать человека, понять его, успеть привязаться к нему.

В любой стране — у себя на родине или на другом конце земли — Хогарта привлекают рабочие кварталы, доки, рыбачьи поселки, глухие деревни. Поль Хогарт не разъезжает по заранее облюбованным местам. Художник живет там, где рисует. Он старается сдружиться с людьми, узнать их получше, стать среди них и для них своим человеком.

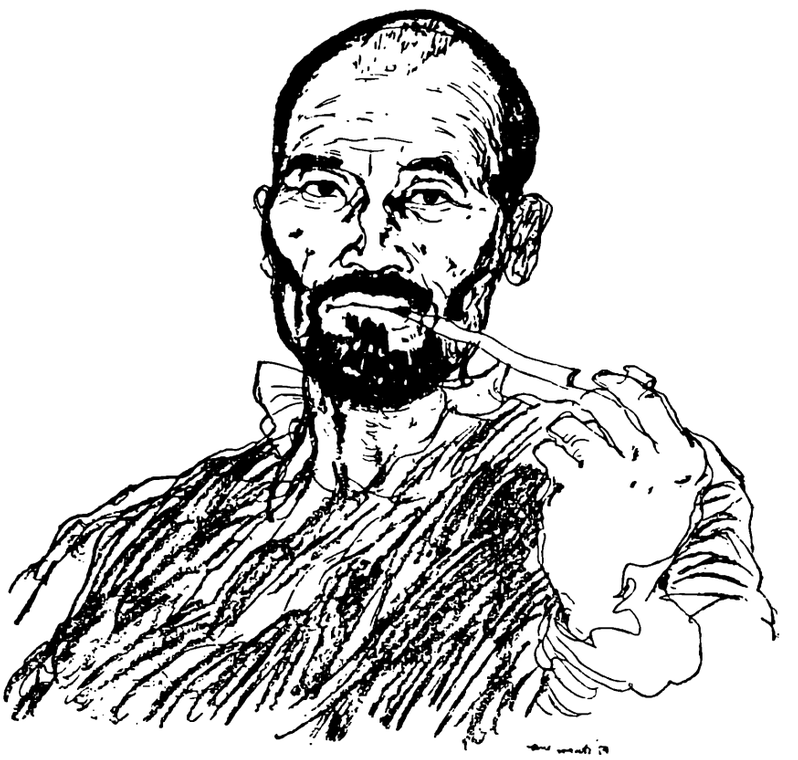
Но как беспощаден карандаш Хогарта к тем, кто мешает жить его любимым героям, кто эксплуатирует их, унижает их человеческое достоинство, к тем, кто противостоит силам мира, свободы

Крестьянин Жан Торель.

Рабочий-испанец.



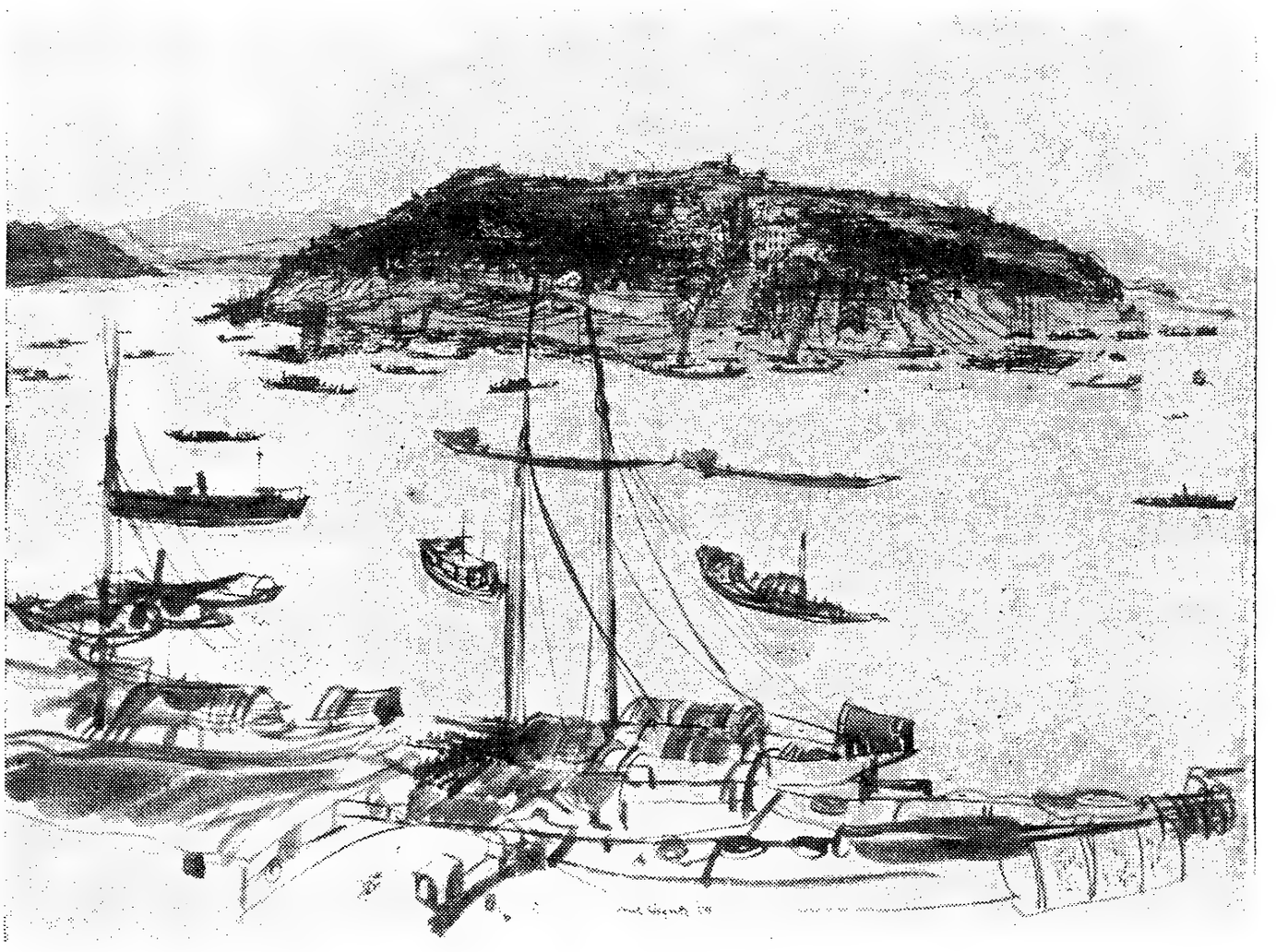
Французский художник Фернан Леже.



Китайский крестьянин.

и демократии. Посмотрите на литографский портрет американского дельца. Здесь нет нарочитой обобщенной карикатурности. В заносчивом жесте, в откинутой голове, в дрябловатом лице есть даже некоторая изысканность. И все же это едкий памфлет, злая сатира. Искусство Хогарта всегда ясно говорит о его симпатиях и взглядах, всегда имеет острую социальную направленность.

Творчество Хогарта самобытно и своеобразно; это не значит, что оно родилось само по себе, без связи с традициями и без какой-либо преемственности. Демократические тенденции английского искусства не могли не повлиять на развитие дарования Хогарта. Мне кажется, что его великий однофамилец У. Хогарт, одним из первых обратившийся к изображению жизни простого народа, был в какую-то пору предметом изучения нашего



Чунцин. Слияние рек.

Краковский извозчик.

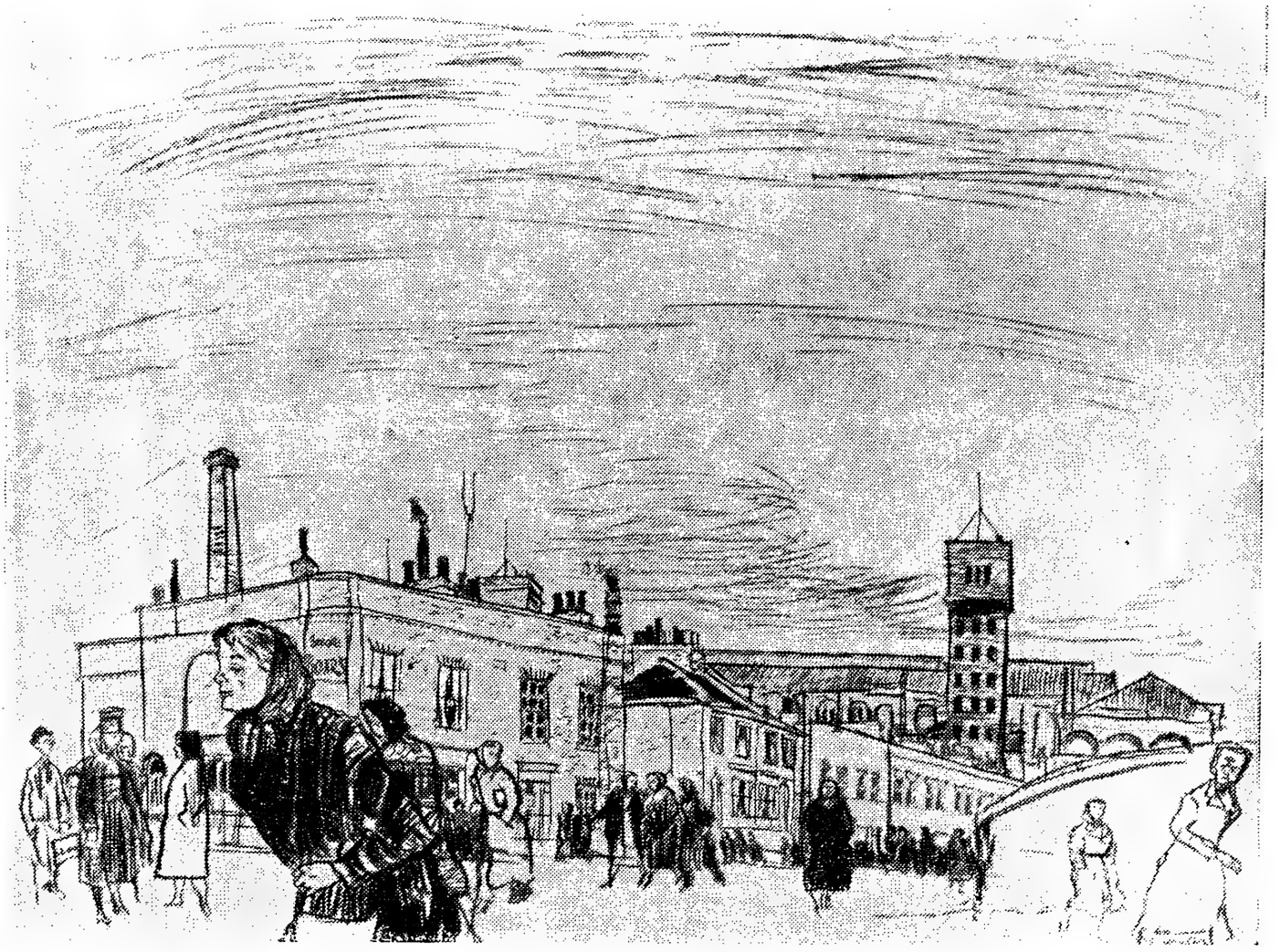
современника. Но, унаследовав лучшие черты его творчества, Поль Хогарт ни в какой мере не воспринял у него некоторой дидактичности и нравоучительности, свойственной искусству замечательного мастера XVIII века. Если говорить о корнях, питавших творчество Хогарта, нельзя не вспомнить могучую кисть Фр. Брэнгвина, воспевавшего, пусть в иной форме, вдохновенный пафос труда.

Рабочий из Пирея.

Рабочий.

Мы вспоминаем Ван-Гога, глядя на острые пейзажные зарисовки Хогарта. Но этот жанр в чистом виде у него почти отсутствует. Его городские пейзажи так населены людьми, заполнены бытовыми сценами, что уже перестают быть пейзажами. И, может быть, именно потому, что толпа на улицах так много значит для изображения лица и души города, вы каждый раз видите его точный, неповторимый облик. Как и в портретах людей, острый глаз художника всегда найдет все то самое главное и типичное, что свойственно именно этому городу и отличает его от всех других городов.

Хогарт — страстный и убежденный путешественник. Как всякому странствующему художнику, ему приходится быть в какой-то мере и репортером. Но его жадность к новым впечатлениям и новым сюжетам ничуть не похожа на вульгарную репортерскую погоню за



Рабочие лондонской спичечной фабрики.

новостями. Даже в самых беглых его зарисовках никогда нет безразличия к изображаемому. Вы всегда видите в них позицию художника его отношение и оценку явлений — и притом остро социальную оценку.

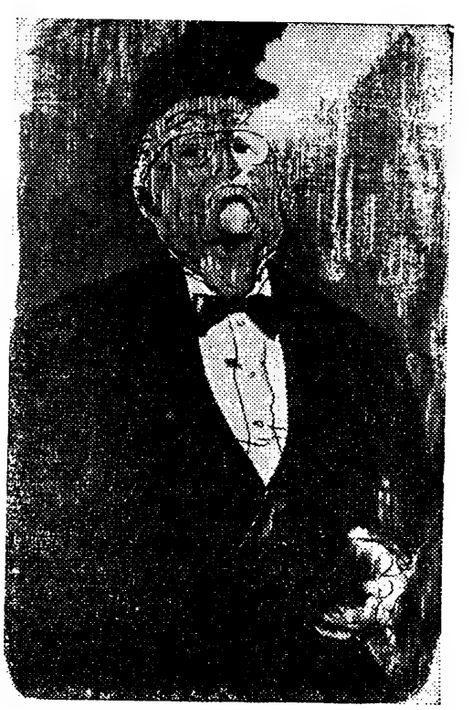
Текстильщица из Ланкашира.

Когда Хогарт изображает своих любимых героев в заводских цехах, в мастерских, в депо, в сферу его внимания, естественно, попадают и машины. Хогарт честно рисует все эти громоздкие машины, иногда такие большие и сложные, что человек теряется среди них и выгляди маленьким рядом с этими циклопическими сооружениями. Но в его произведениях человек всегда остается центром — композиционным и смысловым. Как ни мал он в масштабе рисунка, он всегда хозяин положения, хозяин послушных его воле умных машин, которые сами по себе лишь являются его творениями, делом его рук и ума, исполнителями его воли.

Эта тема значимости человека, всемогущества его разума и гения, тема величия труда особенно ясно обозначилась в цикле рисунков Хогарта, сделанных им в Китае. Это живой рассказ об упорстве, дерзаниях, мужестве и воле целого народа, который стал хозяином своей судьбы, своей земли и трудится на ней во имя счастливого будущего.

Мы ждем от Поля Хогарта новых рассказов на его чудесном языке, рассказов о разных странах, разных людях, населяющих эти страны, и в первую очередь, о самых близких, понятных и дорогих ему людях — о тружениках Англии.

Портрет американского бизнесмена.



ТИБЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

□

劉族民歌，蘇嵐編。
新文藝出版社，
一九五四年，上海

□

Перед нами небольшая книга на китайском языке «Тибетские народные песни». В ней собрано 115 песен. Здесь песни Западного и Восточного Тибета, песни, записанные в Лхасе, в городах Джекундо (провинция Цинхай), Кандине, Баане, Ганьцзы (провинция Сикан). Это первое подобное издание.

В сборнике две части: в одной собраны песни, повествующие о жизни тибетского народа до освобождения, другая часть посвящена жизни после прихода Народно-освободительной армии и заключения исторического соглашения между Центральным народным правительством Китая и местными тибетскими властями. Это историческое соглашение положило конец империалистическому гнету в Тибете и открыло перед его народом путь быстрого и свободного развития.

Много песен сложил народ об армии-освободительнице.

Поутру к нам армия пришла,
Как приходит солнце.
Темной ночью армия пришла,
Как луна приходит.

В другой песне поется:

Слезы вчера
Текли бесконечным потоком.
Песни сегодня
Льются широкой рекой.

Каким контрастом звучат новые песни рядом со старыми, созданными народом в долгие годы бесправия, гнета и нищеты, песнями скорби и печали, веры и надежды, в которых народ пел:

Тибет как ни высок — вершина есть,
Цангпо * как ни длинна, а устье есть,
А наших горестей не счесть,
Им нет конца.

Немало песен сложил тибетский народ о родном крае, о его красоте, о величественных горных хребтах, могучих реках, о труде землепашцев и пастухов. В сборнике много песен о любви, о встречах и расставаниях, о верных и лживых сердцах.

Весьма интересны сатирические песни, направленные против монашеского сословия. Они сродни тибетским народным пьесам, главному герою которых — умному и сильному охотнику Дордже — всегда удается перехитрить ламу. В одной из таких песен говорится:

Какое у ламы лицо?
Какое оно?
Весь день вспоминай,
Не вспомнить тебе все равно.
А у любимой какое лицо?
Я не думал о нем,
А оно
В сердце моем
Все равно.

Или еще:

Все ждешь, когда ж она придет,
Все ждешь упрямо.
А тот, кого совсем не ждешь,
Плетется —
лама.

В послесловии к сборнику его составитель и редактор Су Лань выражает уверенность в том, что китайские фольклористы «соберут образцы устной народной литературы других народностей, чтобы тем самым обогатить сокровищницу народной литературы Нового Китая».

Л. Черкасский.

* Тибетское название Брахмапутры.

РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

□

„Stanford Short Stories 1955", Stanford University Press, Stanford, California.

□

«Молодому писателю трудно точно определить, когда расплывчатый и часто случайный материал, накопившийся в его памяти, идеи, характеры, сцены и настроения, которые постоянно вертятся у него в голове, можно слить воедино, чтобы получился такой монолит, который и образует собой короткий рассказ», — говорится в послесловии к сборнику «Стэнфордские рассказы 1955 года», выпущенному в свет издательством Стэнфордского университета в США. В Стэнфорде, читаем мы далее, «особое значение придается обсуждениям на семинарах, где вновь и вновь шлифуется каждый подающий надежды рассказ».

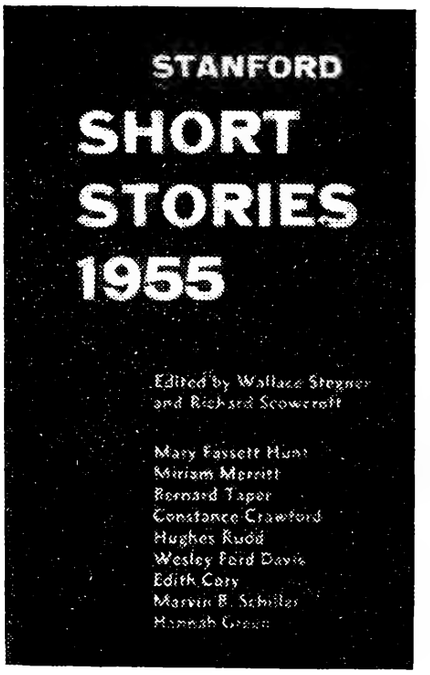
Для Стэнфордского университета стало своего рода традицией ежегодно печатать произведения молодых авторов — участников литературного объединения при университете. Сборник 1955 года — девятый подобный выпуск. Отбор проводится с помощью голосования среди студентов и опроса преподавателей. Кроме предисловия, которое дает представление о характере и задачах сборника, в книгу включены биографические справки о каждом из авторов и специальное приложение, посвященное вопросам литературного творчества.

Среди девяти молодых прозаиков, с которыми издательство знакомит нас в 1955 году, большинство — профессиональные журналисты. Многие из них уже выступали в печати с рассказами, для других это первый опыт. Все они родились в двадцатых годах и принадлежат, по выражению одного из руководителей литературного объединения Уоллеса Стегнера, к «озабоченному поколению». «Им так же трудно отделаться от ощущения напряженности и тревоги за судьбу мира, как птице утратить ощущение ветра»,— пишет он в предисловии к одному из предшествующих изданий.

С точки зрения «тревоги за судьбу мира», в сборнике 1955 года особенно интересны рассказы Бернарда Тейпера и Уэсли Форда Дэвиса.

В талантливо написанном рассказе Бернарда Тейпера «Вера в предопределение» возникает сатирический образ немецкого скульптора, приверженца фашизма. В каждом своем творении он видит воплощение «германского духа». Однако скульптурные образы «сверхчеловека» никому не нужны в послевоенной Германии. Крестьяне из соседней деревушки крадут его статую, чтобы перелить ее на пепельницы. Скульптор произносит напыщенную речь над уцелевшей грудой обломков, называя их своим гениальным творением, символизирующим современную Германию. Едкий сарказм, с которым автор обличает его взгляды,— основное достоинство рассказа. «...Я, вероятно, не написал бы его, — говорит Тейпер о своем рассказе,— если бы не был встревожен пышно расцветающей в самих Соединенных Штатах верой в предопределение и все возрастающим стремлением рассматривать самые случайные события и высказывания как акты государственной важности».

Уэсли Форд Дэвис в рассказе «Госпожа Удача и ангел-хранитель» также касается социальных проблем. Молодой парень с лесопилки нечаянно убивает свинью богатого фермера. В счет долга фермер мистер Бэшэм забирает автомобиль Джефа, его единственную собственность и отраду. Сцена, где мистер Бэшэм провожает Джефа евангельским изречением о смирении, подлинно драматична и мастерски написана. Рассказ оставляет впечатление полного бесправия бедняка, несмотря на неожиданно счастливый конец: Джеф находит в желудке убитой свиньи кошелек с сотней долларов.



При всем различии дарований авторов сборника объединяет общее тяготение к психологическому рассказу. Не случайно двое из них называют своим учителем Чехова. Чаще всего их внимание привлекает сложный и своеобразный мир детской психологии. Среди этих рассказов наиболее удачна новелла «Двое любящих» Мэри Фессет Хант. Тринадцатилетняя Маргерит пытается понять своего отца, натуру страстную и неуравновешенную. Писатель, увлеченный работой, он почти не замечает дочери. Девочка чувствует себя одинокой и несчастной. Мэри Фессет Хант с большим тактом, тонко передает оттенки переживаний девочки-подростка, жадно стремящейся осмыслить свои отношения с миром взрослых.

Авторы рассказов стоят, повидимому, на разных идейных позициях. Наряду с прогрессивными по своим тенденциям рассказами в сборник попал слабый рассказ Хьюза Радда «Дьявольская долина», проникнутый духом расизма, тяжелый рассказ Ханны Грин «Коля», в котором от-

четливо сказались антисоветские взгляды автора.

«...Это похоже на рыбную ловлю, — пишут руководители семинара в послесловии.— Молодой писатель, как начинающий рыболов, все время вытаскивает приманку, меняет бабочек и червяков, все время спрашивает учителя: «А как я узнаю, что рыба клюнула?» На этот вопрос можно ответить так же, как отвечает учитель: «Когда вы подсечете рыбу, вы сами узнаете, что она клюнула, и у нас не будет никаких сомнений... Когда пишется рассказ, возникает масса соблазнов, мысль растекается в разные стороны, появляется множество вариантов. Но когда вы действительно нашли самый верный вариант, вы сразу почувствуете это».

Молодые писатели пишут в послесловии о своих исканиях, о том, как родился замысел их рассказа, как складывался сюжет, как от уже найденного решения приходилось отказываться в пользу лучшего. Помещая этот авторский комментарий, редакторы сборника подчеркивают, что ставили своей целью помочь еще не известным, начинающим литераторам в их поисках.

Е. Померанцева.

СЛОВАРИ ИНДОНЕЗИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ

□

K. Pamuntjak, N. Iskandar, A. Madjoindo, PERIBAHASA, Djakarta, Balai Pustaka, 1953. Husain Munaf, Kupasan pepatah Indonesia, Djakarta, Penerbit Fasco, 1951.
Aman, 500 Pepatah, Perpustakaan Perguruan Kementerian P. P. dan K. Djakarta, 1955.

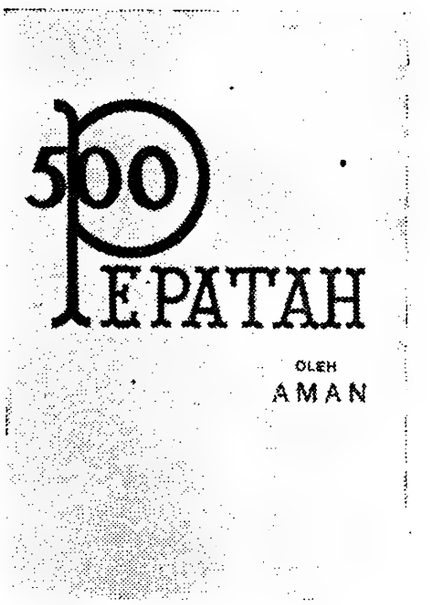
□

Речь индонезийцев изобилует красочными пословицами и поговорками: «Ветер рукой не поймаешь, дым в кулаке не сожмешь», «Горит деревня — валит дым, сгорает сердце — кто увидит?», «Греби вниз по течению — и над тобой будут смеяться крокодилы», «Не умеет танцевать — говорит, что пол косой». Большинство пословиц до сих пор еще не собрано и не записано, но за последние годы индонезийские филологи положили немало труда на изучение этой сокровищницы народной мудрости.

В 1953 году в Джакарте вышла книга под названием «Перибахаса» («Пословицы»). Этот сборник, составленный К. Памунчаком, Н. Искандаром и А. Маджоиндо, включает в себя около трех тысяч индонезийских пословиц и поговорок. Они расположены в алфавитном порядке и снабжены подробными объяснениями. В ряде случаев излагается история возникновения той или иной поговорки. Некоторые из них представляют собой не что иное, как заключительные строки «пантунов» — широко распространенных в Индонезии народных четверостиший, несколько напоминающих русские частушки.

В основе многих пословиц лежат исторические события, происходившие на каком-либо из островов страны, колоритные легенды и поверья. Так, например, одна старинная индонезийская поговорка сравнивает корыстных и хитрых людей с «голландцем, который просит земли». История этой поговорки, согласно легенде, такова. В давние времена один из первых голландских колонизаторов попросил у яванских крестьян немного земли. «Дайте мне хоть клочок, — сказал он, — не больше этой буйволовой шкуры». Крестьяне согласились, и тогда голландец изрезал всю шкуру на тоненькие полоски, связал их концами и отмерил себе огромный участок земли...

Большой интерес представляет книга Хусейна Мунафа «Анализ индонезийских пословиц», построенная также, как и «Перибахаса», но дающая еще более развернутое толкование каждой пословицы и поговорки. Книга эта была издана впервые в 1951 году.



В конце 1955 года в Джакарте вышел седьмым изданием словарь пословиц, составленный Аманом. В этом словаре 500 наиболее распространенных пословиц и поговорок с краткими примечаниями. Книга рассчитана на широкого читателя, и поэтому все объяснения даются в такой популярной форме, что словарем Амана могут пользоваться даже школьники.

В. Островский.

„ПЕСНИ МИРА" ХУАНА РЕХАНО

□

Juan Rejano. Canciones de la Paz, edicion „España y la paz", México, 1955.

□

«Эти песни — если бы только это было возможно — созданы для того, чтобы их пели дети. Если бы только это было возможно! И взрослые тоже — молча, в глубине своего сердца. Таково самое заветное мое желание. Это песни надежды, надежды на мир, который мы завоевываем, поверяя друг другу думы и протягивая руки через моря и континенты. Вот она, моя единственная и страстная песнь, написанная на этих страницах!»

Этими словами открывается книга стихов испанского поэта Хуана Рехано «Песни мира», выпущенная в 1955 году в Мексике.

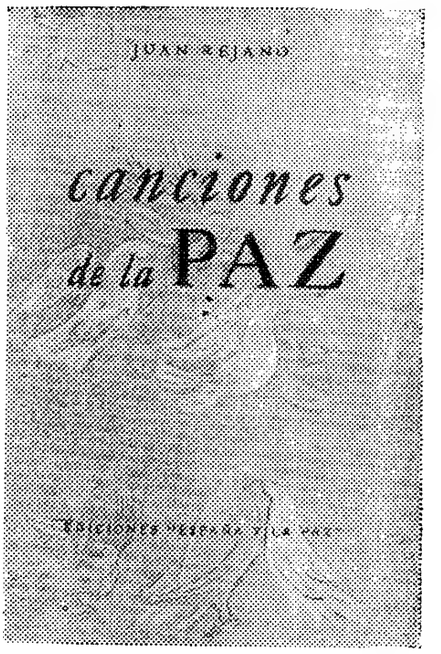
У автора этой книги не совсем обычная судьба. Испанец, вынужденный эмигрировать в Мексику, Рехано именно там, на чужбине, становится поэтом. Сборник, о котором идет речь, — уже не первое, но, может быть, наиболее значительное выступление Рехано. Все стихотворения сборника — а их более семидесяти — посвящены идее мира и в зависимости от содержания объединены в несколько разделов: «Песни о людях», «Песни о растениях», «Песни для детей», «Песни о крылатых», «Песни об Испании» и др.

Самые вдохновенные строки, часто грустные, но полные надежды, поэт посвящает далекой родине. О чем бы ни говорилось в «Песнях об Испании» — о темных соснах Марбельи, о Кастилии, о цветущей Андалузии,— во всем чувствуется горячее желание поэта видеть свою родную землю счастливой и мирной.

Четырнадцать стихотворений сборника названы автором «песнями о людях». В каждом из этих коротких и страстных стихотворений, будь то чеканный стих, обращенный к моряку или солдату, задумчивые и грустные слова о старом учителе или строки, проникнутые верой в общественное назначение поэта, заключен горячий призыв к борьбе за мир, без которого невозможна жизнь.

Среди других разделов сборника надо отметить очень поэтичные «Песни о растениях»; в них ярче всего проявляется поэтическая индивидуальность Рехано. Менее удачны «Песни о крылатых», где идея мира выражается причудливыми символическими средствами, через различные образы живой природы — птиц, пчел и пр. Чувство художественной меры здесь иногда изменяет автору.

Рехано — поэт своеобразный. В его песнях много чувства, идущего из глубины сердца. И благодаря этому его образы всегда свежи, сравнения красочны, а стихи напевны. Есть,



однако, среди них и песни, похожие на лозунги: строка в них часто бывает расчленена, строфы по ритмике не похожи одна на другую. Смысл поэтического творчества поэт видит в борьбе за мир. Рехано не делает больших философских обобщений, потому что задача его очень конкретна. Песни Рехано, по его собственному выражению, короткие, простые и ясные, подобные воде, рождающейся в горных источниках. Эта простота порождена стремлением сказать только самое существенное.

Книга Рехано, снабженная рисунками художника Мигеля Прието, является прекрасным образцом гражданской лирики. По словам автора, она написана «о мире, за мир, для мира».

А. Полонская.

ДОМ НА БРИГИТТАШТРАССЕ

□

Susanne Wantoch, Das Haus in der Brigittastrasse, Globus-Verlag, Wien, 1955.

□

На суперобложке книги — недостроенный дом, зияющий пустыми глазницами незастекленных окон. От него тянется унылая улица, вдали маячат кирпичные стволы заводских труб. Вена, Бригитташтрассе. Когда-то на месте этих серых строений зеленел широкий луг, кишевший в праздничные дни шумной многокрасочной толпой. Здесь встретил австрийский классик Грильпарцер героя своей замечательной новеллы «Бедный музыкант», горемыку-скрипача, склонившего голову под ударами судьбы.

Теперь эти места давно уже населяет рабочий люд Вены. О его жизни, исполненной невзгод и лишений, о его борьбе за человеческие права увлекательно рассказывает роман австрийской писательницы Сусаны Вантох «Дом на Бригитташтрассе».

Скромная работница швейной фабрики Марта Штанцль не расстается с мечтой о семье и уюте, отнятых у нее войной. Все свои

средства, все то, что удается ей заработать тяжелым трудом на фабрике и шитьем на частных заказчиц, Марта расходует на покупку квартиры.

Ставя в центр сюжета книги новостройку на Бригитташтрассе, Сусанна Вантох стягивает к ней все нити действия своего романа. К развалинам прежнего дома, на месте которого должен вырасти новый, тянутся алчные руки дельцов, наживающих капитал на строительных аферах. Сюда устремляет свои полные надежды глаза Марта Штанцль, считая дни, оставшиеся до конца стройки, здесь сидит с мольбертом художник Фердинанд Кренек, видящий в этих развалинах символ всеобщего упадка.

На фабрике, где работает Марта, не прекращаются столкновения между рабочими и хозяином, который стремится удлинить рабочий день и ввести американские методы рационализации, невыносимые для рабочих. Марта упорно уклоняется от участия в борьбе своих товарищей, боясь потерять работу, веря в то, что сможет добиться счастья в одиночку.

Катастрофа на Бригитташтрассе — обвал новостройки, для которой был использован заведомо негодный, гнилой материал,— становится для Марты страшным уроком. Ее иллюзии терпят трагическое крушение. Обивая пороги канцелярий, где она требует возвращения выплаченных ею денег, Марта постигает всю меру бесправия рабочего в условиях капитализма. Искусственно изолировав себя от классовых интересов своих товарищей, Марта оказалась бессильной в борьбе против мира стяжателей и спекулянтов.

Небольшая по объему книга Сусанны Вантох вмещает в себя большой человеческий материал. Писательнице удается раскрыть характеры героев в трагически переломные моменты их судьбы. Пройдя через множество жизненных испытаний, отвергнутый воспитавшей его буржуазной средой, художник Фердинанд Кренек сталкивается с обитателями Бригитташтрассе, где неожиданно для себя встречает подлинную человечность. Трагична судьба Карла Бергера, молодого рабочего-коммуниста, погибающего в результате обвала на Бригитташтрассе. Талантливый юноша, упорно занимающийся самообразованием, Карл сумел перевоспитать свою легкомысленную подругу Розль, привить ей чувство классовой солидарности. После его смерти Розль, как и Марта, становится одной из самых активных работниц фабрики, стойко борющихся за свои права.

В 1952 году Сусанна Вантох получила премию прогрессивного объединения «Бухгемейнде» за свою «Детскую новеллу», включенную в сборник «Круг имеет начало». Повествуя о судьбах детей из рабочего квартала Вены, собирающих бумажный утиль для продажи, Вантох показала себя знатоком детской психологии. И в своем романе она создает трогательные, хотя и несколько сентиментальные образы детей. С ними входит в роман опоэтизированная тема будущего, представление о светлом мире завтрашнего дня, как о сказочном белом замке, где найдут свое счастье все обездоленные.

С. Шлапоберская.

КНИГА ОБ ИНДИЙСКИХ СОЛДАТАХ

□

বরেন বসু, রঙরুট কলিকাতা, সাধারণ পাবলিশার্স পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫১

Индийская литература знает много правдивых произведений, описывающих жизнь народов Индии в тяжелые годы второй мировой войны. И, несмотря на это, роман молодого бенгальского писателя Борена Бошу «Рекрут», посвященный изображению индийской армии в военные годы, сразу привлек внимание читателей и литературной общественности Индии. Опубликованный впервые в 1950 году, роман выдержал несколько изданий в Индии и за ее пределами.

«Рекрут» построен на материале личных наблюдений и переживаний автора, который в 1942 году вступил в индийскую армию, чтобы принять участие в борьбе с силами фашизма. Однако служба Борена Бошу в армии превратилась в бесконечную борьбу против невыносимых условий, в которые были поставлены солдаты. Определяющей чертой романа «Рекрут», о чем единодушно говорит индийская критика, является его подлинная правдивость. Известный прогрессивный бенгальский пи-

сатель и критик Гопал Хальдар, оценивая этот роман, писал: «Это больше чем записки о жизни рекрута. Это живая правда, правда, которая сильнее, чем вымысел, это верное оружие против войны».

Действие романа начинается глубокой осенью 1941 года. Омол, молодой человек из обедневшей помещичьей семьи, получивший высшее образование, подобно тысячам своих соотечественников, ходит по улицам Калькутты в бесплодных поисках работы. Работы нет. И Омол вынужден вступить в англо-индийскую армию, чтобы прокормить себя и помочь семье. Он становится солдатом. В армии, где царила палочная дисциплина, основное правило службы, возведенное в военное время в фетиш, гласило: «Держи глаза и уши открытыми, но никогда не раскрывай рта». С первых же дней жизни в военном лагере Омол сталкивается с жестокостью и тупостью офицеров и унтер-офицеров. Его приводят в отчаяние приниженность и забитость солдат, которых плохо кормят, без конца муштруют и подвергают суровым наказаниям и издевательствам за малейшую провинность. Вначале рекруты представляются Омолу безликой массой, лишенными каких-либо духовных запросов, но, постепенно сближаясь со своими товарищами, в основном выходцами из крестьян и средних классов, он начинает понимать: то, что он принял за отсутствие индивидуальности, есть общность судьбы людей, которых привели в армию нищета и безработица. Из рассказов рекрутов, друзей Омола, перед читателем возникает трагическая картина жизни народа, порабощенного колонизаторами.

Борен Бошу, не отступая от своей основной темы — жизни индийских солдат,— показал в романе «Рекрут» и другие стороны индийской действительности военных лет. Омол получает отпуск и едет к родным в Калькутту. Эта поездка дает автору возможность нарисовать потрясающую картину голода в Бенгалии. Словами: «Война и голод — две стороны одного и того же явления; и то и другое ведет к одному результату — к смерти тысяч ни в чем не повинных людей» — он как бы подводит итог наблюдениям Омола. Войска продвигаются к бирманской границе, навстречу им идут толпы беженцев из Бирмы, ищущих укрытия от японских бомбардировщиков. Омол видел (а с ним видит и читатель) людей, обезумевших от страха и голода, измученных, «выплакавших все свои слезы».

Борен Бошу хорошо показал жизненную трагедию Омола и других молодых людей. Став солдатами колониальной армии, они превратились в опору английского империализма и, следовательно, врагов своего собственного народа. С другой стороны, они же явились защитниками родины от фашистской угрозы. Задумываясь над своей ролью в войне, они с пристальным вниманием следят за ходом военных действий в Европе, и в их сердцах возникает чувство горячей симпатии к советским людям, которые самоотверженно борются против гитлеровских полчищ.

Постепенно неосознанное чувство несправедливости превращается в солдатской массе в ненависть против колонизаторов. Если в первые месяцы службы большинство рекрутов послушно исполняли приказы и лишь изредка слышны были вырвавшиеся слова недовольства или проклятий, то в дальнейшем солдаты не только ропщут открыто, но и пытаются активно бороться за улучшение своего положения.

Завершается роман вспыхнувшим в двух ротах восстанием, лозунгом которого стал призыв: «Англичане, убирайтесь из Индии!»

Книга Борена Бошу — одно из наиболее значительных произведений современной индийской прозы, имеющее большое актуальное политическое звучание. Кришан Чандар назвал этот роман «знаменем в борьбе за мир и против войны».

Е. Паевская.

ИССЛЕДОВАНИЕ О ТВОРЧЕСТВЕ ТЕККЕРЕЯ

□

Gordon N. Ray, Thackeray. The Uses of Adversity (1811—1846), Oxford University Press, London, 1955.

□

В конце 1955 года в Англии (Оксфорд) вышла книга Гордона Рея «Теккерей. Польза неблагоприятных обстоятельств (1811—1846)». Книга посвящена жизни и деятельности Теккерея до 1846 года. Гордон Рей — профессор университета в Иллинойсе, известный специалист по английской литературе XIX века, много лет занимающийся изучением творчества Теккерея и написавший о нем несколько исследований. Им же собрано и опубликовано в 1946 году наиболее полное до настоящего времени издание дневников и переписки Теккерея: «The Letters and Private Papers of W. M. Thackeray». Edited by Gordon N. Ray, Cambridge, 1946».

Книга Рея — наиболее полная из известных до сих пор биографий Теккерея в период от рождения писателя до создания им «Ярмарки тщеславия». Автор опирается на богатый фактический материал. В основу его работы положены письма, не опубликованные ранее документы и другие

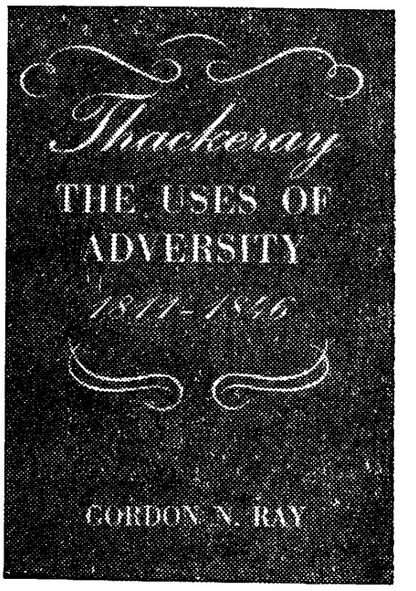
материалы, собранные исследователем и впервые привлеченные теперь для освещения жизни и деятельности изучаемого им писателя.

Автор стремится подчеркнуть строгую объективность своих суждений, опереться каждый раз на тот или иной документ; однако книга все же содержит определенную тенденцию, снижающую ее научную ценность.

Подробно останавливаясь на фактах семейной и личной жизни писателя, освещая его отношения с родными, близкими, друзьями, писателями, журналистами или художниками, с которыми он был так или иначе связан, Гордон Рей не прошел мимо социального облика писателя. Более того, он даже говорит (хотя и не подчеркивая это весьма важное обстоятельство) о демократических симпатиях Теккерея, глухо определив их как «радикализм» взглядов и убеждений. Автор останавливается на отношении Теккерея к социальным и политическим проблемам его времени, к общественной борьбе, которая проходила в те годы, когда он созревал как писатель и начинал свою деятельность, и в те годы, когда создавались его наиболее острые критические произведения. Вместе с тем расстановка акцентов, которую можно проследить в его книге, создает порой путаное, а часто и просто неверное представление об идейной эволюции писателя.

Так, неверна проходящая лейтмотивом через всю книгу мысль Рея о мнимом отсутствии у Теккерея интереса к общественно-политической борьбе и подлинного ее понимания. Неверно освещение позиции Теккерея в еженедельнике «Панч» и идейной эволюции писателя в годы создания «Книги снобов» и «Ярмарки тщеславия»: на наш взгляд, ошибочно утверждать, что Теккерей двигался «вправо» в годы создания этих наиболее острых критических его произведений. В книге есть попытка выдать сатиру Теккерея конца тридцатых — начала сороковых годов за «грехи молодости», постепенно изживаемые по мере умудрения жизненным опытом. Объективно Гордон Рей как бы оправдывает Теккерея перед буржуазным читателем. Он несколько тенденциозно подбирает и комментирует фактический материал. Получается, что критицизм художника становился якобы тем менее острым, а образы тем «правдивее», чем больше писатель понимал необходимость примирения с существующим общественным строем.

Но образы, созданные художником в его замечательных очерках об английских снобах и в романе «Ярмарка тщеславия», получившем мировую известность, отнюдь не свидетельствуют о смягчении обличительных мотивов в творчестве Теккерея и легко выдерживают в этом смысле сопоставление с более ранними сатирическими произведениями писателя.



По материалу книга Рея интересна и для специалиста-исследователя и для более широкого круга читателей. Специалист получит много новых фактических сведений из текста работы, из примечаний к ней, а также из приводимой автором обширной переписки Теккерея. Широкий читатель прочтет ее как интересное жизнеописание большого художника, по жанру своему близкое к роману-биографии. Обширный научный аппарат отнесен в отдельный раздел примечаний, помещенных в конце книги, что облегчает восприятие книги и делает ее более доступной.

В настоящее время Гордон Рей готовит продолжение своей работы: «Теккерей. Годы мудрости (1847—1863)».

В. Ивашева.

СБОРНИК СТИХОВ ТУРЕ ЭРИКСОНА

□

Ture Eriksson, Stalspegel, Stockholm, Arbetarkultur, 1955.

□

Небольшая книга в красивой серо-стальной обложке — сборник стихов молодого шведского писателя Туре Эриксона; сборник называется «Стальное зеркало».

Туре Эриксон, известный шведский журналист, ранее выпустил в свет две автобиографические книги: «Белый мыс» (1948) и «Между мостами» (1951). Книги понравились превосходным знанием быта, точностью и свежестью описаний, умением просто и увлекательно рассказать о людях и о себе. Эриксон — мастер лирически насыщенной прозы, и в четкости его пейзажных зарисовок, в ритмическом строении фразы угадывался поэт.

Стихотворения, вошедшие в сборник «Стальное зеркало», писались, должно быть, в разное время. Этим, вероятно, объясняется пестрота сборника, неустойчи-

вость авторской манеры, метания от вычурности к примитиву. Но лучшие стихи книги точны, реалистичны, скупы.

Такова «Хроника из предместья» — пожалуй, лучшее стихотворение книги. Утренняя свежесть города. Капли росы на траве газона. На клумбах глубокие следы колес, обломки автомашины. Шофер не выдержал двойной смены. Румяный предприимчивый репортер приготовил заметку для отдела происшествий и добывает фотографию у вдовы погибшего.

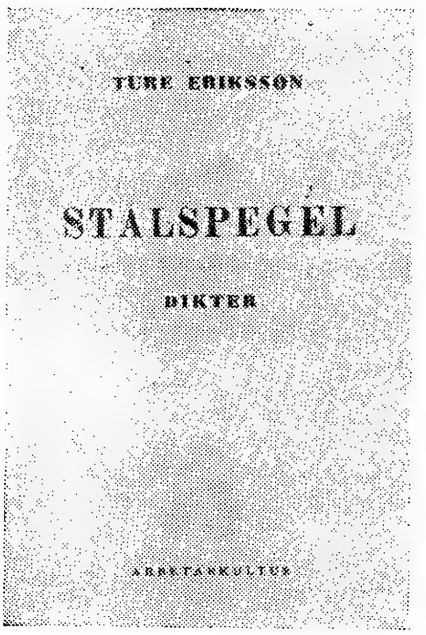
Все стихотворение построено на контрастах: тихое, мирное утро — и катастрофа, безразличие — и трагедия. Оно написано краткими, предельно сжатыми трехстишиями, из которых удалено все лишнее: ни деклараций, ни лирических раздумий — только факты. Трагические детали, переплетаясь с рассказом о мелочах, придают стихотворению сатирическое звучание, а мелочи, в свою очередь, еще резче подчеркивают трагедию. Для Туре Эриксона характерна острота ощущения противоречий, таящихся в повседневности, и острота эта придает неповторимую свежесть восприятия всем лучшим вещам сборника.

Тема капиталистического города — одна из центральных тем книги. С графической четкостью набрасывает Эриксон мрачные пейзажи городских окраин — мерцающую в тумане неоновую вывеску над воротами завода, бесконечные ряды фонарей вдоль грязной набережной, истощенные лица женщин, похожие на раскрашенные маски из косметического кабинета. И все это тонет в целом море звуков, в гнетущих и однообразных мелодиях города.

Но у города есть свой «бодро бьющийся пульс» — пульс труда. Крепкой верой в будущее проникнуты стихи Эриксона, посвященные рабочим, людям, для которых и о которых он пишет. Здесь он мастерски использует вольные ритмы, передавая напряженную динамику труда. Образы стихов, не теряя своей конкретности, становятся светлее, обретают жизнеутверждающую силу, особенно там, где Эриксон говорит о славных традициях шведского рабочего движения тридцатых годов.

Эриксона не покидает мысль о прошедшей войне. Ему кажется, что над согретой солнцем весенней землей встают тени и кричат о прошлом, о крови на снегу. Он вспоминает о своих товарищах, славных и веселых, павших жертвами войны. И естественно и властно входит в его поэзию тема мира. Нарисовав страшную картину атомного разрушения, он требует собрать «чашу гнева» против тех, кто замышляет новую войну и пророчествует о ней. К сожалению, не все стихи на эту тему равноценны и некоторые из них декларативны.

«Я хочу воздвигнуть здание поэзии на твердой почве действительности», — пишет Эриксон. Противопоставляя себя «охотникам за красивой ложью», он



стремится выработать трезвый взгляд на происходящее. Так определяется задача поэта и поэзии.

В сборнике помещено и несколько образцов интимной лирики. Это не самая сильная сторона дарования поэта. При всей искренности переживаний ему не удается здесь найти себя. Говоря о простых человеческих чувствах, он нередко бывает манерен и претенциозен. Особенно это бросается в глаза рядом со сдержанной страстностью и ясностью лучших вещей сборника.

Сборник стихов Туре Эриксона говорит о том, что в шведской прогрессивной поэзии появился новый и незаурядный талант, от которого можно многого ожидать в будущем.

А. Дольберг,
Г. Ратгауз.

ВЬЕТНАМ В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

□

Jean Lartéquy. La ville étranglée. Roman. René Julliard, Paris, 1955.

□

Октябрь 1954 года. Женевское соглашение о перемирии положило конец кровопролитной войне во Вьетнаме. Население Ханоя радостно встречает армию-освободительницу — славный «Полк столицы», доблестную 308-ю дивизию, отличившуюся в битве при Дьен Бьен Фу.

Свидетелем этих памятных дней оказался, в числе многих других, Жан Лартеги, корреспондент буржуазной тонкинской газеты. Лартеги пришел в литературу совсем недавно. В начале 1955 года издательство «Галлимар» выпустило в свет его роман о Корее «Кровь на холмах» и сборник писем «Молодежь мира перед лицом войны» с его предисловием.

На страницах его романа-репортажа о Вьетнаме «Город в тисках» действительность, преломленная сквозь призму реакционных

убеждений автора, предстает в искаженном виде: красивый, богатый город-куртизанка «испуганно следит за приближением грубых орд аскетов», «задыхается в кольце» и т. п.

Но книга Лартеги интересна тем, что даже сквозь густую паутину банальных клеветнических измышлений прорывается правда, жизнь, и вступает в непримиримое противоречие с замыслом писателя.

Один из самых характерных в этом смысле эпизодов — обмен военнопленными. Офицер-француз рассказывает журналисту Жерому — образ во многом, без сомнения, автобиографический — о том, как его поразили бойцы революционной вьетнамской армии, где «каждый солдат — пропагандист и учитель». Он с благодарностью вспоминает начальника лагеря — старого вьетнамца Минь, разделявшего с пленными французами будни лагерной жизни. Но вывод, который делает офицер, звучит совершенно неожиданно; он говорит, что вьетнамец Минь «вылечил» его от «искушения коммунизма»...

Различные сюжетные линии романа объединены в общий идейно тематический узел фигурой журналиста Жерома, избранного автором в качестве основного рупора своих идей. Жерома всегда тянуло к людям, находившимся «между двумя решениями, между двумя вселенными». Прожив более пятидесяти лет, он не нашел такой «доктрины», во имя которой хотел бы проповедовать. Тоскливо и пусто на душе у журналиста, его гнетет предчувствие, что рассказ о падении Ханоя — его последний репортаж и что очень скоро они, европейцы, станут «нежелательны» во всей Азии, так же как в Ханое. Что же дальше? Жерома, помимо его воли, влекут свежесть и сила. Вот почему на страницах книги возникают искрящиеся неподдельной радостью сцены народного праздничества, вот почему так спокоен и уверен в своей правоте Фан, полковник 308-й дивизии, вот почему так дружны песни молодежи и веселый смех вьетнамских пионеров. Традиционные колониалистские теории и убеждения отступают и рушатся под натиском нового, так же как свежий ветер, ворвавшийся в комнату Жерома, одним дыханием сметает листы его расистского исследования о том, что представляет собой человек свободного Вьетнама. И это дуновение нового слишком сильно в романе, чтобы он оправдывал свое название. Даже клеветническая, по существу, книга Лартеги говорит: нет, Ханой расцветает, он просыпается обновленным, на его улицах идет шумная, бодрая, громкая жизнь. И, надо думать, французский читатель захочет познать секрет этой силы и оптимизма, секрет, оставшийся загадкой для автора книги.

Т. Балашова.

АВСТРИЯ

КНИГА, РАЗОБЛАЧАЮЩАЯ КОЛОНИАЛИЗМ

Газета «Фрейес фольк» печатает роман австрийского писателя Германа Шрайбера «Падение в ночь». Французские власти пытались в свое время добиться запрещения этого романа. Попытка не увенчалась успехом. Однако Герман Шрайбер, который являлся главным редактором издаваемого в Австрии бюллетеня «Духовная жизнь Франции», был все-таки уволен с занимаемого им поста. «Это неудивительно, — пишет газета «Фрейес фольк», — ведь Герман Шрайбер, описывая историю авиакатастрофы на линии Сайгон — Париж, приоткрывает завесу над махинациями определенных кругов во Франции, которые всеми средствами — шантажом, террором, подкупом, угрозами — старались сохранить свой колониальный режим во Вьетнаме. Вьетнамский народ опрокинул их расчеты. Но место французских оккупантов заняли американские колонизаторы. Террор и жестокое угнетение господствуют сегодня в Южном Вьетнаме под покровительством Соединенных Штатов, которые специализируются на поддержке прогнивших и продажных режимов...» Читая «Падение в ночь», нельзя не вспомнить об организованной чанкайшистами катастрофе индийского самолета «Принцесса Кашмира», в результате которой трагически погиб ряд лиц, направлявшихся на Бандунгскую конференцию.

Газета «Нейес Дейчланд» в статье под названием «Австрийская послевоенная литература» также упоминает о романе «Падение в ночь». В статье говорится: «Герман Шрайбер, как гражданин, вступил в борьбу за прогресс...»

ДЕНЬ ПАМЯТИ МОЦАРТА

Венская газета «Ди прессе» сообщает о решении ежегодно отмечать день рождения Моцарта — 27 января — как «День музыки» в Австрии.

Это мероприятие, отмечает «Ди прессе», должно способствовать пропаганде австрийской музыкальной культуры, а также прививать молодому поколению любовь и интерес к музыке.

АЛБАНИЯ

СЕССИЯ ИНСТИТУТА НАУК

В Тиране состоялась очередная сессия Института наук. Сессия подвергла рассмотрению всю деятельность института и определила ряд важных задач, стоящих перед ним.

Выступивший на сессии заместитель председателя Совета министров Албании Мануш Мюфтиу отметил, что из задач, поставленных ЦК Партии труда перед Институтом наук, особенно важное значение имеет создание истории Албании, которая должна явиться подлинно народной историей, составленной на научной марксистской основе.

В области языкознания предстоит организовать сбор и изучение материалов, которые позволили бы установить законы, присущие албанскому языку, а затем приступить к выработке единых норм албанского литературного языка.

Сектор литературоведения займется составлением истории литературы, выявлением и правильной оценкой всего литературного наследия албанского народа. Наряду с крупнейшими художниками слова следует правильно определить место тех передовых писателей прошлого, творчество которых господствовавшая в довоенные годы антинародная клика намеренно замалчивала.

На сессии отмечалась проделанная институтом работа в различных областях науки. К числу удавшихся трудов сектора языкознания, в частности, были от-

несены новый толковый словарь албанского языка, новое издание словаря, составленного деятелем национального Возрождения Кристофориди, подготовленное профессором А. Джувани, работы по нормализации орфографии и языкознанию. Сектор истории литературы подготовил монографии о поэте Мьеда, о писателе и идеологе Возрождения С. Фрашери; сектор археологии — ряд докладов о последних открытиях в области древней албанской культуры; сектор истории — 17 монографий, дающих верное освещение различных периодов албанской истории.

Сессия утвердила проект реорганизации Института наук и новый устав. Многие из выступавших внесли ценные предложения по улучшению работы института.

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ДЖОНА СОММЕРФИЛДА

В Уэльсе умирает старая, одинокая женщина, оставив неизвестным наследникам состояние в 200 тысяч фунтов стерлингов. Наследники, разбросанные по всей Англии, съезжаются для получения неожиданно свалившегося на них богатства.

Такова завязка нового романа Джона Соммерфилда «Наследство», дающая автору возможность обрисовать и связать в один узел судьбы самых различных людей.

Члены семейства Лидстонов — люди разных профессий, наклонностей и интересов. Среди них есть мелкие лавочники, интеллигенты, небогатые чиновники и двое рабочих — каменщик и железнодорожник. Каждый из этих людей живет своей, в общем нелегкой, жизнью, полной забот и огорчений. Всех их объединяет чувство неустроенности и неуверенности в завтрашнем дне. Манящая и близкая перспектива получения столь значительного наследства заполняет все их существование.

Одни мечтают об игорных домах Монте-Карло, другие — о розовом саде, третьи — о жизни рантье. И только двое тружеников, представителей рабочего класса, даже в мыслях своих остаются незатронутыми тлетворным влиянием предстоящего обогащения.

Развязка романа столь же неожиданна, сколь и беспощадна: выясняется, что мошенник-стряпчий скрылся с деньгами, оставив доверившихся ему людей у разбитого корыта.

«После войны не появлялась еще ни одна книга, которая столь правдиво и так детально воспроизводила бы картину английской жизни», — говорится об этом романе в рецензии, помещенной в газете «Дейли уоркер».

По мнению той же газеты, значение романа отнюдь не исчерпывается остротой его сюжета. Сам сюжет представляет собой своеобразную «политическую аллегорию, относящуюся к судьбам Англии». Наследство, о котором идет речь, символизирует «благосостояние Англии, созданное нашими предками и завещанное нам».

Действие романа разыгрывается в 1946 году, в период пребывания лейбористов у власти. «Центральным вопросом, который ставит Соммерфилд, — пишет «Дейли уоркер», — является вопрос о том, как мы будем строить свою жизнь и будущее нашей страны». Вопрос этот не может быть разрешен при помощи финансового обогащения, хотя многие из героев романа и считают, что деньги всесильны. Не случайно разлагающего воздействия богатства избегают лишь «представители рабочего класса, те, кто уважает духовные и моральные ценности человечества».

Книга Дж. Соммерфилда получила широкий отклик во всей английской прессе. Обозреватель журнала «Лиснер» (орган Би-би-си) считает, что «правдивая, грустная и остроумная книга» Соммерфилда принадлежит к числу трех лучших произведений 1955 года. Он отмечает тонкое чувство юмора, едкость стиля, мастерство диалога и умение уловить характерные детали обстановки. Рецензент особо подчеркивает обобщенное звучание романа, в котором показаны типические черты современного общества.

Литературное приложение к газете «Таймс» и еженедельник «Нью стейтсмен энд нейшн» стараются главным образом отыскать недостатки в романе. Однако, и они признают, что роман написан «искусным пером», а изображение обстановки свидетельствует о «ярком таланте» автора.

К числу недостатков «Таймс литерари саппльмент» относит, например, разоблачительный пафос произведения, отмечая, что Соммерфилд относится «к маленькой группе смельчаков, которые ни на иоту не отступили от принципов отрицательного анализа действительности».

Как бы отвечая на такого рода «упреки», «Дейли уоркер» в своей рецензии напоминает, что эта «значительная книга написана в национальной традиции английского реализма» автором, «вся жизнь которого связана с рабочим движением». Дж. Соммерфилд, как подчеркивает «Дейли уоркер», «принадлежит к выросшей за последние годы школе писателей... таких, как Дорис Лессинг, Джек Линдсей, Лен Догерти, объединенных преданностью рабочему классу и верой в народ».

ПЬЕСА САРТРА В ТЕАТРЕ „ЮНИТИ"

Поставленная на сцене небольшого театра «Юнити» в Лондоне пьеса Жан-Поля Сартра «Только правда» («Некрасов») вызвала весьма оживленные отклики английской печати. Отзывы об этом спектакле появились даже в таких буржуазных газетах, которые до сих пор ни единым словом не обмолвились о постановках

«Юнити», обычно показывающего пьесы современных прогрессивных авторов.

Общая оценка пьесы и спектакля, данная в английской печати, бесспорно положительная. Газета «Дейли уоркер» писала: «Некрасов» — отличный образец сатиры, равной которой мы не видели уже давно. Здесь и остроумие, по сравнению с которым комедийные остроты Уэст-энда (фешенебельный район Лондона, где сосредоточены почти все крупные театры) кажутся беззубыми и бездумными; здесь и соединение ума, красноречия и гнева, какое мы редко видели после сверкающих, подобно звездам, пьес Бернарда Шоу».

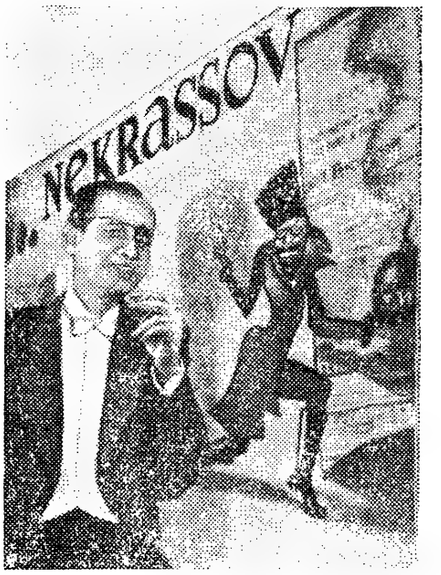
Театральный критик консервативной газеты «Санди таймс» отметил: «Это из ряда вон выходящая пьеса, написанная с большим подъемом, полная сатиричности, литературного мастерства и глубоко пронизанная политикой. Она начинается в духе Свифта... и содержит, по всей видимости, больше юмора, чем все остальные пьесы Жан-Поля Сартра, взятые вместе».

«Вы можете придерживаться и левых и правых политических взглядов, принадлежать к центру или же быть совершенно аполитичным — и все равно вы будете с удовольствием воспринимать остроты пьесы»,— пишет рецензент газеты «Дейли мейл».

«То тут, то там в пьесе раздаются залпы остроумия. И зло, на которое Сартр нападает, достаточно реально...» — такова точка зрения газеты «Рейнольдс ньюс».

Театральный критик еженедельника «Обзёрвер» как бы продолжает ту же мысль: «Мир, обнаженный острым скальпелем Сартра, — безусловно наш мир: это единственная из всех идущих в Лондоне пьес, которая всерьез рассматривает проблемы Запада и делает это так, что дает возможность над ними посмеяться».

Вместе с тем в некоторых отзывах буржуазной печати проскальзывает недовольство тем, что пьеса Сартра носит ярко выраженную политическую окраску, содержит «пропаганду» и т. д. В этой связи интересно отметить, что спустя две недели после опубликования в целом положительной рецензии в «Обзёрвере» театральный критик этой же газеты счел необходимым посвятить пьесе Сартра новую большую статью. В ней он писал: «Просматривая отклики моих коллег на пьесу Сартра, я заметил, что хотя большинство из них нашло ее очень остроумной, но одновременно почти все они с сожалением подчеркивают: в ней «чувствуется пропаганда». Как будто наличие пропаганды в пьесе само по себе говорит о ее неполноценности. Я ведь и сам тоже придерживался ранее такой же точки зрения. Но теперь, наблюдая бесплодность нынешнего театрального сезона, я стал задумываться над тем, насколько я был прав. Требуя положить конец пропаганде, не лишал ли я драматургию одного из ее самых древних источников вдохновения?



Актер Брюс Тейлор, играющий в пьесе Жан-Поля Сартра «Только правда» («Некрасов») роль Жоржа де Валера. На заднем плане — рекламный щит в фойе театра «Юнити».

(*Газета „Дейли уоркер"*)

Никто не отрицает, что существуют плохие пропагандистские пьесы, так же как существуют и плохие пьесы, написанные в духе отвлеченной поэзии. Но утверждать, что все пьесы, содержащие пропаганду, уже по одному этому плохи, — значит утверждать нечто противоречащее всей истории искусства... Драматурги древности были бы страшно обижены предположением о том, что они не являются пропагандистами».

Далее автор называет древнегреческие трагедии, которые, с его точки зре-

Участники спектакля «Только правда» («Некрасов») в лондонском театре «Юнити» Рик Морган (слева) и Уильям Кордерой, играющие сотрудников газеты «Суар а Пари» Тавернье и Перигора.

(*Газета „Дейли уоркер"*)

ния, бесспорно являются «пропагандистскими». Он также высоко оценивает и такие пронизанные политикой пьесы, как «Клоп» В. Маяковского и «Матушка Кураж» Бертольда Брехта, которые он лично видел в Москве и Берлине и которые, по его мнению, являются подлинным образцом высокохудожественной драматургии, хотя они, по его мнению, вовсе не чужды пропаганде.

„РЕЧНЫЕ ПОРОГИ"

Писательница Дорис Лессинг дает положительную оценку новому роману Бэзила Дэвидсона «Речные пороги», посвященному описанию событий, происходящих в Африке.

Герои книги — пожилой европеец Стэнтон, для которого Африка является второй родиной, его дочь и ее возлюбленный, вождь восставших африканцев, — все они принимают непосредственное участие в национально-освободительной борьбе.

В своей рецензии Дорис Лессинг отмечает, что, хотя действие в этом динамичном и волнующем произведении происходит на безымянной территории, все же показанная в ней борьба против колонизаторов типична для любой колонии, в том числе для Кении или Британской Гвианы.

По мнению писательницы, Дэвидсону особенно удался «глубокий и трогательный» образ старого Стэнтона, «любящего и знающего свою Африку, а не Африку новых колонизаторов, которые лишь стремятся к тому, чтобы выжать из нее побольше денег».

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА КОРДА

В Лондоне скончался один из крупнейших английских кинорежиссеров Александр Корда.

Английская печать помещает статьи, посвященные его творческому пути и поставленным им многочисленным кинокартинам. По мнению газеты «Дейли уоркер», Александр Корда «сделал английские кинофильмы всемирно известными». Он начал свой творческий путь в качестве репортера небольшой провинциальной венгерской газеты. Вскоре его увлекает кинематограф, который в ту пору еще только прокладывал себе дорогу в искусстве; Корда становится одним из первых кинорежиссеров Венгрии. Он быстро завоевывает известность.

Александр Корда.
(Журнал „Иллюстрейтид Лондон ньюс")

После того как в 1919 году реакции удалось подавить венгерскую Советскую республику, Корда в числе других деятелей искусства был арестован приспешниками Хорти. Ему удалось освободиться и выехать сначала в Вену, затем в Берлин и Париж, где он «приобретает репутацию умелого постановщика комедийных фильмов».

Дельцы из Голливуда заметили талантливого режиссера и предложили ему переехать в США. Это было в середине двадцатых годов. Однако в США А. Корда пробыл недолго. Газета «Таймс» отмечает, что, хотя «некоторые ведущие компании постоянно нуждались в его услугах, индивидуальные качества таланта Корда не были оценены, и это привело его в отчаяние. Наконец он решил покинуть Америку и никогда более туда не возвращаться».

Говоря о том же периоде, «Дейли уоркер» прямо подчеркивает, что «атмосфера работы в Голливуде была удушающей». Покинув США, Корда в 1931 году приезжает в Англию, чтобы основать свою собственную студию.

После создания студии «Лондон-фильм» Корда привлек к работе в кино видных писателей, актеров и режиссеров, в том числе Герберта Уэллса, Рене Клера, Конрада Вейдта, Дугласа Фербенкса и др.

«Это была первая английская студия, которая могла сравниться по размерам и оборудованию с лучшими студиями Голливуда», — пишет «Дейли уоркер». На своей студии А. Корда поставил множество фильмов. Они «пользовались признанием публики как замечательные произведения искусства и высоко подняли престиж английской кинематографии». Газета отмечает далее, что «Корда сделал многое для того, чтобы кинопромышленность Англии смогла не только выжить, но и стать одним из самых могущественных соперников Голливуда».

Сам А. Корда писал в 1946 году, что господство американских монополий на мировом кинорынке ведет к наводнению этого рынка никчемными картинами, в то время как хорошие фильмы не могут найти доступа к широкой публике.

Среди наиболее известных фильмов А. Корда газета «Дейли уоркер» называет такие, как «Частная жизнь Генриха VIII», «Рембрандт», «След ведет на Запад», «Леди Гамильтон», «Третий человек», «Семь дней на луне», «Ричард III» и другие. «Дейли уоркер» объясняет исключительный успех многих фильмов А. Корда тем, что он сам был не только блестящим режиссером, но и знатоком техники кино.

Советские зрители знакомы с режиссерским мастерством А. Корда по кинофильмам «Леди Гамильтон», «Багдадский вор» и «Джунгли».

«Манчестер гардиан», подводя в статье итог творче-

ской деятельности А. Корда, заявляет: «Его наибольшим достижением было, пожалуй, то, что все забыли о его работе в Голливуде». Аналогичные высказывания помещает и «Ньюс кроникл».

БОЛГАРИЯ

СТОЛЕТИЕ БОЛГАРСКОГО ТЕАТРА

В 1956 году исполняется сто лет существования болгарского театра. Осенью 1856 года директор училища С. Доброплодный поставил на любительской сцене свою комедию «Михал Мышкоедов». Летом 1856 года в Ломе открылась народная читальня. Ее руководитель, Крыскьо Стоянов Пишурка, создал любительскую театральную группу, и 12 декабря 1856 года в помещении читальни состоялось первое представление пьесы «Многострадальная Женевьева». Даже и после освобождения Болгарии от турецкого владычества болгарский театр долгое время продолжал оставаться любительским. Только около 1880 года была сделана первая попытка создать стационарный профессиональный театр. Однако наряду с ним успешно продолжали свою деятельность любительские труппы в Софии и других городах. В Пловдиве болгарские любительские труппы давали спектакли в помещении «Международного театра Люксембург», в Варне (ныне город Сталин) — в зале «Объединение» (здание это сохранилось до наших дней).

Репертуар любительских трупп включал в себя первые драматические произведения болгарских писателей периода Освобождения, творчество которых было проникнуто демократическими идеями, верой в силы своего народа. Народная демократическая театральная труппа «Слезы и смех» 8 октября 1894 года впервые показала пьесу классика болгарской литературы Ивана Вазова «Обездоленные». Спектакль имел громадный успех.

Болгарский театр всегда стремился быть современным театром, верно отображающим жизнь народа, хранителем его языковых богатств, его культуры.

Большое влияние на развитие болгарского театра оказал русский театр, и в частности Московский Художественный театр. Произведения Грибоедова, Гоголя, Островского, Толстого, Чехова, Горького стали достоянием болгарского зрителя. На болгарской сцене ставились и ставятся произведения классиков мировой литературы — Шекспира, Мольера, Лопе де Вега.

Как сообщает газета «Литературен фронт», театральные деятели Болгарии издавна являются верными последователями системы Станиславского. Молодые артисты и режиссеры, получившие образование в СССР и в Софийском институте театрального искусства, находятся в первых рядах театральных деятелей страны.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПЬЕСУ

В ознаменование исполняющейся в этом году столетней годовщины болгарского театра Народный театр им. Крыстю Сарафова объявил конкурс на лучшую пьесу, посвященную современной теме. В жюри конкурса вошли представители театра, Министерства культуры и Союза болгарских писателей.

БИРМА

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Национальная кинематография Бирмы развивается, преодолевая на своем пути многочисленные трудности, начиная с отсутствия современной киносъемочной аппаратуры и кончая недостатком опыта в области производства кинофильмов. При всех своих недостатках бирманские фильмы обладают привлекательным национальным колоритом и пользуются огромной популярностью в народе. Наиболее удачные картины, отражающие исторические события, борьбу против японских оккупантов в период второй мировой войны или современный быт, не сходят с экрана в течение нескольких недель и даже месяцев.

В начале декабря прошлого года кинокомпания «Тейкди фильм» выпустила картину «Ко Ин Твей» («Свой ребенок»), которая расценивается бирманскими критиками как лучшее произведение национальной кинематографии. Этот фильм, поставленный режиссером У Нью Пу, рассказывает о нежной любви матери к ее собственному ребенку и о ее сложных чувствах к приемышу, которого ей пришлось воспитывать. В фильме «Ко Ин Твей» снимались известные бирманские киноактеры; роль матери успешно сыграла артистка Тин Тин Му; популярнейший в Бирме артист и кинорежиссер Шве Нья Маунг также участвует в этом фильме.

Производство национальных фильмов бирманскими кинокомпаниями поощряется и поддерживается правительством Бирмы.

В ноябре прошлого года было создано на коммерческой основе государственное управление по оказанию помощи национальному киноискусству. Это управление располагает оборудованной студией, аппаратурой и подготовленными кадрами операторов и техников. За небольшую плату оно предоставляет свое оборудование и технические кадры различным государственным учреждениям и частным компаниям, занимающимся производством кинофильмов. Деятели бирманского кино считают, что создание такого управления будет во многом способствовать развитию национальной кинематографии, повышению технического и художественного уровня бирманских кинофильмов.

На венгерской художественной выставке, состоявшейся не так давно в Будапеште, было представлено большое количество работ в области живописи, графики, скульптуры. Наряду с уже известными художниками в ней приняли участие и молодые мастера. На снимке: картина Ласло Бенце «Крестьянки с детьми».

(*Еженедельник „Мювелт неп“*)

ВЕНГРИЯ

ТРИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОВИНКИ

В венгерской печати теплый отклик нашли недавно вышедшие новые книги: сборник поэм Эмиля Мадараса, называющийся «Вчера и позавчера», повесть Эрне Урбана «Рассвет» и сборник стихов Лайоша Тамаши «Песнь о молодости».

Эмиль Мадарас — один из представителей «старой», но вечно юной духом «коммунистической гвардии» венгерской литературы. Первые его стихотворения появились еще в девятисотых годах. В книгу «Вчера и позавчера» вошли две его поэмы «Пришел жандарм за Чорбой» и «Чигайда». Они рассказывают о тяжкой жизни и боевом прошлом венгерского народа, о славных днях революции 1919 года в Венгрии.

Поэзия Мадараса, пишет поэт Ласло Геребьеш, рецензирующий его новую книгу, учит «глубочайшей преданности партии, коммунизму», учит, доставляя вместе с тем большое эстетическое наслаждение — стихи Мадараса отличаются высокой художественностью.

Эпические поэмы и стихи Мадараса творчески развивают образно поэтические традиции баллады. Реалистическая глубина, революционно-романтическая приподнятость соединяются в них с мягкой задушевностью народной поэзии.

Повесть Эрне Урбана «Рассвет» посвящена первым дням после освобождения Венгрии. Герой повести Андраш Бицо — представитель тех слоев интеллигенции, которые до освобождения страны хотя и относились с отвращением к хортистскому режиму, но вместе с тем вели серое, омраченное бесплодным скепсисом существование. Новая жизнь пробудила их к активной деятельности, вовлекла в кипучую работу по восстановлению и переустройству страны.

Рецензент газеты «Сабад неп» обращает внимание автора повести на известную беглость изложения, недостаточное внимание к некоторым важным моментам развития психологии героя. Вместе с тем он подчеркивает, что книга подкупает своей непосредственностью, свежестью, большой жизненной правдивостью. «Читателям она доставит удовольствие, — пишет автор рецензии, — ибо воскресит перед нами трудное, но все же прекрасное, незабываемое время освобождения страны, оживит воспоминания, обновляющие и воспламеняющие сердце...»

В сборник Лайоша Тамаши «Песнь о молодости» вошли стихи последних лет. Лайош Тамаши — молодой поэт, хотя это не первая его книга. Он начал писать и творчески сложился уже после освобождения Венгрии. «Дело революции, дело рабочего класса — вот что придает высокий накал поэзии Тамаши»,— пишет «Иродалми уйшаг», характеризуя его поэтическое творчество. Часто отличающаяся напевностью, присущей народным песням, проникнутая жаждой познания нового, лирика Тамаши, по мнению газеты,— ценный и талантливый вклад в современную поэзию Венгрии.

КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК В СТАЛИНВАРОШЕ

Несколько месяцев в Венгрии гостил китайский художник декан одного из высших художественных училищ Китая профессор Чан Ян-си. В числе других городов он посетил центр венгерской социалистической индустрии, выросший за последние годы,— Сталинварош. Несколько рисунков, сделанных им в Ста-

линвароше, публикует еженедельник «Мювелт неп».

СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПЕТЕФИ

Институт лингвистики венгерской Академии наук подготавливает к изданию большой словарь языка Петефи. Как указывает газета «Иродалми уйшаг», это первый венгерский словарь такого рода. В нем будет полностью представлена не только лексика великого венгерского поэта, но и выражения, афоризмы, отдельные строки Петефи, которые стали крылатыми, общеупотребительными.

ПЛАКАТ, ЗАВОЕВАВШИЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Венгерский народ решительным «нет!» отвечает тем, кто собирается возродить милитаристскую машину в Западной Германии. Эту волю венгерского народа к миру, его протест против осуществления планов восстановления вермахта запечатлел на своем плакате венгерский художник Фило. Плакат изображает кованый германский сапог, подбитый гвоздями со шляпками в виде свастики.

Рисунок венгерского художника с выразительной надписью: «Нет!» — воспроизвела прогрессивная печать многих стран, увидев в нем выражение воли и своих народов. Его опубликовали на первых полосах газета западногерманских борцов за мир «Ди штимме дес фриденс», австрийская газета «Фольксштимме». Голландская газета «Де Ваархейд» поместила рисунок на месте передовой. Воспроизвела плакат Фило и американская газета «Нью-Йорк таймс», признав в своих комментариях, что отрицательное отношение к ремилитаризации Западной Германии характерно для народно-демократических стран.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

„ПОЧЕМУ У НАС НЕТ ЛИТЕРАТУРЫ О ВОЙНЕ?“

Этот вопрос ставит писатель Людвиг Ренн в своей статье, напечатанной в журнале «Нейе дейче литератур». «Важнейшее событие, изменившее жизнь целого поколения — вторая мировая война,— фактически не встречается в нашей художественной литературе как самостоятельная тема повествования, — пишет Людвиг Ренн. — У нас почти нет «военной литературы», какая появилась, например, в Советском Союзе еще в период войны и сразу же в послевоенное время. В Западной Германии такая литература стала в последние годы более чем модной. Я имею, однако, в виду не специальные военные книги и не так называемые мемуары восторженных поклонников войны, которую вели гитлеровские генералы. Я говорю о беллетристике, о романах, изображающих войну с позиции тех, кто вел ее на «неправой стороне» и для которых она была толчком к переоценке ценностей, внутреннему раздумью, коренному идеологическому повороту. Может ли реалистическая литература вовсе не отображать эту часть общественной жизни, как если бы ее совсем не существовало?»

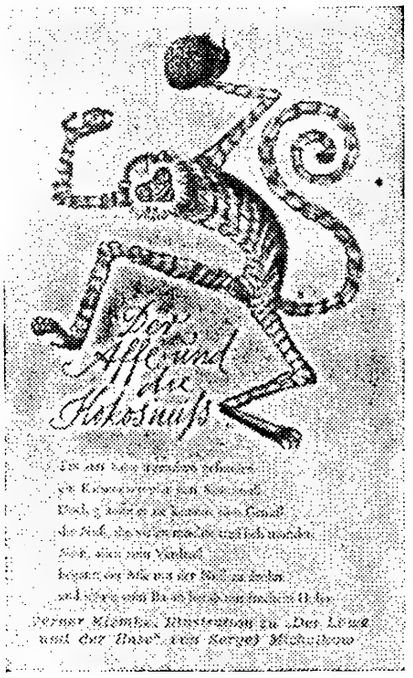
«Говоря об этой теме, — продолжает Ренн,— само собой разумеется, я не имею в виду абстрактную, далекую от действительности и не основанную на реальных жизненных фактах литературу пацифистского толка. Мы — противники войны, но мы не сторонники непротивления злу; мы боремся против войны единственно действенным путем — путем социальных преобразований. Мы хотим уничтожить войну как средство разрешения противоречий. Мы считаем, что ликвидировать войну возможно, если не будет больше государств, управляемых монополистами. Здесь сосредоточен целый комплекс проблем, который необходимо и познать и отразить в художественной литературе. При помощи глубокого реалистического изображения войны способствовать ее уничтожению — разве это не почетная задача для нашей художественной литературы?»

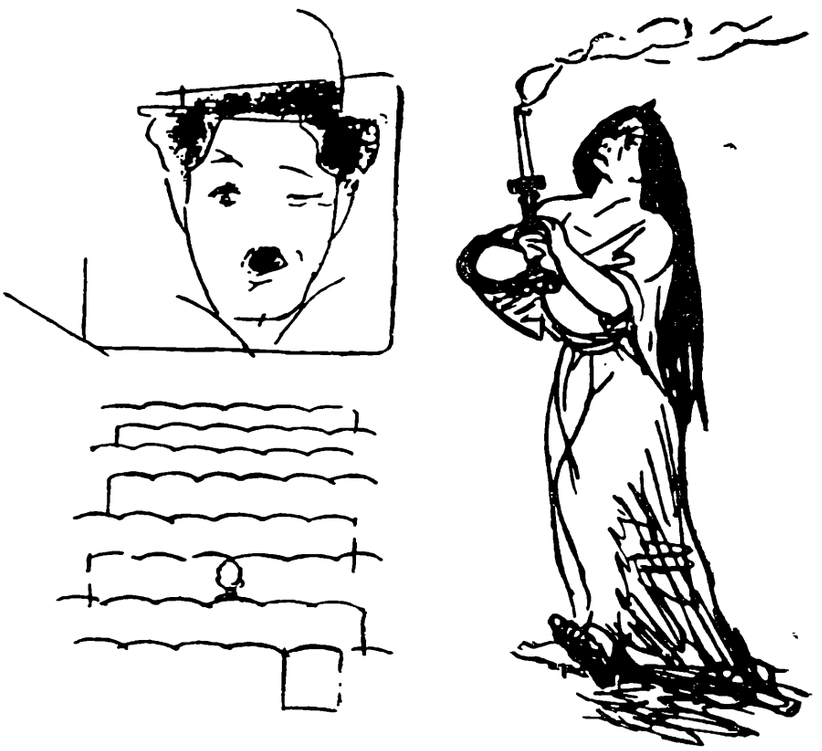
«По существу, у нас нет военной литературы, — пишет в заключение Ренн,— литературы того поколения, которое Гитлер заманил или насильно отправил на фронт и которое могло бы рассказать о «фронтовых переживаниях» совсем иного рода, чем те, какие описываются в западногерманских милитаристских романах. Рассказать о том, как война научила ненавидеть войну, познать ее причины и прийти к решению бороться с ней. Этот поворот, происшедший в душе немецкого солдата, этот опыт, который вынес немецкий солдат из войны, еще не нашел своего отражения в нашей литературе».

„ОГНЕННАЯ ВОДА“

Одним из наиболее интересных спектаклей сезона, по единодушному мнению критики, является поставленная в берлинском театре «Фольксбюне» пьеса «Огненная вода» Ульриха Бехера. Пьеса вызвала большой интерес не только своей ярко выраженной идеей, но и своими высокими сценическими достоинствами. Известный театровед Герберт Иеринг называет своеобразный метод Ульриха Бехера «драматическим», противопоставляя его «эпическому» театру Брехта. В центре пьесы Бехера не только развитие отдельных характеров, но и показ социальной среды, в которой его герои действуют.

Фабула пьесы проста. В 1946 году один из завсегдатаев третьесортного кабачка в районе Нью-





Еженедельник «Зонntаг» поместил отдельные образцы книжных иллюстраций, которые, по его мнению, принадлежат к числу наиболее удачных. На снимках: рисунок художника Вернера Клемке к басне С. Михалкова; иллюстрация художника Берта Хеллера к книге Майкла Голда «Парад Чарли Чаплина»; рисунок художника Йозефа Хегенбарта к «Макбету» Шекспира.

(Еженедельник „Зонntаг")

Йорка, населенном немцами, — обычном пристанище безработных, авантюристов, спившихся неудачников и гангстеров, — узнает о том, что осложнившееся ранение, нанесенное ему много лет назад, грозит неминуемой и очень быстрой смертью. Тогда он вызывает на ссору известного во всей округе гангстера по прозвищу «Собака», чтобы убить его и тем самым избавить от террора население всего района: таков, по мнению многих, единственный радикальный выход из положения в данном случае и в данных условиях. В этом стихийном протесте против власти гангстеризма в современной Америке и заключена идея пьесы, ее пафос.

«Антифашист Ульрих Бехер, — отмечает в своей рецензии газета «Нейес Дейчланд», — создал картину нравов эмигрантской среды, нравов, характерных для выбитой из колеи молодежи. Он рассказал об огромной моральной опустошенности, какую вызвала война, о той опустошенности, которая сегодня облегчает возможность появления фашизма в Соединенных Штатах».

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ИМЕНИ ЛЕССИНГА

Премии имени Лессинга за 1955 год присуждены драматургу Петеру Хаксу и писателю Фрицу Эрпенбеку, известному также в качестве актера и театрального критика.

Несмотря на свою молодость — Петер Хакс родился в 1928 году, — он пользуется широкой известностью. Его пьеса «Открытие индийского века» была поставлена с большим успехом в Мюнхене и получила там премию. Выбрав исторический сюжет из эпохи борьбы буржуазии с феодализмом, Петер Хакс создал, по мнению журнала «Зинн унд форм», актуальное произведение, резко осуждающее колонизаторов.

Злободневно звучит и другая историческая пьеса Петера Хакса — комедия «Битва при Лобозице», описывающая один из эпизодов Семилетней войны. «Пьеса — результат моего стремления содействовать уничтожению угрозы войны, — писал сам автор, — Она претендует на то, чтобы выразить больше, чем недовольство войной: наводнение нельзя задержать только словами, войну — тоже. Но разум не бессилен перед ними».

«Битва при Лобозице» задумана автором как своего рода символическое изображение бессмысленности и преступности всякой несправедливой войны. Пресса отмечает большие литературные достоинства нового произведения Хакса: яркие народные характеры, юмор, сценичность.

Петер Хакс в 1955 году переехал на жительство в Германскую Демократическую Республику. Обе его пьесы будут поставлены в одном из берлинских театров.

Фриц Эрпенбек — автор двух антифашистских романов, популярных в Германской Демократической Республике. В последние годы Фриц Эрпенбек активно выступает как театральный критик и опубликовал ряд работ в этой области.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. М. ГОРЬКОГО

В издательстве «Ауфбау» вышли первые шесть томов полного собрания сочинений А. М. Горького. Произведения Горького давно знакомы немецким читателям. Новое издание — первое, куда включены не только все ранее неизвестные в Германии художественные произведения писателя, но и его воспоминания, дневники, переписка. Подробный комментарий, а также текстологическая редакция основаны на советском академическом издании сочинений А. М. Горького.

В связи с выходом первых томов собрания сочинений журнал «Ауфбау» опубликовал статью о творчестве А. М. Горького.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

„ЕСЛИ ГОВОРИТЬ НАЧИСТОТУ"

Газета «Фрейес фольк» приводит открытое письмо известного немецкого писателя Эрнста фон Заломона, глубоко возмущенного тем, что в Бонне преследуют литераторов, посетивших четвертый съезд писателей ГДР.

Эрнст фон Заломон пишет: «Очевидно, у нас в стране существует «Священный союз», претендующий на то, чтобы по собственному произволу определять, каким образом в сердце каждого из нас должен решаться животрепещущий немецкий вопрос. Но этим людям — если говорить начистоту — нет никакого дела, когда, где и как честные и порядочные немецкие писатели общаются друг с другом. Я бы, например, считал для себя честью, если бы такие люди, как Берт Брехт или Арнольд Цвейг, ощутили потребность поговорить со мной о вопросах, которые и для них и для меня являются наболевшими, даже если наши воззрения и далеки друг от друга, как небо от земли».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАРЛА ЛЮДВИГА ОПИТЦА

Западногерманский писатель Карл Людвиг Опитц, автор антимилитаристских романов «Военшина» и «Мой генерал» обратился с открытым письмом в редакцию гамбургской газеты «Ди вельт». В своем письме Опитц выражает резкий протест против клеветнических нападок западногерманской реакционной печати на представителей прогрессивных кругов немецкой интеллигенции.

«Левые интеллигенты», — пишет Опитц,— привыкли ко всякого рода издевательствам и насмешкам... Если «левый интеллигент» не попадает в тон, привычный для «правых», его объявляют политическим простофилей или, по меньшей мере, «выучеником Москвы». Если «левый интеллигент» напишет статью, в которой ясно и откровенно выскажет свое мнение, его статья будет брошена в редакционную корзину. Если «левые интеллигенты» дискутируют вместе с «правыми» за «круглым столом» (что случается редко), то лишь на условиях, предъявляемых нашими правыми партнерами. А что говорят рецензенты и редакторы из «правых» о наших работах? Такое положение вещей называется, мягко говоря, бойкотом... Вы бьете своих противников по лицу, словно не зная о том, что у тех, кого вы бьете, скованы руки... Пресса для нас забаррикадирована, радио закрыто...

Но мы останемся теми, кто мы есть: людьми, ищущими правду, стремящимися к реальной политике...»

НЕЛЮБИМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ СЫН

Два немецких города имеют особые основания чтить память и ревниво охранять великое наследие Генриха Гейне. Это Дюссельдорф, где родился знаменитый поэт, и Гамбург, где он провел свою юность, город, воспетый Гейне во многих стихах.

В Дюссельдорфе, на Болькерштрассе есть невзрачный, грязный домик, находящийся в весьма запущенном состоянии. На первом этаже здесь помещается булочная, и лишь небольшая доска со скульптурным изображением поэта, укрепленная над вывеской с кренделем, свидетельствует о том, что это и есть дом, где родился Гейне.

В дни, когда весь мир широко отмечал столетие со дня его смерти, городское управление Дюссельдорфа сделало вид, что и оно собирается почтить память великого поэта. Для этой цели было отпущено... 1500 марок — сумма, которой едва хватило на то, чтобы очистить домик от грязи. Как сообщила газета «Нейес Дейчланд», городскому управлению Дюссельдорфа еще несколько лет назад было предложено приобрести три тысячи рукописных листов из архива Гейне; однако «отцы города» до сих пор не решились отпустить необходимые для этого средства.

В дюссельдорфской библиотеке имеется «комната Гейне»; в ней собран весьма ценный материал, начиная от его стихов, сочиненных в школьные годы, и кончая рукописями, относящимися к последним годам жизни поэта. Но кто знает о существовании этой комнаты? Западногерманский журнал «Фрау фон хойте» с горечью пишет о малой ее доступности для посетителей. Чтобы попасть туда, нужно спуститься по лестнице в подвал, долго блуждать по темным коридорам и лишь после этого можно попасть в полутемную комнату, где самый воздух кажется затхлым. В такой обстановке хранятся (правильнее сказать — погребены) эти литературные сокровища. Так «чтут» память Гейне в его родном городе.

Впрочем, подобное отношение к памяти великого

поэта характерно и для других городов Западной Германии. В 1910 году в Гамбурге был открыт памятник Гейне. В 1933 году памятник отправили в Тулон, чтобы спасти его от гитлеровцев и уберечь от надругательства. Сейчас население Гамбурга требует восстановления памятника. Однако городское управление игнорирует это требование. Как раз накануне столетия со дня смерти поэта представитель гамбургского сената сообщил на пресс-конференции, что вопрос о памятнике Гейне решен отрицательно. Газета «Гамбургер фольксцейтунг» заявила в связи с этим, что восстановление памятника такому поэту, как Гейне, является, видимо, нежелательным для сената. Судя по этим фактам, нелюбовь и даже ненависть к Гейне в определенных западногерманских кругах весьма живуча и по сей день.

БАЛЬЗАК ПОД ЗАПРЕТОМ

Книготорговцам Бохума и Штутгарта, по сообщению газеты «Фрейес фольк», было запрещено судебными властями продавать «Озорные сказки» Бальзака.

Откликаясь на это поистине из ряда вон выходящее решение, западногерманский журнал «Ди гегенварт» рекомендовал властям обратить внимание на действительную опасность, угрожающую молодому поколению, имея в виду широко и свободно распространяемую литературу, проповедующую культ насилия и откровенный реваншизм.

Западногерманская газета «Тагесшпигель» по тому же поводу писала: «...события подобного рода имеют не только свою литературную или юридическую сторону. За пределами нашей страны они предстают прежде всего в их политическом аспекте. В первых комментариях крупные скандинавские газеты горячо протестовали против решения судебных властей, а шведский издатель Бонньер спросил: можно ли поверить после этого, что речь идет не о средневековье или даже не о гитлеровской Германии?»

ГОЛЛАНДИЯ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ РЕМБРАНДТА

Как известно, 15 июля исполняется 350 лет со дня рождения Рембрандта. В Голландии подготовка к этой дате проводится особенно широко.

В Гааге будет выпущен большой альбом с биографией Рембрандта и репродукциями его наиболее известных картин. Средства, полученные от продажи альбома, пойдут на сооружение памятника великому художнику в его родном городе Лейдене. Там же откроется выставка полотен Рембрандта, на которой будет представлено множество произведений, находящихся за границей, в том числе и вновь обнаруженная в музее города Тур (Франция) картина «Бегство из Египта», датированная 1625 годом. Несколько голландских композиторов работают сейчас над оперой о Рембрандте.

Прогрессивное голландское издательство «Пегасус» выпускает юбилейный сборник под названием «Золото и тень». В этом сборнике, помимо репродукций с картин, будут помещены три специально написанных очерка.

Первый из них принадлежит перу известного голландского писателя и общественного деятеля Тейна де Фриса и называется «Три периода жизни Рембрандта ван Рейна». В этой работе автор анализирует сложный путь развития художника и те условия и влияния, которые определили характер его творчества.

Второй очерк — «Гений и его время» — написан заместителем директора отдела музеев Амстердама Г. Л. К. Яффэ; он дает характеристику самых примечательных работ Рембрандта.

Третий очерк, автором которого является чехословацкий искусствовед Яромир Сип, озаглавлен «Голландская школа живописи и ее мастера».

Как подчеркивает голландская печать, именно наличие этого очерка в сборнике придает ему особую ценность для искусствоведческой науки.

ДАНИЯ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Королевский театр в Копенгагене отметил пятидесятилетие со дня смерти Ибсена новой постановкой пьесы «Нора». Впервые «Нора» здесь была поставлена еще в 1879 году. Автор новой постановки — норвежский режиссер Герда Ринг. Роль героини исполняет известная датская актриса Ингеборг Брамс. Суммируя свои впечатления от интересного спектакля, критик «Ланд ог фольк» В. Тьерри пишет: «Невольно напрашивается сравнение с пьесой Ануйля «Дикарка», которая в настоящее время идет в театре «Алле-Сенен». Эта пьеса на 60 лет моложе пьесы Ибсена и также посвящена бунту женщины. Нельзя не вспомнить классический анекдот о разнице в мышлении прусских и австрийских генералов. Прусский генерал обычно говорит — положение серьезно, но не безнадежно; австрийский генерал — положение безнадежно, но не серьезно. Для Ануйля (так же как для большей части нынешнего поколения буржуазных художников) характерна такая точка зрения: мир — это юдоль скорби, но он достоин только дешевой усмешки. Его героиня Тереза порывает со своим богатым возлюбленным и бедными родителями, но не ясно, что с ней станет, на какой путь приведет ее бегство. Ибсена же по-на-

Копенгагенский Андельстеатрет включил в свой репертуар «Лес» Островского. Эта пьеса была переведена на датский язык еще в начале века; до сих пор, однако, она не была показана на датской сцене, как, впрочем, и другие пьесы Островского, которые исполнялись только по радио. На фотографиях, снятых во время репетиции: сверху — Альф Лассен в роли Петра и Эбба Нерагер в роли Аксиньи, снизу — Ирвин Хассельман в роли Несчастливцева и Вальсё Хольм в роли Ивана Восьмибратова.

(Газета „Ланд ог фольк")

стоящему глубоко волнует вопрос о возможности для мужчины и женщины стать людьми в подлинном смысле этого слова, людьми, которые смогут жить вместе, сохраняя свою свободу. Вот почему его пьеса всегда открывает нам что-то новое на пути к этой цели, которая все еще не вполне достигнута».

БИДСТРУП - РЕПОРТЕР

Дрезденское издательство «Ферлаг дер кунст» выпустило книгу, которая знакомит читателя с новой стороной творчества Бидструпа, широко известного в качестве талантливого карикатуриста. Речь идет, если можно так выразиться, о Бидструпе-репортере, мастере социального пейзажа: зарисовки, сделанные художником во время поездок во Францию, Финляндию, Чехословакию, Советский Союз и другие страны, широко представлены в новом сборнике.

„РАСКОЛЬНИКОВ" В РАДИОТЕАТРЕ

Известный писатель Х. К. Браннер перевел на датский язык пьесу немецкого драматурга К. Гетц-Пфлуга «Раскольников» по роману Достоевского. Датские актеры подготовили радиопостановку этой пьесы. Главную роль исполняет известный актер Фриц Гельмут. Газета «Ланд ог фольк» отмечает, что в пьесу не вошли многие эпизоды романа, важные для понимания идейного замысла писателя, и что основной упор сделан на истории раскрытия преступления Раскольникова.

ЕГИПЕТ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

В Египте создано новое литературное объединение «Джамийя аль-Удаба» («Общество литераторов»), в которое вошли прозаики, поэты и критики различных идейных направлений. Председателем объединения избран Таха Хусейн, секретарем — Юсуф ас-Сыбаи. В правление нового объединения вошли также Махмуд Теймур, Нагиб Махфуз, Тауфик аль-Хаким, Абд ар-Рахман аш-Шаркави, Ахмед Баха ад-Дин и другие известные литераторы, придерживающиеся различных политических взглядов.

Таха Хусейн призвал писателей создавать произведения о жизни народных масс. «Литература не забава, а средство воспитания людей, — сказал Таха Хусейн. — Поэтому писатель должен сознавать свою ответственность перед родиной и историей».

РАДИОСТАНЦИЯ „ГОЛОС СУАХИЛИ"

Журнал «Рисалят Мыср» поместил статью о деятельности египетской радиостанции «Голос суахили». Эта радиостанция, основанная в 1954 году, ведет ежедневные передачи на языке суахили (суахили — наиболее распространенный язык среди негров Восточной Африки).

Целью этих радиопередач, как указывает журнал, является «укрепление связей между борющимися народами африканского материка и арабскими народами, которые также отстаивают свободу и мир».

Радиостанция «Голос суахили» подробно информи-

рует о национально-освободительном движении народов Черной Африки.

Передача «Голоса суахили» пользуется популярностью у этих народов, о чем свидетельствуют письма, поступающие в Каир из Танганьики, Кении, Уганды, Занзибара и Бельгийского Конго.

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Известные египетские киноартисты Махмуд Зуль-Фикар и Марьям Фахр ад-Дин во время своей поездки по Сирии заявили в беседе с корреспондентом журнала «Ад-Дубур»: «Мы должны сотрудничать в области искусства с Советским Союзом. Это сотрудничество — единственный путь, ведущий к избавлению от засилия западных фильмов на рынках арабского Востока».

ПРАЗДНИК НАУКИ

22 декабря 1955 года в Египте был отпразднован День науки.

По этому случаю состоялись собрания и вечера, на которых писателям и ученым вручались государственные премии.

Наиболее успешно обучающиеся студенты и школьники были удостоены премий Министерства просвещения. В Каире была организована выставка новых книг.

«Страна охвачена всеобщей радостью, — писала газета «Аль-Гумхурия»,— ибо праздник науки справляет сознательный и умный народ, который знает, что путь знания — это путь к славе и счастью».

„ЛЮДИ И ЖЕЛЕЗО"

«Люди и железо» — так называется вышедший недавно в Египте сборник рассказов Лютфи аль-Хаули, посвященный изображению тюремной жизни и тюремных нравов в последние годы египетской монархии. (Лютфи аль-Хаули — писатель-патриот, брошенный в тюрьму властями короля Фарука в 1952 году.)

ИНДИЯ

КЛАССИКИ БЕНГАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Индиэн ассошиейтид паблишинг компани» выпустило сборник произведений классиков бенгальской литературы. Такого рода сборник издается впервые. В него включены произведения Рабиндраната Тагора и других авторов, в основном относящихся к XIX веку.

МОЛОДОЙ ПОЭТ КАШМИРА

Недавно вышел в свет сборник стихов молодого поэта Мадхукара. Статья, посвященная его творчеству в журнале «Кашмир», относит к лучшим произведениям Мадхукара поэмы «Мир» и «Человечество». В первой из них поэт говорит: «Если войны палатки забелели, не слышно больше песен колыбельных». В поэме «Человечество» он выражает уверенность в том, что силы разума, прогресса и созидания одержат верх над тьмой, страстью к разрушениям и отсталостью. По мнению журнала, Мадхукар является одним из лучших молодых поэтов Кашмира.

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НА БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

В Калькутте издан роман А. М. Горького «Фома Гордеев» в переводе Шотья Гупта.

В статье, помещенной на страницах газеты «Ананда базар патрика», указывается, что Горький известен в

Прогрессивный индийский художник Сатиш Гуджрал, по мнению английского журнала «Студио», является одним из наиболее многообещающих представителей молодого поколения. Он питает творческую склонность к монументальной и, в частности, фресковой живописи. Таким образом, далеко не случайно Гуджрал в течение двух лет работал в Мексике под руководством знаменитых художников Диего Риверы и Сикейроса. Наряду со следами влияния своих мексиканских учителей Гуджрал, как художник-реалист, сохранил в своей живописи подлинно-национальные черты; он черпает свои сюжеты из повседневной действительности, ищет натуру среди простых людей своей страны.

«Ныне Гуджрал, — пишет журнал, — после показа выставки его произведений в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, вернулся в свой родной Пенджаб. Ему поручена большая и ответственная работа: стенная роспись ряда зданий».

Индийская газета «Нью эйдж» также поместила небольшую статью о Сатише Гуджрале. В ней приводится весьма положительная оценка его творчества, данная видным деятелем английской компартии Палм Даттом.

Мы воспроизводим две картины Сатиша Гуджрала: «Стенания» (сверху) и «Портрет Нэнси».

(Газета „Нью эйдж" и журнал „Студио")

Индии как писатель, изображающий жизнь низших слоев общества. Автор статьи подчеркивает художественное мастерство А. М. Горького: «Горький рисует картину мазками, но перед нами встает живой человек из плоти и крови. Фома Гордеев — один из удивительных жизненных персонажей. Поэтому книга до конца держит читателя в напряжении». В заключение указывается, что «Фома Гордеев», несомненно, одно из самых ярких произведений переводной литературы, когда-либо изданных в Бенгалии.

* * *

В Калькутте вышел роман И. Эренбурга «Девятый вал».

Сесангка. «Эскиз».

ИНДОНЕЗИЯ

ЮБИЛЕЙ СУНДАНСКОГО КЛАССИКА

На сунданском языке говорит около пятнадцати миллионов жителей Западной Явы. У сунданцев богатый фольклор и литература, существующая с древних времен. Однако глубокая, всесторонняя разработ-

РИСУНКИ ИНДОНЕЗИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

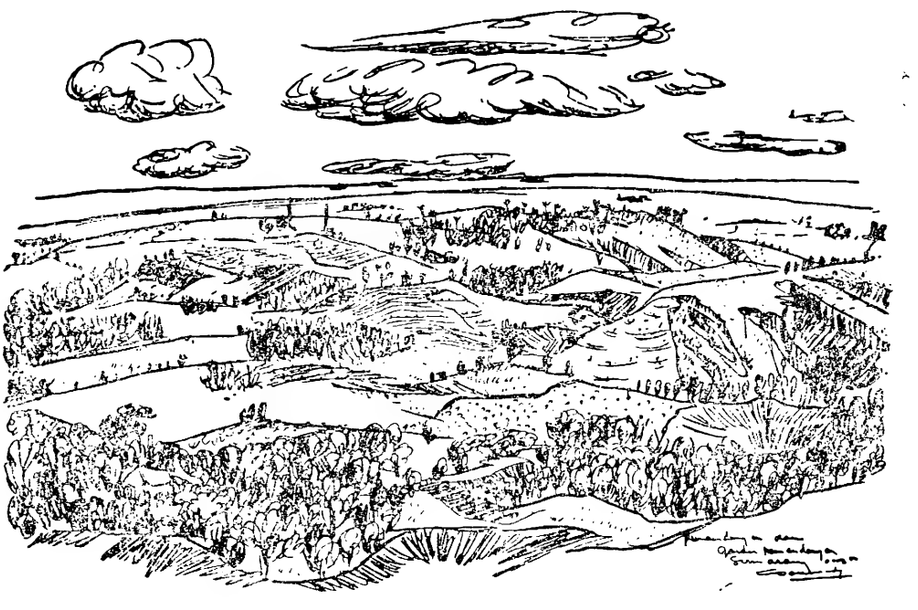
Второй год в Джакарте издается ежемесячный журнал «Сени», освещающий вопросы искусства и литературы. На его страницах не только печатаются стихи, рассказы, статьи, но и периодически помещаются репродукции с картин, гравюр и рисунков индонезийских художников.

Печатаемые здесь рисунки взяты из этого журнала. Их авторы — современные художники, представляющие национальное искусство и пользующиеся у себя на родине большой популярностью.

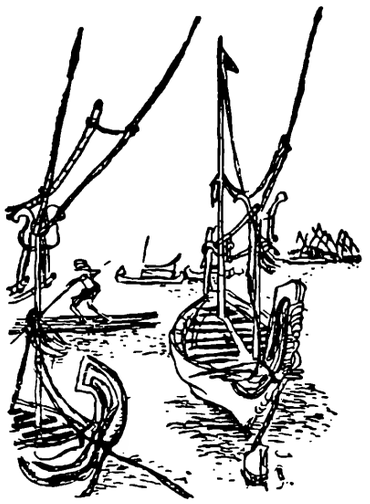
Работы их можно сейчас видеть на выставках, организуемых в разных городах страны. Так, например, произведения Насхара были выставлены в прошлом году в «Доме культуры» в Джакарте (наряду с картинами художников Шахри, Вакиджана, Пуранто, Бурхануди-на и др.).

Сесангка и Суниндья регулярно выступают также со статьями, посвященными современной индонезийской живописи.

Сундоро. «На берегу моря».



Суниндья. «Яванский пейзаж».



Насхар. «Лодки».

ка проблем сунданской филологии стала возможной лишь после провозглашения независимости Индонезии.

В настоящее время на сунда выходят газеты и журналы, ведутся радиопередачи, ставятся пьесы, издаются книги.

Создателем современного литературного сунданского языка считается писатель Раден Хаджи Мухаммад Муса, вошедший в литературу в середине прошлого века. Год его рождения точно не установлен: предполагают, что он родился между 1810 и 1820 годами. Умер он в городе Богоре в 1884 году. Мухаммад Муса известен не только как создатель прозаических произведений, но и как поэт. Кроме того, перу его принадлежат переводы с арабского и яванского языков.

Сунданский писатель-классик Мухаммад Муса.

(Журнал „Буку кита")

В одном из последних номеров индонезийского журнала «Буку кита» («Наши книги») опубликована статья, посвященная столетию с того дня, как Мухаммад Муса начал свою творческую деятельность. По мнению автора статьи, известного сунданского писателя М. А. Салмуна, основная заслуга Муса состоит в том, что он сделал литературный язык сунда понятным для массового читателя.

ИРАН

ИЗДАНИЕ КЛАССИКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Нашр . ва тарджемее кетаб» («Издательство переводной литературы») выпускает в свет серию переводов классических произведений мировой литературы. Опубликованы «Пять трактатов» Сократа и «Вильгельм Телль» Шиллера. «Вильгельм Телль» переведен известным иранским писателем, основоположником персидской новеллы Джемаль-Заде. Вышли также «Беседы» Конфуция, переведенные старейшим иранским литератором и деятелем культуры Казем-Заде Ираншахром.

Готовятся к печати переводы Софокла, Еврипида, Гомера, Шекспира, Мольера, Бальзака, Гете.

ПОЛОЖЕНИЕ АКТЕРОВ В ИРАНЕ

Известная иранская актриса Махин Дихим в беседе, опубликованной тегеранским еженедельником «Техране мосаввар», сообщила о трудностях жизни артиста в Иране. Актеры иранского театра, по словам М. Дихим, постоянно испытывают нужду и лишения. «Если я хоть на один месяц откажусь от выступлений на сцене или от киносъемок,—сказала она,— мне придется голодать. Несколько лет назад случилось так, что мой сын заболел. Денег не было. Оставив ребенка у моей матери, я поехала в театр на спектакль, надеясь достать там денег. Но, кроме букетов цветов, которые горячо аплодировавшие зрители поднесли нам, артистам, я не получила ничего».

СТИХИ ЕСЕНИНА НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

В связи с тридцатилетием со дня смерти Сергея Есенина журнал «Эттелаате махане» поместил заметку Кесмаи о творчестве поэта. Опубликованы также два стихотворения Есенина из цикла «Персидские мотивы» в переводе Кесмаи: «Улеглась моя былая рана» и «Свет шафранный вечернего края».

ИТАЛИЯ

ПРИЗЫВ К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В связи с приближающимся десятилетием со дня провозглашения итальянской республики (2 июня 1946 года) группа писателей, ученых, деятелей искусства — членов коммунистической партии обратилась через газету «Унита» с открытым письмом ко всей итальянской интеллигенции.

После периода подъема, последовавшего за освобождением Италии и установлением республиканского строя, говорится в письме, среди части итальянской интеллигенции получили распространение настроения неверия в собственные силы, разочарования, равнодушия.

Мы, интеллигенты-коммунисты, заявляют авторы обращения, далеки от того, чтобы разделять подобные настроения; мы черпаем силы, участвуя в борьбе, которую ведет итальянская коммунистическая партия за то, чтобы предоставить всем гражданам гарантированные конституцией демократические свободы, обновить одряхлевший строй мешающий общественному, экономическому и культурному прогрессу, за то, что-

бы дать новый толчок развитию культуры, искусства и науки в Италии.

Мы глубоко уверены, говорится далее в обращении, что, присоединившись к нам, каждый интеллигент сегодня самым убедительным образом покажет, что он не остался по ту сторону пропасти, отделяющей вчерашний мир от мира завтрашнего, что он не пожелал уклониться от борьбы...

...Мы призываем всех представителей интеллигенции, сознающих лежащую на них в нынешней обстановке ответственность, более углубленно познакомиться с нашей партией и если наша программа, наша борьба и вдохновляющие нас надежды встретят их одобрение, вступить в ее ряды.

Открытое письмо подписали писатели-коммунисты Сибилла Алерамо, Итало Кальвино, Романо Биленки, Рената Вигано, ответственные редакторы журнала «Контемпоранео» Карло Салинари и Антонелло Тромбадори, ответственные редакторы журнала «Сочьета» Карло Мушетта и Гастоне Манакорда, художники Ренато Гуттузо и Марио Маффаи, кинорежиссеры Джузеппе Де Сантис и Карло Лидзани, композитор Марио Дзафред и многие другие деятели итальянской культуры.

ПЕРВАЯ ПЬЕСА АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Писатель Альберто Моравиа, известный как автор нескольких романов и как новеллист, недавно выступил в новом для него жанре: он опубликовал драму «Беатриче Ченчи».

В основу ее сюжета положено известное предание о семействе Ченчи, не раз уже использованное итальянскими писателями, художниками, киносценаристами. Это история о властном и жестоком отце, который постоянными издевательствами и оскорблениями довел свою дочь до того, что она его убивает. Процесс Беатриче Ченчи и ее мачехи Лукреции, закончившийся вынесением им смертного приговора, был одним из самых нашумевших судебных процессов папского Рима.

Несмотря на то, что действие драмы происходит, как указывает сам автор, в 1598 году в родовом замке Ченчи в Рокка делла Петрелла, читатель узнает в действующих лицах драмы знакомые ему черты современных персонажей романов Моравиа, находит знакомые ситуации, характерный для писателя мир сложных душевных переживаний.

В драме, состоящей из трех действий с эпилогом, шесть действующих лиц. Однако вторая жена Ченчи, безвольная и слабая Лукреция, и музыкант Марцио — это второстепенные, вспомогательные персонажи, а судья Карло Тироне, которому поручено расследование преступления, появляется лишь в заключительной сцене и необходим автору только для развязки. Основных персонажей, таким образом, всего три: отец Франческо Ченчи, его дочь Беатриче и смотритель замка Олимпио.

Франческо Ченчи — жестокий тиран, заточивший в полузаброшенный замок дочь и вторую жену и подвергающий их то утонченным издевательствам, то грубым оскорблениям и побоям; этот персонаж страшен своей полной моральной опустошенностью. В нем уживаются животная жестокость и примитивность с пресыщенностью, скукой и усталостью. По мысли автора, Ченчи-отец — это живое воплощение старого мира насилия и несправедливости, который обречен на гибель. Несмотря на свою неукротимую энергию и безграничную жестокость, Ченчи и сам сознает свою обреченность: у него нет ни надежд, ни желаний, ни воли к жизни. Именно эти черты — жестокость, опустошенность, сознание обреченности — как бы роднят Франческо Ченчи с героями романов Моравиа, написанных на современную тему.

Беатриче — более сложный образ. В драме именно она должна являться носителем настроений протеста, бунта против тирании, несправедливости, унижения человеческой личности. Однако в ее жилах также течет «усталая, разжиженная кровь» рода Ченчи. Она тоже морально опустошена, ей, как и ее отцу, свойственны дьявольская гордыня и жестокость. Она не только жертва, но и активный враг отца. Она отдается Олимпио, чтобы иметь в его лице союзника и заставить его убить отца. Вместе с ним она разрабатывает планы убийства.

Олимпио — полная противоположность необузданным, противоречивым натурам Ченчи. «Все наши несчастья, — говорит он, — происходят от того, что мы не хотим принимать окружающее таким, как оно есть, а стремимся видеть его таким, каким оно должно быть». Когда после убийства отца Беатриче Олимпио узнает о грозящей ему опасности, он без раздумий пытается спастись бегством. Насквозь житейская философия этого персонажа также звучит в пьесе весьма современно для буржуазного общества. Приспособленчество, осторожность, граничащая с трусостью, неспособность к каким бы то ни было душевным порывам, изворотливость, осмотрительность и рассудочность Олимпио столь же отвратительны, как жестокость и необузданность Франческо Ченчи.

Тщательно восстановив факты средневековой трагедии семьи Ченчи, писатель вместе с тем глубоко проник во внутренний мир своих героев и придал драме современное звучание.

В одной из первых рецензий, посвященных драме Моравиа, литературный критик газеты «Унита» Гаэтано Тромбаторе дает ей в целом положительную оценку. В качестве одного из главных достоинств он отмечает предельную ясность и выразительность

языка, особенно ярко проявившуюся в диалогах. Вместе с тем критик указывает на граничащую со схематизмом прямолинейность в обрисовке некоторых персонажей.

ЧЕГО ТРЕБУЕТ КИНОЗРИТЕЛЬ

Итальянские газеты публикуют первые ответы, поступившие от кинозрителей на вопрос, с которым недавно обратился к ним со страниц журнала «Чинема нуово» известный сценарист и писатель Чезаре Дзаваттини: «Какой фильм вы бы поставили, если бы это зависело от вас?»

Ответы поступают в редакции газет из всех уголков Италии.

«Наша кинематография должна быть тесно связана с проблемами, стоящими перед нашей страной, то есть быть реалистической, демократической и народной, а не чем-то абстрактным». «Крайне необходимо создать фильмы, отражающие жизненную трагедию простых людей, их борьбу и разоблачающие наш отсталый общественный строй, при котором торжествует закон джунглей», — единодушно заявляют авторы писем.

Многие кинозрители считают, что режиссеры должны показать в своих фильмах жизнь и труд итальянского рабочего.

«Жизнь завода, упорную борьбу рабочих, методы монополистов, жестокие бои, которые ведут руководители рабочих организаций на предприятиях, — вот что я хотел бы увидеть на экране. Деятельность рабочих, изо дня в день борющихся на своем предприятии, а после работы — вне предприятия, должна стать известна общественному мнению», — пишет рабочий химического завода «Сольвей».

«Если бы это зависело от меня, я поставил бы фильм об открытии в Италии запасов нефти. Этот фильм должен был бы помочь понять, что нефть — это источник народного богатства и что необходимо помешать попыткам иностранных компаний прибрать ее к рукам», — пишет кинозритель из Рима.

Много писем поступило от молодежи. Молодые кинозрители предлагают отразить в кинофильмах темы, волнующие итальянскую молодежь: бесплодные поиски работы, проблему брака, который часто становится невозможным из-за тяжелых условий жизни, конфликты, возникающие ввиду различия взглядов на религию. Молодые зрители требуют также разоблачения коррупции в спортивном мире и нравов, царящих в некоторых кругах итальянской кинематографии.

Получены письма и от крестьян, которые хотели бы увидеть в фильмах подлинную жизнь.

«Я — крестьянин, горячо любящий свою землю,— пишет один из них, — и живу в деревне, где земли заброшены и плохо обрабатываются. Дома находятся в антисанитарном состоянии. Если бы снять на эту тему фильм, все бы увидели, почему крестьяне покидают деревню и кто в этом повинен — они или помещики».

Некоторые кинозрители предлагают экранизировать известные произведения современных итальянских писателей, в частности роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи» и повесть Альчиде Черви «Семь моих сыновей».

Интересное предложение выдвигает кинозритель, предлагающий поставить фильм «Поездка в Италию», в котором следует, по его мнению, показать, с одной стороны, жизнь в великосветских кварталах Рима и роскошных виллах богачей и снобов, а с другой — быт рабочих предместий, пещеры Матеры, где ютятся тысячи бездомных, трущобы Палермо, нечеловеческие условия труда на рудниках Сицилии. Один безработный предлагает показать в фильме его личную жизнь: «Я — безработный,— пишет он, — у меня шесть детей. Когда в июне они кончают учиться, я вместе с ними бродяжничаю по Италии».

Прогрессивная печать — газеты «Унита», «Аванти»— отмечает, что первые отклики на обращение Дзаваттини позволяют надеяться на появление в 1956 году новых интересных произведений неореалистического киноискусства.

КАНАДА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

В журнале «Юниверсити оф Торонто куотерли» напечатан отчет о первой конференции канадских писателей, на которой присутствовало около 100 делегатов. Основной вопрос на повестке дня «Писатель, его положение и его читатели». Целью конференции являлось укрепление связей между писателями и людьми, от которых зависит судьба книги, то есть издателями, редакторами, работниками радио, критиками и т. д.

В отчете указано, что о проблеме писательского мастерства на конференции говорилось мало. В основном речь шла о проблеме издания книг, об ознакомлении читателя с отечественной литературой и о роли и месте писателя в современной Канаде.

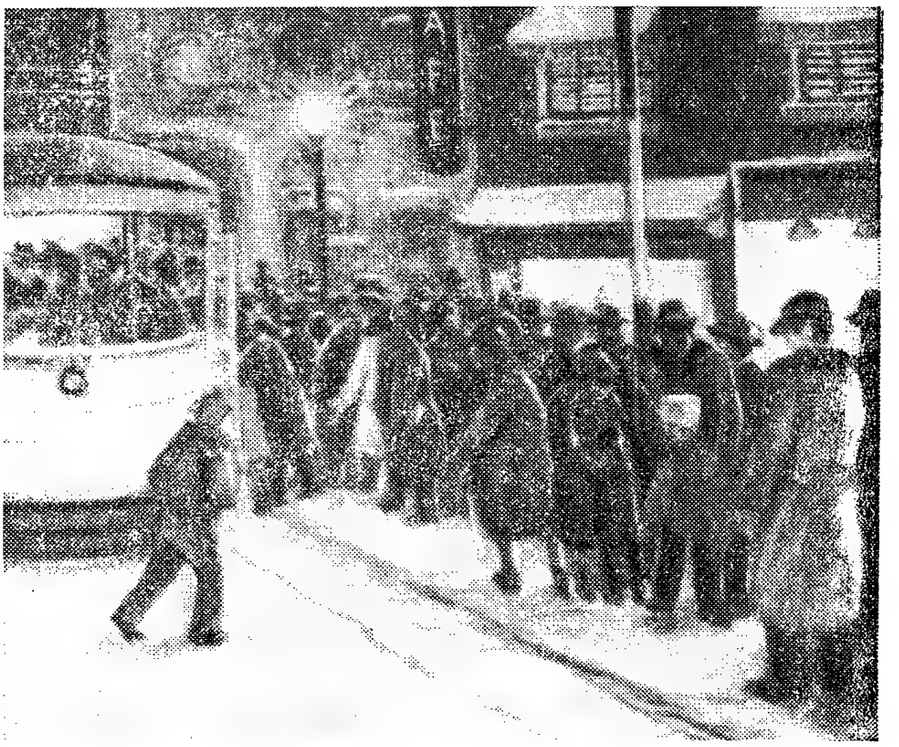
Автор обзора считает, что, судя по выступлениям, многие поэты, как и прозаики, испытывают сильное чувство неудовлетворенности из-за пренебрежительного к ним отношения общественности и издателей.

Докладчики отмечали, что критических работ о канадской литературе вообще не существует. Очень мало учебных заведений, где читаются курсы отечественной литературы; в стране имеются обширные районы, в которых совершенно отсутствуют библиотеки, а книги распространяются плохо.

Вместе с тем в докладах отмечалось, что, несмотря на трудности издания произведений канадских писателей, интерес читателей к литературе все время возрастает.

Писатель Каллахан в своем выступлении подчеркнул: «Чем острее и своеобразнее талант писателя, тем труднее ему напечатать свои произведения».

Выступавшие на конференции указывали также на то, что радио и телевидение начинают знакомить население с канадской литературой. Однако до тех пор, пока не прекратится давление со стороны частных лиц и организаций, интересующихся лишь увеличением сбыта своих товаров, мало надежды на то, что радио и телевидение будут способствовать развитию канадской культуры. «Сомнительно, — пишет «Юниверсити оф Торонто куотерли», — чтобы фабриканты автомобилей или мыла стали финансировать программы, посвященные канадской поэзии, или чтобы поэты приняли такую помощь».



РОСТ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Журнал «Нью франтиерз» поместил статью о положении национального театра в Канаде. В статье указывается, что еще двадцать лет назад в стране вообще не было постоянного профессионального театра. Лишь за последние годы в главных городах Канады возникли постоянные труппы.

В течение трех лет в небольшом канадском городе Стратфорде проводится традиционный шекспировский фестиваль, причем осо-

М. РИШПАН — канадский художник реалистического направления. «Я никогда не увлекался модернистским и абстрактным искусством, так как считаю их одной из форм бегства от жизни,— писал М. Ришпан на страницах прогрессивного канадского журнала «Нью франтиерз». — Я могу изображать только то, что сам наблюдал в действительности».
Мы воспроизводим две картины канадского художника: сверху — «Зимний вечер», снизу — «Старый моряк».

(*Журнал „Нью франтиерз"*)

бым успехом, как указывает журнал, он пользовался в 1955 году, когда были показаны «Венецианский купец» и «Юлий Цезарь», а также «Царь Эдип» Софокла.

«Канадцы слишком скромно оценивали свои достижения, — подчеркивает автор статьи в «Нью фронтиерз», — на них влияли и их смущали канадские граждане, которые обычно относятся одобрительно лишь к тому, что отмечено штампом США, и на этом основании отвергают всякое значение фестиваля, считая, будто канадские актеры вообще неспособны играть Шекспира». Но таких людей было меньшинство. По утверждению журнала, восторженное отношение зрителей к спектаклям в Стратфорде свидетельствует о том, что перед канадским театром большое будущее.

В заключение журнал пишет: «Стратфорд — свидетельство общего подъема театрального искусства в Канаде, свидетельство общего сопротивления американской декадентской культуре доллара».

СЛОВАРЬ ЭСКИМОССКОГО ЯЗЫКА

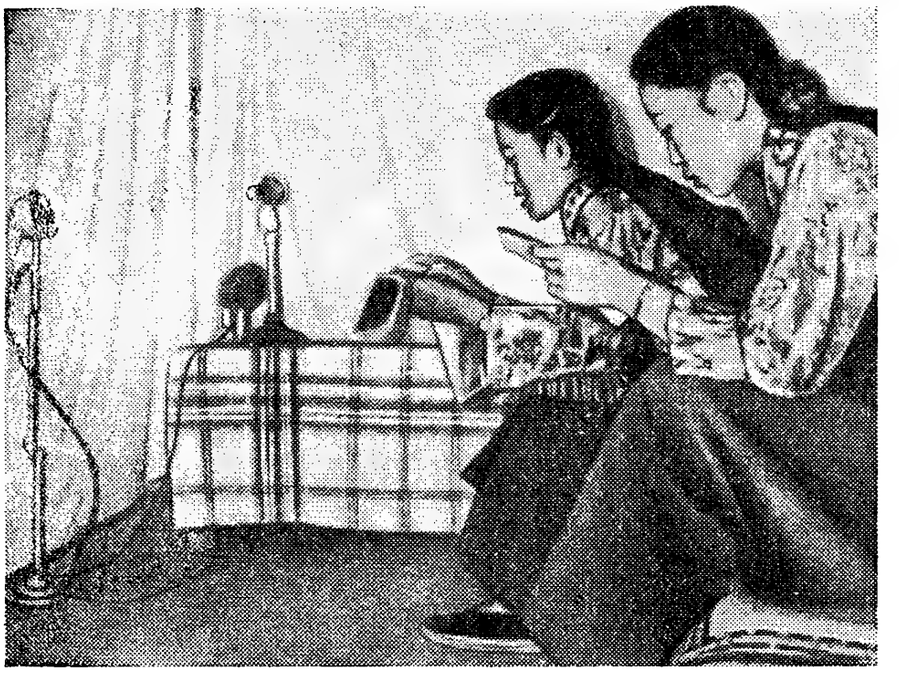
По сообщению книготоргового бюллетеня ГДР, в Канаде вышел эскимосский словарь, содержащий 4500 слов, наиболее употребительных в эскимосском языке.

КИТАЙ

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА В ТИБЕТЕ

Известный английский журналист Алан Уиннингтон поместил в «Дейли уоркер» очерки о своем путешествии в Тибет. В одном из них он рассказал о том, как был организован выпуск первой в Тибете газеты.

До мая 1955 года, когда в Лхасу прибыл из Пекина подарок китайского правительства — полное оборудование для типографии, включая линотипы и печатные машины,— в Тибете вообще не существовало ни одной газеты. «Ныне, — пишет Алан Уиннингтон, — я прислушиваюсь к знакомому стуку линотипа и ротационной машины, печатающей три тысячи экземпляров каждого номера газеты».



Дикторы читают выпуск «последних известий», передаваемый по радиотрансляционной сети в Лхасе.

(Газета „Дейли уоркер")

Тибетский литературный язык, пишет Уиннингтон, сильно отличается от устной, разговорной речи. Непрерывно изменяясь и обогащаясь новыми словами и понятиями, этот язык фактически находится сейчас в процессе становления.

«В каждом номере газеты, — рассказывает Уиннингтон, — встречаются новые слова и тут же разъясняется их значение. До сих пор в тибетском языке не было слов для обозначения грузовика, самолета, трактора, не говоря уже о таких понятиях, как «социализм», «коммунизм». Руководитель редакционно-переводческого отдела газеты рассказывает, как трудно было, например, объяснить читателю, что такое «водородная бомба» на языке, в котором не было даже слова «водород».

Грамотные люди могут отныне читать газету на тибетском языке. Для неграмотных новости дня транслируются по радио через громкоговорители, установленные на улицах самых значительных населенных пунктов. В будущем намечено организовать широкую радиотрансляционную сеть. Сделать это удастся тогда, когда в стране будет больше электроэнергии и радиоприемников».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ В ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ

Вышел первый номер нового ежемесячного журнала «Бяньцзян вэньи» («Литература и искусство рубежа») — органа Объединения работников литературы и искусства пограничной провинции Юньнань. Журнал будет помещать произведения, посвященные социалистическим преобразованиям в жизни различных национальных меньшинств, населяющих эту провинцию, а также борьбе против врагов на границе и дальнейшему укреплению сплоченности народов Китая. Кроме того, журнал будет знакомить читателя с фольклором национальностей, живущих в провинции Юньнань.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ С США

Газета «Дейли уоркер» поместила статью, в которой идет речь о том живом

интересе, с каким китайский народ относится к подлинной американской культуре.

На празднование столетней годовщины со дня выхода в свет «Листьев травы» Уолта Уитмена в Пекин были приглашены такие выдающиеся писатели и деятели культуры США, как Поль Робсон, Уильям Фолкнер, Карл Сэндберг, Сэмуэл Силлен, Перл Бак и Уолдо Фрэнк; однако государственный департамент США всем им отказал в визах.

Писатель Мао Дунь заявил по этому поводу: «Такого рода нелепые меры не смогут ослабить уз дружбы между народами Китая и Америки».

В Китае, как отмечает «Дейли уоркер», большим успехом пользуются некоторые американские периодические издания и книги многих крупных писателей. Среди китайских читателей, знающих английский язык, особенно популярен «Сайлас Тимбермен» Говарда Фаста, «Привет весне» Мередил Лесюэр, «История негритянского народа» Герберта Аптекера, «Тринадцатый присяжный» Стива Нелсона, произведения Майкла Голда, а также других современных американских писателей.

Миллионы читателей хорошо знакомы с переведенными на китайский язык романами и рассказами Марка Твена, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Альберта Мальца и др.

ЛИВАН

ВСЕАРАБСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания» сообщил о предстоящем открытии в Ливане Всеарабской художественной выставки.

«Мы приветствуем эту идею, — говорится в журнале. — Выставка явится свидетельством того, что взаимные связи между арабскими народами крепнут».

МЕКСИКА

НОВЫЙ ФИЛЬМ „КОРНИ"

Газета «Мехико эн ла культура» поместила статью о новом фильме «Корни», отмеченном премией на последнем кинофестивале в Каннах. Значение этого фильма, как утверждается в статье, главным образом заключено в обращении к национальной тематике. В основе сценария пять рассказов современного мексиканского писателя Рохаса Гонсалеса, взятых из его сборника «Нищий» и посвященных жизни индейской деревни.

Реалистическая направленность фильма выражается также и в том, что в нем заняты актеры непрофессионалы. В статье подчеркивается, что постановщики следовали лучшим традициям советского, французского и итальянского кино. Об этом свидетельствует, в частности, стремление освободиться от шаблонов и безвкусицы, проникающих в мексиканское киноискусство под прямым влиянием Голливуда.

Вместе с тем в статье подвергаются критике недостатки фильма. Подчеркивается, что социальная острота рассказов Гонсалеса в некоторых местах ослаблена и даже заменена ложно экзотическим показом жизни мексиканских индейцев.

НОРВЕГИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ИБСЕНА

Норвежская общественность широко отмечает пятидесятилетие со дня смерти Генрика Ибсена. Чествование его памяти будет проводиться с 23 по 29 мая. Оно начнется траурным собранием в городской ратуше Осло, возложением венков на могилу, чтением лекций и докладов о его жизни и творчестве по всей стране. В университетской библиотеке Осло будет открыта выставка произведений Ибсена.

В столичных театрах в течение всей недели будут идти его пьесы. В университете состоятся вечера для молодежи. В театральном музее Осло открывается выставка, посвященная сценическому воплощению творчества великого драматурга.

Газета «Фрихетен» сообщает о намерении организовать в Норвегии Международный институт по изучению творчества Ибсена.

МОНОГРАФИЯ ОБ АВТОРЕ „БРАНДА"

Видный норвежский историк и литературовед Халвдан Кут, бывший президент Академии наук, выпустил полностью переработанное издание своей монографии о Генрике Ибсене, впервые увидевшей свет в 1928 году. В ней по-новому освещены некоторые стороны жизни и творчества крупнейшего норвежского драматурга.

Как отмечает газета «Верденс ганг», Халвдан Кут «сам вживается в мироощущение писателя», анализируя страницы его творчества, и потому таким реальным, таким понятным становится читателю сложный путь Ибсена.

По мнению норвежской печати, Халвдан Кут не задавался целью подробно анализировать художественные особенности творчества Ибсена. Он, будучи больше историком, чем литературным критиком, старается установить единую идейно-политическую направленность произведений Ибсена и показать влияние, оказываемое его творчеством на норвежское общество. В этом отношении монография Халвдана Кута, по признанию печати, является одним из лучших норвежских исследований об Ибсене.

„ПРИВИДЕНИЯ" И „ПЕР ГЮНТ" НА ЭКРАНЕ

По сообщению газеты «Афтенпостен», акционерное общество «Норшк фильм» намерено экранизировать драму Ибсена «Привидения». Постановщик фильма — внук писателя Танкред Ибсен. Фильм должен сниматься в мае и июне этого года.

Та же газета сообщает, что Центральная кинематографическая компания в Западном Берлине приобрела право на экранизацию драмы Ибсена «Пер Гюнт» с музыкой Эдварда Грига.

По сообщению газеты «Ланд ог фольк», фильм «Пер Гюнт» намерена выпустить и одна из американских кинокомпаний, пригласившая для исполнения главных ролей Ричарда Бартона и Грейс Келли.

ПОЛЬША

ТРИ ПИСЬМА ЮЛИАНА ТУВИМА

Газета «Трибуна люду» недавно опубликовала три неизвестных письма Юлиана Тувима, датированных 1942—1943 годами. Ю. Тувим, как известно, в то время вынужден был жить в эмиграции; он находился в США, где выступал с антифашистскими статьями и речами. Во время одного из таких выступлений перед рабочей аудиторией в Детройте состоялось знакомство поэта со старым польским эмигрантом, наборщиком и переплетчиком Францишеком Гузалем, который принес на отзыв Тувиму свои стихотворные опыты.

Именно этому рабочему поэту-самоучке и адресованы письма Тувима, опубликованные в «Трибуне люду». Они носят частный характер, содержат сведения о повседневной жизни поэта. И все же в них явственно видны идейно-политическая позиция Тувима, его демократизм, испытываемая им ненависть к фашизму, глубокая вера в победу, в светлое будущее польского народа.

Вот отрывок из одного письма:

«... внутри человека мучает все одно и то же: продолжающаяся война, непрерывно усиливающаяся тоска по родине, глупая и близорукая политика большинства наших эмигрантов, которые все еще дергаются в фашистском кривлянии и т. д. Много читаю, очень мало пишу, ругаюсь с земляками на извечную тему нашей политики в отношении России, и так проходят дни».

Особый интерес представляет письмо, в котором Тувим высказывается о сатирической поэзии, в частности о поэзии Маяковского:

«Я бы советовал вам читать как можно больше стихов, овладевать законами ритма и мелодии, ибо это непременное условие (особенно для сатирика), неотъемлемая предпосылка к тому, чтобы стих внедрился в память, запомнился читателям. Маяковский писал гениальные сатирические произведения, пропагандистские, даже рекламные. Каждая строфа, каждое сочетание звуков были в них изобретением. Его «агитки» вонзались в восприятие масс и покоряли их. Это, конечно, прирожденный талант. Но коечему можно и научиться. Тому, что вы мне прислали, не хватает силы убеждения, а ею должен обладать даже стишок, приглашающий на массовку или базар (книжный.— *Прим. пер.*)».

„ДНЕВНИКИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ"

Издательство «Ксёнжка и ведза» («Книга и знание») опубликовало недавно сборник «Дневники десятилетия», посвященный десятилетию существования народной Польши. В него вошли лучшие из произведений, присланных на конкурс газеты «Глос працы».

«Суровая и прекрасная правда нашей революции сопутствует на каждом шагу этим воспоминаниям», — указывает газета «Трибуна люду».

По отзыву той же газеты, дневники являются правдивым и волнующим рассказом о человеческих судьбах в народной Польше.

НОВЫЙ РОМАН ГУСТАВА МОРЦИНЕКА

Густав Морцинек, автор «Ондрашека» и других книг, посвященных жизни, труду и обычаям жителей Силезии, работает над романом о трех поднятых в разное время восстаниях против немецкого гнета, за свободу и воссоединение этой области с Польшей.

Как сообщил Морцинек в ответе на анкету, проведенную еженедельником «Нова культура», тема его новой книги — процесс пробуждения национального самосознания у главного ее героя Курта Крауса. Краус присоединяется к участникам третьего, последнего, антигитлеровского восстания, чтобы отомстить за смерть невесты и отца. Но постепенно он осознает, что мстит не только за их смерть, но и за вековую несправедливость и угнетение Силезии, отторгнутой от Польши, и что эта его борьба ведется также и за торжество социальной справедливости.

АНТОЛОГИЯ ПОЛЬСКОЙ САТИРЫ

«История польской сатиры неразрывно связана с борьбой за прогресс», — говорится в редакционном предисловии к «Антологии польской сатиры 1944—1955 годов». В двух крупных разделах антологии, поэтическом и прозаическом, собраны разнообразные по форме и темам произведения: сатирические стихи, басни, эпиграммы, фельетоны, юморески и т. д. Они написаны разными авторами, в том числе и столь известными, как Ю. Тувим, К. И. Галчинский, В. Броневский, Я. Ивашкевич, Т. Боровский.

Широко представлена сатирическая поэзия Герца, Мариановича, Свинарского, Ворошильского. Среди прозаиков известный автор «варшавских фельетонов» —

Вех (Стефан Вехецкий), С. Гродзенская, К. Живульская, Я. Осенка, С. Выгодский.

РУМЫНИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Вышел в свет новый роман лауреата Государственной премии Чезара Петреску — «Люди вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня». В центре романа — жизнь семьи крестьянина Сэраку. Сам выбор фамилии далеко не случаен: по-румынски «сэракул» означает «бедняк». В судьбе этой семьи раскрывается судьба многих тысяч неимущих крестьян. Отец Иона Сэраку убит на фронте во время первой мировой войны. Сына его — сироту из бедняцкой семьи — после окончания сельской школы ждал только непосильный труд; увеличивалась семья, а вместе с ней росли и невзгоды... Началась вторая мировая война, и Ион Сэраку, как и его отец, вынужден был уйти на фронт...

Таким образом, до определенного момента жизнь Иона во всем напоминает жизнь его отца: нищета, рабство, глухой стихийный протест против угнетателей. Вместе с тем Петреску показывает, как у Иона в отличие от его отца этот стихийный протест становится протестом сознательным. Автор последовательно рисует социальные факторы, которые способствуют пробуждению этой сознательности: непрерывный и все усиливающийся рост нищеты, разорение мелких крестьянских хозяйств и, наконец, война. Именно на фронте Ион Сэраку осознает все то, о чем до тех пор лишь смутно догадывался.

Естественно, что после того как в Румынии была свергнута фашистская диктатура, Ион Сэраку сразу же и притом сознательно становится на сторону тех, кто защищает права трудящихся.

Как отмечает «Газета литерарэ», тема войны и отношения к ней представителей различных классов давно привлекает внимание Чезара Петреску. Но раньше, ярко рисуя страшные бедствия и раны, нанесенные народу войной, писатель не отражал того, что война одновременно революционизировала сознание широких трудящихся масс. В новом романе Петреску это показано на судьбе не только Иона Сэраку, но и других персонажей. «Следуя по пути социалистического реализма, Петреску создал интересный роман»,— пишет «Газета литерарэ».

„КРАСНЫЙ ИСТОЧНИК"

В истории новой Румынии 1946—1947 годы были годами напряженной борьбы за демократизацию страны. Ожесточенная классовая борьба велась и во всех отраслях хозяйства, в том числе в промышленности, где в основном господствовал еще частный капитал.

Известный румынский писатель Николае Жиану в своем романе «Красный источник» изобразил борьбу рабочих с капиталистами, происходившую в те годы. События развертываются на руднике, принадлежащем частному акционерному обществу «Минаур». Иностранные и румынские капиталисты, контролирующие деятельность этого общества, подготавливают срыв производства. Рабочие рудника «Красный источник» стоят перед дилеммой: либо бездействовать и обречь себя на безработицу и голод, либо повести борьбу за увеличение добычи руды. Рабочие вступают в борьбу за свое право на труд, на жизненное благополучие. «Газета литерарэ» отмечает, что вся «история этой жестокой, беспощадной борьбы, в результате которой рабочие из долины «Красный источник», возглавляемые коммунистами, становятся хозяевами своего труда, описана в романе живо и интересно».

Книга Николае Жиану «Красный источник» представляет собой первую часть задуманного автором широкого эпического полотна из жизни румынских рудокопов.

США

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ

Несколько лет назад большое впечатление на американских читателей произвел роман молодого автора Нормана Мейлера «Обнаженные и мертвые». В книге этой были немалые недостатки, однако, как пишет газета «Дейли пиплз уорлд», «в ней звучала здоровая ненависть к войне и к той жестокости, которую способны проявлять друг к другу человеческие существа; в книге чувствовалось и сострадание к людям, и некоторое понимание того, как уродуется нашим обществом цвет американской молодежи». В этом романе Мейлер очень остро, с разоблачительных позиций изобразил генерала американской армии — личность с явно фашистскими симпатиями и наклонностями.

В то время Мейлер стоял довольно близко к прогрессивному движению американской интеллигенции. Но в дальнейшем он избрал совершенно иной путь, и этот отход от демократического лагеря с удивительной наглядностью отразился в его художественном творчестве. Второй роман Мейлера — «Берег варварства» — представлял собой политическую аллегорию троцкистского толка; это была, как указывает та же газета, гнетущая книга, насыщенная бредовой символикой и патологической эротикой. И, наконец, появился его третий роман—«Олений парк», шумно разрекламированный издателями, но оцененный даже буржуазной критикой очень сдержанно, а во многих случаях просто отрицательно.

«Олений парк» получил свое название по ассоциации с версальскими «запо-

ведниками», где некогда развлекались французские короли и их фаворитки. Место действия романа Мейлера — вымышленный курортный городок близ Голливуда. Здесь собралось довольно разношерстное общество, объединенное в основном одним занятием: бесконечным, поголовным и многообразным развратом. Среди «героев» книги некий Эйтель, пострадавший было из-за стычки с «комиссией по расследованию антиамериканской деятельности», но «раскаявшийся» сразу же после того, как у него была отнята выгодная работа.

Рассказ ведется от лица летчика, находившегося в американских оккупационных войсках в Японии и прибывшего в «Олений парк», чтобы истратить огромный карточный выигрыш, а попутно написать книгу и завести роман с какой-нибудь кинозвездой. Среди прочих персонажей — сутенер-гомосексуалист, киноактеры и киноактрисы — все без исключения распутники, алкоголики и наркоманы.

Психологический стержень романа — малодушие Эйтеля, спасовавшего перед «комиссией по расследованию». Это свое малодушие Эйтель всячески анализирует и смакует, изрекая сентенции, подобные следующей: «В конце концов единственный вид самоуважения, который нам еще доступен, это быть в состоянии сказать самому себе, что ты отвратителен».

В рецензии на «Олений парк», опубликованной журналом «Нейшн», говорится, что самый верный способ погубить столь актуальную для Америки тему, как травля прогрессивных деятелей пресловутыми «комиссиями», — это связать ее с такой на редкость гнусной фигурой, как Эйтель.

Говард Фаст пишет по поводу «Оленьего парка» в «Дейли уоркер»: «Это очень плохая книга, плохая насквозь, настолько убого написанная, сумбурная и беспомощная, что этими несколькими прилагательными, по существу, исчерпывается все, что можно о ней сказать».

„КРАСНЫЕ РОЗЫ ДЛЯ МЕНЯ"

В нью-йоркском театре «Бут» поставлена пьеса Шона О'Кейси «Красные розы для меня», написанная им в 1943 году. Это первая постановка пьесы ирландского драматурга в США за последние двадцать лет. Пьеса рассказывает о забастовке транспортных рабочих Дублина в 1913 году. В центре пьесы молодой рабочий Эйамонн Брайдон. Он жадно тянется к свету, к знанию, на последние гроши покупает книги Шекспира, Дарвина. Живя в трущобах рабочего Дублина, он в мечтах видит новый город, каким Дублин станет после победы рабочих. И хотя Эйамонн погибает во время забастовки, он умирает, уверенный в том, что «сегодняшняя работа сделана» и «завтра она будет продолжена вновь».

В статье, опубликованной газетой Нью-Йорк таймс» за несколько дней до премьеры своей пьесы, Шон О'Кейси так объясняет образ главного героя: «Эйамонн и его многие товарищи далеки от сносного существования, от того, что природа и достижения человека предоставляют в распоряжение всех людей. Поэтому он объединяется со своими братьями и борется за лучшую жизнь не только для тела, но и для ума, и не только для ума, но также и для духа. Вот почему они бастуют...»

Сцена из пьесы Шона О'Кейси «Красные розы для меня» в нью-йоркском театре «Бут».
(*Газета „Нью-Йорк таймс"*)

ПЬЕСА О ЖАННЕ Д'АРК

В нью-йоркском театре «Лонгэйкр» с успехом идет спектакль «Жаворонок». Пьеса написана Лилиан Хеллман и является новой версией драмы французского писателя Жана Ануйля, посвященной Жанне д'Арк.

«Дейли уоркер» в рецензии указывает, что новая версия пьесы, созданная Лилиан Хеллман, ярче раскрывает революционный дух французского народа, воодушевившего героиню на ее высокий подвиг. В основу пьесы легли исторические материалы и судебные отчеты.

Автор рецензии пишет, что постановка этого спектакля приобретает особое значение именно теперь, в

дни, когда многим людям приходится «противостоять свирепствующей в нашей стране современной форме политического мракобесия и охоты на ведьм».

По мнению «Дейли уоркер», особо следует сказать о мастерской игре всех участников спектакля, и в первую очередь молодой актрисы Джюли Харрис, исполняющей роль Жанны д'Арк. «Ее игра, — говорится в рецензии, — один из подлинных триумфов в современной истории Бродвея».

„ВОЗВРАЩЕНИЕ" ДЖО ХИЛЛА

Не так давно в Миннеаполисе состоялась премьера пьесы Бэрри Стэвиса «Человек, который никогда не умирал», посвященной жизни Джо Хилла. Миннеаполис — город, где в течение ряда лет проходила его боевая деятельность. Спектакль был поставлен в университетском театре труппой «Хэмлайн плейерз» и шел при переполненном зрительном зале в присутствии многих соратников Джо Хилла, ветеранов американского рабочего движения.

Газета «Уоркер», говоря о «возвращении Джо Хилла в Миннеаполис», высоко оценивает пьесу и спектакль. «Эта пьеса, — пишет газета, — вызывает у зрителя гнев, внушает ему мысль о том, что те, кто борется за благо человечества, никогда не умирают, поскольку их идеи продолжают жить в сердцах, их имена продолжают звучать в песнях последующих поколений».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЭТОМУ ФИЛЬМУ?

Прогрессивная и либеральная печать США подробно осветила историю неудавшейся постановки фильма о детской преступности по сценарию Артура Миллера.

Как сообщил журнал «Нью рипаблик», нью-йоркский «Комитет по вопросам воспитания молодежи», созданный в 1947 году для борьбы с детской преступностью, совместно с кинокомпанией «Комбайнд артистс, инкорпорейтид» заказали драматургу Артуру Миллеру сценарий фильма о быте и нравах подпольно действующих шаек молодых преступников Нью-Йорка. Артур Миллер с увлечением взялся за дело. Журнал рассказывает о том, каким образом ему удалось лично проникнуть в «молодежные джунгли» и собрать необходимый материал. «Более года, — сообщает газета «Нэшнл гардиан», — писатель жил вместе с бандой малолетних преступников, наблюдая и изучая их».

Казалось бы, общественность США должна быть живо заинтересована в создании такого кинофильма. Однако на пути у тех, кто взялся за осуществление этого замысла, сразу встали могущественные и непримиримые противники. Газета «Нью-Йорк уорлд телеграмм энд Сан», выражая точку зрения этих кругов, разразилась серией статей, направленных против Артура Миллера. В качестве одного из наиболее «компрометирующих» его «разоблачений» было приведено сообщение о том, что писатель «выступил в 1949 году с обращением к Всемирному конгрессу сторонников мира». В дело вмешались и махрово-реакционная организация Американский легион и всякого рода иные мракобесы. Все эти влиятельные силы, возглавленные вновь избранным «командором», то есть главой Американского легиона Эддингтоном Вагнером, организовали бешеную кампанию против Артура Миллера, обвиняя его в «левых связях».

В результате разнузданной кампании «Комитет по вопросам воспитания молодежи» пересмотрел свое решение и большинством в два голоса высказался за то, чтобы сценарий Миллера был положен под сукно.

Миллер ответил резким выступлением в печати, в котором заявил: «В этом фильме я надеялся показать, как можно с помощью умелого подхода спасти одного ребенка, а заодно и еще десять тысяч детей... Я хотел выступить в защиту этих детей и одновременно обратиться к их чувствам. Я мечтал о том, чтобы показать: в их ожесточившихся и опустошенных душах еще теплится животворный огонек. Я хотел, чтобы возможно большее количество людей реально осознало: убийство одним подростком другого является подлинным потрясением основы основ нашего общества, и капли этой крови обагряют руки всех мужчин и женщин, населяющих этот город... Короче говоря, я мечтал рассказать правду, показать неприкрашенные факты о преступности молодежи. Те факты, которые очевидны для всех, и те, которые известны не всем. Я надеялся создать не просто драму, а произведение искусства, зовущее к борьбе с этим явлением».

Судя по высказываниям некоторых газет, прогрессивная общественность США не считает, что история с созданием фильма о юношеской преступности в США на этом закончена. По сообщению газеты «Нэйшнл гардиан», «Комбайнд артистс, инкорпорейтид» объявила, что картина все-таки будет создана.

НА КОГО ДЕРЖИТ КУРС ЖУРНАЛ „ПОЭТРИ"

Не так давно на страницах «Нью-Йорк таймс» появилось сообщение о том, что «видные американские деятели собирают средства для оказания поддержки журналу «Поэтри». На благотворительном банкете, устроенном в пользу журнала, гости платили по 125 долларов за каждое блюдо. В списке «спасителей поэзии» оказались имена миллиардера Пьера Дюпона, бывшего губернатора штата Нью-Джерси Чарлза Эдисона, издателя журналов «Тайм», «Лайф» и «Форчун» Генри Люса, генерала от разведки Донована, а также ряда руково-

дителей крупнейших корпораций.

Чем же вызвано такое неожиданное на первый взгляд обострение интереса к журналу «Поэтри» у этих, казалось бы, далеких от поэзии людей?

Несколько слов о самом журнале. Издающийся в Чикаго ежемесячник «Поэтри» был создан в 1912 году. В свое время на его страницах публиковались произведения поэтов самого различного направления. С тех пор произошло немало событий, отразившихся на содержании и направлении «Поэтри».

По этому поводу поэт Уолтер Лоуэнфелс, когда-то печатавший свои стихи в этом журнале, обратился в газету «Дейли уоркер» с интересным письмом. Лоуэнфелс пишет, что он был весьма заинтересован столь дружным откликом «большого бизнеса» на призыв журнала. В поисках объяснения он перелистал взятые наугад несколько его номеров за последние годы. В одном из них он обнаружил стихотворение, в котором Робинсон Джефферс весьма лаконично и недвусмысленно выразил все свое «кредо» в одной строке: «Я даже и не претендую на то, чтобы стоять за народ».

Эта «программная строка» не только все разъяснила Уолтеру Лоуэнфелсу, но, видимо, и вскрыла причины, побудившие американских миллионеров поспешить на помощь журналу «Поэтри».

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ

Пластинка с записью новой песни «Шестнадцать тонн» была распродана за десять дней в количестве миллиона экземпляров. Это небывалый для США рекорд.

Песня написана на фольклорный мотив и рассказывает о тяжелой жизни простого рабочего. Рабочий-углекоп поет в ней о том, как он взял лопату, спустился в шахту и за один день погрузил шестнадцать тонн угля. И что же он получил за свой тяжелый труд?

Ты погрузил шестнадцать тонн,
И что взамен ты получил?
На день один ты постарел
И глубже влез в долги.

«Некоторые издатели и критики, — пишет один из читателей газеты «Дейли уоркер», по вполне понятной причине подписавшийся инициалами Дж. Ф., — удивлены тем, что народ так полюбил именно эту песню. Они цитируют бесконечные утверждения журналов типа «Нейшнз бизнес», будто у нас налицо процветание и будто американскому рабочему никогда не жилось так хорошо, как сейчас». Но американский народ знает цену всем этим разговорам. «Миллионы долларов, потраченные на пропаганду, не затуманили ему глаза. Вся трудовая Америка с увлечением поет боевые куплеты песни, которые говорят о сегодняшней тяжкой жизни и грядущей победе рабочего класса».

БИБЛИЯ, СТАВШАЯ БЕСТСЕЛЛЕРОМ

В Соединенных Штатах широко рекламируется новый бестселлер. Это библия, изданная «в сокращенном виде для всеобщего чтения»: из 770 тысяч слов текста оставлено 154 тысячи. Эту работу проделала некая Оливия Пелл. В литературном приложении к «Нью-Йорк таймс» предупредительно сообщается: библия Оливии Пелл «так мала и легка, что дамы могут носить ее в сумочке». Издание мисс Пелл, по мнению той же газеты, «с энтузиазмом встречено деятелями церкви, политическими и светскими знаменитостями, писателями и учителями». Библия мисс Пелл стоит один доллар вместо обычной цены в 4 доллара 50 центов.

ТУРЦИЯ

НЕУДАВШАЯСЯ ДИВЕРСИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Давно существует в Стамбуле американское учебное заведение, так называемый Роберт-колледж. Здесь получили образование и «воспитание» деятели многих фашистских и профашистских партий. Отсюда вышли руководители албанской фашистской организации «Балли комбетар», шпионы, орудовавшие в свое время в Болгарии под руководством американского посланника Дональда Хита, ярая сторонница проамериканского курса писательница Халиде Эдиб Адывар и многие другие агенты заокеанских колонизаторов.

Не так давно, по сообщению газеты «Акшам», было решено расширить деятельность Роберт-колледжа, с тем чтобы превратить его в «американский университет в Стамбуле». Но стоило лишь сообщению об этих планах проникнуть в печать, как разразилась буря протестов. Выступали студенты, преподаватели, журналисты. Ректор Стамбульского университета Фехми Фырад заявил корреспондентам газет, что он «не видит возможности для открытия в Турции университета иностранной державы». «Открытие в Турции университета, где вся ответственность за преподавание падет на иностранцев и который существовал бы на иностранные дотации, не только не совместимо с достоинством Турции, но и может вызвать многочисленные нежелательные последствия иного порядка», — добавил профессор Хыфзы Тимур. «Я не могу припомнить ни одного примера, когда бы в независимой стране открывался иностранный университет, полностью обслуживаемый иностранными кадрами», — подкрепил опасения коллег профессор Хыфзы Велдет.

Протесты патриотически настроенной турецкой интеллигенции приняли столь широкие масштабы, что ав-

торам всей затеи пришлось пойти на попятный и заявить: «Слухи об организации американского университета совершенно необоснованны».

„ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА"

Министерство просвещения Турции опубликовало данные, из которых можно установить, что в 1955 году в стране было выпущено 3250 названий книг. Из них примерно одна четвертая часть относится к художественной литературе. «Печальную картину являет собой наше книгоиздательство,— пишет стамбульская газета «Акшам», посвятившая этим цифрам специальную статью. — Дело не только в том, что они значительно ниже уровня предыдущих лет. Если принять во внимание, что более половины изданных книг — переводы и адаптации, а из оставшейся половины вычесть тоненькие брошюры и книжки стихов в двенадцать-двадцать страниц, то картина становится действительно мрачной». «Ничтожное количество оригинальных произведений в области науки, литературы и в других отраслях станет особенно явным, если сравнить их число с количеством компетентных специалистов и интеллигентов, — пишет далее газета. — Но неверно было бы всю вину возлагать на интеллигенцию». В стране свирепствует жестокий бумажный и полиграфический кризис. Многие книгоиздатели, для того чтобы напечатать книгу, вынуждены покупать бумагу у спекулянтов на черном рынке. Это удорожает во много раз стоимость книжной продукции и делает ее недоступной для массового читателя. «В нынешних условиях надеяться на рост книгопечатания,— заключает автор статьи, — значит поистине питать пустые надежды».

ПРЕМИИ „СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ"

«Союз журналистов Стамбула» установил восемь ежегодных премий за лучшую информацию, репортаж или серию репортажей, короткую заметку, статью, фотографию, рисунок и карикатуру. В жюри вошли известный турецкий поэт Мелих Джевдет Андай, писатель и драматург Решад Нури Гюнтекин и другие видные журналисты и литераторы.

ФИНЛЯНДИЯ

УСПЕХ ПЬЕСЫ Х. ЛАКСНЕССА

Финский национальный театр «Кансаллистеатр» в Хельсинки с неизменным успехом ставит «Проданную колыбельную» Х. Лакснесса. Газета «Нюа прессен» подчеркивает актуальность этой драмы и убедительность утверждения Лакснесса о том, что приобщение к «культуре», распространяемой определенными американскими кругами, равносильно национальному несчастью для Исландии.

В Хельсинки пьеса идет под названием «Серебряный месяц». «Нюа прессен» пишет, что публика «может, наконец, из пьесы «Серебряный месяц», показанной на сцене «Кансаллистеатра», извлечь нечто значительно большее, чем одну только занимательность, которая быстро забывается».

ФРАНЦИЯ

О ПОЗИЦИИ ПРОГРЕССИВНОГО ХУДОЖНИКА

На страницах «Леттр франсез» состоялся дружеский обмен мнениями между писателями Элен Пармелен и Андре Вюрмсером. А. Вюрмсер, положительно оценив новый роман Э. Пармелен «Диплодокус», выразил сожаление о том, что в книге не показано, как герои ее — прогрессивные художники — участвуют в общественной жизни страны, в политической борьбе.

Элен Пармелен ответила, что она не принимает этого упрека Вюрмсера, ибо ее задачей было изобразить в романе лишь творческую, а вовсе не общественно-политическую сторону деятельности своих персонажей.

Э. Пармелен считает, что «каждый художник должен пролагать свой путь, путь одиночки в искусстве», и что так будет всегда, даже при коммунизме. «Как бы тесно ни был связан художник с революционной борьбой, — пишет Пармелен, — но, переступив порог своей мастерской, он остается один, и никто в мире не может прийти ему на помощь в решении чисто творческих задач».

Андре Вюрмсер возразил писательнице. По его мнению, художественное творчество начинается не в тот момент, когда писатель берется за перо, а художник за кисть, но гораздо раньше, и потому не существует никакой пропасти между художественным творчеством передового деятеля культуры и его участием в общественной борьбе. «Нет двух Элен Пармелен, — пишет А. Вюрмсер, — одной, отдающей свою жизнь делу, столь не похожему на уединение в башне из слоновой кости, и другой, специализирующейся в области литературного творчества. Есть одна Элен Пармелен, и свои книги она задумывает задолго до того, как начинает их писать».

«Таково скромное мнение человека, — заключает свое письмо Андре Вюрмсер, — который вот уже более двадцати лет не чувствует себя одиноким — даже за рабочим столом, даже в плодотворной ночной тиши».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

„КНИГА О КУЛЬТУРЕ"

Хотя недавно вышедшая «Книга о культуре» академика Зд. Неедлы предназначена для молодежи, но, как отмечает чехословацкая пресса, она будет с интересом принята и читателями старшего поколения. Дело

Не так давно в Праге была организована большая выставка, один из разделов которой составляла книжная иллюстрация. На снимке: представленный на выставке рисунок художника А. Падерлика к роману «Никола Шугай» Ольбрахта.

(Газета „Литерарни новины").

в том, что книга эта написана человеком, у которого эрудиция ученого сочетается с талантом писателя.

По отзыву газеты «Литерарни новины», «книга звучит гимном торжествующему человеческому труду».

Тема ее — путь развития культуры начиная с первобытных времен и до наших дней. Книга рассказывает о появлении человека на земле, о постепенном, длительном и трудном процессе покорения природы, «о том, как человек создал науку, чтобы проникать в тайны жизни, о том, как возникли литература, музыка, живопись, скульптура, танец, архитектура, театр и кино, об особенностях и всемогущей силе различных видов искусства». Вместе с тем книга Зд. Неедлы показывает, «что именно является истинной культурной ценностью в нашей жизни и что обманчиво, лживо, фальшиво, бесполезно для человечества и по этой причине обречено на гибель» («Руде право»). Самые сложные явления объяснены в ней просто, понятно, не схематически. Давая читателю представление о развитии культуры всего человечества, Зд. Неедлы вместе с тем уделяет должное внимание культуре родного народа.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГОВАРДА ФАСТА

В Чехословакии выходит из печати собрание сочинений Говарда Фаста. В первом томе помещены «Гражданин Том Пейн», «Патрик Генри» и другие произведения.

ШВЕЦИЯ

„НАСИЛИЕ НАД ИБСЕНОМ"

«Ибсеновский комитет обязан вмешаться»,— писала газета «Фрихетен» по поводу своеобразной, мягко выражаясь, интерпретации драмы «Норы» на сцене «Свенска рикстеатер» в Вестеросе. В этой постановке, премьера которой состоялась в феврале, Нора уступает настояниям своего мужа, Гельмера, отказывается от своего протеста и остается в «Кукольном доме».

Появление видоизмененного финала драмы имеет свою историю. В 80-х годах прошлого столетия, когда «Нора» была впервые поставлена на сцене «Немецкого театра» в Берлине, артистка Ниман-Раабе, игравшая главную роль, заявила, что она не согласна с развязкой пьесы и настаивает на «счастливом конце». Немецкий издатель произведений Ибсена также написал ему письмо, в котором сообщил о своем намерении изменить финал драмы «согласно требованиям морали».

Ибсен, не имея возможности воспротивиться этим требованиям и опасаясь произвола берлинских филистеров, ответил, что предпочитает лично учинить, как он выразился, «варварское насилие» над драмой и изменить конец. Письмо содержало также гневный протест писателя против давления, оказанного на него издателем и театром.

Так под нажимом «добропорядочных» бюргеров и родилась новая версия последнего акта драмы «Нора» (заметим в скобках, что та же Ниман-Раабе впоследствии отказалась от нее и играла «Нору» с прежним, обычным концом).

С тех пор прошло 70 лет. Пьеса Ибсена продолжает идти во всех театрах мира. Глубоко уважая память писателя, его волю и целостность его замысла, режиссеры всех стран больше и не вспоминали об этом «счастливом конце», искажающем самую идею вещи. Нынешняя попытка режиссера Браннера извлечь основательно забытый и осужденный автором вариант финала из архивной пыли вызвала возмущение печати скандинавских стран. Норвежская буржуазная газета «Дагбладет», как и прогрессивная «Фрихетен», считает такой поступок глумлением над памятью писателя. Литературный критик Олуф Лагеркранц в шведской «Дагенс нюхетер» находит бестактным сценический замысел Браннера. «Нам всем ясно, — пишет Лагеркранц, — что такой конец противоречит всему духу пьесы. Непонятно, почему Браннер ввел эту сцену, которую сам Ибсен назвал «варварским насилием»... неужели он всерьез думает, что мы теперь должны склонить голову перед столь же реакционными кругами, как те, которые 70 лет назад в кайзеровской Германии вознамерились кастрировать Ибсена?» Лагеркранц находит вполне оправданным проявленное в данном случае возмущение норвежской общественности и газеты «Дагбладет».

С решительным протестом выступил также «Норвежский Союз защиты прав женщин». Союз заявил: «Для нас, норвежских женщин, «Кукольный дом» все эти 75 лет был светлым маяком в борьбе за полное, действительное равноправие женщины. Мы рассматриваем попытку «Свенска рикстеатра» низвести драму Ибсена до уровня ходкой бульварной пьесы как оскорбление дорогих для нас традиций и решительно протестуем против нового

насилия над драматургом».

Председатель Норвежского союза писателей Ханс Хейберг в обращении к «Свенска рикстеатру» также указывает, что режиссер Браннер нарушил ясно выраженную волю Ибсена.

Несмотря на все эти единодушные протесты, спектакль все же состоялся. На него съехались режиссеры, корреспонденты, фоторепортеры из Норвегии, Дании, Финляндии и других стран Европы. Нору играла известная артистка Гюнн Воллгрен. Но и это не смогло спасти постановку от полного провала. Рецензент «Дагенс нюхетер» отмечает, что подавляющее большинство зрителей, в том числе и самые, как он говорит, «солидные», высказывались против затеи Браннера. «Конец таков, — сказал епископ Гуллбрег, — будто его приладили с помощью клея».

Газета «Дагенс нюхетер» считает, что спектакль полностью провалился. «Эта версия была и остается мертворожденным курьезом, и если кто-нибудь еще сомневался, то представление в Вестеросе теперь его окончательно в этом убедит».

Корреспондент норвежской газеты «Верденс ганг» говорит, что вторичное «варварское насилие над Ибсеном предопределило безнадежно слабую игру всего ансамбля».

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ ЛУНДКВИСТА

В шведском издательстве «Бонньер» вышла новая книга стихов Артура Лундквиста «Роза ветров. Ответный огонь», в которой отражены его впечатления от поездок по странам Европы, Америки и Азии.

В своих стихах Лундквист изображает сложный мир социальных противоречий и социального прогресса, раскрывшийся перед ним при различных обстоятельствах и в различных местах — от нью-йоркского небоскреба до китайской фабрики, от рыбачьего поселка у исландского фьорда и до деревни на берегах Инда.

Норвежская буржуазная газета «Дагбладет», сетуя на автора за его «пропагандистские увлечения», вместе с тем отмечает свойственную Артуру Лундквисту одухотворенную восприимчивость к новым явлениям жизни, умение подмечать и передавать в острой художественной форме наиболее типичное в каждом явлении и событии. «По своей незабываемой свежести и искренности чувств,— пишет газета, — это одна из лучших книг автора».

Шведская газета «Ню даг», анализируя многогранное творчество Артура Лундквиста — лирику, романы, памфлеты, политический репортаж, — отмечает, что он, не будучи активным борцом за дело рабочего класса, тем не менее отражает в своих произведениях испытываемое миллионными массами стремление к справедливому переустройству мира на социалистической основе.

* * *

На собрании Стокгольмского комитета защиты мира выступил Артур Лундквист с чтением своих стихов из цикла «Китайские зарисовки».

ЭКВАДОР

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Мексиканская прогрессивная газета «Эль насиональ» поместила обзор литературной жизни Эквадора.

Автор обзора, говоря о передовых писателях этой страны, отмечает, в частности, Хорхе Икаса, который произвел большое впечатление на читающую публику Кито — столицы Эквадора — своим романом «Уасипунго»; в нем реалистически показана жизнь индейцев, бесчеловечно эксплуатируемых помещиками и надсмотрщиками.

В Эквадоре проживает также много негров; их жизнь столь же трудна и безрадостна, как жизнь индейцев. Этой теме посвящен роман Адальберто Ортиса; но в нем, по мнению автора обзора, социальный протест выражен менее остро, чем в «Уасипунго». Ортис был удостоен литературной премии, а правительство Эквадора направило его в Вашингтон в качестве дипломатического представителя. Однако Соединенные Штаты не дали согласия на это назначение, так как Ортис — негр!

Пабло Паласиос в своих произведениях («Человек, умерший от пинков», «Жизнь повешенного», «Дебора») открыто разоблачает маневры политиканов, во что бы то ни стало стремящихся удержать в своих руках власть в стране.

Хоакин Гальегос Лара, как и Пабло Паласиос, также предъявляет счет правящим кругам Эквадора. В 1926 году он заявил, что считает Арройо дель Рио, бывшего в то время губернатором провинции Гуаяс, а впоследствии и президентом, главным виновником человеческой бойни, организованной во время подавления одной из стачек. Из произведений Лара наиболее известен его роман «По воде вилами писано».

Среди поэтов выделяется Сесар Давила Андраде, впервые выступивший в 1944 году со стихами, отражающими борьбу народных масс. По мнению «Эль насиональ», он может быть поставлен рядом с такими известными литераторами, как венецуэльский поэт Карлос Аугусто Леон и колумбийский поэт Карлос Кастро Сааведра. Подчеркивая, что в литературе Эквадора находят свое отражение прогрессивные идеи, газета «Эль насиональ» напоминает о том, что именно в Кито много лет назад — 10 августа 1809 года — впервые в Америке зародилось движение за полное и окончательное освобождение континента от иностранного вмешательства и порабощения!

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Макс Циммеринг (род. в 1909 г.) — немецкий поэт и прозаик. Годы гитлеризма провел в эмиграции. В настоящее время живет в ГДР, где издано несколько сборников его стихов: «Облик времени», «Не бойся дня» и др. В 1953 г. Максу Циммерингу была присуждена премия имени Генриха Манна.

Публикуемое нами стихотворение взято из сборника «На резком утреннем ветру».

Богуслав Когут (род. в 1925 г.) — молодой польский литератор. Выступал как поэт и как прозаик. Известен его поэтический сборник «Спасенный дом», проникнутый глубоким чувством патриотизма, зовущий к борьбе за построение социализма в Польше. Сборник рассказов «Люди зреют» посвящен темам современности, роман «Взбунтовавшиеся» — крестьянскому восстанию 1933 года.

Владимир Минач (род. в 1922 г.) — словацкий прозаик, автор романов «Смерть ходит по горам», «Вчера и завтра». Сборник рассказов «На распутьи», откуда взят печатаемый нами рассказ, в 1955 году отмечен Государственной премией.

Христо Радевский (род. в 1903 г.) — болгарский поэт. Первые стихи опубликовал в 1924 г. Сборники его стихотворений и басен — «К партии» (1932 г.), «Мы на правильном пути» (1933 г.), «Пульс» (1935 г.), «Басни» (1951 г.) и другие отражают подъем рабочего революционного движения и борьбу болгарского народа против фашистской диктатуры. Христо Радевский является переводчиком произведений Маяковского и других советских поэтов, а также составителем антологии современной русской поэзии.

Х. Радевский дважды был удостоен Димитровской премии.

Елисавета Багряна (род. в 1894 г.) — болгарская поэтесса. Уже первые сборники («Вечная и святая» 1927 г. и «Звезда моряка» 1932 г.) принесли ей широкую известность. Постоянной темой ее довоенного творчества была борьба за раскрепощение женщины. Большое место в творчестве Багряны занимают стихи для детей.

Е. Багряна в 1949 г. удостоена Димитровской премии. В 1954 г. за сборник стихов «Пять звезд», откуда взято печатаемое нами стихотворение, получила Национальную премию мира.

Усин Керим (род. в 1927 г.) — болгарский поэт. Первый сборник его стихов «Песни табора» появился в 1955 г.

Публикуемые нами стихотворения напечатаны в болгарском литературном журнале «Септември» № 3 за 1955 г.

Орлин Орлинов (род. в 1931 г.) — болгарский поэт. Первый сборник его стихотворений вышел в Софии в 1953 г. Вторая книга — «Сердце солдата» — была издана в 1954 г. Печатаемое нами стихотворение взято из журнала «Септември» № 2 за 1955 г.

Бхабани Бхаттачария (род. в 1906 г.) — индийский писатель. Живет в Нагпуре. Посетил СССР в 1951 г. Известен советским читателям по роману «Голод», вышедшему в СССР в 1949 г. Роман «Оседлавший тигра» был опубликован в 1955 г.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт,

С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),

Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны Д 5-17-83; Д 5-19-81; Д 5-17-10.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А03364 Сдано в производство 13/III 1956 г. Подписано к печати 18/IV 1956 г.
Изд. № 19/3120. Цена 10 руб.
Учетно-изд. листов 28,6. Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,1 бум. л., 24,7 печ. л., в т/ч. 1 вкл.